

Международный
литературно-
художественный
журнал



Главный редактор

Борис Марковский (*Германия*)

тел. (+49) 5631-50-31-42

Зам. гл. редактора

Елена Мордовина (*Киев*)

тел. (+38) 067-83-007-11

Редакционная коллегия:

Андрей Коровин (*Москва*),

Виталий Амурский (*Париж*),

Борис Херсонский (*Одесса*),

Игорь Савкин (*Санкт-Петербург*),

Борис Констриктор (*Санкт-Петербург*),

Владимир Алейников (*Коктебель*),

Вальдемар Вебер (*Аугсбург*),

Сергей Шаталов (*Донецк*),

Айдар Хусаинов (*Уфа*)

Художник

Иван Граве (*Санкт-Петербург*)

Год издания семнадцатый

Рукописи не рецензируются и не возвращаются

При перепечатке ссылка на «Крещатик» обязательна

Адрес редакции:

B. Markowskij, Tränke Str. 16

34497 Korbach, Deutschland

e-mail: borismark30@T-Online.de

www.kreschatik.nm.ru

http://magazines.russ.ru/

ИД № 04372 от 26.03.2001 г.

Издательство «Алетейя»

192171, Санкт-Петербург,

ул. Бабушкина, д. 53.

Журнал выходит 4 раза в год

ISSN 1619-2966

© Крещатик, 2015 г.

© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2015 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Поэзия

Владимир Алейников / <i>Москва</i> /	«В Нескучном саду...»	14
Майя Шварцман / <i>Гент, Бельгия</i> /	Разрыв	68
Герман Власов / <i>Москва</i> /	«Это в сером...»	101
Максим Гликин / <i>Москва</i> /	Сниму	114
Борис Юдин / <i>Нью-Йорк</i> /	Женщина у окна	144
Юлия Белохвостова / <i>Москва</i> /	По римскому счету	174
Михаил Окунь / <i>Аален</i> /	В Павловске	195

Проза

Николай Боков / <i>Париж</i> /	Перчатка. <i>Рассказ</i>	4
Владимир Порудоминский / <i>Кёльн</i> /	Трапезы теней	18
Борис Ванталов / <i>СПб.</i> /	Письма в никуда	74
Раиса Гурина / <i>Киев</i> /	Педикюр и татуаж. <i>Рассказы</i>	106
Ирина Чайковская / <i>Вашингтон</i> /	Путешествие в...	117
Абрам Гроссман / <i>Натания</i> /	Магги. <i>Рассказ</i>	148
Игорь Беликов / <i>Иерусалим</i> /	Крестный путь	177
Александр Любинский / <i>Иерусалим</i> /	Луна и крест	199
К.К. Кузьминский / <i>Нью-Йорк</i> /	Пансион Беттины	241
Илана Романовская / <i>Иерусалим</i> /	Прыжок в неизвестность	284
А.Ник / <i>1945-2011</i> /	Сон о Фелмори	290

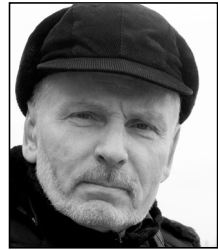
Контексты:

эссеистика, критика, библиография

Ирина Басова / <i>Париж</i> /	О жизни, о литературе	314
Александр Гамбарян / <i>Тель-Авив</i> /	Главы из книги	332
Георгий Яропольский / <i>Нальчик</i> /	Чудесное посещение №3	348

Николай БОКОВ

/ Париж: /



ПЕРЧАТКА

Открыв дверцу автомобиля и занеся уже ногу, он увидел на асфальте перчатку. Женскую, с меховой оторочкой, из коричневой лайки. Кем-то потерянная, она имела обиженный вид. Он поднял ее. Из потерянной она превращалась в перчатку забытую, от нее уже исходило тепло руки — загорелой. Еще чуточку — и перчатку наполнят тонкие пальцы.

Он подумал: с какой стати в этих краях неразговорчивых фермеров и краснолицых матросов появилась изящная женская рука в перчатке, при каких обстоятельствах ее обронила? Собираясь сесть в автомобиль, несомненно, — перчатка упала ведь на асфальт паркинга, и совсем недавно, непогода не успела ее запачкать. В свой ли автомобиль садилась водительница, должно быть, прекрасная — изящество вещицы говорило в пользу этой праздной гипотезы, а если в чужой, то чей? Мужа, любовника?

Перчатка вписывалась в обстановку салона, в небольшое число предметов, прижившихся и сопровождавших его в поездках, не обязательных, но чем-то приятных. Дорожные карты не в счет, как и лупа, — для чтения мелких названий улиц (зрение притупилось).

Вот китайский прибор из тонких пружинистых проволок, вместе составивших конус, — он его надевал, словно шапку, на голову, когда та уставала от напряжения внимания, и дрёма подкрадывалась и повисала туманным облачком. Прикосновение холодных точек в разных местах черепа вызывало дрожь и бодрость.

Или брошюрка из дома-музея Равеля с автографом Терезы-смотрительницы. Он все хотел записаться в общество друзей композитора, в эту безобидную секту, иногда собиравшуюся на концерт в городке Монфор-Ламори. А композитор ему импонировал особенным жестом, тем, что сочинил концерт для фортепиано с оркестром, причем для одной левой руки Витгенштейна, пианиста. Правую оторвало на войне.

Он вслушивался в музыку дружеской помощи: композитор отменял катастрофу, заявлял непокорство судьбе: оторвало? — ну что ж, вот гармония, ей неподвластная! Он, Равель, упраздняет несчастье.

Впрочем, один или два эпизода произведения выдавали — казалось, что мастер об отсутствии правой руки забывал, спохватившись, бросался в течение звуков, направившихся не туда, грудью поток останавливал если не на самом краю обрыва, то все-таки в зоне опасной.

С ним ездили чайные ложки, взятые однажды на веселый пикник, продолжавшийся до летних сумерек. Иссякали шарады и шутки, меланхолия вечера их обволакивала осторожно. Приподнявшись на локте, Жюли смотрела, взгляда не поднимая, замороженно, на его приближавшийся рот, на губы, и вдруг их потрогала пальцами, словно желая проверить некую мысль. И потом ему не препятствовала.

Кусок замши практичной — стекло протереть. Сей честный служащий не вызывал каких-либо воспоминаний.

И однако на заднем сидении перчатка выглядела нарочитой. Он столкнул ее на пол, на узорчатый коврик.

Предстояло в Париже вот что: перевезти почтенного аббата с одного вокзала на другой, ибо ехал он с севера Франции на её юг. Так выпало и совпадало, что Стефан вызвался встретить и доставить, слегка опасаясь, однако: не зацепится ли нечаянной фразой — и вызовет спор? Или суждением резким аббат его заведет, и они в дебри заедут смысла жизни, значения папства и паствы, свойств различных магометанства, опоздадут на поезд, и прочее.

Он помечтал о смягчающем присутствии Жюли: не окажет ли милость, тем более что аббат ей известен. А потом встречу кстати продлить, скажем, посещением выставки, чашечкой кофе, еще чем-нибудь.

Она умела, услышав:

— Отношение к филиокве осталось невыясненным... — слегка коснуться тяжелой руки священника, уже приглашая его остановиться и выслушать, и мысль его перебить:

— Мсье аббат, вы знаете, как трудно ныне молодежи строить себя!

Ах, молодежь, ну конечно, ей трудно: авторитетов не признает, ей все хуже.

Он позвонил:

— Гаргантюа приезжает, боюсь, что не справлюсь.

— Гаргантюа! Ну, ты и скажешь! — Фыркнула, впрочем.

Они поехали вместе, у вокзала попробовали остановиться, но полицейские женщины показали, пальцем грозя, что нельзя, они сделали круг, огибая квартал, проехали площадь Европы.

— Ты заметил, кстати, что все епископы огромного роста? — сказала Жюли. — Словно их подбирают.

Он кивнул. Подбор ли, отбор ли естественный пастырей для бедных овец, — раз ум тут решил, то вдохновенья не нужно. Правда, он знал одного монсеньора, Давида: среднего роста, он казался подростком среди Голиафов.

Аббат оказался малого роста, раздавшимся, правда, в сторону квадрата. В гражданском платье, несколько блеклом в толпе прифранченных приезжих.

Обмен любезностями продолжался в автомобиле. Аббат сделал движение, попытавшись усесться на заднем сидении, Жюли удержала его. Нет-нет, вам удобнее рядом с водителем, там больше места, да и нам так удобнее. Спротивляясь тучности пассажира, скрипя рессорами, автомобиль оседал.

— И тут леса, и там, сплошные ремонты! — удивлялся приезжий.

— Туризм и гастрономия — теперь главная промышленность Франции, — поддерживал шофер разговор. — Прочая индустрия пошла по миру, — искать, где работники дешевы.

Аббат промолчал, а он спохватился: сам и подбросил горячий сюжет! Но остановиться не мог:

— Вот и долги начались у государства: бедняжке не с кого налоги собирать.

Они ехали по левому берегу Сены.

— Институт арабского мира, — сказал он, заметив вопросительный взгляд приезжего.

— А! — Оживился аббат. — Кстати, эта знаменитая сура в Коране, где говорится о девственности Марии...

Шофер резко затормозил, иначе б задел дерзкий *смарт*, подрезавший его справа, и выбрался от волнения вслух и по-русски.

— *Que tu dis?* — удивилась Жюли, но он не сразу ответил, поглощенный сутолокой автомобилей на перекрестке, куда вливались три артерии сразу, не считая автобусы и велосипедистов, нахальных и ловких.

Аустерлицкий вокзал замаячил сквозь копыя ограды Ботанического сада.

Не без усилий аббат извлечен был и направлен в нужное русло, в поток озабоченных пассажиров. Жюли пересела на опустевшее место. Он чувствовал в ней перемену, происшедшую мгновенно, за эти секунды открывания дверцы и пересаживания: ее взгляд изучающий, внимательный, отчужденный. Так она часто смотрела в первое время знакомства, а потом перестала.

— Что-то случилось? — спросил он. — Едем ко мне?

— Ах, нет, у меня столько дел! Пожалуйста, высади меня у Бастилии.

— В самом деле? Ты ведь хотела хотела посмотреть Хокусая?

Она посмотрела рассеянно. Они простились у начала улицы Риволи. Отъезжая, он оглянулся, не забыла ли Жюли телефон или зонтик. Той перчатки не было.

Ах, вот что случилось. Найденная, она и вправду стала забытой, и настолько естественно! Жюли ее прибрала, полагая, что она завладела уличную женского посещения.

Она теперь думает, что получила перчатку, забытую кем-то, а он и не знает, что перчатку забыли, хотя и ведает, кто мог бы забыть. *На самом деле*, он знает, что Жюли перчатку присвоила, но не ведает, кто ее потерял.

Он знал больше Жюли, Жюли же не знала, что ее знание ложно.

Его позабавило возникновение ловушки из тайного присвоения потертанной перчатки. А если бы Жюли просто сказала: «Ой, чья это перчатка?»

Он бы просто ответил, ей бы стало смешно или странно, и эпизод завершился бы.

Телефон в кармане заиграл Моцарта.

— Ты мог бы заехать за мною в больницу? — Голос Жюли был усталый. — Мне плохо: я в неотложке. Жду врача.

Ему стало не по себе. Отменяя все планы, он поехал в западное предместье, найдя на карте больницу.

В дверях пропустил нагибающуюся низко — от боли, подумал он сразу, — девушку лет восемнадцати, постанывавшую, за ней шли подруга и юноша, — этот с видом независимым, к событию непричастным, а подруга в тревоге. И пока ее записывали, юная изгибалась, а подруга отвечала в окошко мужчине лет тридцати в белом балахоне врача.

Автоматическая дверь распахнулась, оттуда выглянул коридор и выпустил женщину, темнокожую, с толстым от перевязки плечом. К ней быстро пошел мужчина из ожидавших, ласково обнял ее, поцеловал. Ему стало спокойнее при виде человеческой нежности.

Молодая женщина с искаженным от боли лицом ходила взад и вперед, движением бедер показывая на место страдания. К ней имел какое-то отношение молодой мужчина, смотревший с тревогою и шепотом окликавший ее, называя Элен.

Из недр больницы вышла и Жюли, — спокойная, безмятежная даже, лишь цвет лица сероватый говорил о страдании.

— Очень больно, — сказала она. — Жжет.

И протянула ему бумагу, и он, поискав глазами, прочитал: «*staphylococcus albus*». И откуда он взялся? А бывает еще «золотистый»: жестокий.

— Тебе повезло, что он белый.

— Так больно, — пожаловалась она, — не пожелаю врагу.

— И откуда он взялся?

Она со значением фыркнула. И тут он вполне осознал, что видит новую деталь туалета: перчатки были на руках его близкой знакомой.

И смутился: вот чем обернулась забава его! Мучением ревности! Стафилококком! Мукой ненужной. Скорее избавить ее, исцелить.

— Ты соматизируешь что-то, — сказал он.

Сома — тело. Если уста молчат, оно говорить начинает. Душе больно от ревности, так ему станет больно от стафилококка, напавшего из засады. Радостная душа телу-сому дарила крепость. Когда ж опечалилась сильно...

— И что же? — Спросила.

— Я тебе всё объясню.

Но как? Просто сказать: ты нашла в машине перчатку. Или, не припирая к стенке: ты случайно не видела в салоне перчатку? (Ну да, т а ему позвонила: «Не обронила ли я у тебя в машине перчатку?» Хуже того, т а перчатку подбросила! И не перчатку, а бомбу: пусть взорвется, и их отношения в ключья!)

Женщины удивительно мстительны... коварны. Богиня политики — если б такая была — разумеется, женщина.

— Причем тут это... просто в бактерии дело, — в голосе Жюли прозвучала обида, словно он был носителем гадкой бактерии и, между прочим, он им и был с ее точки зрения, и она доказательством располагала — женской перчаткой, но не могла его предъявить, тайно ее присвоив и не умея соз-

наться в своей ревности, в том, что ранена. Сознавшись, она б ранила себя в своей ране. Она не знала, что тут-то и таилось лекарство, что он готов его дать, но не знает, как поступить. Как обычно: причина болезни не там, где лечат ее проявления.

Он довез ее до аптеки. Таблетки антибиотика.

И действительно, тело Жюли благодарно отозвалось на присутствие особых молекул, боль затихала.

А тем временем он приготовит лекарство — рассказ о перчатке. И даст прочитать.

Он подумывал о времени ланча: успокоенный пищею ум, расслабленный чашечкой кофе и рюмкой ликера не ожидает подвоха — внезапного призыва к искренности, к обнаженности сердца. Он уже расположился в кресле, стоявшем наискось к окну, где видны были горделивые линии шпильей банков и страховых компаний. Тысячи окон, светившихся вечером и ночью.

Жюли разговаривала по телефону.

Он наслаждался равновесием существования. Страна дала ему места на стопу ноги: встать и не двигаться, отодвинув хлопоты до вторника последней недели третьего месяца. Страна ли, иль бытие, а точнее — расположение Жюли, дружба женщины, в жизни которой образовалась сама собой пустота, ей неприятная и даже болезненная, и тут пригодился воспитанный иностранец, коль скоро не оказалось подходящего соплеменника. Они привередливы часто, как бывает в большом магазине: то шея не та, то не то отношение, или вот кожа недостаточно гладкая. Что поделаешь, войны давно не было, мужчин и женщин поровну стало, выбор не велик.

Когда-то он стремился слиться с этим народом, куда его вбросила судьба Провидения. Он сам удивлялся своему чувству и воображал, что указана дверь в дом, и на двери написано «христианство». Не совсем такое, но это в деталях, а в общем, а в главном — то же самое, *n'est-ce pas?* Возлюби Бога и ближнего. Гм.

Равнодушно скользя взглядом по небоскребу торговцев нефтью, он в памяти обнаружил улыбающееся лицо абессы Грегории и их разговор о современности веры.

— Вот вы, *Stéphane*, скажите: вот вы, иностранец, что вы думаете о филиокве?

Все старания его оказались притворством, ненужной работой, о которой, впрочем, он совсем не жалел. Он заключение вывел: это старый народ, *народ-сениор* в обоих значениях, состарившийся владелец пространства, он все увидел и все испытал, ему незачем новые лица, звуки и мысли. Любопытство уплыло за океан.

Жюли тронула его плечо. Она казалась смущенной.

— Видишь ли, звонил Дени... Ему надо срочно заехать... Мне так неудобно!

Ее неудобство возникло для того, чтобы стало удобно ее сыну: хотя он и взрослый и отдельно живет, ему надо заехать за какой-то вещью. А ему нужно сделать вид, что он не существует: так удобнее сыну, и мужу, тоже давно отделившемуся, но не совсем: они собираются вместе на Рождество.

Неудобно стало ему. Но он сам виноват, забывая о своем иностранстве — кстати, есть ли такое слово, о чужеземстве своем, — если нет, то пусть будет. Но если уж хочешь быть свободным, то стремись к абсолютно-му смирению, выдавливая гордость по каплям.

Уходя, он забыл свои записи о перчатке. Затея показалась ему и во все излишней и глупой, но возвращаться было б еще глупее, да и времени не было б.

Он не ошибается, полагая, что перчатку обронила случайно некая дама, а он ее подобрал. Возможно и другое толкование: бросила перчатку Судьба, а он ее поднял. Стало быть, он принял вызов? Согласился драться? Но с кем, почему?

Оставив Жюли, он поехал на место удачных мечтаний и медитаций. Не объяснить ли потомкам, где оно расположено? На случай, если кто-то в себе обнаружит эту потребность. На краю Булонского леса, между Сенной-рекой и парком при загородном — когда-то — доме по имени Багатель, то есть *без-делица*, раскинулось поле широко длиною в 800 метров и шириною в 200. Одним своим концом оно приближается к Нейи, населенному знатью, а с другой полого поднимается к постройкам и гольфу тоскливого закрытого клуба с двумя рядами огромных джипов. На пригорке стоит гранитная стела, и на ней высечена навечно надпись о первом полете здесь самолета бразильца Сантоса Дюмона.

Взгляду приятно висеть вертолетом над равниною, нескучно ему перебирать верхушки небоскребов парижского Манхеттена, Дефанса. Люди, конечно, немножко деревья — и не только в том переносном значении, что они деревянные, покрыты корой привычек, тяжелы на подъем, но и в смысле почти прямом: там и тут приросли к жилищу, к владению чем-нибудь, стали придатками. Отними у президента стол дубовый, рослого молодца, хранителя тела, и секретаря-полиглота, — и вот вам будущий труп.

Нет уж, лучше парить в нищете будущего, заглядывая за прозрачную кромку.

Идти по траве, наслаждаясь ритмом движения, легким шумом стеблей, обтекающих обувь.

Моцарта заиграл телефон. Он подосадовал, что не выключил, а потом досадовал на свое малодушие, намереваясь ответить, точнее, подчиняясь чужой воле вторжения в его одиночество, не воспользовавшись той долей секунды, когда можно нажать на кнопку отказа.

Вероятно, он почувствовал беспокойство Жюли: ее имя высветилось на миниатюрном экране.

— Я прочла про перчатку. Все абсолютно не так, как ты напридумывал, но я очень тронута: ты внимателен даже к пустякам, имеющим ко мне отношение!

Ее голос был теплым и бархатным. Ранка затягивалась, стафилококк посрамлен.

Кто не боится отверженности?.. сей пустоты бытия, настаигающей нас в дуновении смерти.

— Очень жаль, что так получилось, что тебе уехать пришлось неожиданно!

Теперь голос был слегка смущенным. И правда, совсем не в характере Жюли изгонять, прогонять и отказывать, она тут сама не своя, а продолжение чужой воли — железной, а чаще все-таки деревянной, — возвращаясь к сравнению с деревом человека. Осталось вид подобрать: дуб? В русском он почему-то образ тупости, но для нее более подходит осина, — некрасивая древесина, с сине-грязными жилами, скользкая, с гнилью под корой.

— Не знаю, зачем ты эту перчатку развел на четыре страницы!

Жюли сердилась уже. Две-три фразы, допустим, на месте, их легко не расслышать, просто пожать плечами, а тут — диссертация.

— А как наш стафилококк поживает? — рискнул он огнем огонь затушить. И удачно:

— Ты знаешь, почти исчезла всякая боль, — голос Жюли помягчел, и он решился:

— Я хочу Дени написать — с предложением встретиться. Выпить чашечку кофе втроем.

Она замолчала, но до него донеслось ее облегчение: она как бы из игры — интересно, какой? — выходила. Мужчины пусть объяснятся. Они не прямые соперники, нет, — сын, с одной стороны, а с другой — любовник. Хотя сын и представитель отца, но ведь столько лет прошло, столько зим с того переворота — положения и понятий, когда из жены полузабытой, задвинутой в кухню и детскую она превратилась в принцессу турнира — если не рыцарей, то все же почти. Метаморфоза ошеломила подростка: папа уменьшился в росте, а под фартуком золушки-мамы оказалось бальное платье!

Дерева ослабли в корнях, зашатались, бросились было беглянку схватить. Куда там.

Ему было интересно наблюдать превращение. Покупка красивых ботинок, пальто длинного, охватившего ладно фигурку, — на нее стали оглядываться на улице, на щеках появился румянец, и вдруг донеслось искрометное замечание, достойное пера, скажем, Мадам де Дефан, остроумицы именитой. Поначалу она оставляла обновления у него, возвращаясь к себе, пока не решилась однажды, и до него донеслось ошеломление. Папа собрал семейный совет и объявил, что она сошла с правильного пути. Уж ему ли судить! Но — слово отца.

Юноша переживал свою драму, и поскольку разговаривать на эти темы не принято — это ведь не проделки правительства и не цены на нефть, — юношеское недоумение и страдание не обезвредились, превратившись в понятия философии жизни. Вот он и предложит встретиться и обменяться — буквально — взглядами, увидеть, что нет ни войны, ни опасности. Обычные в мире людей положения, когда нехватку чего-нибудь в них поправляет судьба Провидения.

Он напишет письмо, нужное юноше, ей, но и ему самому. Ибо жить иностранцем в стране — там, где родился, или в той, куда зашвырнула — опять судьба, да? — значит расходовать некий запас, скажем, энергии. Сока. Иностранец постоянно преодолевает легкое сопротивление — недоверия или просто повышенного внимания, отталкивание — иногда проявляющееся физически, — не раз ему подавали два — или три, в зависимости

от департамента — пальца для рукопожатия, если его ранг социальный казался несоответствующим тому, кто здоровался. Со стороны этот нюанс незаметен, да и он поначалу его не истолковывал.

Он стал превращаться в аборигена: не проще ли руку не подавать вообще, если люди не выказывают к тому расположения, и тем самым ничем не рискуя? Равнодушие к встречным начинает обволакивать иностранца, — как некий покров для зимы существования, никогда не сменяемой на весну или лето. Ну, *никогда* — редкая вещь. Иностранец может оказаться американцем, вылезти из мерседеса, вынуть крупную купюру. И лица вокруг просветлеют и расцветут.

Ах, опять этот яд обобщения. Оптимистичнее оставаться с одним экземпляром события: одно за другим. И в реку дважды нельзя, и даже в собственный автомобиль он сел другим человеком.

— И кстати, — сказала Жюли, — перчатку я подобрала потому, что приняла ее за свою.

Три перчатки лежали на ночном столике.

И действительно, меховая опушка раструба всех трех почти идентична. Интересно, что его перчатка — с левой руки, он лишь сейчас это заметил. *Перчатка с левой руки* для любителя русской поэзии — почти пароль, готовый рассказ о жизни и смерти, точнее, об умирании целой страны, растянувшегося на семьдесят лет, растянувшейся на два континента.

Его перчатка — из черной ткани, кстати, тогда в темноте он ошибся, — а ее — темно-синие, шелковые на ощупь. Абсолютно новые, он готов был побиться об заклад и вызвать на дуэль усомнившегося. И вовнутрь заглянув, белый ярлычок обнаружил с надписью *made in china*. Он почувствовал умиление: нужно ж было похожие перчатки пойти поискать! И найти! А как иначе закрыть брешь в обороне: «А, ты ревнуешь! (*Попалась! Терпеть он знает твое слабое место!*) — Вот и нет! Я выше! Стрела промахнулась!»

— Неудивительно, что я решила, будто перчатка — моя. Я и не стала ничего говорить.

Он умилялся, молча.

— А Дени можешь написать, позвонить. Я-то знаю ответ.

Не пора ль написать, в самом деле? Пожилой молчаливый мужчина может казаться надменным в глазах молодого. Ему ж не позволит самолюбие первым прервать молчание, сделать шаг.

«Дорогой господин», — писал он.

«Хотя мы никогда не встречались, между нами существует своего рода молчаливое противостояние. У него есть жертва — ваша мать; сверхчувствительная и хрупкая, она ощущает это напряжение, известное тем, кто должен сделать невозможный выбор, а именно, между двумя дорогами существами.

Но ведь вашей матери нет нужды выбирать между сыном и другом, эти отношения абсолютно различные.

Я понимаю вашу реакцию и уважаю ее: вы разделили ее с вашим отцом, что совершенно нормально.

Я хотел бы только сказать пару слов о реальных вещах.

Когда мы познакомились 12 лет тому назад, ваша мать не была счастливой женщиной. Нехватка тепла в ее жизни была очевидна, ее страдание — безусловно. Встреча со мной позволила ей восстановить душевное равновесие, причем, не разрушая семейного здания.

Ныне этому равновесию угрожает ваше молчаливое моральное осуждение, безупречное и похвальное в своей строгости, которое, однако — на мой взгляд — не принимает в расчет чувства другого человека, его ранимость и хрупкость.

Иначе говоря, ваша мать находится — психологически — между молотом и наковальней. Предлагаю вам простое решение: прийти ко мне на ланч вместе с вашей матерью, в Париже, или позавтракать нам всем троим у вашей матери. Или просто посидеть в кафе. Проведенные вместе минуты рассеют — я уверен — тяжесть некогда возникших проблем, с тех пор давно исчезнувших.

Прошу верить, дорогой господин, в мое доброжелательство».

Он отправил мейл в 8 вечера. Интересно, сколько времени понадобится тридцатилетнему мужчине, чтобы освоить неожиданность и содержание — довольно, впрочем, сложное, — переварить что-нибудь обидное, чего отправитель не предвидел, и обдумать ответ? Ах, вот колкая фраза: «Нехватка тепла в ее жизни...» — но ведь юноша-сын был с нею рядом! Значит, и он виноват? (Теперь он был готов закипеть).

Сердечность сына не заменит холодности мужа, не правда ли.

А любовь принимает того, кого любит любимый, как его естественное продолжение.

Владеющий же поступает иначе: ему милей ампутация, несмотря на страдание ближнего. Ведь владелец тоже боится: потерять богатство, опору. Территорию: в значении переносном, но и в обычном, например, квартиру.

Он задремал. Ему снилось множество линий, разноцветных, в даль уходящих пучком, и все они были жизнями его близких, и его собственная, яркая, переливалась, дрожала, он смотрел замороженно, чувствуя, что из глубины его существа поднимается плач, рыдание, и его нельзя удержать, и он никогда не узнает, о чем оно. Он проснулся в слезах.

Ответ был помечен часом ночи.

«Господин», — читал он.

«Не думаю, что между нами существует противостояние, — ваш поступок тому доказательство.

Не думаю также, что она попала между «молотом и наковальней»; я нахожу достойным сожаления представлять ее жизнь под этим углом.

Отношения, которые связывают меня с моей матерью, не задевают ваших, поскольку они различны.

Вы легко поймете, стало быть, что, не впадая в мизантропию, я остаюсь в пожелании не встречаться с вами.

P.S. Буду признателен вам, если вы не станете отвечать на это послание».

Ну что ж, нет так нет. Зато теперь он спокоен: он первый открылся, протянул руку, рискнул пожать два пальца. В конце концов, у Дени своя

жизнь, а он не знает, что в ней крепко и слабо, и как он выкручивается. И в чем-то он прав: «молот и наковальня» тяжеловаты, слишком индустриально, тут он сплосховал. Шатобриана из него не получится.

Да и до Паскаля далеко-далеко...

Правда, метод совсем прояснился: всего в мире по одному экземпляру, похожесть их призрачна, обобщение — смерти подобно.

Легкий, повеселевший, он поехал на велосипеде. Полдень лишь подступал, и он, конечно, успеет на рынок, кипящий, толпящийся на площади и улице Алигр. Там торговцы кричат, словно погонщики ослов, и отчасти оно так и есть. Перед окончанием торговли резко падают цены на овощи, фрукты от них не отстанут, и он накупит ценного фенхеля и выросшей в земле моркови, полной вкуса и сока. И еще купит в честь приятеля Сержа грейпфрутов, загорелых и розовых в срезе, — тот такой их любитель, что приятно смотреть: никогда не разрежет, а очистит задумчиво, разделит на дольки, и белесую пленку снимет; обнажатся блестящие и упругие — вот тут слова ему не хватает, а «зерна» не скажешь, и «волокна» слишком длинные. Альвеолы?

Не взять ли и винограда — золотистого, кстати, и по-гречески, между прочим, *стафили*. Возможно, ему захочется и цветов, тут есть ряд их, но цветочки не вызывают доверия, уж слишком равнодушны к товару, казалось бы, равнодушие профессионалов, но нет, чересчур, от таких им заразишься.

Апельсины сейчас хороши, январь их сезон, а яблоки, конечно, уже в прошлое отступают, хотя хранят их умело в холоде, опрыскав, увы, чем-нибудь сохраняющим, и даже каждое уколол еле заметно.

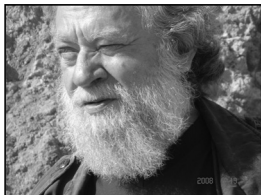
Он раскланялся с молодой болезненного вида женщиной, — они тут встречаются почти каждый раз, и стали здороваться, хотя он не знает ни имени ее, ни — чего же еще? Ни-ни.

Так и быть, возьмет еще брокколи иссиня-зеленого цвета. И кольраби — на память о дедушке подмосковном, крестьянине, полном любопытства к растениям огорода и сада, уцелевшем в стране смерти, — спасенном, может быть, Провидением. Так вот, и кольраби он с выставки привез и развел. Германовон догадается — даже не пробуя — что это *репо-калуста*, вкусная кочерыжка, утратившая листья и округлившаяся. Дед открыл еще морковь *нантскую*, — по имени французского города Нант, ценную тем, что сладкий корень ее остается ощутимо толстым, лишившись тонкого длинного бесполезного корешка.

Насытившись покупками, он отправился к велосипеду, притороченную к фонарному столбу. Сумка была тяжела. Улица — пуста. Подходя, он на багажнике увидел какой-то предмет, его не было раньше, и не он положил. Взяв, заинтересованно расправил. Это была перчатка, женская, очень похожая на те три, с меховой оторочкою. Поставив сумку на землю, он поспешно и сильно сжал себе горло: из глубины поднималось и хотело прорваться рыдание, болезненное и сладкое одновременно, догнавшее его из того недосмотренного сна.

Владимир АЛЕЙНИКОВ

/ Москва /



* * *

В Нескучном саду пробуждается речь,
Подобно ручью под ногами, —
Ах, стало быть, сердце! — его ль уберечь —
Но чую весну за снегами.

Ах, стало быть, вновь — наклониться к ручью,
Биение слушать живое, —
Как птица пред Пасхой, пою и пою,
Как будто прощаюсь с Москвою.

Запомни меня! — я пришёл не их тех,
Что напрочь закроют нам вежды,
И клич пред разлукой — не плата за грех,
Но вещее слово надежды.

В Нескучном саду дерева на виду,
На выданье каждая ветка —
Поэтому к ним из забвенья приду,
Стезёю насытившись редко.

И ты, собеседник, единственный жив
Из всех, в ком залог остаётся,
Чтоб там повстречаться, где, руки сдружив,
Лишь сердце горячее бьётся.

* * *

И свет, заглянувший в окно,
Затронул душевные струны, —
И, стало быть, там, где темно,
Восходят над стогнами луны,

Чтоб надобность дней приподнять,
Как будто несносную веру, —
Но как же мятежность унять?
Нет места такому примеру.

Быть может, в грядущем, потом,
И мы побеседуем просто
Затем, что в краю золотом
Есть память у старого моста, —
И я увлекаю не вглубь,
А далее — в область страданий,
Где горлицу сам приголубь
И вдоволь хлопот и свиданий

Скажи мне, цветок среди скал, —
Что мучит тебя, что тревожит?
Я это полжизни искал,
Но я оглянулся, быть может, —
И встретил, и сразу нашёл,
И вымолвил новое имя
Лишь там, где оправданность смол
Ещё не раскрыта с другими.

* * *

В час дыханья торопишься легче узнать:
Что же кружится в дымке
Облаков? — знать, верны по старинке
Эвридике, душе иль тропинке,
Где себя не понять.

В час дыханья смотри на цветы —
Как растут они просто!
И безумное рвение роста —
Только право земной красоты.

* * *

С водою свинцово-серебрян
Распахнутый по ветру тон,
Тобою неужто затеплен
И только судьбой просветлён.

И озеро всею водою
Покрову открыто небес,
Чтоб ёжил стволы чередою
На сопках распластаный лес.

Так бережно здесь единенье
Тех взоров, что страждут давно,
С естественной властью даренья —
А с ней и слова заодно.

Так долго позволено чуду
Царить и ответствовать впрок
За всё, что зовёт нас, покуда
Касанья не чувствуешь щёк.

* * *

Сколь прекрасна имён новизна,
Столь коварна связующих тяга —
Напряженье как ночи без сна,
Притяженье темно и двояко.

Я не мыслю без лампы окна
И без рассказней нужного дела —
Только б выполнить дело сполна
Да домашняя б лампа горела.

Я не вижу ненужного в том,
Что расхристанность воздуха вешнего
Не поймать ни очами, ни ртом, —
Не плутать бы во тьме неизбежного.

Я не знаю, что лучше найти —
То ли слово, то ль тело понятия, —
Но встаёт, сопрягаясь почти,
Неизменный откос вероятия.

Проезжать бы вовсю поездам
Да мелькать зелеными вагонными —
Настоящему столько воздам,
Что грядущим слывёт законное.

Не тужить бы надежде по нам,
Согреваемым Божьею милостью! —
Как кораблик, плывёт по волнам
Безмятежность с вечернею сыростью.

Что от детства влачить суждено?
Сочетанье измены с доверием!
И поэтому, если темно,
Даже редкому проблеску верю я.

Не грусти, дорогая! зачем?
Я не столь умудрён, но предвижу
Постижение — кому же повем? —
А небесное ближе и ближе.

* * *

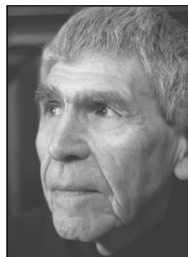
Есть свойство у моих воспоминаний —
Доверчивее в гости приходите,
Чем звёзды, — их не смеешь позабыть —
И столькое во власти расстояний
Меж городом и светом в небесах,
Что снег в летах, как время на часах,
И друг ранимый значим и любим,
И сердцу задохнуться не велим.

А хочется пространства и дороги —
И что же воскрешается в итоге?
Душа неуязвима и чиста,
И пламенем восходит красота
Среди костров осенних и знакомых,
Где дом пустынен, да и дождь не промах, —
Глядишь, как высветляется туман, —
И близок Бог — и дорог талисман.

Февраль придёт с открытыми очами,
И годы соберутся за плечами
Подобьем крыл, знамений и ветрил, —
И ясность аметистовая вспыхнет,
И вечность не уйдёт и не поникнет
Небесных сфер и новых сил.

Владимир ПОРУДОМИНСКИЙ

/ Кёльн /



ТРАПЕЗЫ ТЕНЕЙ

На кухне вымыты тарелки.
Никто не помнит ничего.

Борис Пастернак

Часть третья. Грустный солдат. Мечта

Глава первая

1.

«Именем его императорского величества государя императора Петра Первого, объявляю ревизию сему сумасшедшему дому!».

2.

Редко, когда писателю посчастливится так начать текст.

Так энергично. Так захватывающе. Тотчас забирает и уже — не отпускает.

Так многозначно.

3.

Перечитываю Всеволода Гаршина.

«Красный цветок».

4.

Требуется большое умение, чтобы хорошо *начать*.

Впрочем, про Гаршина, пожалуй, не скажешь: *умение*.

У него это как-то само собой получалось — хорошо, сильно начинать.

Может быть, от предельной искренности.

Когда главное, то, что мучает, не дает покоя, рвется наружу, требует воплощения в слове, когда *такое главное* не утаивается в гуще и круговращении слов и фраз — выговаривается тотчас, полнясь мучительной, жгучей любовью к тем, к кому оно обращено, к нам, и такой же мучительной, жгучей болью, оттого, что сумасшедший дом, в котором нам выпало обитать, устроен скверно, требует немедленной ревизии.

5.

(«Лицо почти героическое, изумительной искренности и великой любви сосуд живой», — это Горький о Гаршине. Хорошо сказал.)

6.

Вот и письмо к графу Лорис-Меликову, всесильному диктатору последней поры царствования Александра Второго. Гаршин и письмо так же начал — сразу суть, сразу на самой высокой ноте:

«Ваше сиятельство, простите преступника!..»

Это он убеждал диктатора простить революционера, террориста, несколькими часами раньше в него, в Лорис-Меликова, неудачно стрелявшего.

«Простите человека, убивавшего Вас!»

Всего-навсего!..

(Письма Гаршину показалось мало. Жизнь и творения у него всегда в одном русле — продолжают, обгоняют друг друга. Ночью, накануне казни террориста, он чудом пробился к диктатору на квартиру — плакал, требовал, убеждал, умолял совершить подвиг милосердия. Лорис-Меликов, чтобы от него отделаться — всё же известный писатель! — чуть ли не пообещал пересмотреть дело. Утром покушавшегося повесили, конечно...)

7.

И начало единственной встречи Гаршина с Толстым тоже предельно неожиданно и необычно.

Почти невероятно.

Вечером, уже в сумерках, Гаршин появился в Ясной Поляне. Попросил позвать хозяина.

Лев Николаевич вышел к незнакомцу.

«Что вам угодно?»

«Прежде всего мне угодно рюмку водки и хвост селедки».

«Прекрасное лицо, большие светлые глаза, всё в лице открыто и светло...» (будет много позже вспоминать Толстой).

8.

...Глаза Гаршина были черные, но *светлые глаза* у Толстого — не цвет, а нечто иное. Не цвет, а свет (внутренний). В «Холстомере» находим: «глаз — большой, черный и светлый»...

Лев Николаевич пригласил нежданного посетителя в кабинет.

9.

Они вместе обедали, потом долго беседовали. Почти всю ночь.

Гаршин вспоминал: эта ночь была *лучшей, счастливейшей* в его жизни.

10.

Толстой не сразу понял, что перед ним — *писатель*.

Тот самый Всеволод Гаршин, молодой, недавно начавший, но уже снискавший имя и всеобщую любовь. (Толстой несколько его рассказов прочитал — да и появилось всего несколько, — они ему понравились.)

Писателей по повадке Лев Николаевич не сильно жаловал.

Сын Толстого, Илья Львович, сказал как-то (Бунину): у них, в Ясной, на *писателей* смотрели «вот как» — и, нагнувшись, провел рукой где-то на уровне низа дивана.

А тут (самого Толстого впечатление): *писателя* видно не было — «просто добрый, милый человек».

Для него — очень дорого!

11.

Встреча произошла 16 марта 1880-го, через три недели после казни революционера, стрелявшего в Лорис-Меликова.

Всё это время Гаршин в сильном возбуждении, оставив Петербург, бродил по Московской, Орловской, Тульской губерниям (он и в Ясную Поляну пришел пешком). Его поступки подчас поражали окружающих.

Гаршин с юных лет был душевно болен: всякое его действие, не соответствующее общепринятой *норме*, проще всего считать «безумием».

Появление в Ясной Поляне (без предупреждения, не вовремя, пешком в распутицу, «рюмка водки и хвост селедки») подчас включается в цепь «безумств» Гаршина после роковой для него ночи накануне казни и рокового утра казни свершившейся.

Если так, если встреча, о которой речь, всего лишь — «безумство», то она не имеет существенного значения ни в биографии Гаршина, ни в биографии Толстого.

Того более: вовсе значения не имеет.

Но вряд ли пронизательнейший Толстой проговорил бы всю ночь с безумцем, позвал бы и семейных его слушать, детей с учителем, и десятилетия спустя, уже не помня подробностей беседы, повторял бы убеж-

денно, что Гаршин был ему близок, что он, Толстой, одобрял и приветствовал его начинания, что Гаршин «был полон планов служения добру», и — «это была вода на мою мельницу».

Илья Львович Толстой, подростком присутствовавший в тот вечер в отцовском кабинете, вспоминал, что никому из участников встречи и в голову не пришло, что перед ними человек большой, возбужденный надвигающейся болезнью.

12.

Всё дело в том, где проводятся границы *нормы*, обозначается ее уровень.

13.

В конце 1870-х — начале 1880-х — у Толстого окончательно складывается система представлений, которые скоро назовут его — толстовским — *учением*. Переворот, духовный перелом, совершившийся в Толстом (по слову современников — «обращение»), уже для всех очевиден. Друг Толстого, философ и литературный критик Страхов сообщал ему из Петербурга, что «обращение» понимается там многими как нечто противное разуму.

(Письмо написано как раз за неделю до появления Гаршина в Ясной Поляне.)

14.

Да и близкие (Софья Андреевна — первая) смотрели на эту обжигающую Толстого потребность переустройства жизни, прежде всего собственной, как на *болезнь*.

Сообщая брату о том, что продолжает работать над религиозно-философскими сочинениями, Лев Николаевич писал: «Я всё так же предаюсь своему сумасшествию, за которое ты так на меня сердиться... Постараюсь только впредь, чтобы мое сумасшествие меньше было противно другим...»

Одна из дневниковых записей этой поры (после того, как услышал разговор домашних о происходящем в большом мире и в своем мире, домашнем): «Кто-нибудь сумасшедший — они или я».

Замысел рассказа о человеке, решившем повернуть свою жизнь от служения себе к служению другим людям, называется в рукописях то «Записками сумасшедшего», то «Записками несумасшедшего».

15.

Годы спустя Нехлюдов в «Воскресении», взглянув *окрест себя* возжелавшими *видеть* глазами, повторит: «Я ли сумасшедший, что вижу то, чего другие не видят, или сумасшедшие те, которые производят то, что я вижу».

16.

Нужна ревизия себя, ревизия своего духовного и душевного Я («чистка души», — называют это Толстой и его герои, Нехлюдов — тоже), чтобы объявить *ревизию сему сумасшедшему дому*.

17.

Через два месяца после встречи Толстого с Гаршиным широко праздновалось открытие в Москве памятника Пушкину (событие, по составу участников, по речам, на торжествах произнесенным, вошедшее в историю русской культуры).

Толстой на чествование ехать решительно отказался: оно представилось ему чем-то неестественным — «не скажу — ложным, но не отвечающим моим душевным требованиям».

В дни пушкинского праздника среди собравшихся литераторов и ученых разнесся слух, что Толстой помешался.

Достоевский писал жене: «Сегодня Григорович сообщил, что... Толстой почти с ума сошел и даже, может быть, совсем сошел».

И на другой день: «О Льве Толстом и Катков подтвердил, что, слышно, он совсем помешался. Юрьев подбивал меня съездить к нему в Ясную Поляну: всего туда, там и обратно менее двух суток. Но я не поеду, хоть очень бы любопытно было».

18.

Достоевский, хотя бы из любопытства, а не поехал.

Гаршин поехал (пошел) не из любопытства.

Для него как раз то и важно, что Толстой «обратился», «помешался».

Он это понял, почувствовал, не дождавшись, пока среди литераторов пошли слухи.

Сам он едва не от рождения из таких «обращенных», «помешанных». Трагическое событие, которого он оказался участником, распалило его «помешательство», потребовало от него переустроить свою жизнь, искать для нее новые пути.

19.

Известный психиатр Сикорский, знакомый Гаршина, писал о «Красном цветке», что в рассказе замечательно точно передан характер болезни героя. У таких людей в маниакальном состоянии устремления по большей части соответствуют их обычной логике, но обретают в поступках особенную силу и остроту.

Не знаю, насколько такое положение соответствует взглядам сегодняшней психиатрии, но у Гаршина дело обстояло именно так.

20.

«Война решительно не дает мне покоя... Нервы, что ли, у меня так устроены, только военные телеграммы с обозначением числа убитых и раненых производят на меня действие гораздо более сильное, чем на окружающих», — признается герой гаршинского рассказа «Трус» (речь о русско-турецкой войне конца 1870-х).

Герой этот — не устремленный к великому жертвенному подвигу безумец «Красного цветка», а «смирный, добродушный, молодой человек» (говорит он о себе). Его ревизия *сему сумасшедшему дому* в том, что он добровольно идет на ненавистную ему войну, уносящую жизни других людей, и погибает в первом же бою.

21.

«Мамочка, я не могу прятаться за стенами учебного заведения, когда мои сверстники лбы и груди подставляют под пули. Благословите меня».

22.

Это: Всеволод Гаршин — матери (весна 1877-го).

Может не идти.

Студент (Горного института).

Болен.

Но: *не* может — *не* идти.

Когда другие... под пули...

23.

«Война есть общее горе, общее страдание, и уклоняться от нее, может быть, и позволительно, но мне это не нравится»... Это — один из его героев всё о той же войне.

24.

Еще ни в чем не преуспел студент Горного института Всеволод Гаршин.

Учебные занятия — оставляют желать лучшего.

Любовь, — похоже, оказалась не тем, чего искал, чем почудилась поначалу.

Быт — трудный, с заботой о набойках на сапоги.

Литература — мечта, им владеющая («я должен идти по этой дороге во что бы то ни стало»), — пока лишь один никем не примеченный газетный очерк о земском собрании (текст в духе прозаиков-публицистов тех лет), плюс такой же немного значащий газетный отчет об очередной художественной выставке, да несколько рукописных стихотворений, которые и послать-то куда-нибудь стыдно.

Он идет лоб и грудь подставлять под пули, добровольно расставаясь с самой дорогой из всех возможных жизнью — с жизнью, еще — *не начатой*. Полной надежд.

25.

«Если меня пустят, прощайте, моя дорогая; живой я, должно быть, не вернусь»...

Это он, собираясь на войну, — девушке, которую, ему кажется, что любит.

«Не смейся над моей пророческой тоскою. // Я знал: удар судьбы меня не обойдет...»

Одно из любимейших его стихотворений:

С этим знанием — что «*не обойдет*» — он всю жизнь прожил.

27.

Он выдержал тяготы похода, храбро сражался, получил свою пулю.

Правда, не в лоб, не в грудь, — в ногу.

Удар, с которого судьба — *началась*.

28.

«Рядовой Всеволод Гаршин примером личной храбрости увлек вперед товарищей в атаку, во время чего и ранен в ногу», — сказано в полковой реляции о сражении 11 августа 1877 года под Аясларом (в Болгарии).

Личная храбрость, спору нет, но — не только.

Когда их рота начала было отступать, Гаршин увидел на полоске ничьей земли тяжело раненого солдата, обреченного вот-вот попасть в плен к туркам.

И — не мог не броситься.

Не мог, чтобы другие подставляли вместо него лбы и груди под пули.

Он бросился вперед — и *свою* пулю получил.

29.

Он отправился воевать, убежденный, что война есть общее горе, общее страдание.

На войне он понял, что она еще и — *общее зло*.

Что на войне не только лбы подставляют, но и целят другим в лоб.

30..

В военном госпитале он написал рассказ.

Русский солдат, раненый в ногу, четыре дня, никем не замечаемый, лежит на тесной, огороженной высокими кустами поляне рядом с убитым им солдатом вражеским.

Рассказ не о себе, но — от первого лица.

От — Я.

«За что я его убил?.. Чем же он виноват? И чем виноват я, хотя я и убил его?»

Под знойным южным солнцем труп убитого быстро разлагается, а убийца — Я — пьет теплую воду из его фляги: «Ты спасаешь меня, моя жертва!..»

31.

Рассказ тотчас напечатали «Отечественные записки», *главный* тогдашний журнал.

И — как принято обозначать — *проснулся знаменитым*.

Его — *начало*.

Имя Всеволода Гаршина, вчера никому неведомое, восторженно повторяла читающая Россия.

В фотографическом заведении, где он недавно снимался, нарасхват разбирали портрет молодого человека в серой солдатской шинели.

Глава вторая

1.

Мне пришло в голову написать книгу о Гаршине задолго до того, как я взялся ее писать.

Это не было решение. Это была — мечта.

Время, о котором речь, не побуждало меня принимать такое решение.

Воздух вокруг сгущался, тяжелел, — я чувствовал это.

Советский Союз испытал ядерное оружие.

Меня направили из части, где я тогда служил, на офицерские курсы — сдавать лейтенантские экзамены.

Я боялся, что после присвоения звания меня домой не отпустят — оставят в кадрах.

Начальник курсов, полковник Каныгин, лицом замечательно похожий на маршала Жукова, в дружеской беседе меня успокаивал: войну лучше начинать не дома, а у себя в части. Из дома тебя выхватят и швырнут, куда попало, а в части ты уже на своем месте — все тебя знают и ты всё знаешь.

2.

...Темной полярной ночью я полз на брюхе по заснеженной равнине тундры от Камня в сторону Научного Центра.

Центр располагался у подножия северных гор, в стороне от города, в котором стояла наша часть.

Нужно было доехать на автобусе до конечной остановки и оттуда пешком еще километра полтора по хорошей дороге. Но можно было сократить путь: сойти несколько раньше — у Камня — и отшагать те же полтора километра проложенной напрямик через тундру тропой.

Я ездил в Научный Центр к моему московскому приятелю Грише Б., биохимику. По окончании института Гришу распределили работать на Север. По тем временам хорошее распределение: платили полярную надбавку, на комнату в Москве давали бронь.

3.

Гриша был уверен, что похож на Маяковского: высокий, широкоплечий, четкие, несколько резкие, черты лица.

Маяковского он обожал: знал десятки его стихов на память, читал со сцены и в компании, то и дело цитировал, маленькую красную книжечку сочинений поэта постоянно носил в кармане, как благочестивый проповедник Евангелие. Теперь бы его назвали *фаном*, в ту пору такого слова в нашем языке еще не было. Таких фанов Маяковского появилось много среди молодежи в тридцатые годы, после самоубийственного выстрела. В сороковые, тем более — в пятидесятые число их поубавилось: поэт изымался из личного обожествления, будучи назначен одним из центральных образов государственного идеологического иконостаза.

4.

Я рвался к Грише не для того, чтобы обсуждать подробности жизни и творчества Маяковского.

Хотелось поговорить по душам.

В те годы плакат «Не болтай!», напоминавший нам о повсеместно затаившихся врагах, стал также правилом межчеловеческого общения. Было большой удачей и радостью обрести собеседника, с которым можно без боязни откровенно размышлять вслух (негромко, конечно) о том, что происходит в мире вокруг и в тебе самом. Возможность откровенно *поболтать* была добрым зарядом кислорода.

5.

Исправным исполнением обязанностей я выслужил увольнение на сутки.

Несказанная удача! Не скудные три часа — безмерное пространство времени с вечера субботы до исхода воскресения.

В ожидании субботнего вечера я мысленно прикидывал темы наших с Гришей бесед, отлично сознавая, что с первых же слов разговор заце-

пится за что-нибудь, вовсе непредвиденное и, перескакивая от одного к другому, устремится вовсе не туда, куда я заранее предполагал его направить.

Каждая минута предстоящей встречи ощущалась бесценным даром, который никак невозможно было утратить.

Я отправился в путь около восьми вечера. Автобусы шли редко. Хорошо, если в час — один. Пассажиров — по пальцам пересчитать: на дворе холод, тьма. Горожане после трудового дня разбрелись по своим нормам. Только на городской площади, у кассы кинотеатра еще толпился народ. Весь день мело. Дорога не расчищена. Автобус полз еле-еле: мне казалось, что пешим ходом я бы его обогнал. Я продул себе на заиндевавшем стекле пяточок и смотрел, как медлительно тащатся навстречу дома, заборы, бараки окраины; наконец город остался позади, — только полоса снега, выхватываемая из темноты фарами автобуса, неторопливо разворачивалась за окном. Я то и дело взглядывал на часы, — бежавшая по кругу стрелка одну за другой крала у меня принадлежавшие мне драгоценные минуты. В автобусе было холодно. Садило в окна, в щель между створками неплотно прикрывавшейся двери задувало снег. Кроме меня, никто из немногих пассажиров, похоже, не спешил. Одни дремали, другие тихо переговаривались, припоздавшие домой женщины устало думали о чем-то своем, прижимая к животу туго набитые авоськи. Водитель, дымивший едкой папироской, неподвижно держал руку на рычаге переключения передач и то и дело прижимал ногой педаль тормоза.

До Камня вместо двадцати пяти минут ехали все пятьдесят.

6.

Остановка у Камня была по требованию.

Камень стоял посреди тундры: ни жилья человеческого, ни каких-либо иных строений вокруг не было.

Что-то вроде огромного обломка скалы, — возможно, напоминание о древнем ледниковом периоде.

Я попросил водителя остановиться.

Он недовольно посмотрел на меня:

«Куда? За день, гляди, намело — не пройдешь».

«Как-нибудь!» — отозвался я с деланной лихостью.

«Как-нибудь и котенка не сделаешь... — Водитель пыхнул папироской. — Ну, смотри, сержант. Дело хозяйское».

Дремавшая на переднем сиденье женщина в солдатском бушлате с тугой авоськой на коленях открыла усталые глаза, прислушиваясь к нашему разговору, и тут же снова задремала.

7.

Я спрыгнул на дорогу.

Дорога шла по насыпи, повыше уровня равнины, ветер здесь сметал снег. Мне показалось, что он лежит достаточно плотно.

Перед машиной снег ярко сверкал под лучами фар, по борту на снегу лежали светлые четвероугольники окон..

Ночь была ясная. Надо мной, от одного края земли до другого, раскинулось огромное черное небо, усыпанное яркими звездами.

Водитель, помедлив, закрыл дверь, автобус тронулся. Он уезжал прочь от меня неожиданно быстро. Воздух померк, будто кто-то передвинул рычажок выключателя. Мигнул вдали красный фонарик и исчез. Я остался один посреди необозримой ночи.

Мне стало жутковато и весело — вместе.

Я любил «погружаться в неизвестность», — чтобы никто на всем белом свете не ведал о моем местонахождении.

Теперь, в старости, это прошло.

Появились страхи.

Страх — не выбраться.

Остаться ненайденным.

8.

Я стоял на дорожной насыпи, спиной к Камню.

Передо мной, насколько хватало взгляда, расстелилось белое полотно тундры.

Очень далеко, над самым горизонтом скромным неярким созвездием светились огоньки Научного Центра.

Я мысленно провел прямую из точки *А*, где стоял, до точки *Б*, помеченной этими огоньками.

Поймал взглядом на небосклоне три ярких звезды пояса Ориона — Небесный Охотник всегда приносил мне удачу — и весело сбежал с насыпи.

Глава третья

1.

Мне было показалось, что мои ноги нащупали тропу, но шаг, другой — я уже стоял по колени в снегу. Третий шаг — и провалился по пояс.

Я был неопытным северянином, но мне уже приходилось на учениях в заснеженном поле рыть ходы выше человеческого роста.

(Однажды по делам службы я заночевал в одноэтажной служебной постройке — к утру ее завалило по самую крышу. Чтобы помочиться, я долго нажимал плечом на отворявшуюся наружу дверь, вдавливая ее в снежный пласт, пока наконец не образовалась узкая щель.)

Теперь я стоял по пояс в снегу среди разбежавшейся во все стороны тундры, у меня было на два выбора меньше, чем у витязя на распутье, и так же, как у него, лишь один возможный — вперед.

Не возвращаться же на дорогу, чтобы ждать обратного автобуса, который еще Бог весть, пойдет ли? Не отказываться же от всех прелестей

редкостного суточного увольнения потому только, что сдуру выпрыгнул из автобуса прежде времени? Не признаваться же самому себе, не говоря уже о водителе с его папироской, когда он поедет обратно, что выпрыгнул сдуру?

Я был еще достаточно молод, чтобы не предаваться отчаянию.

Высоко надо мной сияли бело-голубые звезды Ориона («голубые песцы»?). Впереди, у самого горизонта, мерцали теплые огоньки Научного Центра.

Я опустил на брюхо, выпростал из снега ноги — и пополз.

2.

Я люблю мечтать.

Когда со стороны кажется, будто я глубоко задумался или, того скорее, будто вовсе ни о чем не думаю, я — мечтаю.

Мечтать я люблю о неисполнимом.

Неосуществимом.

В мечте о том, что может исполниться, осуществиться, особенно же о том, что сам при известном старании способен осуществить, есть очевидная неполнота.

Оттенок плана.

Ты лишь поднялся на воздушном шаре над землей, над сегодняшней своей реальностью, чтобы заглянуть подальше, увидеть будущие возможности.

Настоящая мечта — это прорыв в иное пространство.

В котором нет неисполнимого. Потому что всё — изначально неисполнимо.

Где невозможное — возможно.

Точнее будет, если переставить слова: где возможно невозможное.

Возможно — всё.

3.

Про воздушный шар я написал потому, что в эту минуту, за моим окном плывут по небу семь (нет, восемь) красивых, разноцветных монгольфьеров. В двух или трех, что поближе, даже на расстоянии различимы фигурки пассажиров, вдруг ярко взблескивающий огонек горелки.

Здесь нередко, особенно по праздничным дням, предлагают желающим такие воздушные путешествия.

Шары надувают и запускают недалеко от дома, в котором я обитаю, — с широкой поляны в Декштайне. Однажды, прогуливаясь в тех местах, я видел, как раздается в объеме, обретает круглоту, поднимается над землей, толкается, пытаюсь оторваться от нее, огромный ярко-желтый лимон; небольшая группка воздухоплателей дожидалась, пока команда подготовит шар к полету.

Н. очень хотела совершить такое путешествие. Я побаивался. А она не то, чтобы смелая была (слишком скромна для смелости) — просто бесстрашная.

Я несколько раз обещал ей «покатать на шаре», но всё было недосуг. Потом, когда болезнь заперла ее в четырех стенах, она смотрела в окно на проплывавшие над домом желтые, красные, зеленые шары, — полет сделался уже мечтой. Настоящей. Неисполнимой.

4.

Часто ползать по-пластунски мне в армии не приходилось. Разве что в первые месяцы службы, когда мы, начинающие солдаты, отданы были под власть старшины Николаева, известного в полку плодотворным умением превращать штучных людей в безличный личный состав.

Старшина Николаев особенно охотно приказывал нам ползти в плохую погоду, когда земля под ногами была залита лужами и отзывалась на тяжелые солдатские шаги сочным чмоканием. Если неподалеку от дороги или поля для занятий оказывались гражданские лица, тем более молодые особы женского пола, приказ ползти следовал почти неукоснительно.

Я очень благодарен старшине Николаеву. Неделя, другая: я вдруг почувствовал, что приказ ложиться в грязь и ползти уже не вызывает во мне негодования. Ложусь и ползу, не думая о шинели, штанах (колени!), сапогах и иной одежде, которую не успеешь ни просушить, ни отчистить, ползу не замечая смеха и шуточных приветствий зрительниц, коли таковые имеются, и тем более вовсе забывая о разных высоких материях, вроде соображений о справедливости и гуманности. Уроки смирения никогда не бывают напрасны и оказываются необходимы на всем протяжении жизни.

5.

Первые полсотни метров ползти было нетрудно, даже весело. Но вскоре я почувствовал, что задал себе нелегкий урок.

Снег залезал за ворот, набивался в сапоги, таял в них; ноги горели и мерзли одновременно. Спина взмокла от жаркого пота. Пот струился (*катился... лился...* — не люблю описывать движение, суета глаголов меня утомляет), пот тек со лба, тотчас застывал ледяной корочкой на бровях, тяжелил инеем ресницы. Плечи болели, спина... Я приподнимал голову: огоньки Научного Центра мерцали по-прежнему далеко, будто я полз на месте. Я устремлял взгляд в небо: яркие звезды Ориона возвращали мне надежду...

Глава четвертая

1.

...Давно не писал.

Месяц, наверно. Или больше.

Немало, если писать за долгие годы стало такой же потребностью, как дышать, есть, пить, спать, видеть небо, любить.

Если жизнь неполна, когда на протяжении дня не подошел к *верстаку*. Неполнота жизни — как болезнь (а болезнь непременно неполнота жизни).

Работа томила неосуществимой мечтой и мучила неосуществимостью.

Мысли в голове, пусть не всегда *волновались в отваге*, но ворочались, подчас даже шустро, и *пальцы просились к перу*, но — за работу не принимался.

От старости, должно быть, я разучился объединять работу пером с суетой дня.

Прежде, если выпадали всего полчаса какие-нибудь, я спешил к письменному столу...

Абзац — хорошо. Строка — тоже неплохо.

С течением лет я разучился работать урывками.

Мне необходимо теперь пространство времени.

И к нему особого рода спокойствие, без которого (опять вспоминаю Пушкина) *ничего не произведешь, кроме эпиграмм на Каченовского*.

2.

(Пушкинские эпиграммы на Каченовского и в самом деле отмечены раздражением и дерзостью «журнальных драк». Суетой дня.

Михаил Трофимович Каченовский в разные годы занимал в Московском университете кафедры всевозможных историй — русской, всеобщей, славянских литератур, а также кафедры археологии, теории изящных искусств, статистики, географии. Человек был образованный. Его лекции — по общему признанию, утомительно скучные — охотно, однако, слушали Герцен, Кавелин, Гончаров, Сергей Соловьев (историк).

В литературных вкусах образцовый старовер, Каченовский молодую литературу не жаловал. Пушкина принялся критиковать, едва имя поэта засветилось на горизонте отечественной словесности. Появление «Руслана и Людмилы» сравнил с втершимся в Благородное собрание мужиком с бородою, в армяке и лаптях, закричавшим зычным голосом: «Здорово, ребята!» Пушкин отвечал на критики Каченовского эпиграммами, подчас грубыми. Ни на кого так много эпиграмм не сочинил.

Но, когда, уже в 1830-е годы, дело дошло до избрания Пушкина в члены Российской Академии, Каченовский подал за него голос. И об «Истории Пугачевского бунта» отозвался определенно (уже после смерти Пушкина): «Один только писатель у нас мог писать историю простым, но живым и сильным, достойным ее языком. Это Александр Сергеевич Пушкин...»)

4.

Но я не про Каченовского, я про — *Дубулты*.

Пишу курсивом, чтобы отличить некое знаковое понятие в моей жизни от географического названия.

Дубулты я то и дело вспоминал, пока не работалось.

Именно потому вспоминал, что там — *работалось*.

Хорошо. Как-то по-особенному хорошо.

Одно слово — *Дубулты*.

Дубулты, собственно, для того и были созданы, чтобы там — работать. «Творить».

Всё же смешно: парк — культуры, дворец — науки, дом — творчества.

5.

Серое пятиэтажное здание с большими окнами на берегу залива.

Когда, задумавшись, поднимаешь глаза от бумаги, видишь за окном неяркое балтийское небо, серую неторопливо качающуюся воду, светлую песчаную полосу берега.

Рижское взморье.

6.

После раннего завтрака разбредались по комнатам.

В комнатах стояли письменные столы, манившие простором.

Всю жизнь любил просторные письменные столы.

Широкая, ничем не загроможденная столешница. Как футбольное поле.

Или — как чистый загрунтованный холст, манящий мастера бесчисленными возможностями.

Мечтал дома иметь такой. Не получалось. Для *такого* стола жил тесновато. В пространстве тесновато и — во времени.

Стол у меня дома был старинный, достался мне от отца.

Я — редкий москвич: прожил все шестьдесят шесть лет, до отъезда сюда, в Германию, в тех стенах, где родился.

Может быть, первое, что я увидел на этом свете, как раз отцовский письменный стол. Его ящики были набиты осколками памяти нескольких семейных поколений. Зеленое выцветшее сукно было пропылено минувшим. Редко сменяемые фотографии под стеклом, схваченные взглядом, тотчас раскручивали ленту воспоминаний.

(Ныне маленький непонятого назначения стол, приспособленный мне под письменный, тулится в уютной кладовой. По левую руку от меня — старый диван, на котором стелят заехавшим с ночлегом гостям; работа, я раскрываю на нем книги, раскладываю бумаги. По правую — стеной шкаф с бельем и одеждой, мне не принадлежащими, и высокая гладильная доска; хозяйничая в кладовой, я заменяю уют на доске чайником с крепко заваренным чаем. Зато прямо передо мной — схваченное мелким переплетом старинной рамы окно; за ним — веселая листва уже на моих глазах вымахавшей ввысь березы, широкое небо, едва не всякий вечер поражающее новой и неожиданной красотой заката, высокие черепичные крыши города, о котором я сказал однажды, что он никогда не станет моим прошлым.)

7.

За письменным столом в *Дубултах* вольно дышалось. Напоенный кислородом, свежий воздух залива приносил нужные слова.

8.

Ровно в полдень звонил Юра Овсянников: приглашал на чашку жасминового чая.

Отведенные Юре покои размещались этажом ниже.

Настоящий китайский жасминовый чай был тогда редкостью.

Юра, выключив кипятильник, старательно колдовал над заваркой.

Казалось немного странным, что вместо привычного густого черного чая тонко дымится бледно золотистая настойка с нежным цветочным запахом.

За чаепитием говорили о работе.

Я всегда был скрытен, когда разговор касался того, что я пишу. Может быть, моя склонность к суеверию нашептывала мне, что не следует много распространяться о деле еще не завершенном. Впрочем, тут причиной, наверно, моя неуверенность в себе: я втайне опасался, что замечания собеседника вместо того, чтобы помочь, вовсе отобьют желание продолжать.

Юра, наоборот, любил спрашивать совета: спорил, соглашался, обсуждал возникавшие варианты. Иногда, наоборот, он предлагал послушать текст, не вызывавший у него сомнений, по собственному суждению, ему удавшийся: он читал его вслух, весело, радуясь, вкусно выласкивая интонацией точно найденное слово.

Беседа распяляла охоту скорее возвратиться к столу. Мы, молча, торопливо допивали уже остывшую душистую настойку и разбегались до обеда.

9.

Я был в *Дубултах* осенью.

В свободные от занятий часы отправлялись на долгую прогулку по берегу.

Особенный балтийский воздух дарил телу, мыслям, движениям энергию кислорода. Будто не по земле шагаешь, не по светлой полосе влажного, плотного песка, а паришь над серой холодной водой, как корабль с набитыми крепким попутным ветром парусами. Идешь, идешь, сменяются выстроившиеся вдоль залива городки *Взморья*, а стремление идти не оставляет, и усталость какая-то особенная, не утомляющая, бодряя.

Вечером, в темноте, выходили *своей* компанией на прямую, протяженную улицу, ниткой ожерелья пронизывающую и соединяющую все эти городки: шатались туда и обратно, то по одной стороне улицы, то по другой, болтали дело и безделицу, шутили, смеялись, флиртовали, переключались.

кались с встреченными знакомыми, пили непременно рижское пиво. (Я не любитель пива, мне больше оказались по душе у нас, в Москве, тогда неведомые, да и позже тоже не прижившиеся, рюмочные: вам подавали на тарелке рюмку водки и к каждой обязательную закуску — бутерброд с селедкой или иной какой соленой рыбкой.)

Там, в *Дубултах*, как-то само собой сложились эти *свои* компании: давние друзья и знакомые — и новые, только тут появившиеся. В каждой компании, опять же само собой, возникала своя иерархия, своя система отношений, и опять же система отношений между компаниями, как между государствами, от дружески единомысленных до прохладно нейтральных, — замкнутый мир *Дубултов*, время существования которого для каждого его обитателя исчислялось указанным в литфондовской путевке сроком, отведенным для творчества.

Вот, пишу, вспоминаю тех, с кем прожил в этом мире доставшийся мне трех- или четырехнедельный (точно уже не помню) век, и все, кого вспоминаю, кажутся теперь людьми замечательно интересными и привлекательными, а дамы — еще и прекрасными. И кого ни вспомню, никого уже нет.

Глава пятая

1.

Я лежал ничком, слегка приподняв голову, и однообразными сильными движениями рук будто старался поглубже протолкнуть под себя заснеженный земной шар.

Житель Ориона (если бы таковой там нашелся), наведя совершеннейший оптический прибор на нашу Землю, наверно, очень бы удивлялся, разглядывая нелепую черненькую фигурку, неведомо за чем одиноко переползавшую пустынное белое поле. Впрочем, вряд ли в тот вечер я думал об этом, но на своем пути я то и дело старался, слегка повернув голову налево, схватить краем глаза сияющие на черном небе светила любимого созвездия: касание их лучей дарило мне, как язычнику древности, хмель мужества и силу безоглядно продолжать движение.

Иногда ветер пробегал по низу, разом стирал пот со лба, слепил колючим снегом, морозил лицо. Огоньки Научного Центра, по-прежнему, казалось, бесконечно далекие, вовсе исчезали из глаз.

2.

Может быть, я вспоминал известную картину В.В. Верещагина «На Шипке всё спокойно» — наивный публицистический триптих: метель на трех холстах засыпает снегом солдата-часового; на последнем, третьем, он уже вовсе, с головой, укрыт сугробом.

(Но, может быть, и не вспоминал: я был молод — душа не была еще искажена опытом страха.)

3.

Название картины взято из рапорта одного из генералов русско-турецкой войны 1877-1878 годов.

Четыре слова генеральского рапорта, преображенные Верещагиным, наполнились иным смыслом.

Благодаря Верещагину фраза стала крылатой.

Она и поныне таит в себе глубокий смысл, одним разом не исчерпываемый.

4.

Крылатая фраза ей под стать явилась уже в двадцатые годы только что минувшего столетия: пять слов (в немецком оригинале — четыре) будничной военной сводки, преображенные в заглавие романа.

«На Западном фронте без перемен».

5.

Тоже своего рода — формулы войны.

6.

Герой Гаршина, тяжело раненный, лежит на крошечной, отгороженной от мира высокими кустами поляне.

Лежит, забытый, рядом с трупом убитого им человека.

«Я лежу, кажется, на животе и вижу перед собою только маленький кусочек земли. Несколько травинок, муравей, ползущий с одной из них вниз головой, какие-то кусочки сора от прошлогодней травы — вот весь мой мир...» Потом ему удастся перевернуться, и он видит «звезды, которые так ярко светятся на черно-синем болгарском небе».

Небольшое, хотя и мучительно давшееся движение тела уводит его от травинки, муравья, кусочков сора — в иной мир. В бесконечность.

Он пьет теплую воду из фляги лежащего рядом трупа — и братается с убитым им человеком.

Он знает, что скоро умрет.

«Только в газетах останется несколько строк, что, мол, потери наши незначительны: ранено столько-то, убит рядовой из вольноопределяющихся Иванов. Нет, и фамилии не напишут, просто скажут: убит один».

7,

На Шипке всё спокойно.

И на всех фронтах — без перемен.

8.

Рядовой из вольноопределяющихся Гаршин сражался на той же войне, с которой знаменитый живописец-баталист Верещагин привез свою «Шипку».

9.

Тремя годами раньше Всеволод Гаршин рассматривал на выставке Верещагина в Петербурге картины, привезенные с другой войны — туркестанской.

«Я не увидел в них эффектного эскизца, // Увидел смерть, увидел вопль людей, // Измученных убийством...»

Это — из его наивных стихов (впечатление от выставки), искренних и неумелых.

Ничего он, конечно, еще не увидел, исполненный сострадания к людям гимназист выпускного класса.

Хотя картины у Верещагина страшные.

Отрубленные солдатские головы, насаженные на колья или брошенные к ногам победителя. Смертельно раненный, который, сжимая кровавую рану на груди, еще бежит навстречу неприятелю («Ой, убили, братцы!.. убили...» — надпись на раме). И другой раненый — забытый в знойных песках; он еще жив, но вороны уже кружат над ним...

Страшно.

Но это пока — чужой опыт.

На войне Гаршин был однажды послан на поле недавно минувшего боя — убирать трупы.

Его забытый герой вспоминает, как убил человека, из фляги которого пьет спасительную воду: «Одним ударом я вышиб у него ружье, другим воткнул куда-то свой штык. Что-то не то зарычало, не то застонало...»

10.

Выставку Верещагина венчал знаменитый плакатный «Апофеоз войны» — гора черепов посреди неоглядной пустыни: белые, дочиста оглоданные временем черепа, выжженный солнцем песок и выгоревшее небо над ним (надпись на раме: «Посвящается всем великим завоевателям, прошедшим, настоящим и будущим»).

Герой Гаршина, укрытый от глаз людских густым, колючим кустарником, день за днем поневоле осужден наблюдать, как под палящим солнцем разлагается лежащий рядом труп. «Раз, когда я открыл глаза, чтобы взглянуть на него, я ужаснулся. Лица у него уже не было. Оно сползло с костей. Страшная костяная улыбка, вечная улыбка показалась мне такой отвратительной, такой ужасной, как никогда... Этот скелет в мундире с светлыми пуговицами привел меня в содрогание. «Это война, — подумал я: — вот ее изображение»».

11.

...Я пишу это в мире, терзаемом войнами.

Наверно, потому и пишу.

Под окном, по темной пустой улице проезжает на велосипедах стайка разгулявшихся юношей и девушек. Несмотря на ночной час, они шумно звенят звонками и поют веселую песню.

Глава шестая

1.

Я всегда с интересом читал Шкловского; теперь — часто вспоминаю, цитирую.

Шкловский говорил: «Я не вру, я придумываю».

«Придумывать» и «сочинять» — возможные синонимы. «Врать» и «сочинять» тоже могут таковыми оказаться. Но когда работаешь, должен чувствовать оттенки, иногда решающее различие синонимов.

2.

Сейчас, когда я пытаюсь воспроизвести в памяти и передать на бумаге, как такое получилось, что полярной ночью, в тундре, передвигаясь ползком от давно укrywшегося в темноте Камня в сторону мерцающих всё еще где-то очень далеко светляков Научного Центра, я вдруг начал мечтать, что однажды, невесть в каком будущем, напишу книгу о Всеволоде Гаршине, мне не хочется ни врать, ни придумывать.

Сочинять тоже не хочется.

Просто я вижу, как ползу, обливаясь потом, захлебываюсь холодным воздухом, цепляюсь за снег окоченевшими до боли руками в трехпалых перчатках, ворочаю мокрыми ногами, — и неожиданно это *какое-то*, лишнее точных обозначений будущее. Вообще — *будущее*. Даже не мираж в пустыне, а сама пустыня, с беспредельной протяженностью земли и неба, и в этой оглушительной пустоте — я с моей книгой о Гаршине.

3.

Время было — не *гаршинское*.

Да и было ли когда в истории *гаршинское время*, время грустных солдат, которые идут на войну, чтобы умереть вместе с другими, а не для того, чтобы убивать других.

«Передо мною лежит убитый мною человек. За что я его убил?..»

Я не хотел этого. Я не хотел зла никому, когда шел драться... Я представлял себе только, как я буду подставлять свою грудь под пули».

Время, по обыкновению, было — не гаршинское.

«Из сотен тысяч батарей... За нашу родину огонь! Огонь!..» — ревели мы лужеными глотками, истязая подметками плац. «Гремя огнем, сверкая блеском стали...» — рычали мы, строем шагая в столовую к помятой миске с водянистым супом.

«Ведь грустным солдатом нет смысла в живых оставаться», — сказал поэт.

4.

Я учился пять лет на редакционно-издательском факультете.

На *литературном* отделении.

В нашей программе русской литературы Гаршину места не нашлось.

Время на дворе стояло мрачное, глухое — конец сороковых.

Нам лгали с трибун и кафедр, приучая нас неверно мыслить. И лгали — умолчанием.

(Это у Льва Толстого в рассуждениях о исторической науке: *ложь умолчанием.*)

«Архискверный» (глубокое ленинское определение) Достоевский в программе тоже отсутствовал. В билетах для государственного экзамена автору «Братьев Карамазовых» был дарован единственный вопрос: «Статья тов. В.В.Ермилова об ошибках в мировоззрении Достоевского». Что-то вроде.

(Ермилов этот — деятельный присяжный критик и литературовед, которого если ныне кто помнит, то по предсмертному письму Маяковского: «Жаль, с Ермиловым не доругался».)

5.

Но дома, на отдельной полке, среди старых книг, в семье особо почитаемых, прижался небольшой томик в красном переплете — Полное собрание сочинений В.М.Гаршина.

Издано в 1910 году приложением к журналу «Нива».

Было уже само то удивительно, что полное собрание — и в одной скромных размеров книжке, где к тому же, кроме сочинений самого Гаршина, еще и подборка воспоминаний о нем.

Годы спустя, когда начну писать о Гаршине, я буду беспощадно повторять в зубах у всех навязшее «Томов премногих тяжелей». (Спохватывался бывало — и оставлял: очень уж точно ложилось.)

Я рано обучился читать и, едва обучился, был допущен родителями (великое им спасибо!) своевольничать по собственному усмотрению на книжных полках (половину которых, отмечу вдобавок, занимала медицинская литература). Путешествуя по библиотеке, я добирался и до красного гаршинского томика. Любопытно было перечитывать знакомые по детским изданиям «Лягушку-путешественницу» и «Сигнал» во *взрослой* книжке — плотно набитые текстом страницы, без картинок, «еры», «яти», «десятиричное i».

«Лягушка-путешественница» выходила в Детгизе в серии «Книга за книгой», для самых младших читателей; «Сигнал» — для читателей постарше (забыл название серии).

(Один из парадоксов, или, может быть, одна из шуток Истории: в тридцатые годы, когда даже в надписи на папиросном коробке искали идеологическую диверсию, для детей печатают «Сигнал» — прекрасную и чистую дань Гаршину учению и проповеди Л.Н.Толстого. Между тем с толстовством тогда расправлялись круто. Да и Гаршина публиковали редко и осмотрительно.)

В красном гаршинском томике была для меня еще одна приманка: весь разворот форзаца, сверху донизу, был исписан ровным папиным почерком. Черные выцветшие чернила, мелкие, узкие, тесно поставленные буквы с наклоном вправо, — до поры я не умел прочитать написанного. Текст, мною непонимаемый, тревожил меня. Всякий раз, когда книга оказывалась у меня в руках, я принимался разбирать его. Но годы прошли, пока однажды он вдруг начал поддаваться мне. Это было любовное письмо к маме, своего рода письменное предложение руки и сердца. Под текстом стояло: «Семипалатинск. 1918».

В Семипалатинске в 1918-м волею судеб сошлись пути-дороги будущих моих родителей. Полк, в котором папа служил врачом, был направлен с фронтов Первой мировой на переформирование в Уфимскую губернию, и оттуда двинулся к Колчаку; мама — тоже врач в военном лазарете, но на Кавказском фронте, в Турции, — своим ходом, как умела, пробиралась в Сибирь, где обитало ее семейство (она была исконная сибирячка).

6.

На письменном столе у папы стояла старинная бронзовая лампа в виде свечи в подсвечнике, накрытая оранжевым матерчатым абажуром. Стены комнаты были оклеены красноватыми обоями, на диване лежал ковер темного винного цвета. Вечером или темным зимним утром, когда зажигали лампу, комната наполнялась густым теплым светом.

Папа сажал меня к себе на колени и, среди многого прочего, чем на всю жизнь меня одарил, *рассказывал мне Гаршина*.

Про героя «Красного цветка», который счастлив погибнуть ради того, чтобы уничтожить зло в мире.

Про гордую пальму, которая ломает решетки оранжереи, потому что не в силах жить в неволе.

Про железнодорожного сторожа, который смочил в собственной крови платок и сделал из него красный флаг, чтобы остановить летящий навстречу крушению поезд.

В гаршинском рассказе «Ночь» мальчик живет с отцом в каком-то уединенном имении. В комнате, где они спят, красноватым пламенем горит печь, которую топят соломой. Слегка колеблется красный огонек свечи на столе. Над отцовской постелью — красный ковер, в его причудливых узорах воображение мальчика угадывает контуры цветов, зверей, птиц, человеческие лица. Отец читает с мальчиком Священное Писание.

Рассказ «Ночь» я прочитал уже в зрелом возрасте, он оказался важной вехой в моих духовных исканиях.

Теперь мне уже трудно понять: комната, заполненная густым, теплым красноватым светом, лампа, ковер, проникающий в душу разговор мальчика с отцом — всё это сценой из прошлого укоренилось в памяти, или перебралось туда со страниц рассказа, или — то и другое вместе?

7.

В «Ночи» я нашел одно из самых замечательных определений детства: в детстве «красное так и было красное, а не отражающее красные лучи».

8.

Гаршин был папиным любимым писателем.

Бунтарь Мейерхольд, человек папиного поколения, выходя в большую жизнь, сменил свое немецкое имя Карл Казимир Теодор — на Всеволод. В честь Всеволода Гаршина.

Для моего поколения Гаршин был еще значим.

Моя первая книга о Гаршине появилась в начале 1960-х и была принята как книга — *шестидесятых*.

Следующая — *главная* — книга о нем — «Грустный солдат» — увидела свет в первой половине 1980-х.

Мне представляется — недавно.

В 1980-е она — прозвучала.

Но большая часть нынешнего российского населения в те годы, кажется, и родилась.

В предисловии к «Грустному солдату» незабвенный Юрий Давыдов написал: «Сказано: *Он взял на себя наши немощи и понес болезни*. Давно сказано и не о Гаршине, но впрямую и вплотную соотносимо с Гаршиным».

Юрий Давыдов лестно для меня написал, что мои избранники не бронзовеют: «Они даны в движение внутреннем и умении трудно жить».

Герои самого Юрия Давыдова не бронзовеют и трудно живут оттого, что для них стремление заново переустроить жизнь и высокая нравственность — две вещи нераздельные.

Перелистываю сегодняшний книжный каталог, бестселлеров Юрия Давыдова («Бестселлер» — к тому же название одного из значительнейших его романов!), тем более сравнительно с недавно отошедшими годами, почти не видно.

Ныне — новые бестселлеры.

9.

Представить себе Гаршина «в бронзе» невозможно.

Он не забронзовел. Просто ушел из нынешней нашей жизни — то ли вовсе ушел, то ли оказался оттеснен далеко за обочину дороги, по которой вызывающе шумно и лихо несется эта нынешняя жизнь.

Один из столпов нашего сегодня создал в насмешку над ему *не* подобными отменный, как раз ко времени, афоризм: «Скромность — кратчайший путь к безвестности».

Это — и про Гаршина тоже.

10.

Рад бы, да не смею предположить, что нынешний студент литературного отделения заметит (болезненно отметит) отсутствие Гаршина в программе.

Еще менее могу предположить, что, одетый в солдатскую шинель, он, переползая по-пластунски снежное поле, вдруг замечается в неведомом, непредсказуемом будущем писать книгу о Гаршине.

Пишу не о своих отличиях, а о различии времен.

11.

Я не помню, чтобы в ту ночь, когда я переходил — переползал — свое поле, желание взяться *когда-нибудь* за книгу о Гаршине явилось у меня, во мне итогом каких-либо логических построений.

Каких-либо серьезных размышлений о жизни его и созданиях.

Или воспоминаний о том, что в моей жизни так или иначе было с ним связано.

Я совершенно убежден, что желание это вспыхнуло во мне внезапно, вне всякой связи с предшествующими или попутными мыслями и чувствами.

Ничего — и вдруг пьянящая неисполнимостью мечта!..

Разве что звезды Ориона наворожили...

12.

Я полз и взахлеб сочинял свою несбыточную книгу.

13.

Через полчаса я доберусь до места, поднимусь со снега и, мне покажется, забуду о ней.

Останется в памяти лишь смешной случай, о котором не всякому и расскажешь.

Ну, не дурак ли: полярной ночью невесть почему выпрыгнул из автобуса, чтобы полтора километра ползти на брюхе по снегу?..

Десять долгих лет пройдет с той ночи, десять лет, нагруженных событиями огромной в моей жизни важности, пока судьбе не угодно будет снова привести меня к краю поля и показать на далекие огоньки у горизонта.

Я выпростаюсь из плотных десяти годовых колец, крепко стянувших меня всем прожитым и пережитым, обстоятельствами, опытом, — и ползу снова.

Возьмусь за мою первую книгу.

О — Всеволоде Гаршине.

Глава седьмая

1.

Научный Центр возник вблизи неожиданно, будто это не я к нему полз, а он, не желая долее дожидаться, как некий плавучий остров двинулся ко мне навстречу и пришвартовался прямо передо мной со своими служебными зданиями, застекленными оранжереями, двухэтажными жилыми домами и немногочисленными уличными фонарями.

Я выбрался на утоптанную дорогу, ведущую к шлагбауму, всегда поднятому и никем не охраняемому, и встал на ноги. Колени у меня дрожали. Портянки и шерстяные носки хлюпали в сапогах жидкой кашей. Мокрая от пота спина, едва я выпрямился, тотчас начала мерзнуть. Сукно шинели на груди смотрелось сталью доспехов. На ресницах и бровях налипли кусочки льда.

Я мысленно поблагодарил старшину Николаева за науку, вспомнил, как он, вдоволь усладившись нашими пластунскими успехами, не давая отдышаться («Встать! Бегом!») бросал нас в атаку, и, спотыкаясь (мне казалось, что — браво), зашагал к Гришиному дому.

2.

Дверь открыла Клавдия Аггеевна, соседка Гриши по двухкомнатной квартире.

— А Григория твоего дома нету. В клуб наладился — Маяковского рассказывать.

Клавдия Аггеевна работала в Центре кладовщицей. Сильно пожилая (так мне тогда казалось), крепко сбитая женщина, будто изготовленная из плохо тесаного камня. Сотрудники между собой называли ее «скифской бабой» и пошучивали над Гришей. Сам же Гриша (вполне в духе эпохи) считал ее стукачкой, во время наших заветных бесед то и дело показывал мне знаком, чтобы я говорил тише, иногда бесшумно подходил к двери и рывком отворял ее. За дверью никогда никого не обнаруживалось, а из комнаты Клавдии Аггеевны раздавался раскатистый, как камнепад, храп.

— Ты где ж это так выгваздался? — удивленно оглядела меня Клавдия Аггеевна. — Набрался, что ли?

Она подтянула кверху рукава своего серого байкового халата.

— Давай, снимай всё: на кухне у плиты повешу; до утра просохнет.

Я сбросил ей на руки шинель, присел на табуретку и начал стаскивать сапоги.

— Штаны тоже снимай, — сказала Клавдия Аггеевна. — Что я, мужика без штанов не видела?.. Я тебе сейчас чаю с сухой ягодой заварю.

— А покрепче ничего не найдется?

— Не держу. Я свое отпила, — отказала Клавдия Аггеевна. — Ты иди, поспи. Григорий пока еще наговорится. Говорить-то мастер.

3.

Гриша пил мало и что придется.

На стеклянной полке серванта, который в нижней своей части исполнял роль платяного шкафа, я нашел только непечатую бутылку «Розового ликера» с цветком розы на этикетке. Я торопливо выковырял пробку. В комнате запахло вокзальной парикмахерской. Ликер был тягучий, как глицерин.

Я налил сразу полный стакан.

Вошла, не постучавшись, Клавдия Аггеевна и поставила на стол дымящуюся кружку с чаем и тарелку, на которой теснились кусок жареной трески и три-четыре картофелины.

Но есть не хотелось.

Я перелил в себя ликер — сразу весь стакан — и запил его горячим чаем, напоенным ароматом леса.

В последнем слове, когда я печатал его, я сначала вместо «леса» набрал — «лета».

Фрейд утверждал, что случайных описок не бывает. В данном случае он был прав.

Чай был напоен ароматом леса и лета.

...Одно мгновение — и всё вдруг исчезло куда-то из моей памяти: бесконечный снег, звезды Ориона, усталость, темы предвкушаемых разговоров с Гришей, книга, которую я собрался когда-нибудь непременно написать.

Я не заметил, как перебрался на Гришину кровать, как свалился на нее поверх одеяла.

Гриша разбудил меня уже утром, громко хохоча и выкрикивая какие-то строки из Маяковского.

Глава восьмая

1.

Всеволод Гаршин умер 24 марта 1888 года.

Папа умер 24 марта 1968 года.

Восемьдесят лет спустя, день в день.

Если не ввязываться в неизбежное выяснение отношений григорианского календаря с юлианским (у нас, в России, это обозначается проще: *новый* и *старый* стиль).

Конечно, между обоими календарями определены точные соответствия.

Но, кроме точности дат, есть еще магия чисел.

2.

Лев Толстой писал:

«Я родился в 28-м году, 28 числа и всю мою жизнь 28 было для меня самым счастливым числом... И в математике «28» — особое совершенное число, которое равно сумме всех чисел, на которые оно может делиться. Это очень редкое свойство».

В беседе он признавался:

«Мне приятно играть цепочкой часов и навертывать ее 28 раз... Я рожден 28 года 28 числа».

28 октября 1910 года Лев Толстой навсегда ушел из дома, из своей Ясной Поляны. Через десять дней он ушел из самой жизни — на неведомой прежде железнодорожной станции, в чужом доме, на чужой кровати.

Он прожил на свете 82 года — тоже «2» и «8», но в обратной последовательности. Число уже не совершенное.

3.

После перехода на новый стиль летосчисления день рождения Л.Н.Толстого отмечают 9 сентября. Хотя в нынешних календарях дате соответствует уже 10 сентября.

Сколько раз *навертывать цепочку* совершенно непонятно.

4.

То же самое с днем рождения Пушкина.

Пушкинское 26 мая принято отмечать 6 июня, хотя сегодня оно падает уже на 8-е.

(Священники, если празднуют Пушкинский день, помнят об этом, поскольку у каждого дня года свои святые.)

5.

Когда-то я сделал радиопередачу о *19 октября*, Дне Лицея.

Поразмыслив, ее дали в эфир 19 октября по новому стилю. Смешно, даже нелепо как-то, было бы приветствовать радиослушателей словами: «Сегодня, 1 ноября, мы отмечаем 19 октября, Лицейскую годовщину...»

Один тогдашний историк искусств, снискавший славу неумоимого обличителя, написал две жалобы: в радиокomitee на меня и в «Литгазету» на радиокomitee. Он обвинял нас в обмане доверчивого советского радиослушателя (помнится, там было сказано: «морочат голову»). Конечно, самым могучим аргументом в жалобе было празднование годовщин октябрьской революции («октябрьских годовщин») — в ноябре.

6.

Но умница Крейн, Александр Зиновьевич, создатель и многолетний директор Музея А.С.Пушкина в Москве, всякий год открывал сезон имен-

но 19 октября по новому стилю композицией «Да здравствует Лицей!», исполняемой незабвенным Александром Кутеповым.

19 октября нынешнее протягивало руку *тому* 19 октября.

И в непременно до отказа заполненном зале не чувствовалось ни обмана, ни мороки, к которым мы подчас так привыкали, что переставали их замечать, — дышалось свежо, вольно, казалось, крылья вырастали, как говаривали в минуты восторга наши велеречивые прадеды.

7.

Итак, Гаршин умер 24 марта 1888 года.

Пятью днями раньше, 19 марта, он бросился в пролет лестницы.

На меня в детстве рассказ об этом произвел сокрушительное впечатление.

Это было первое самоубийство, о котором я узнал. Наверно, я вообще впервые узнал, что люди убивают сами себя.

Вскоре мой крепнувший жизненный опыт уложил в копилку еще одно самоубийство. Вместе с мамой работал в диспансере доктор, еврей, со странной, какой-то китайской фамилией Сидзан. Еще не старый мужчина, худощавый, с узким желтоватым лицом. Может быть, мне казалось, что лицо желтоватое — из-за фамилии. Однажды, придя с работы, мама рассказала, что накануне вечером Сидзан приставил к краю стола перочинный ножик и налег на него грудью, так, что острие проткнуло ему сердце. История поразила меня, вот ведь, до сих пор помню, но оглушения, ошеломления не было. Тем более что она тотчас начала облипать слухами, бытовыми подробностями.

Гаршин был совсем другое.

Не мамин желтолицый доктор, два-три раза заходивший к нам по делу.

Гаршин был — *своё*.

Его фотография стояла за стеклом книжного шкафа.

И Гаршин с фотографии, в каком бы углу комнаты я ни находился, всегда — непостижимо — смотрел на меня.

«Я ничего не знал прекрасней и печальней // Лучистых глаз твоих и бледного чела...» — было произнесено над его могилой.

Фотография старинная, но не та — *первой славы*, где он в солдатской шинели: более поздняя.

Впрочем, Гаршину никак не подходят эти определения — *раннее*, *позднее*: он прожил тридцать три года.

Возраст Христа.

8.

Лестничный пролет в доме, где мы жили, был узок, как щель почтового ящика. Я не мог понять, как Гаршин сумел броситься в такой пролет (*в полет*), — другие лестницы в раннюю пору детства мне, кажется, не попадались. Потом, когда видел их, непременно думал о Гаршине.

В доме, где закончилась земная жизнь Гаршина, пролет был прямоугольный: в длинном лестничном марше — восемь ступенек, в коротком — пять.

9.

Наверно, ранняя встреча с Гаршиным укоренила во мне мысль о возможности самоубийства.

Не о самоубийстве, именно — о *возможности* его.

Одлевая испытания и искушения судьбы, особенно в молодости, полный здоровья и сил, я часто думал, утешая и ободряя себя, что имею в запасе простой и быстрый выход из любого положения. Но в глубине души знал, что не воспользуюсь им.

Мысль о *возможности* самоубийства и способность *совершить* его — две вещи не то, что несовместные, но более, нежели часто, не совпадающие.

Помнится, я приводил где-то слова Германа Гессе о том, что едва ли не большинство покончивших с собой — случайные самоубийцы: самоубийцы по убеждению редко накладывают на себя руки. Но самоубийца по убеждению всегда сознает и вынашивает в себе возможность расстаться с жизнью.

Мысль о возможности самоубийства — это постоянно про запас хранимый глоток свободы, необходимая доля собственного достоинства.

Ш. говорил (где-то я читал об этом), что, куда бы ни попадал, тотчас оглядывался и прикидывал, как он мог бы *здесь* покончить с собой, *если они за ним придут*. Я почему-то думаю, что — не покончил бы, обрек бы себя на мученичество.

В романе Ганса Фаллады герою, приговоренному к гильотине, сумели передать в тюрьму капсулу с мгновенно действующим смертельным ядом. Он держал ее за щекой, но даже, приведенный на место казни, так и не раскусил.

10.

(Тюремный пастор Харальд Пельхау, в годы нацизма проводивший в последний путь сотни приговоренных к смерти людей, рассказывает в своей книге, что гильотина, как ни ужасно это звучит, тем более выглядит, — самый быстрый, и, по-своему, самый легкий для осужденного способ прекращения здешней жизни.

Казнь с помощью гильотины совершалась прямо в тюрьме и занимала не более трех минут, причем само умерщвление человека, от момента, когда его подводили к станку, до того, как его голова падала в подставленную под нож плетеную корзину, при опытном палаче и умелых помощниках (*обычно из мясников*) требовало лишь 10-13 секунд.

Расстрел для осужденного оказывался куда тяжелее: долгая дорога в *зеленой Минне* (по-русски *черном вороне*) на окраину города, к стрельбищу (в каждой машине не менее двенадцати человек), нестерпи-

мо долгое, на пороге вечности, ожидание, пока назовут твое имя и поведут убивать, а, пока не назвали, напряженный до боли слух ловит звук шагов уводимого к расстрельной стенке другого (сто метров), залп из двенадцати винтовок, крик недобитого двенадцатью пулями, окончательный пистолетный выстрел и снова шаги — фельдфебелей, возвращающихся к машине, чтобы назвать новое — *твое!?* — имя...

Помнится, об этом я тоже уже писал...

11.

Старик Толстой, когда заходила речь о каких-либо подробностях в его романах, нередко говорил, что — *не помнит*.

До поры я над этим посмеивался: в толстовском «Не помню» чудилось мне веселое лицедейство старого мудреца.

Теперь-то я знаю, что, и правда, — *не помнил*...

Впрочем, и об этом я писал, кажется.

Старость...

Глава девятая

1.

.....

2.

Но Всеволод Гаршин был из тех натур, для которых самоубийство не только мысль о возможности совершить его и не только способность его совершить, а — *неизбежность*.

3.

Их было четыре брата — Гаршиных.

Всеволод по старшинству — третий.

Один из старших братьев покончил с собой (застрелился) несколькими годами раньше Всеволода. Другой (тоже застрелился) — несколькими годами позже.

Младший, четвертый, брат примеру остальных не последовал. Он был человек рассудительный.

Он был — от другого отца.

4.

Если об одном из старших братьев Всеволода можно сказать, что он застрелился в порыве юношеского отчаяния, то к другому, самому стар-

шему, с этим никак не подступишься. Жил энергично, менял места службы (судебный следователь), менял жен, менял пункты пребывания и вдруг свел счеты с жизнью уже на пятом десятке.

Не исключено, конечно, что оба старших брата были тоже душевно больны, как и Всеволод. Просто болезнь не выказывала себя столь же явно. Тут дело в этой условности рубежа между болезнью и не-болезнью.

Но одно очевидно — неизбежность исхода.

Грустным солдатам нет смысла в живых оставаться, — не выработанное убеждение: предопределение.

Резолюция, с появлением человека на свет начертанная на судьбе.

5.

Корней Чуковский в давней статье о Гаршине вывел красивую формулу: «Гаршин боролся не с миром, а с самим собою... Безумец из рассказа «Красный цветок» умер, спасая безумием мир. Но спасая себя от безумия, умер Всеволод Гаршин».

Но болезнь у Гаршина та же, что у его героя.

Неспособность переносить зло, царящее в мире.

Невозможность жить в мире, в котором царит зло.

Гаршин в самом деле устранился надвинувшейся болезни.

Неприятельской атаки на войне не испугался, бросился навстречу вражеской цепи.

Но болезнь страшнее вражеских пуль; он чувствовал: не промахнется.

Гаршин понимал: сумасшедший дом, которому он объявлял ревизию в своих рассказах, ему не переиначить. Чтобы поверить в это, надо было разрешить себе стать героем «Красного цветка», быть убежденным, что сорванный и упрятанный на груди цветок сожжет вместе с твоим сердцем всё мировое зло.

Однажды юношей, во время сильной грозы, он взял железный стержень, прижал один его конец к обнаженной груди, а другой выставил из окна к небу. Он хотел спасти от молнии всех обитателей дома.

Может быть, город.

Мир.

Теперь он подчинился неизбежности. Он уходил из сумасшедшего дома, в котором не мог далее существовать и который не умел переустроить.

6.

«Изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год, и целые годы, целые десятилетия, каждое мгновение остановившаяся в своем течении жизнь была по тем же самым ранам и язвам, какие давно уже наложила та же жизнь на мысль и сердце. Один и тот же ежедневный «слух» — и всегда мрачный и тревожный; один и тот же удар по одному и тому же

больному месту, и непременно притом по больному, ...удар по сердцу, которое просит доброго ощущения, удар по мысли, жаждущей права жить, удар по совести, которая хочет ощущать себя...»

Это — Глеб Успенский.

Из статьи «Смерть В.М.Гаршина».

Добрый друг, Глеб Иванович не бросился в лестничный пролет (может быть, не успел), не застрелился, не перерезал себе горло, как его двоюродный брат, Успенский Николай, тоже писатель, но судьба его была изначально помечена той же *резолюцией*.

Мысль, сердце, совесть мучительно и неотвратимо звали его объявить ревизию *сему сумасшедшему дому*, — жизнь завершилась безысходной вечностью в лечебнице для душевнобольных.

Глава десятая

1.

Так уж повелось считать: *бросился в пролет лестницы*. Так уж повелось, в памяти зацепилось, в воображении: мгновенное, решительное — бросок, пролет, полет.

То, что повелось, потом обрастало воспоминаниями, чуть ли не свидетельствами. Хотя в ту минуту на лестнице, кроме самого Гаршина, никого не было.

Один мемуарист сообщает, будто Гаршин еще загодя показывал ему на пролет лестницы, спрашивал доверительно: «Неужели вас не подмывает броситься туда?» (Какая пошлость!)

2.

...За неделю, другую до гибели Гаршин ходил по знакомым с книжкой журнала, в которой была напечатана чеховская «Степь», радовался, что в России появился новый замечательный писатель: «У меня точно нарыв прорвался, и я чувствую себя хорошо, как давно не чувствовал...»

Эта особенная радость Гаршина, которой он жаждал со всеми поделиться, с которой хотел достучаться до сердца каждого собрата по перу, сама сделалась своего рода литературным событием. Писатели и читатели пересказывали мнение Гаршина один другому, оно оборачивалось аннотацией к разговорам о «Степи».

Чехов это знал и ценил.

«Гаршин в последние дни своей жизни много занимался моей особой, чего я забыть не могу»...

В память о Гаршине он написал рассказ — «Припадок» («воздал покойному Гаршину ту дань, какую хотел и умел»).

В рассказе энергично и преднамеренно отозвались и творчество Гаршина, и сама личность его.

Герой рассказа (сам Чехов его так обозначил) — *молодой человек гаршинской закваски*.

Гаршинская закваска (опять же, по Чехову) — это своего рода талант.

«Есть таланты писательские, сценические, художнические, у него же особый талант — человеческий. Он обладает тонким, великолепным чутьем к боли вообще».

Герой «Припадка» несет в себе чужую боль и готов покончить с собой, чтобы от нее избавиться.

Потому что в этом несправедливо устроенном мире боль неотвратима.

Ему хочется кричать людям: «Отчего же вы не возмущаетесь, не негодуете? Ведь вы веруете в Бога и знаете, что это грешно, что за это люди пойдут в ад, отчего же вы молчите?» Но он знает, что его не услышат.

Ревизовать сумасшедший дом ему не под силу. И не под силу сжечь себя в безумной попытке.

Его ведут к врачу, и он остается в этом несправедливом мире с рецептом на бромистый калий и морфий в руке.

3.

Гаршин рассказывал: во время болезни в нем возникает и начинает жить как бы еще один — *другой* — человек. Этот *другой* говорит, думает, совершает поступки. Мысли, слова, поступки этого *другого* огорчают его, подчас ужасают, приводят в отчаяние, но ничего он с этим *другим* поделать не в силах, потому что этот *другой* — тоже он сам, но переступивший какой-то привычный рубеж в отношениях с собой и с миром.

Безумец «Красного цветка», пробудившись среди ночи в залитой лунным светом больничной палате, вдруг осознает этот преодоленный рубеж: «Где я? Что со мной? пришло ему в голову. И вдруг с необыкновенной яркостью ему представился последний месяц его жизни, и он понял, что он болен и чем болен. Ряд нелепых мыслей, слов и поступков вспомнился ему, заставляя содрогаться всем существом».

Но наутро он проснулся, чтобы продолжать ревизию сему сумасшедшему дому, готовый один вступить в борьбу со всем злом мира и, жертвуя собой, победить в борьбе.

Всякий новый день начинался впечатлениями, и впечатления убивали его, обрушивались на него ударами, и непременно по больным, не заживающим местам. Это — Гаршин о своем герое и Глеб Иванович Успенский — о самом Гаршине в поминальной статье о нем.

4.

Последняя квартира Гаршина была в доме N 5 по Поварскому переулку. На третьем этаже, квартира N16.

С Владимирского проспекта, сокращая путь, шли обычно соседним Дмитровским переулком и проходным двором. Многим оттого запомнилось, что Гаршин жил по Дмитровскому.

В доме, как во многих петербургских домах, было две лестницы — парадная и черная, кухонная.

5.

В девятом часу утра 19 марта по черной лестнице к Гаршиным поднялся дворник: жена Гаршина, Надежда Михайловна, послала за ним — поговорить о хозяйственных делах перед их с Всеволодом Михайловичем отъездом на Кавказ.

Отъезд был назначен на завтрашний день — 20 марта.

На Кавказ решили податься, отступая от надвинувшейся совсем близко болезни.

Прошлой весной, опять-таки в марте, болезнь тоже начала решительное наступление, но один из друзей увез Гаршина путешествовать по Крыму, и — обошлось.

Впрочем, теперь положение смотрелось тяжелее прошлогоднего: болезнь не то что наваливалась — уже начала осаду. Предстояло не отступать, а — прорываться. Вырываться.

Надежда Михайловна была врач и понимала это.

6.

Накануне отъезда побывали у опытного психиатра Александра Яковлевича Фрея. Он не один год лечил Гаршина, считался даже его приятелем. Встречались у общих знакомых, на заседаниях кружков и обществ, на публичных чтениях. Александр Яковлевич живо интересовался искусством, сам был не прочь высказать свое суждение о нашумевшем романе, о новой картине, оценивая их со специальной, психиатрической точки зрения.

Надежда Михайловна спрашивала, не отложить ли отъезд, не подержать ли Гаршина некоторое время в клинике. Частная клиника Фрея находилась прямо напротив окон его квартиры — на Пятой линии Васильевского острова. Фрей клинику отсоветовал, торопил с отъездом на Кавказ, куда и так решено было ехать, да страшно сделалось.

(Позже, беседуя с Надеждой Михайловной, помощница Фрея проговорила: опытный врач остро провидел *неизбежное*, оттого и в собственную клинику счел за благо не брать.)

7.

Ехать предполагали в Кисловодск.

Художник Ярошенко, с которым Гаршин был дружен, пригласил их к себе на дачу.

Может быть, доктор Фрей, желая того или нет, вовсе не был неправ (или, скажем осторожнее, был не совсем неправ), стараясь поскорее вытолкать Гаршина на Кавказ.

Ярошенко — человек совсем иного душевного склада, чем Гаршин, — сильный, волевой, уверенный в себе (он был артиллерийский офицер, дослужился до полковника), но приобретенная кавказская усадьба и в его жизни, в мироощущении его многое переменяла. Это тотчас понимаешь, сопоставляя петербургские работы художника с кавказскими.

Промозглость, серость, сырость неба, воздуха, каменных стен, мостовых, нездоровая бледность лиц, блеклость или траурная чернота одежд — и радостное, торжественное сияние синего неба, зелени, озаренных солнцем снеговых вершин, серо-сиреневые обломы скал, красноватая желтизна песчаника, краски сильные, яркие, чистые, смелые сочетания цвета, прозрачный воздух, неоглядный простор — высота, ширь...

Когда смотришь с седловины хребта, как восходит солнце, когда обливается золотом снежный купол Эльбруса, когда внизу, в расщелине синие от ночи деревья начинают зеленеть под касанием солнечных лучей, когда бежавшее по небу легкое перистое облачко, порозовев, вдруг неподвижно замирает в глубокой сверкающей голубизне, — в такие минуты чувствуешь свою причастность к вечному, точнее и спокойнее осознаешь свое место в мироздании, постигаешь истинные ценности и освобождаешься от призраков.

Может быть, такие минуты и есть самое целительное средство от душевного недуга?..

8

Дружба Гаршина с художником началась сближением творческим.

Ярошенко *проснулся знаменитым* несколькими месяцами позже Гаршина, весной 1878 года, когда на Передвижной выставке появилась его картина «Кочегар».

Этот холст был одним из первых в числе «портретов сословий» (по тогдашнему определению), которые доставили Николаю Александровичу Ярошенко громкую известность, — «Кочегар», «Заклоченный», «Студент», «Курсистка»...

Художник (писала критика) поставил себе задачу создать «портретную галерею нашего современного общества». После, как бы итога свои творческие поиски, Ярошенко — в самой прославленной своей картине «Всюду жизнь» — собрал представителей разных сословий в одном общем тюремном вагоне.

Он говорил, что запечатлевает на своих холстах то, «что дает жизнь в настоящее время» и что «в будущем запишется в историю».

9.

«Кочегар» — первый заводской рабочий в русской живописи. До этого *народ* в русском искусстве (как и в представлении большинства интеллигенции) — мужик.

Ярошенко занимался вооружением армии, работал на военных заводах. С заводскими людьми он встречался постоянно, знал их близко.

Кочегар на его холсте стоит возле огненной печи и сам будто выкован из раскаленного металла. У него могучие рычаги рук, исполинский «грудой ящик» (слово Стасова), втянутая в плечи голова, внимательный, тревожный взгляд.

Многие зрители находили его *безобразным*. Это определение шелестело вокруг картины. Но Кочегар (и художник сумел передать это) не безобразен, а — *обезображен*: громадностью труда, ужасом быта. В могучем и страшном облике его, в напряженном, тревожном его взгляде маячащее и пугающее сплавлены воедино. В будущем это *запишется в историю*, а пока именитый критик Прахов восклицает растерянно: «Вот кто твой кредитор, вот у кого ты в неоплатном долгу: всем своим преимуществом ты пользуешься в долг».

10.

Годом позже явления «Кочегара» Гаршин написал рассказ «Художники».

Герой рассказа, художник Рябинин задумал картину о *Глухаре*.

Глухарями называли рабочих, занятых на клепке паровых котлов.

« — Знаете ли, как эта штука делается? Это, я вам скажу, адская работа. Человек садится в котел и держит заклепку изнутри клещами, что есть силы напирая на них грудью, а снаружи мастер колотит по заклепке молотом...

— ...Ведь это всё равно, что по груди бить!..»

Снова то же гаршинское — грудь подставлять.

11.

Картину, которую написал гаршинский художник, написать, пожалуй, технически невозможно.

Темное нутро котла, там, в темноте, корчащийся под ударами молота человек, прижимающий грудью заклепку, страшный грохот, от которого рабочие быстро глохли...

Но Гаршин знал толк в живописи, писал о художественных выставках, дружил с художниками. Его герой, Рябинин, свою картину написал. И мастерство писателя Гаршина в том, что читатели эту картину — *видят*.

12.

Ярошенковского «Кочегара» нередко, вопреки хронологии, числили иллюстрацией к рассказу Гаршина. Но нередко и наоборот: рассказ Гаршина представлялся напечатанным ярошенковским «Кочегаром». Образ пролетария в искусстве был еще в новинку — сопоставление напрашивалось, тем более, что оба мастера, писатель и живописец, в тогдашней художественной жизни выступали как бы рядом.

Но ярошенковский Кочегар крепко стоит на ногах, в будущем предполагает быть записанным в историю, взыскать долги. Гаршинский Глухарь подставляет грудь под удары, взывает к совести.

«Я вызвал тебя... из душного, темного котла, чтобы ты ужаснул своим видом эту чистую, прилизанную, ненавистную толпу. Приди, си-

люю моей власти прикованный к полотну... Ударь их в сердце, лиши их сна, стань перед их глазами призраком! Убей их спокойствие, как ты убил мое...»

В горячем бреду болезни художник Рябинин в страшной толпе вместе со всеми наносит удары корчащемуся на земле человеку; но он же — и тот человек, которому наносят удары молотом.

13.

Репин сделал рисунок к рассказу «Художники». У Рябина на рисунке — лицо Гаршина.

14.

После картины о Глухаре Рябинин решил оставить искусство и ехать учителем в деревню: «Ну, не сумасшедший ли это человек!».

Вскоре после «Художников» ехать в деревню, в народ, решил было и Гаршин.

Даже деревенские сапоги купил.

Есть сведения, что своими планами он поделился с Толстым во время ночного их разговора. Толстой поддержал его, конечно.

Но болезнь захватила Гаршина: вместо деревни он оказался на Сабуровой даче (так именовали харьковскую психиатрическую больницу).

Толстой не хотел верить в безумие Гаршина, собирался навестить его в больнице.

(Не навестил.)

Глава одиннадцатая

1.

Примерно в половине девятого утра (19 марта) Гаршин вышел из квартиры на лестницу.

Надежда Михайловна, жена, еще вела в кухне переговоры с дворником и прислугой и не заметила его ухода.

2.

Бунин вспоминает, что среди тяжких видений, посещавших Чехова, была лестница в доме Гаршина.

«Два раза был я у Гаршина и оба раза не застал. Видел только лестницу...», — писал Чехов через неделю после смерти Всеволода Михайловича.

И три дня спустя: «А лестница ужасная. Я ее видел: темная, грязная...»

3.

Лестница, как говорилось, имела широкий пролет (восемь ступеней на пять).

В пролете стояла высокая печь, обогревавшая подъезд. Ее верхняя часть доставала почти до второго этажа.

Стены в подъезде были выкрашены в темно-серый тюремный цвет.

«Окно в крыше над пятым этажом тускло освещало лестницу, — свидетельствовал современник. — Окно было большое, из двух приподнятых под углом створ, каждая вроде парниковой крышки».

4.

Подробность выразительная, почти мистическая.

Прекрасная пальма высокой вершиной
В стеклянную крышу стучит...

Стихи — студента Горного института Всеволода Гаршина. Они написаны много раньше знаменитой сказки «Attalea princeps». (Впрочем, повторюсь, какие у Гаршина *много раньше?* Вся жизнь творческая, все «то-мов премоных тяжелей» уложились в неполное десятилетие.)

Образ пальмы, которая не хотела, не могла жить за решетками оранжереи, Гаршина не оставлял.

Иные *передовые* деятели эпохи полагали, что конец сказки «губит всякую энергию», но люди определенного душевного склада долго хранили ее в памяти, передавали следующим поколениям.

Папа еще до того, как прочитал мне «Attalea princeps», пересказывал мне, маленькому, гаршинскую историю именно как *сказку*.

Сказка заканчивается в самом деле печально, для *передовых* деятелей — неприемлемо.

Под напором растущей ввысь, набиравшей силу пальмы лопнули железные полосы решетки, вдребезги разлетелось толстое стекло потолка.

«Была глубокая осень, когда Attalea выпрямила свою вершину в пробитое отверстие. Моросил мелкий дождик пополам со снегом; ветер низко гнал серые клочковатые тучи. Ей казалось, что они охватывают ее. Деревья уже оголились и представлялись какими-то безобразными мертвецами. Только на соснах да на елях стояли темно-зеленые хвои. Угромо смотрели деревья на пальму. «Замерзнешь! — как будто говорили они ей. — Ты не знаешь, что такое мороз. Ты не умеешь терпеть. Зачем ты вышла из своей теплицы?»

И пальма поняла, что для нее всё кончено. Она застывала».

5.

Неизбежность...

6.

...Спустя несколько минут Надежда Михайловна закончила дела в кухне.

«Меня поразила приоткрытая дверь на нашу парадную лестницу, куда я и вышла, Всев.Мих., вероятно, услышал шум стукнувшей двери и понял, что я его разыскиваю. Он крикнул мне снизу...: «Надя, ты не бойся, я жив, только сломал себе ногу».

Когда я сбежала к нему, то нашла его вовсе не на печке, а на площадке лестницы. До низу был еще целый марш...»

Гаршин рассказал Надежде Михайловне, «что левая нога его попала между перилами и печкой, перегнулась и сломалась, когда он сам упал на площадку...»

7.

Снова как на войне: подставлял грудь, но ранен в ногу.

Но теперь это было не начало, это был — конец.

8.

О других увечьях, полученных при падении, в воспоминаниях ничего не говорится. (Хотя, возможно, имелись, внутренние, не распознанные врачами.) Через несколько часов после падения, к вечеру, Гаршин впал в беспамятство и оставался в таком положении еще пять дней. Причиной смерти врачи назвали последствия перелома ноги.

9.

Пока он был в сознании, он рассказывал, «как боролся с собой, чтобы не допустить себя до падения».

Сказано: *ад — это другой* (Сартр).

Ад — это и *другой* в себе.

Когда Христос преодолевал в пустыне искушения (а Он преодолевал их, *боролся* с ними, иначе, без борьбы, без одоления, это не были бы искушения, не был бы дьявол, не было бы пустыни), когда он побеждал искушения, — он побеждал *другого* и в своем человеческом.

«И повел Его в Иерусалим, и поставил Его на крыле храма, и сказал Ему: если Ты Сын Божий, бросься отсюда вниз... Иисус сказал ему в ответ: сказано: «не искушай Господа Бога твоего»».

10.

В свое время, задумавшись о картине Крамского «Христос в пустыне», Гаршин отправил художнику письмо.

Не подписанное.

Имя адресата сильно влияет на характер послания. А Гаршин хотел получить от Крамского ответ, не ему, писателю Гаршину, адресованный, но ответ — вообще. Он хотел, чтобы Крамской ответил как бы самому себе.

Гаршин спрашивал художника: изображал ли он Христа, борящегося с искушениями, или уже одолевшего их и «поглощенного своею наступающею деятельностью».

Крамской не ответил на прямой вопрос Гаршина, но сказал, может быть, самое существенное: «Есть один момент в жизни каждого человека, мало-мальски созданного по образу и подобию Божию, когда на него находит раздумье, пойти ли направо или налево, взять ли за Господа Бога рубль или не уступать ни шагу злу...»

Картина называется «Христос в пустыне», но это картина про жизнь каждого человека.

Заканчивает Крамской вовсе решительно (и с величайшей искренностью): «Итак, это не Христос. То есть я не знаю, кто это».

То есть это не кто-то: это каждый человек, который вослед Христу борется с искушениями, с другим (адам) в себе самом, решает, пойти ли ему направо или налево...

11.

...В больницу Гаршина перевезли уже вечером. Он был в сознании.

«В часовне, мимо которой его проносили, совершалась, вероятно, всенощная, так как была суббота, — вспоминает Надежда Михайловна. — Всев.Мих. перекрестился... Всев.Мих. всегда носил крест на шее и высоко чтил Христа».

12.

...Гаршин вышел из квартиры на лестницу и начал (видимо, торопиво) спускаться вниз.

Он боролся с искушением, с другим, с неизбежностью, — убегал от бездны.

После падения, пока был в сознании, он рассказал, что «шел, как во сне, и спустился этажом ниже».

То есть — с третьего на второй.

Он почти спасся на этот раз.

Бросаться было уже некуда, или — почти некуда.

Верх печки, обогревавшей подъезд, доходил, как помним, почти до второго этажа.

Надежда Михайловна свидетельствует, что от того места, где нашла Всеволода Михайловича, до низу был еще целый марш. Причем, что существенно, лежал он «вовсе не на печке, а на площадке лестницы».

Это «вовсе» придает описанию какой-то определенный смысл.

Как всё происходило, теперь понять не просто. Наиболее подробно сообщил об этом со слов Гаршина один из подоспевших к нему вскоре

после падения ближайших его друзей: «Тут меня непреодолимо потянуло через перила. Я перелез их, повис, держась руками за железные прутья, и хотел уже сброситься, как мне стало совершенно ясно, что я делаю не то, что следует. Но силы меня оставили, и я *грохнулся* вниз». (Здесь «грохнулся» опять же очень выразительное слово, без сомнения — *гаршинское*: со стороны о только что умершем друге так не скажешь.) И следом: «Все теперь скажут, что я покушался на самоубийство. Какой стыд!..»

Похоже, разжав руки, он упал как-то наискосок (или: хотел *так* упасть?)... нога попала между перилами и печкой.

Разбиться насмерть было, кажется, невозможно.

А он — разбился.

13.

На этот раз он почти победил *другого*, почти ушел на этот раз от неизбежного.

Он не убил себя. Просто ему и в самом деле не было смысла в живых оставаться.

Он мог объявить ревизию сему сумасшедшему дому, но, сжигая себя, уничтожить царящее в мире зло, было ему не под силу.

14.

Когда Надежда Михайловна сбежала к нему на площадку лестницы, куда он упал, он сразу начал просить у нее прощения, на боль не жаловался. «Он мучился нравственно: всё винил себя в происшедшем и раскаивался. Меня он жалел больше, чем себя», — вспоминала Надежда Михайловна. Кто-то спросил его, больно ли ему. Гаршин ответил: «Что значит эта боль в сравнении с тем, что здесь» — и указал на сердце.

15.

Двадцать лет спустя Лев Толстой, всю жизнь высоко ценивший Гаршина, пересказывал с чьих-то слов историю его смерти: «...как он бросился с лестницы, весь разбился и, когда прибежала жена (она была врач), сказал ей: «Ничего»».

Здесь Лев Николаевич задержался, прибавил одобрительно: «Это так естественно: о своей боли не думает, а ее испуг видит».

16.

Хоронили Гаршина на Волковом кладбище.

На Литераторских мостках.

Так именуется этот участок налево от входа, где обрели последнее свое прибежище многие труженики российской словесности.

Еще гимназистом Гаршин таким же весенним днем забрел сюда однажды, по деревянным мосткам, положенным на черную, набравшуюся талого снега землю, прошел к могилам Белинского, Добролюбова и Писарева (напротив первых двух: у тех памятники черные, тяжелые, у Писарева — маленький белый крест) — как там позже ни судили-рядили, это были учителя его поколения; в тот давний гимназический день он осознал, что как малороссийские степи — физическая его родина, так Петербург — родина духовная, и от этого родства петербургского никогда не отступал.

В начале 1880-х, после долгой болезни возвратившись в Петербург, он снова пришел сюда, на эти Мостки, с грустно сжавшимся сердцем обошел подзаброшенные могилы, вспомнил прочитанное недавно описание вестминстерского «Уголка поэтов», вздохнул (в очерке, жалко, не оконченном): «Мы не заботимся о наших великих мертвых» — и приписал, как бы само собой: «Мы не заботимся о них и при жизни».

В последний раз он был здесь самую малость больше, чем за год до смерти, в феврале 1887-го: хоронили поэта Надсона.

С Надсоном они дружили.

Гаршин не любил погребальных речей: произносят их часто люди, ушедшему далекие, иногда и вовсе чуждые, в речах обычно много фальши, желания себя показать, — у близких в такой день горе утраты накладывает печать на уста. Вот и над свежей могилой Надсона слова произносились потертые, как рисунок на ходячей монете. Опустили в яму небольшой прямоугольный ящик, обитый белой с серебряными нитями тканью, застучали о крышку мерзлые комья земли. Вспомнился рассказ Надсона: после окончания военного училища он селился по наемным квартирам подешевле и себя именовал «жильцом маленькой комнаты». Гаршин стоял в стороне, держал венок, присланный поэту от бывших сослуживцев по 148-му Каспийскому полку (у ворот кладбища кто-то из распорядителей сунул в руки) — черные атласные ленты и фарфоровые белые розы. Когда смолкли речи, начал было читать стихи Полонского, написанные на кончину молодого поэта: «Он вышел в сумерки. Прощальный // Луч солнца в тучах догорал...» — запнулся, сбился. Надо же, обычно стихи с одного раза запоминал — и навсегда. Укладывая венок, громко попросил: «Не рвите цветы!» (такая мода пошла — обдирать на память с венков искусственные цветы и листья) — где там, не остановишь...

17.

Гаршина хоронили 26 марта 1888 года.

Церковь на Волковом кладбище была переполнена.

Много молодежи, студентов.

От больницы на Бронницкой улице и до самого Волкова, хоть и двигалась впереди процессии, как положено, «печальная колесница», гроб несли на руках.

В церкви возжены были сотни свечей. В их свете сияла золотая парча покрова, жарко пылали алые розы и маки.

Как-то само собой — иначе просто не получалось — автору «Красного цветка» венки и букеты заказывали из красных цветов.

Пальмовые ветви тоже приносили («Пробито стекло. изогнулось железо, // И путь на свободу открыт...»)

Лицо Гаршина в последние мгновения, пока доступно было созерцанию, с венцом на челе, поражало особенным сходством с ликом библейского пророка, апостола, мученика.

Сравнения эти, при жизни прилепившиеся к Гаршину, после его смерти повторялись почти непременно.

С Христом его тоже сравнивали.

...Как будто для тебя земная жизнь была
Тоской по родине, недостижимо дальней...

Библейское лицо умершего Гаршина запечатлел Репин.

18.

Пока шло прощание, художник, стоя на правом клиросе, делал последний портрет дорогого друга.

Репин вспоминал, что с первого же взгляда на Гаршина захотел написать его портрет.

Но портрет был написан несколькими годами позже их первой встречи.

Гаршин сидит у письменного стола, заваленного рукописями. Фигура взята сбоку, но лицо повернуто к зрителям. Поразительный взгляд прекрасных глаз — поистине «изумительной искренности и великой любви сосуд живой». Репин писал: «Гаршинские глаза, особенной красоты, полные серьезной стыдливости, часто заволакивались таинственной слезою».

Окончив портрет, Репин написал П.М.Третьякову о Гаршине: «Как кристалл чистая душа!».

У картин, как и у книг, свои судьбы.

Волею непростой судьбы репинский портрет Гаршина оказался за океаном, в Нью-Йорке, в Метрополитен-музее.

Неделю назад мои друзья, Инна и Слава, проходя по Музею, сфотографировали портрет и — волшебством сегодняшней техники — через секунду он появился на экране моего компьютера.

Репродукции с этого портрета есть в каталогах и альбомах, да и в моей первой — ЖЗЛовской — книге о Гаршине он напечатан на переплете, но, право же, нежданное явление портрета вдруг радостно прервало привычный будничные поток времени, прозвучало дорогим сердцу приветом от любимого Гаршина, от Репина, который тоже не однажды обживался на страницах моих книг, от милых сердцу американских друзей. Приветом моего сегодня и прошлого моего.

19.

Прежде чем взяться за портрет, Репин написал Гаршина на небольшом холсте, почти в профиль — этюд для головы царевича на картине «Иван Грозный и сын его Иван».

Картина произвела на Гаршина огромное впечатление.

Он писал другу:

«Как мне жалко, что тебя здесь нет!.. В каком бы восторге был ты теперь, увидев «Ивана Грозного» Репина. Да, такой картины у нас еще не было, ни у Репина, ни у кого другого — и я желал бы осмотреть все европейские галереи для того только, чтобы сказать то же и про Европу... Представь себе Грозного, с которого соскочил царь, соскочил Грозный, тиран, владыка, — ничего этого нет, перед тобой только выбитый из седла зверь, который под влиянием страшного удара в минуту стал человеком. Я рад, что живу, когда живет Илья Ефимович Репин».

20.

Быстрым карандашом набрасывал Репин последний портрет Гаршина.

Яркой акварелью подчеркнута выделил на рисунке красные цветы.

Очень точно замечено (Н.А.Любович), что подпись Репина поставлена не там, где обычно ставится, — в углу работы, а — посредине листа. Она как бы вплетена в красный венчик, поставленный у изголовья.

Не знак авторства — прощальное подношение.

.....

Глава двенадцатая

1.

Так получилось, что Пасху 1974 года я отмечал в Ленинграде.

Я вряд ли бы вспомнил, что год был никакой иной, а именно 1974-й, если бы как раз накануне праздника не умер скульптор Вучетич.

В тот день, о котором я собираюсь рассказать, утром Светлого Воскресения, я подошел к газетному стенду (помню — где: на Лиговке) — и увидел некролог.

По тогдашней табели о рангах Вучетич в «армии искусств» был не то что генералом — маршалом. «Перекуем мечи на орала»... И монумент Сталина на Волго-Донском канале, огромностью заткнувший за пояс Колосса Родосского... И мемориал на Мамаевом кургане...

Великий скульптор советской эпохи был высокомерен, деспотичен, груб, любовью сподвижников по искусству не пользовался...

Число острословов в отечестве нашем не скудеет, особенно в годы запрета на острословие. Какой-то из них проводил ваятеля в последний путь непечальной эпиграммой: «На Пасху нынче выпал номер: // Христос воскрес, Вучетич помер»...

Так само собой запомнилось, что время действия — год 1974-й.

2.

Место действия, как сказано, — Ленинград.

Можно держать пари с самым изощренным спорщиком, что во всей нашей 200-миллионной стране не было в ту пору и одного человека, который предполагал, что это, казалось, навеки прилепленное к городу название не продержится отныне и двух десятилетий.

Гостиница, где я (по знакомству, конечно) поселился, была тоже — «Ленинградская».

В прошлом она именовалась — «Англетер».

Едва ли не на второй день моего внедрения в гостиницу коридорная Елена Николаевна показала мне дверь номера, в котором покончил с собой Сергей Есенин. (Теперь, впрочем, в справочниках стали писать «найден мертвым»: гипотеза убийства оказалась для многих весьма соблазнительной.) Елена Николаевна (а не Людмилой ли ее звали?) поведала весело, что время от времени неизвестные озорники звонят, непременно среди ночи, по телефону в номер и сообщают, что в комнате живет дух поэта, или просто говорят от его имени; многих постояльцев это сильно пугает. «Ну, что ж, — сказал я, — теперь хоть понятно, чем заняться в случае бессонницы...» Елена Николаевна засмеялась и погрозила мне пальцем: «Только попробуйте!»

В ту пору считалось, что все коридорные в гостиницах — секретные сотрудники известного учреждения, которым поручено всеми возможными способами наблюдать за каждым постояльцем. Может быть (даже — наверно), так оно и было, но мы часто уставали подозревать и быть осторожными, так же, как в коридорных особость их природной личности одолевала приверженность секретным поручениям.

Елена Николаевна была немолода (для меня тогдашнего — тем более), за пятьдесят, сложена хорошо и крепко, невысокая, плотная, с лицом не то, что бы красивым, но правильным, ясным (такими рисуют учительниц на картинках в школьных букварях). Профессор Ю.О., свой срок отсидевший, однажды сказал задумчиво молодому человеку с выразительным еврейским профилем: «Вас секретным агентом не сделаешь: вы заметны в толпе». Елена Николаевна в толпе была бы незаметна, но сама по себе, вне толпы, смотрелось вполне штучной, привлекательной женщиной.

Меня, при моей постоянной встревоженности, манило в ней доброе, светлое, слегка даже усыпляющее спокойствие, которое она излучала, — такие женщины на меня всегда сильно действовали.

3.

Мой ленинградский приятель Гор предложил пойти вечером в церковь на Пасхальную службу.

В Ленинграде был известный писатель Геннадий Гор, но я пишу не о нем.

Мой приятель Гор (вообще-то Егор, но в своем кругу так уж повелось — Гор) литературой не баловался: был он артистом, чтецом, и числился, кажется, при филармонии. Не помню, чтобы он участвовал в каких-либо заметных концертах, — чаще всего гоняли его по школам, где он на вечерах и пионерских сборах развлекал слушателей юмористическими рассказами для детей и юношества, вроде «Гадюки» Юрия Сотника. Особенно востребован оказывался Гор в зимние каникулы, время новогодних елок, потому что славился умелым Дедом Морозом, — у него были какие-то свои особенные номера, например трюк с леденцовыми конфетами в виде сосулк, которые он доставал по знакомству на какой-то базе.

4.

Прежде я не замечал в Горе ни малейших признаков воцерковленности. Разве что иногда он показывал уморительно смешные сценки, имитируя, как, будучи студентом, сопровождал в церковь знаменитую старую актрису, в театральном училище очень ему покровительствовавшую. Но когда на этот раз он заговорил о пасхальной службе, было в его темно-серых глазах нечто такое, что не позволяло усомниться в искренности и силе владевшего им чувства.

5.

«И зачем в такую погоду? — как-то даже по-свойски посетовала Елена Николаевна, когда я сдавал ей ключ, отправляясь на свидание с Гором. — На улице совсем промозгло. Всё равно напрасно проходите. Вон в буфете и тепло, и светло. Коньячок хороший, и даже *кекс Весенний* завезли».

Кексом Весенним официально именовались пасхальные куличи, выпускаемые с недавних пор промышленным способом в целях конкуренции с домашними, которые население продолжало во множестве выпекать несмотря на антирелигиозную пропаганду.

«Господи! — подумал я. — Неужели она и в самом деле знает всё, что со мной происходит, и даже то, что произойдет, о чем я сам еще не ведаю?..»

6.

Возле церкви, куда меня привел Гор, стояла толпа.

Здание было окружено милицией и цепью дружинников с голубыми повязками на рукаве, будто там, внутри, шла не пасхальная служба, а заседание Политбюро.

Действующих храмов в городе оставалось всё меньше.

«В Челябинске, в Пензе, я туда с концертными бригадами ездил, уже и теперь по одной действующей церкви. И то на кладбищах, — сказал

Гор. — Через двадцать лет наши внуки будут про церковную службу в старинных справочниках читать».

(Через двадцать лет наш Гор, уже священник, отец Георгий, будет настоятелем храма в одном из приволжских городов. «Благоговею и безмолвствую перед святою твоею волею и непостижимыми для меня твоими судьбами».)

Двери храма были открыты. Воздух в храме был напитан желтым светом свечей и дыханием молящихся. Оттуда доносилось пение, заглушаемое разговорами в толпе.

На улице всем распоряжался короткий широкоплечий человек в плоской кепке, помеченный голубой повязкой дружинника. Широко расставив короткие ноги, он стоял на паперти, как капитан на своем мостике, и остро всматривался в толпу. Время от времени он высматривал какую-нибудь старушку, зычно командовал: «Мамаша, пройдите в храм!» Дружинники расступались, образуя узкий проход, избранная старушка, поспешая, пока начальник не передумал, устремлялась к церковным дверям.

Вечер был сырой, знобкий. Питерская пронзительная сырость заползала за воротник, в рукава.

«До полуночи, наверно, не достояю», — признался Гор. Его заметно потряхивало. На нем было его несменяемое, на все сезоны серое пальто с пояском. (Врачи находили у него непорядки в легких, посылали в Крым. Денег на путевку не было, он нанимался в санатории вахтером при слагбауме.)

«Может быть, и правда, — в гостиницу, — вспомнил я Елену Николаевну. — В буфете коньяк хороший, кекс *Весенний*...»

«Лучше пойдём в Клуб... — Гор назвал какое-то имя. — Сегодня для отвлечения народа от опиума по клубам фильмы показывают, каких в кино век не увидишь...»

7.

Мы доехали до Васильевского и пошли по какой-то Линии.

Я сказал: «Вот мы идем, как Лука и Клеопа, и полагаем, что Он умер, и по недостатку веры забыли, что непременно воскреснет. А Он — воскрес, и идет рядом, но глаза у нас удержаны, и мы не узнаём его. И Он говорит нам: «О несмысленные и медлительные сердцем, чтобы верить всему...»

История о пути в Эммаус — одна из моих любимых в Книге.

Мы говорили о физической осязаемости евангельского текста. В каждом слове открывается картина мира, в котором ты живешь и действуйешь, который ощущаешь каждой клеточкой тела.

Об этом хорошо у Чехова в «Студенте».

Холодным темным вечером в Страстную Пятницу студент духовной академии, сын сельского дьячка, набрел в поле на костер, который разогли две крестьянки, мать и дочь, и вспоминает, грея руки над огнем, историю отречения апостола Петра.

«Точно так же в холодную ночь грелся у костра апостол Петр, — сказал студент, протягивая к огню руки. — Значит и тогда было холодно. Ах, какая то была страшная ночь, бабушка! До чрезвычайности унылая, длинная ночь!»

Студент пересказывал евангельскую историю, и ему казалось, что он видит всю цепь, которая связывает настоящее и прошлое: дотронулся до одного конца и дрогнул другой. Он же, рассказывая, чувствовал себя и на том и на другом ее конце.

Вечность — это не остановка движения времени, а единое бесконечное пространство его движения.

«Если старуха заплакала, то не потому, что он умеет трогательно рассказывать, а потому, что Петр ей близок, и потому, что она всем своим существом заинтересована в том, что происходило в душе Петра».

...Годы спустя после той ночи, о которой пишу, уже в конце 1980-х, но такой же мартовской Пасхальной ночью, совсем с другим спутником я шел по Иерусалиму, и было тоже холодно (для нас, пришедших с севера, нежданно холодно), — мы тоже вспомнили Луку и Клеопу и апостолов, физически ощущая, как смятенно брели они той длинной страшной ночью, кутаясь в свои суконные плащи.

8.

В клубе, куда привел меня Гор, показывали фильм Жана Кокто «Орфей».

9.

Фильм о том, что такой же неразрывной цепью (тронешь один конец — дрогнет другой) связан наш временный мир и иной, *Великое Может Быть* (по слову Рабле), которого мы же становимся, или являемся, обитателями.

В одном давнем своем повествовании я рассказывал о страшном, навсегда ворвавшемся в память впечатлении: вызванный к дорогому покойнику бальзаматор, отрекомендовавшийся «заморозка», надевает красные скользкие резиновые перчатки.

В фильме такие перчатки — непрменный атрибут Смерти (Мария Казарес).

10.

Я возвратился в гостиницу далеко за полночь.

«Совсем замерз? — посочувствовала Елена Николаевна. — Полгорода, наверно, исходил?»

Она положительно всё обо мне знала.

«Идите, переодевайтесь скорее. Я вам тут коньячку припасла».

Через минуту-другую она постучала в дверь номера. В руке у нее была тарелка, на тарелке — стопка коньяка, несколько ломтей кулича и непредусмотренное красное яичко.

«Разговляйтесь».

«А вы?»

«Мне нельзя. Я на посту».

Я быстро залпом выпил коньяк.

«Воскрес?» — рассмеялась Елена Николаевна.

11.

Светлое Воскресение распахнулось поистине — светлым.

Утро было солнечным, ярким, по-весеннему молодым.

Прямоугольник окна заполнило голубое, будто промытое небо.

От мглы вчерашней и следа не осталось

И тотчас (без обдумывания, без решения) само собой понятно стало — на Волково.

.....
.....

На площади, перед входом в гостиницу (такого и не придумаешь, очень уж неожиданно!) — женщина с зеленым эмалированным ведром продавала красные гвоздики.

.....
.....

У ворот кладбища толпился народ.

Так же, как накануне у церкви, только людей поменьше.

Люди держали в руках корзины, клеенчатые сумки с провизией для поминок, узелки — в косынках увязанные куличи.

Ворота были заперты.

На железной решетке — лист картона с наспех написанным объявлением: «Кладбище закрыто на просушку».

Звучало загадочно, даже мистически.

В воротах, по ту сторону решетки, прохаживался милиционер.

Я протолкался вплотную к решетке, окликнул его.

Он приблизился.

«Вот, — я показал ему гвоздики. — Специально из Москвы приехал».

«А удостоверение имеется?»

У меня в кармане был билет писательского союза, но я протянул ему то ли пятерку, то ли трешницу. Он взял.

«Родные, что ли?»

«Близкие».

«Фамилия какая?»

«Гаршин».

«Правильно. Есть такие».

Он слегка приоткрыл ворота и тотчас с лязгом снова захлопнул... Я едва успел проскользнуть в образовавшуюся щель.

«Цветы — другое дело, — громко сказал милиционер, явно рассчитывая, что стоявшие неподалеку его услышат. — А то куличи, понимаешь, яйца лупят, у кого портвешок, а у кого и белое. Воспрещено...»

.....
.....

Над кладбищем была еще опрокинута прозрачная пустота. Но разогретый весенним солнцем воздух уже густел в кронах старых деревьев с окаменевшей, как гранит памятников, чернеющей наростами корой, на концах черных заскорузлых сучьев светлели молодые побеги.

«От смоковницы возьмите подобие: когда ветви ее становятся уже мягки и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так, когда вы увидите все сие, знайте, что близко, при дверях».

Красные цветы на черном камне пламенели маленьким жарким факелом.

Майя ШВАРЦМАН

/ Гент, Бельгия /



РАЗРЫВ

Брось, не вычерпывай. Ты ни при чём.
Заросли ивы над гибкой излучиной
отодвигая неловко плечом,
ищешь слова соответственно случаю.

Так подбирает волна наперёд
плеском о лодку размер стихотворный.
Лебедь поодаль настойчиво ждёт
крошек, как ждёт чаевых коридорный.

Не нарушай неподвижную гладь
сопротивленьем течению сызнава.
Незачем выхода в жесте искать.
Дай ещё долго и нежно облизывать

лакомке-речке весла леденец,
тычась губами в борта и ключины.
Дай накричаться сполна, наконец,
чайкам, пугающим: «К лучшему, к лучшему!»

* * *

В буреломе лесном осторожная ветка
сухо щёлкнет, как будто беря на прицел.
Это просто случайность, шепнёшь себе, — редко,
чтоб срывался со взвода тугой самострел
под ничью рукой... Это в сумерках мнится,
что не ветер — чужое дыхание вокруг.
Что сама по себе с шелестеньем страница
на зловещих словах раскрывается вдруг.
Это кажется только, бормочешь упрямо,
что невидимый кто-то тебя стережёт

ни с того ни с сего, и что с умыслом ямы
на дороге рябят, понуждая в обход.
Это всё не нарочно. И тьма непричастна,
это нервы и страхи, а вовсе не лов
беспощадный, — ведь правда?.. бывают нечасто
под луной совпаденья... падения сов...

* * *

Праздники, годовщины — пора пожаров,
пламя итогов, гордости и обид.
Пышный салют над лаврами юбиляра.
В небе рубины, яхонты, лазурит,
знаки выводят — такие, как Валтасару
давеча. Стоит вчитаться, пока горит.

Темный туннель всё уже, всё злей придирки
к ближним, всё ближе к телу — венки, хвала,
тосты, но не отмыть даже в чистом спирте
стен и застенок памяти добела.
Мир всё тесней, как платице после стирки.
Вскорости жизнь нам станет совсем мала.

* * *

В Alitalia рейсом заполночь,
вспоминаешь вдруг ближе к вылету
то ли присказку, то ли заповедь:
будто в город Рим все пути ведут.
В темноте сплошной не видать дорог.
Самолёт скользит белой капелькой
через мутный пар, облаков творог,
по материи чёрной штапельной.

Языком луны воздух вылизан,
отпотев, окно будто вымылось.
Ткнёшься лбом в стекло — виден дым внизу,
на дворе трава, снег да жимолость.
Тропка отчая — по росе зигзаг,
от купели до ближней паперти.
Все пути ведут, да не все назад,
и не все белы словно скатерти.

Далеко внизу видишь крошево
деревень и сёл, кровель гранулы.
Самолёта след в небе прошвою.
Если ниже взять — не тумана мгла,

и не облако — пух на тополе.
А на западе, вдоль по берегу —
огоньки во тьме, полотно полей,
город-запонка в рукаве реки.

* * *

...как вдруг поймешь, что это — за тобой.
Вот так без околичностей, без сговора
примет неосязаемый конвой
даст осознать, какое уготовано
тебе в задумке место. В сыпь синкоп
собьются загрудинной мышцы часики,
и возвестит болезненный озноб
о неизбежном жребии причастности.
И затрепещешь с головы до ног,
как будто в оркестровой яме заново
почувствовав призывный холодок,
когда на сцене поднимают занавес.

МЕЛЬНИЦЫ

Особенно по осени, на клинья птичьи глядя,
скрипели и гундосили, и жаловались ветру,
внимавшему с ехидцею их горестной досаде:
махнуть бы вместе с птицами за сотни километров!
Расправить крыльев лопасти, взглянуть бы, что за дамбой,
хоть раз отведать отпуска, не торопясь, с прохладцей,
над морем и шаландами взорлить честной командой,
хотя бы до Голландии за пару дней добраться.
С летучими голландцами сыграть в тумане в прятки,
бездельничать, валандаться, предавшись благодущью,
забыв о покалеченных зубцах в тугой зубчатке,
подагре в поперечинах и жерновах в подбрюшьи.
А ветер вьётся истоиво и заграницей дразнит,
трепаться да насвистывать заведомый умелец:
там все кутят без роздыха, там длится вечный праздник,
зерно дешевле воздуха для перелётных мельниц...
В отместку страсотерпицы, скрипя на всю равнину,
всё яростнее вертятся, всухую воздух шкура,
всё шибче над ландшафтами вращают крестовины
и, словно масло пахтая, сбивают ветер в бурю.

* * *

Воздух влагою мелко закапан,
но грозе наступить недосуг.
Словно флейты заклинивший клапан
проглотил ожидаемый звук,

словно длится, и длится, и длится
 нескончаемый взятый закат,
 и, дыханье держа, полнолицый
 от натуги, краснеет закат.

Словно в поисках нужных отметин,
 пригибаясь к листам, близорук,
 продувает отрывисто ветер
 поперхнувшийся зноем мундштук.
 В партитуре захватанной шарит,
 уповая, что сыщется гром.
 Духота будто войлочный шарик
 застреваает в гортани комком.

И тогда, напряженьем измучив,
 ослепительный щёлкает кнут,
 будто где-то срываются в тучах
 и в тарелки, не выдержав, бьют.
 Гром прерывисто рвёт перепонку,
 нарастает, горласт и мясист,
 и ему, спохватившись, вдогонку
 зазевавшийся свищет флейтист.

ТБИЛИСИ

Циури Мегрелишвили

Сгустившийся к вечеру смог
 синее, чем спелая смоква.
 Из оперы пеня поток
 струится в открытые окна,
 как будто бы плещут веслом —
 так музыке тесно в партере,
 и горестно Абесалом
 тоскует о нежной Этери.

Носясь от балконных перил
 театра к отелю напротив,
 кинжальными взмахами крыл
 с присвистами при развороте
 на порции режут стрижи
 горячий проспект Руставели.
 На крыше театра лежит
 и жмурится, слушая трели,

прижившийся в опере кот,
 привыкший к шумам и шуршаньям,

при смене вокальных частот
слегка поводящий ушами.
Он смотрит вокруг и поверх,
над городом чутко дежуря,
как витязь — в природной своей
оранжевой тигровой шкуре.

Ему открывается вид
на сквера зелёную рамку.
Кулиса платанов пылит,
реклам разгорается рампа.
В витринах средь прочих чудес
сияют круги сулугуни,
как будто идут на развес
запасы литых полнолуний.

Он взгляд переводит туда,
где блики от кровель покатых
вливаются в ночь без следа,
где небо в холодных цукатах.
Он гулко урчит на закат,
на розовость тучи лососью,
и слышит ответный раскат
грузинского многоголосья.

ДИТЯ

всё тешится, а няньки сбились с ног,
проходим объясняя: «Он резвится!
он не всерьёз, он просто стригунок,
вкус жизни познающий по крупицам».
Дитя бросает камни далеко,
используя младенческую лямку
взамен пращи. «Он целил в *молоко!*» —
подбитым растолковывают мамки.

Петардой расписной подождены
сады соседа, но в неразберихе
«Игрушки! — голоса опекуны, —
ведь даже называются: шутихи».
Инфант к ракете тянется («Пугнуть», —
бодрится хор) и в неба простоквашу
палит, и, попадая в Млечный путь,
вселенскую заваривает кашу.

* * *

Грамоты нотной, и той не знала, куда уж до канцонетт
или концертов; так что, мне говорят, крыть нечем, где козырь-то?
Нечем крыть. Ни крышки, ни гроба, да что там — могилы нет.
Так же как Амадея, тело её, оставленное душой отмучившейся,
волоком дотащили и бросили в общий зловонный ров.
Не о цинизме речь, скорее, о равнодушии: все они шли кучей, всяк
знал, что туда им всем и дорога. В печку ли вместо дров,
в общую душевую ли — а куда же ещё-то душам?
Холокост, назовут потом. Стало быть, холо-кости, жилы, хрящей сырец —
все вещдоки размазались сажей, пылью; а хрипы и сип заглушим,
что-нибудь сыграем погромче, того же Вольфганга, Вагнера, наконец.
Голоса теперь: не было этого, и тетрадки её подделка. То ли верить
нам, то ли нет, — толерантность! Что же до разных правд,
то они так и остались разными: всё зависит от стороны двери
с фальшивыми книжными полками в доме на Prinsengracht.

* * *

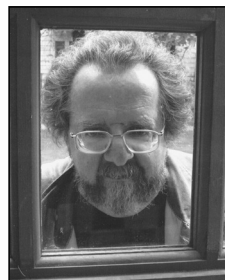
Неуловимый шанс, забравшись на стропила,
взирает с высоты пронзительным зрачком
на суету внизу. То чешет свой затылок,
то холодно зевнёт, да так, что ходуном
идёт и прочный пол, и крепкие строенья,
которые ты так усердно возводил.
В попытке подманить полезешь, по-тюленьи
неловко, — лишь качнёшь расшатанный настил.

А форта нет как нет. Он потянулся сыто
и канул в темноту с надменностью божка,
брезгливо обогнув разбитое корыто
и прочий смутный хлам в развалах чердака.
Тебе остались тень в тенётах паутинных,
обманчивый прищур, скупая теплота,
зависшая во тьме, водоворот пылинок
да остальная жизнь: мешок вокруг кота.

2013–2014

Борис ВАНТАЛОВ

/ Санкт-Петербург /



ПИСЬМА В НИКУДА¹

64

Дорогой брат!

Я решилось. Оно нашло «новую» тетрадь (когда-то «мне» подарила ее Надежда) с черепахой на обложке. Давным-давно у «меня» была черепаха. Её звали Тортиллой. Она сбежала от нас на даче. Очень уж ей хотелось на снег посмотреть. Так что, Коля, буду продолжать нашу безнадежную переписку. Эта тетрадь поменьше, всего сорок восемь листов. Она в клеточку, как, собственно, и все мы.

Подарил Шведову каталог «нашей» совместной пражской выставки. Валера был сильно пьян, но героически просмотрел его до конца. После чего вырубился. А я пошло в другие гости.

Там иные люди курили «Беломор», а я уныло цедило принесенные 0,25 коньяка. На экране хозяйского компьютера светилась заставка — кудряковская фотография. Интерьер деревенского дома. Венские стулья, заваленный стол, какие-то картины, окна, занавески. Все это таинственно мерцает, как у Бергмана или Тарковского. Словно в «реальность» просачиваются ноумены. Мистика сельского бы-та-та.

Та-та-та. Вышла кошка за кота. За кота-котовича, за Иван Петровича. Огой!

14.06.2013

65

Дорогой брат!

В вашем полку (опять угасла очередная гелевая ручка) прибыло. Вчера в церкви в церкви св. Ионы (Волковское кладбище) отпевали твою сводную сестру Тамару Аксельрод. Ей шел 81-ый год. В своей жизни «я»

¹ Окончание. Начало — «Крещатик» №№62, 63, 64, 65, 66.

видел ее несколько раз, еще на Карповке. Еврейские родственники вспоминали Сурож, говорили, что прадедушка был выдающимся садоводом, а в новопостроенном доме наших с тобой бабушки и дедушки немцы разместили штаб, который во время отступления сожгли со всей деревней и ее обитателями. Говорили о счастливой жизни новоявленных антиподов в USA, вилла в триста квадратов и бассейн.

На похороны не пошёл, потому что должен был бежать в салат.

Там — тихо.

Некто в телевизоре сообщил, что эпоха логоса заканчивается, и теперь в начале будет цифра.

Каббала, одним словом.

«Наука мистикой начала, мистикой и кончит», — писало я в юности. «Молчит Вселенная стихами», — сочинило я гораздо позже. Формулы, кстати, тоже стихи.

Приснился бы ты, Коля, что ли. Рассказал чего-нибудь. Вести из неизвестности. Хорошее название.

У жены уже несколько часов сидит дипломница-заочница из Чебоксар. Скоро предзащита. «Я» заперт в своей келье наедине с умирающими книгами. Скоро все оцифруют.

Пока.

Твой брат № 108 (базовое число в строении мира).

16.06

66

Дорогой брат!

Что-то не очень-то пишется «мне» на панцире черепахи. Дал тут Казарновский Йозефа Вахала «Кровавый роман» почитать. Ты его гравюры, вроде, собирал. Интересный был субъект этот Вахал. Мистик, переплётчик, наборщик, художник... Его книгу на русском издал Митя Волчек (2005), который на днях отказался издавать твои «Сны». Как говорил герой Юрия Никулина в «Бриллиантовой руке», будем искать.

Вышел И.В. Бахтерев, последний обэриут, с которым ты выступал в 1984 году (помнишь?). Два томика сочинений появились спустя семнадцать лет после смерти. Юношеский возраст.

Я говорило Казарновскому (он сейчас в Грузии), что до начала экспедиции на тот свет оно хотело бы поддержать в руках томик (или два!) твоих сочинений. Хотя в случае «фелморивского пятикнижия» не ясно, кто кого сочинял. Парадокс «бабочки Чжуанцзы» срабатывает.

«Мне» понравилось, как Вахал ругает импрессионистов.

«Его взволнованное душевное состояние напоминало настроение первых французских импрессионистов, возвращавшихся из Лувра в свои мансарды, с похмельем от вчерашнего употребления алкоголя в затылке, с сознанием собственного бессилия и недостатка усидчивости, необходимой для добросовестной работы, требующей ясности мысли, и убеждающих себя в необходимости создать для охмурения самих себя и зрителей великолепное и могучее ничто».

Как это звучит! «Великолепное и могучее ничто». Просто здорово. Бодрит, брат, бодрит. Как холодный душ.

Вот вчера и Хока туда перешёл, японский хин Елены Шварц. Только половину своего собачьего века прожил. А у «меня» в стихотворении «Lieb Frau Milch» (2008) последняя строфа такая:

Бегал пёс, японский Хока
чёрно-белый самурай.

Бог, не надо, раньше срока
этих двух не забирай.

Не внял Универсум. Не внял.

Жалко Хоку, жалко Лену, жалко Тамару Аксельрод и тебя, Коля, жалко, и Кудрякова, и Дасика. Да что тут поделаешь...

Ни-че-го.

26.06.2013

67

Дорогой брат!

Во второй раз к нам приехала Зденка с дочерью Катей. Вчера ходили с твоей вдовой на Серафимовское кладбище. Оказывается, могилка Александры Петровны (бабушки) прямо напротив церкви. Прибрали там и выпили немного коньяка. Зденка сказала, что А. П. уважала «Мартель». Табличка на кресте совсем старая, «я», по слепоте, ничего не разобрал, и Зденка извлекла из небытия осколок фамилии твоего предка — Юркин.

Анонимность — признак вечности. Мы, по душевной слабости пребывая в дискретном времени, мастурбируем с памятью. Перспектива безликого пребывания в атолле нам ужасна. Мысль же о полном исчезновении самого атолла у многих парализует мозг. «Моё» же патологическое «я» почему-то обожает заглядывать в эти бездны, как бы испытывая «себя» на прочность. Не хрястнет ли разум? А ему, подлецу, всё хоть бы хны. Сердце — другое дело. Например, там бывает жалко. Чего разуму жалеть? Бороздки извилин, эту пашню мозга, на которой растут вопросительные знаки непостижимости. Разум — пишущая машинка «реальности». Арифмометр «событий». Кузнец кандалов кавычек. Предбанник нас нет.

В чём назначение науки, брат? В обострении чувств! Взять ту же Землю, то она плоская на черепахе или на трёх китах. Потом — круглая в центре мира, потом — вокруг солнца, потом — песчинка в одной из множества вселенных.

Мифу миф, как я уже когда-то писало. Какой источник для рефлексий малахольной козявки! Вместо того чтобы возделывать «свой» огород, она вглядывается в черноту неба.

— Кто, кто в теремочке живет?!

— Мышка-наружка, гэбэшная служка.

Ха-ха-ха. Прости, брат. Юмор висельника и А. Ника. Пора в магазин. Вечером — гости.

9.07.2013

68

Дорогой брат!

Какие новости? У «меня» никаких. Вдова твоя улетела в Прагу вчера. А к нам через две недели придут одновременно киевская издательша с мужем и сыном, а также Михаил Евзлин с женой Милагросой из Мадрида. Я тебе писал, он издал твою «Рубку слов».

Никто не забыт и Ничто не забыто. Так эта пропагандистская фраза выглядит в «моей» интерпретации. Процесс отрешения от «себя» идёт крайне медленно. Есть небольшие подвижки. Стал общаться с организмом, как с кошкой или собакой. «Я» в него чего-то вливаю, запихиваю, и ему-то, «тудяге», всё это непрерывно надо разлагать, выливать, исторгать. Легким дышать, сердцу стучать и никакого роздыха. А «я» — эквилибрист балансирует на этой шаткой конструкции, ощупывая ментальными ручонками что-то, хлопая полуслепыми ментальными глазёнками, разевая ментальный ротик: «Я считаю...»

Какая клоунада, брат! Все эти нелепые падения башки на арене мозга. Потом она непринуждённо отряхивается от опилок ноосферы и, как ни в чём не бывало, продолжает идти вперёд по ленте Мёбиуса. Вспомним чаплиновские концовки фильмов.

Дорогу осилит идущий.

Пшли!

11.07.2013

69

Дорогой брат!

Сейчас (11 ч. 46 м.) прочёл Ладислава Клима «Страдания князя Штерненгоха», изданную при содействии уже упомянутого Мити Волчека. Дай Бог ему здоровья.

Вместе с Вахалом, Гашеком, Кафкой я как-то по-новому почувствовало эти чешские вибрации (ещё Майринк!). И он понял, что всё это трепетание вторглось в твою вторую половину творческой жизни (СПб: 1945–1972, Прага: 1972–2010).

Может быть, обратную сторону обложки «моей» «Ни-ни» я украсит цитатами из этих славных маргиналов. Вот из Клима — «нам кажется, что нам кажется, что что-то есть».

А его «Собственное жизнеописание»! Вообще, если бы я прожило другую жизнь, то, может быть, посвятило бы её второй волне авангарда. Обзриуты и европейский абсурд. Я чувствую, что здесь возможно морфологическое описание (в духе Проппа).

Проследить, как плавилась структуры сознания. Шло таяние «я». Человек перестал быть центром «себя». Он вынырнул из ментальных потоков. Утратил тождество, обратился в не-я и встал в угол «себя».

Помнишь графический цикл «Уголовник»?! Боже, как давно всё это пролепеталось.

14.07.2013

70

Дорогой брат!

Сижу в салате и пью зелёный чай. Сейчас все разъехались. Даже жена в Киеве. У «меня» тут начался рисовальный залой. Вместо кисти — губка, намазанная чёрной гуашью, как щётка гуталином. В зависимости от способов прикосновения к бумаге получаются разные эффекты. Исследую эrogenные зоны целлюлозы. Использую большие листы. Они еле помещаются на кухонном столе («моя» мастерская). Из-под руки выпархивают то бабы, то мужики, то маги, то болваны. Мой рисовальный мир антропоморфен...

Пришлось отвлечься, начались звонки: Богомолов, Исаев, Ладыгин, Фирстов. Чоповский планктон, многолетним представителем которого является и «моё» я.

Когда «я» раскладываю ещё не просохшие листы на диване («моя» галерея), то кажется, что персонажи шевелятся.

«Я» — 3,14 гмалион.

Иногда «ему» кажется, что в судьбе осталась ещё одна развилка (точка бифуркации?), и что-то может измениться. Иногда — что она уже давно пройдена, и кроме прямой тропинки-кишки в никуда ничего нет.

Борхес пройден.

Впереди слепота Вавилонской библиотеки.

Что ты там читаешь, брат? Освещение, наверное, инфракрасное. А книги возникают прямо в голове, как сны. Только что назвать в этой ситуации головой, вот в чем вопрос?

До скорого!

11.08.2013

71

Дорогой брат!

Продолжаю возиться с погибающими. Уж не Надсон ли «я»? Вот завтра понесу уборщице в салат двухтомник воспоминаний (М. 1987) Елизаветы Николаевны Водорезовой (1844–1923). «На заре жизни» называется. Как он попал ко «мне»? Немножко полистал и наткнулся на любопытное место, касающееся этикета тогдашних нигилистов — шестидесятников. «Кодекс этих правил был аскетически суровый, однобокий и с пунктуальной точностью указывал, какое платье носить и какого цвета оно должно быть, какую обстановку квартиры можно иметь и т.п. Прическа с пробором позади головы у мужчин и высоко взбитые волосы у женщин считались признаком пошлости. Никто не должен был носить ни золотых цепочек, ни браслета, ни цветного платья с украшениями, ни цилиндра; предосудительным считалось иметь в квартире и дорогую обстановку. Хотя эти правила не были изложены ни печатно, ни письменно, но так как за неисполнение их каждый подвергался порицанию и осмеянию, то тот, кто не хотел прослыть заскорузлым консерватором, твёрдо знал их наизусть».

Понимаешь, брат, а ещё через сто лет появились стилиаги. Это как волны. И каждая считает себя единственно правой, оригинальной...

Бедные молодые люди! Они ещё не чувствуют океана. Они верят в «я». Они думают, что они существуют.

Не написать ли мне трактат «О пузырящихся»? Как вы думаете, Елизавета Николаевна?

А кстати, брат, ведь так же зовут твою младшую дочь.

Что бы это ни значило, меню оно озадачило.

Пока.

16.08.2013

72

Дорогой брат!

Сегодня утром позвонил Кипнис и сказал, что умер Вася Филиппов, хороший поэт и несчастный человек. Полжизни в дурдоме.

А сейчас, сидя в салате, узнал из газет, что позавчера умер Виктор Топоров, человек-скандал.

На чёрном письменном столе лежит светлая книга Ладислава Клима «Что будет после смерти» и Артура Хоминского «Возлюбленная псу» с картинкой на обложке Ольги Розановой (их дал почитать Петя Казарновский). Так что я коротаю время с маргиналами, как всегда.

Звонил в салат Марковский (редактор «Крещатика») и предлагал «мне» поучаствовать в питерском номере оного. «Я» хочу дать туда начало «Писем в никуда», чтобы печатать их потом постепенно.

У «моего» я есть сверхзадача, связанная с этой книгой. Но «я» тебе, брат, открою её только в конце.

Принёс уборщице несколько брошюр на английском. Они занимали целый ящик в стеллаже. Теперь там лежит видео и аудио с «моей» мордой и голосом. Морду — отдельно, звуки — отдельно, знаки — отдельно. Дивергенция «меня». «Сам» разбираю «себя» на элементы. Деконструкция Б. Констриктора.

На прощание цитата из «Уюта Дженкини» (со значимым для тебя подзаголовком «Первые сны») Хоминского.

«Когда Тальскому /Вантальскому — ха-ха-ха! — Б.В/ предстала ломка старых понятий и идеалов, он почувствовал, что связывающие его с прошедшим воспоминания потеряли всякий смысл и лопнули брызгами раздувшегося мыльного пузыря». «Мой» пузырь ещё не лопнул. Я ещё мочится воспоминаниями.

Чао!

24.08.2013

73

Дорогой брат!

Пысылаю в «Крещатик» девять брызг «моего» пузыря.

Надежда, проклиная свою горькую долю, набирает их на компьютере.

Первый комп нам привёз славист Джеральд Янечек из Штатов. Он, в свою очередь, получил его от Андрея Тата, Тат — от психиатрши, которая вела с ним регулярные антицикутные беседы.

Просветить «меня», как работать с п.к., вызвался Август, сын Сергея Сигея и Ры Никоновой. Вводная часть его лекции так затянулась, что я уснуло и понял из этого сна, что «я» и компьютер две вещи несовместимые. Так я стало нищим, буду просить до конца дней у близких и знакомых электронную милостыню. Но я твёрдо решило остатки своего меркнувшего зрения отдать рисованию. Там — свобода.

Свобода и здесь в письмах. Я их тоже рисует. Каждое как графический лист.

«Я» — яйцегЛИСТ.

На этом аппетитном определении прощаю с тобой, брат.

Пока.

28. 08. 2013

74

Дорогой брат!

День знаний. Сижу в салате. На чёрном столе валяются вахтенные журналы, ведомости, Льюис Кэрролл на английском, упоминавшийся Ладислав Клима. Обнаружил у него мощное рассуждение о сне и яви в рассказе «Что будет после смерти». Вот кусочек оттуда: «И что значит всё это мудрствование, ха-ха, что может сон говорить о яви...». А Кэрролл мечтал написать стихи, где бы обыгрывался смысл слова «ничто».

Такиев Д. Х. позвонил, обыграл ничто.

Васю Филиппова отпевали в Троицком соборе. Отец Валентин, кажется. Была там небезызвестная тебе Таня Горичева. В прошлом Хильда. «Меня» поразило её облачение. Громадные кроссовки, пиджак в крупную бело-зелёную клетку и длинная юбка в каких-то ярко-красных пятнах. Цветовой оксюморон. Юдинский /ЮГЕНД?/ стиль. Самое то для похорон.

Ещё помню, как один мальчик-аутист пришёл на похороны отца-поэта в шортах.

Погребальный ритуал требует строго исполнения. Здесь дело опять-таки в вибрациях. Они должны помогать переходу усопшего, а не отвлекать его. Это как в филармонии, молчи и слушай. Дай дорогу вибрациям! Отпусти душу. В Рай.

День знаний.

09.2013

75

Дорогой брат!

Когда-то написал: «Я и Павлов, я и собака». И вот, держа в руках очередную книгу (досталась от Скаковского), обречённую на эмиграцию из «моей» библиотеки, читая очерк об Антонио Лёвенгукке, привратнике, об-

наружившем сперматозоиды, я наткнулось на фразу: «Каждый человек, которого он встречал, был, так же как и он сам, экспериментальным животным для удовлетворения его любознательности» (Поль де Крюи. «Охотники за микробами». М.-Л. 1936 г., пер. с англ.). Лёвенгук сам собрал сотни микроскопов, сам же для них вытачивал линзы. Он тащил под свои окуляры всё, что попадало ему под руку.

А «я»-то, брат (тут же пришёл на память твой гениальный стих: «Я-то \хе-хе\ я»), с моей врождённой близорукостью, по сути, всю жизнь был таким микроскопом. Надо было только полушария крутить, настраивая их на резкость. Очки — «мои» лабораторные стёкла.

Ещё прочитал очерк про Мечникова. Он всю жизнь был близок к суициду и поэтому написал «Этюды об оптимизме». Видимо, каждый оптимист — это потенциальный самоубийца. Они всегда прячут ружья в кладовке, как Толстой. А вот Чехов смело вешал его на стену, потому что у него и так был туберкулёз.

Казарновский подарил «мне» книгу «Вторая культура». Это сборник статей о неофициальной поэзии в Ленинграде 1970 — 1980-х годов под редакцией швейцарского профессора (исследователя творчества обэриутов) Жан-Филиппа Жакара. Там есть Петина статья о твоей, «моей» и эрлевской прозе (при чём тут выше декларированная поэзия, не знаю. А, понял, потому что это проза поэтов). «Опыты нащупывания реальности». При том зрении, которым «я» обладаю, слово «нащупывание» очень точно передаёт «мои» действия в этом мире. Вспомни, как я карабкалось в полной темноте по лестнице в твоём доме (см. № 1). Разве это не метафора всей человеческой жизни. «По лесенке приставной», по лестнице Иакова ползём на ощупь одинаково.

Пока.

Твой ползучий брат,

Б. Констриктор.

17.09.2013

76

Дорогой брат!

Откровение, откровение! Листая упомянутую «Вторую культуру», вдруг обнаружил в статье Жозефины фон Цитцевитц (три «ц»!) о Лене Шварц и Олеге Охупкине, цитату (одно «ц») из первой.

«Мне было лет тринадцать. Я сидела у окна, боком к нему, и вдруг почувствовала, что занавеску как бы пронзил луч и что он вошёл в мой левый висок. \...\»

Всё в моей жизни сразу переменялось, я стала иначе видеть и понимать, это была как нить в невидимое.

Позже (гораздо) я увидела одну средневековую миниатюру, где был изображён молящийся царь Давид, там было именно это — луч через занавес входил ему в висок».

Конечно, «я» читал прозу Лены и подряд, и фрагментарно не один раз, но только сегодня (сейчас!) я вспомнил о своём собственном стихе. «Она читала наизусть Псалмы».

Это был один из моих первых визитов к ней на Красноармейскую. На столе горела свеча. Лена вдруг заговорила псалмами. Я сидело напротив. Между нами была хрустальная пепельница. Свет в ней преломлялся. И «я» вдруг увидел, что луч вонзается прямо в «меня». Псалмы и этот луч, Коля! Это было незабываемо. А может быть, передо мной сидела реинкарнация царя Давида. То-то она приставала к Дине Морисовне в младенчестве с одним и тем же вопросом: «Мама, ну, когда я стану мальчиком?»

Потом, после смерти Лены Кирилл Козырев дал «мне» эту пепельницу. Она стоит на подоконнике, и когда заходит солнце, его лучи, попадающие туда, образуют на стенах и потолке ярчайшие радужные пятнышки. Если я дома одно, оно подходит к ним, пятна плывут по нему, и оно в этот момент безоговорочно осознаёт, что смерти нет. Это длится одно мгновение. Секунда бессмертия. Хорошо оксюморон!

Как всё сошлось сегодня! Спасибо вам, госпожа фон Цитцевитц.

Брат, посмотри ещё в письме № 39 про сияющий шнур радужного цвета.

Всё в мать!

Пока.

18.09.2013

77

Дорогой брат!

Всякий правильно написанный текст рано или поздно в процессе его создания начинает сочинять сам себя. То есть, те структурные элементы, которые в нём изначально заложены автором, вступают между собой в самостоятельные отношения, автору уже не подконтрольные. Возможно, такой эффект и есть то, что мы называем жизнью. В этом тексте-жизни Татьяна обязательно что-нибудь выкидывает к удивлению его создателя. И ему не остаётся ничего другого, как поражаться, подобно глядящему в микроскоп Лёвенгуку, игре «ничтожных зверюшек».

Заживёт ли текст самостоятельно, невозможно предвидеть. Есть только один способ узнать это. Надо взять в руки перо Жар-птицы. Так что, если текст не Голем, его автор непременно Иван-дурак.

С чем тебя, брат, и поздравляю всенародно. Текст-Голем рано или поздно рассыплется, а великан Фелмори выживёт не смотря ни на что, как выжил, например, Барков, который, по преданию, покончил собой оригинально, сунув голову в камин (угарный газ) и засунув в задницу гусиное перо. Не поэтому ли Иван Иванович так оскорбился на «гусака» Ивана Никифоровича. И не из-за этого ли начались гуситские войны. Ян-Гус, Инь-Гус. Ну, прощай, а то несёт меня лиса за тёмные леса...

Твой брат Боря-дурак.

20.09.2013

78

Дорогой брат!

Лиса занесла меня в Москву к Наташе Азаровой. Сажу в послевоенной сталинке на одиннадцатом этаже и смотрю на подсвеченный Кремль. Говорят, что человек с нормальным зрением может узнать, который час, взглянув на Спасскую башню. Просто Чук и Гек.

Беспрерывным потоком тянутся машины вдоль берега Москва-реки. Я вижу их светящиеся фары. Вечер. Не могу сказать, чтобы великолепие этой панорамы «меня» захватывало. Всё потому, что из головы не выходят слова об игре «ничтожных зверушек». Я представляю себя и весь наш мир под грандиозным микроскопом Бога.

«Я» — микроб. Или микраб.

Смотрю с одиннадцатого этажа московской высотки на сотни фосфорицирующих микробов.

Да здравствует наша грибковая культура.

Эффекту супругов Кирлиан вечная память. Ура!

Таковы констрикторские призывы к вечному празднику Ничто.

Понимаешь, брат, «я» не могу отделаться от мысли, что наука сдохла. Это как у Шостаковича в «Катерине Измайловой», когда полицейские бегают и поют «Воняет, воняет!» Вот на этом уровне понимание. «Я» не могу его вербализовать. Но — воняет. Или это просто сам человек стал пахивать. Uber-Mensch из нас не вышел. Играем в прятки с самими собой. Вместо того, чтобы честно признаться: «Нас нет». Не в том смысле, что нет вообще, а в том, что мы не те, за кого себя выдаём. Самозванцы мы.

Внизу гудит бациллоноситель, льёт дождь, когда-то в этом доме жил Жуков.

В общем, трон в крови, Коля, или трын-трава, на дворе — дрова истории.

Пли!!!

21.09.2013 Москва

79

Дорогой брат!

Вот пишу тебе синей пастой, прости. Гелевая ручка кончилась, а «я» сейчас не дома. Под Ялтой я маячит, в Алушке оно.

Было оно в Евпатории, караимский старый город потряс, а ещё оно было в текие (храм) дервишей (единственный в Европе монастырь дервишей, сохраняющий свой изначальный облик. Нас туда пустили одних, без экскурсии. Это маленькое строение рядом с мечетью, зал для танцев и девятнадцать келий. Там не жили, а только танцевали и медитировали. Едва «я» встал в центре зала, как ему неудержимо захотелось покрутиться (спирали, брат, спирали!) и «я» закружился, а небольшие окошечки с геометрическим узором из цветных стёкол стали сливаться в нечто единое, состоящее из радужных пятен (см. № 76).

Вращение как превращение.

Ещё прочёл здесь книгу Мелвина Коннера «Еврей телесный» (М. 2012). Вот пассаж из неё: «Подобно волосам Шхины, борода Бога считалась иссиня-чёрной, завитой, умощённой маслом и полной сокровенных тайн. Когда мистик овладевал искусством созерцания, он погружался в тринадцать завитков космической бороды. Он восходил всё выше и выше, а мы, вдумываясь в эту удивительную еврейскую метафору, можем представить себе величайших мудрецов, скользкими по священным, сверкающим, смазанным завиткам бесконечной, запутанной, тёмной, великолепной и невообразимой Божественной бороды».

А помнишь, брат, я тебе письмо об устройстве Вселенной (см. №№ 1,46), там ведь тоже галактики сбиваются в нити, нити в... Чем не борода? Правда, может, она не чёрная, а только синяя?!

Пока. Твой Шарль Перро.

27.09.2013 *Алупка*

80

Дорогой брат!

Ещё одна цитата из «Телесного еврея»:

Бог, по их /каббалистов. — Б. В./ словам, сознательно не завершил процесс Творения, оставив место для самосовершенствования не только для человека, но и всего мироздания. Таков был Божественный замысел, позволявший привлечь человека к Его трудам. Каббалисты называли это т и к у н о л а м, исправление мира. Обрезание — классический пример т и к у н о л а м — Бог тем самым напоминает, что исправление мира начинается даже не с исправления своего дома, но с улучшения совершенствования своего брэнного тела. Отрежь кончик своего пениса — и ты получишь намёк о цене, которую тебе предстоит за то, чтобы весь мир стал лучше» /стр.37/.

А «я»-то что же, брат, вместо пениса эго себе обрезал, выходит? Родимым «я» пожертвовал. Натэ, как говорил поэт. И никому-то «моя» жертва оказалась не нужна. Даже психиатрам.

«Мой» брис — не иудейский каприз.

Это судьба.

Если выйти на террасу, можно увидеть кусочек моря и услышать шум его гексаметра. Боря, пойд и выпей море, смеялись надо мной дети вместе с Эзопом. Я попробовало это сделать, и утонуло.

Твой

28.09.2013, *Алупка*

81

Дорогой брат!

Вот уже год, как «я» строчу тебе письма незнамо куда.

В одном окне видны горы. В другом окне — море. Кремль — Крым — Кремль — трасса моего маршрута. Вчера были в Ялте, там купили бумагу

для рисования. До этого использовал листы для ксерокса, которые от обилия туши скукоживались. Их потом надо гладить.

Читая «Годы учения Вильгельма Мейстера» Гёте, обнаружил пассаж на тему тела, которая вдруг возникла в «моих» каракулях: «Зная моё обыкновение смотреть на собственное тело как на посторонний предмет...»

Может быть, весь наш процесс состоит в степени отстранённости от самих себя. В конце концов все станут абстрактными, то есть бессмертными. Но для этого надо очень постараться. Не есть ли возникший виртуальный мир инструмент этого абстрагирования. Не были ли люди интуитивно правы, бежав в ужасе от прибывающего поезда братьев Люмьер. Их напугала вторая реальность, вернее, её черешок (Тейяр де Шарден). Что произойдёт, когда обе реальности встанут друг перед другом, как два зеркала, когда виртуальное и «реальное» будут неразличимы.

Вишь, брат, на философию не-моё «меня» потянуло. Ведь сегодня день рождения. 63 года. Многих сверстников я уже пережил на этом марафоне жизни. Кудряков, Дасик, Лена Шварц. Вот тебя, брат, догоняю. «Безим, безим», — как ты написал в «Реквиеме по 1970 году».

30.09.2013 Алупка

82

Дорогой брат!

«Моё» драгоценное я сейчас уже в СПб. Перешёл на родной чёрный цвет гелевой ручки-речки. Письма №№ 79, 80 и 81 — синие. Инородцы они.

Я ещё в отпуске. В «моём» контексте это назакавыченное я придаёт банальной фразе неожиданную глубину.

В «Новой газете» (от 10. 10. 2013, стр. 14) Михаил Эпштейн пишет о «бедной вере», понятие о которой сформировалось в 1982 году по аналогии с «бедным театром» Ежи Гротовского. У её адептов нет ничего, кроме прямого предстояния Богу. Выходит, «мою» аббревиатуру Б.В. (Борис Ванталов) можно и так расшифровать. Какая компания: Бедная Лиза, Бедные люди, Бедность не порок.

Ещё один пассаж из этого опуса. «Согласно антропному принципу в космологии, все физические постоянные во Вселенной, вплоть до миллиардных долей, ровно таковы, чтобы в ней мог возникнуть человек, наблюдатель».

А я-то «моё» только о наблюдателе и талдычит.

«Сметь смотреть!»

Или вот, брат, стихок из «меня» напечатан в первом томе антологии петербургской поэзии «Собрание сочинений»: способ / существования / белковых / тел / мне / осточертел/.

А в газетке что: «Например, жизнь с точки зрения генетики — это не «способ существования белковых тел», как считал материалист Энгельс, а способ передачи информации, особым образом организованный язык. Причём информация — первопринцип не только живой материи, но и Вселенной в целом. «В начале был бит» — заявляет физик фон Байер...

(см. также № 65)

А «я», брат, этого фон Байера в глаза не видел, но ведь осточертел способ-то. Поняло это я как-то. Выстрелило стишком-перпендикуляром в Ноо из Зоо. И — тишина. Только мёртвые с косами стоят.

Ну, пока. «Скучно на этом свете, господи!»

P.S. А ты, брат, напечатан в третьем томе антологии «Собрание сочинений» в разделе «In Memoriam» вместе с Геннадием Григорьевым и Владимиром Уфляндом.

12.10.2013

83

Дорогой брат!

В письме № 75 я писало о метафоре всей нашей человеческой жизни, а когда (№ 82) заглянуло в третий том антологии, то обнаружил у тебя аналогичную.

Сколько идти, но не упаду. Страшно идти в темноте, но думаю о другом. Вот забрезжил рассвет и дорога пуста.

Куда же я делся? Не страшно уже.

8.07.1975

Да, один Пушкин уже прошёл с момента написания этого стиха. Будем, брат, забвение в пушкиных измерять. Русский размер — 37. Ты, да и многие другие и двух пушкиных не прожили. Вот, Володя Уфлянд, твой коллега по «In Memoriam», не дотянул до двух всего четыре года. А трёх пушкиных слабо потянуть? Возьмём, к примеру, «меня». Чтобы дотянуть до трёх, надо было бы прожить ещё 48 лет. Три пэ. Ба, да это уже триппер получается! А у нас, простых смертных, в лучшем случае двуппер. Да, и что такое пенсионер-визионер — труп ближайшего будущего (тбб), нолик-алкоголик и вообще ерунда, Боря! — Н. Т.

Не прощаюсь. Твой тбб.

16.10.2013

84

Дорогой брат!

Позавчера ходили с Кириллом Козыревым на Волковское кладбище к Лене Шварц. Убрали опавшие листья, вымыли чёрное мраморное надгробье. Когда оно мокрое, плита становится зеркалом, в котором отражается каменный крест, мы с Кириллом, небо, облака. «Я» всегда внимательно вглядываюсь в это Шварц-зеркало, ведь оно так быстро высыхает. Падающие кленовые листья впечатываются в него, как звёзды. Жёлтые звёзды, брат.

Выпили немного коньяка, потом поехали к Кириллу, в бывшую квартиру Лены, на 5-ую Красноармейскую. Туда пришёл Борис Останин, я показал ему «Вторую культуру» (см. № 75), а он сообщил, что в рамках популярной серии «Великие поэты» собираются издать Лену Шварц (ещё

Драгомощенко и Кривулина). Книги из этой серии продаются на каждой станции метро. Там были Хлебников, Кузмин, Гёте, Бодлер, Рембо, Белый... А вчера Кириллу позвонил Гек Комаров, издатель четырёхтомного собр. соч. Лены. Был подготовлен пятый том, но Комаров вдруг исчез на год. А тут объявился и хочет срочно этот том издать. В общем, не зря мы вглядывались с Кириллом в шварц-зеркало позавчера.

Господи, сейчас вспомнил почему-то, как «я» напился, когда в 25 номере «НЛО» (1997 год) вышла «моя» подборка твоих писем. Жены не было. Мы пили с родственником-полковником какую-то литровую дынную водку. «Я» размахивал у него перед носом черным с жёлтой полосой журналом (NB! по цвету как вышеописанное шварц-зеркало с кленовыми листьями) и еле сдерживая пьяные слёзы, говорил: «Я сделал это». Тогда мне казалось, что публикация (спасибо Тане Михайловской) станет поворотным моментом в твоей судьбе. Ночью «я», видимо, упал с дивана, потому что проснулся на полу. Ни один человек в течение прошедших шестнадцати лет (кроме Бориса Лихтенфельда) не сказал мне ни слова о тех письмах «Из Праги в Ленинград...».

Ни гу-гу.

Ну что ж, пройдем косым (а один глаз у тебя косил), эпистолярным дождем.

Твой романтик-брат.

18. 10. 2013

85

Дорогой брат!

Казарновский подарил мне книжечку швейцарского модерниста Роберта Вальзера «Сочинения Фрица Кохера» (М. 2013). И вот она в «моих» руках открывается на 43 странице, и что я читает?! «Письмо моего брата ко мне: «Дорогой брат!»».

«Меня» это ломануло. Я об этом уже писало. Не только внутри текста начинается своя жизнь (см. № 77), но и сам текст начинает притягивать к себе другие. Он намагничивается. Магия, брат.

А с Сергеем Магидом ты так и не встретился, хотя вы жили в Праге много-много лет, не так уж далеко друг от друга. А «я» вот с ним увиделся в мае, теперь Зденка иногда с ними (жена Мария, дочь чешского католика-диссидента) общается.

А помнишь, я тебе про московских микробов писал (№ 78), и вот у Клима натыкаюсь («Божественная Немезида»): «микроб, считающий себя "человеком"». Я тут подумало, брат, а если представить себе, что все эти голоса звучат одновременно, как хор.

Оратория нас.

Ведь литературе не важно, кто когда жил, а важно, что сказал. Выжившее сказанное существует одновременно. Здесь всё и все рядом, как ноты в партитуре.

Хор наш поёт...

30. 10. 2013

86

Дорогой брат!

Ещё интересно себе представить, как этот хор поёт (см. № 17).

Когда сгущается что-то новое, то оно всей громадой своей назревающей формы начинает просачиваться сквозь сознание нас. Грозовой фронт.

Человек нового не хочет. Он сопротивляется ему, как наводнению. Заваливает вход в сознание мешками с песком старого. Но всегда находится какой-нибудь несчастный идиот, из которого песок сыплется, и тогда новое, почуяв слабину в голове этой козявки, прорывается в сознание к ней. Оно сметает архаическую дамбу. Бедная козявка (например, Треплев) становится гением. Она начинает верещать непонятное. Но тогда, когда эта ничтожность переходит очередную границу разума, её светлячки начинают на уровне подсознания различать некоторые другие козявки. Из них тоже просыпается (отметим двусмысленность глагола) песок всё сильнее и сильнее. Гром и молния. Образуется дуршлаг из сознания козявок-авангардистов. Нью хлещет ливнем. Оно орошает засохшую ноосферу. Некоторые капли этой влаги попадают в бочки музеев. А от первой растерзанной новым козявочки скорее всего не остаётся ничего. Слишком был велик напор в её головке, мычание не расшифровывается, как не заряжённое умом. Козявки-Колумбы остаются безмянными. Но они первыми проделывают отверстие в дуршлаге нового направления.

Безмянная дыра.

Да, такие чёрные дыры сознаний притягивают некоторых, если они всё-таки хоть как-то обнаруживаются в галактике литературы. Большинство клюёт на звёзды.

31.10.2013

87

Сегодня утром, сунув нос в очередную книгу, опять невольно ойкнул. Начинают сгущаться тучи цитат. Это в статье Юлии Валиевой «Поэты кафе «Сайгон»» в сборнике «Вторая культура» (см. №№ 75, 76): «Официального названия он не имел, в 1964–65 гг. посетители называли его между собой «Подмосковьем», «Еврейским кафе», затем «Петухами» (по орнаменту интерьера, выполненного художником-монументалистом Борисом Аксельродом, — красные петухи в народном стиле на белой керамической плитке)».

Сколько мы там с тобой проторчали, а понятия не имели, что птичек сделал Аксель (АХЛ), разгадавший секрет фаюмского портрета. О нём вспоминает Тат, в одном из писем ко мне (см. «Записки неохотника». Киев. 2008. Стр. 277). Ещё натолкнулся на одного Аксельрода М.М. (тоже художника) в «Энциклопедии русского авангарда», недавно вышла в трёх томах. Стоит больше тысячи долларов. По-моему, у этого М.М. была дочь Елена, поэтесса. Писала стихи под нашей фамилией, брат.

Ужас!

Правильно мы поступили, удрав в псевдонимы. «Я» уже писал здесь (см. № 57): «Трудно быть Борей», а Аксельродом быть ещё труднее. Поэтому в стихах у «меня» аксельрод с маленькой буквы, не имя собственное, а нарицательное.

Отрицательное?

Минус единица я.

Пока. Пора в салат собираться.

11.2013

88.

Дорогой брат!

Вот добрались мы до двух бесконечностей. Одну Коля зовут, другую — Боря. (Жена сказала, получается брокколи). Универсум, вы не против?!

Собираясь в салат, медитировал около книжных полок: чтобы отдать что-то уборщице для Вавилонской библиотеки в Петродворце. Обнаружил старый учебник немецкого, нечто математическое, лишний журнал «Арион» с «моей» картиной. Потом, смотрю, «Даугава» лежит. Перестроечная (№3, 1990 год). И её туда же, Борхесу на съедение!

Стал листать. И вдруг...

В разделе «Культурология» обнаруживаю бомбочку — Яков Друскин «Сны». Публикация его сестры Лидии Семёновны. Спустя 23 года бомбочка, наконец, сдетонировала. Там много интересного (да и сейчас уже его книги вышли), но один пассаж крепко «меня» зацепил. Это из подборки снов, которую сестра выудила из дневников (1963–1979).

«Рассуждение о бессмертии во сне. Есть ли бессмертие? Есть. Есть ли личное бессмертие? — Вопрос непонятен: ведь личность не в обладании чем-либо, а в освобождении от обладания, и бессмертие в том, чтобы отказаться от всего своего. Будет ли это личным бессмертием? Да, так как я с а м отказываюсь от всего своего. Нет, так как я сам отказываюсь от всего своего.

Верно ли, что я сам отказываюсь? Могу ли я отказаться от чего бы то ни было? Что значит я сам? Не Христос ли жизнь вечная?».

Без комментариев.

Твой бес конечный

4.11.2013

89

Ещё в книге «Отрывки из Ничего» «я» неоднократно цитировал отечественных деятелей культуры, вещавших о близкой смене парадигм, сдвиге... Вот и кинорежиссёр Фёдор Бондарчук («Собеседник» 30 окт. — 5 ноя. 2013 г., стр. 17) говорит: «А дальше будут такие стремительные и масштабные перемены всемирного порядка, что о внутренних проблемах можно будет забыть. Россия окажется вовлечена в гигантский цивилизаци-

онный перелом. Он больше борьбы либерализма с патриотизмом или Европы с исламом. Это будет нечто глобальное, природное и технократическое одновременно. Настоящий рывок, подобный, может быть, изобретению колеса. /.../ В ближайшее десятилетие лицо планеты так изменится, что нам смешно будет вспоминать сегодняшние наши беспокойства. Информационная революция сольётся с биологической, человек изменится как вид, начнётся новая энергетика — ждаты совсем немного».

Вот выжимки из предыдущей книги.

Дмитрий Быков: «Это развитие упёрлось в тупик, и нужен эволюционный скачок — потому что нынешний человек Олигархию скинуть не способен».

Людмила Улицкая: «Мы сейчас находимся в состоянии эволюционного скачка».

Кирилл Серебренников: «Не бунт, не хаос, не передел или перестрел. А бескровная ментальная революция. Революция в мозгах, которая заключается в необходимом переходе на другой уровень, в скачке. Наша страна вообще развивается скачками, и ничего с этим сделать нельзя».

Ксения Собчак (см. № 57): «...мир действительно на пороге переворота — это на ближайшие двадцать, а то и тридцать лет. В результате этого переворота закончится Цивилизация потребления, а рациональному мышлению будет нанесён серьёзный удар».

Кар-кар-кар-кар!

Хор (см. № 85) предсказывает скорую смену вибраций. Поэты снова услышат музыку.

Ку-ку.

«Я».

8. 11.2013

90

Дорогой брат!

Сегодня 8 лет со дня смерти гран-Бориса. Его безымянная могила (см. №№6, 24) снова навела меня на мысли о сути (судьбе-стихотворении). Об этом «я» писал в твоём некрологе, брат (НЛО № 114, 2012, стр. 195). А также в конце своей «Автобио» прокаркал: «Это чувство я испытал на могиле Геннадия Айги в Чувашии. Она была на самом краю сельского кладбища. Дальше простиралось поле, которое он любил. Могила была его стихотворением. Этот высший поэтический пилотаж потрясает. К этому надо стремиться» («Лица петербургской поэзии». 1950 — 1990-е. СПб. 2011, стр. 234).

Айги и Кудряков мистическим образом добились чего хотели, один растворился в любимом поле, а другой — в своей тотальной конспирации. Недавно открыл, хотя прочёл давно, что об этом же писал и Мандельштам в статье «Пушкин и Скрябин». «Мне кажется, смерть художника не следует выключать из цепи его творческих достижений» (О. Э. Мандельштам. Собр. соч. в 4-х тт., т. 2, стр. 313). «Я» пишет эти строчки, а у него перед глазами твоё беломраморное надгробье на Ольшан-

ском и чёрный крест на могиле Лены Шварц на Волковском. Вы все сумели не только пропить судьбу, но и пропеть её до самой последней ноты вашей партитуры.

Браво!

Б. Констриктор

11.11.2013

91

Дорогой брат!

Пришло в голову при мочеиспускании. Если история человечества так ужасна, где гарантия, что «наша» культура, её механизм отбора лучше. Может быть, мы просто не осознаём её беспросветного ужаса. Она такая же условность, как, например, галстук. Очень подозрительна эта прямо пропорциональная связь искусства с деньгами. И не подразумевает ли «отказ от всего своего» (см. № 88) отказ от культуры тоже. Возвращение на стадию эмбриона.

Люди мыслят традиционно, они не понимают, что потоп — это не обязательно вода. А деньги разве не потоп?! Болваны, вы в них уже по горло. Дна больше нет.

Без дна.

Как это омерзительно — тонуть в засаленных тысячами рук бумажках. Всё равно что задыхаться в чужом грязном белье. Мир, ты сдох и не заметил. (Ничего стихотворение?). Вот в чём кайф, живы только те, кто осознают себя мертвецами. Видимо, поэтому «я» и пишу тебе, брат, эти чёртовы пись-пись-ма.

Как начал, так и закончил эту эпистолау.

Будь.

12.11.2013

92

Дорогой брат!

Опять в салате. Читаю упомянутого Роберта Вальзера.

Трофеи:

«В музыке меньше всего мыслей, поэтому она — самое приятное искусство» (стр. 49).

«Секрет сочинительства в том, что ты заводись тихо».

«Дорогое Я, обещаю иметь это в виду».

Казарновскому из «нашего» университета прислали корректуру статьи о твоём пятикнижии (см. № 48). Требуют сокращений и объяснений, что такое сон в качества субъекта литературы. Может быть, Коля, ты создал новый жанр? Назовём его (позвонил Мальцев...) сновидческим реализмом. Жанр-оксюморон. Неопределённость человеческой природы здесь ярко выражена. Жалоба воронки (см. у Лены Шварц), сквозь которую переливается океан. Это ещё одна разновидность потопы, индивидуального. Катастрофа личности в том, что её не существует. Позвонил Анатолий Петрович. Позвонил Курбан. Это мираж, возникающий на стыке разных процессов.

Радуга я. Позвонил Упогалиев. «Я» — это условность сознания, договор извилины. Позвонил Перевозчиков. Уж не Харон ли это был. Как он выглядит? Напиши, брат. Я всё ещё любопытно.

Твой

17.11.2013

93

Дорогой брат!

Вот и декабрь уже. Вчера Зденка сообщила, что умерла Верунка (Вера Токарска), которая перевела на чешский первое и последнее стихотворение из «моего» цикла «Сон времени», посвящённого тебе. Он был написан в сентябре 2011 года. Уже после твоей смерти. Эти два стиха на чешском и русском помещены в каталоге нашей совместной выставки, что была в Праге в мае этого года. На вернисаже Верунка обещала мне доперевести остальные. Она была в парике. Химиотерапия. Я целовало ей ручки.

Всё.

9.12.2013

94

Дорогой брат!

Что делать, «взвизнь» продолжается. Обнаружил у Вальзера замечательный пассаж про творчество, а до этого видел в телевизоре индуса, который, без всякого стеснения, толкал зрителям «мои» постулаты из этой книги. Он дружил с Майклом Джексонем, а сейчас — с Леди Гагой.

Га!

Вот кусочек из Вальзера:

«Тот, кто творит, полностью отсутствует и ничего не чувствует. Только во время перерыва, глядя на созданное, я ловлю себя на том, что дрожу от внутреннего счастья. Это ни с чем не сравнимое чувство придаёт уверенность, заставляет продолжать работу, которая почти сводит меня с ума. Поэтому я так мало отдыхаю, почти никогда. Это опасно, почти смертельно! Во время работы во мне нет ясного, реального понимания, что я совершаю. Всё происходит под властью неведомо откуда снисходящего, захлёстывающего меня сознания. Поэтому артист не может говорить о счастье творчества. Только потом он чувствует мягкую, сладкую истому блаженного и беззаботного состояния. Блаженный это не то не то же что счастливый. Только бесчувственный блажен, как и природа».

9 час. 50 мин. За окном ещё темно. Минус девять. Красные огоньки проезжающих машин. Чёрная полоса дороги и белые полосы тротуаров. Дневное освещение в окнах школы напротив. Буквы пляшут в мозгу.

Твой Борис блаженный.

10 дек. 2013

95

Дорогой брат!

Осталось семь страничек в этой черепаховой тетради (см. № 64). Как ты, наверное, уже давно догадался (что значит «давно» в вечности?!), я

решило написать тебе сто писем. Сакральное число в твоей поэтике. Это «мой» памятник тебе. «Моя» дань атолллу «нас нет». Гимн мужеству «не быть». И попытка спровоцировать нечто на издание твоих сочинений. Ведь весь ты у П.К. в пк. Дело за архаической типографией и бумажками с водяными знаками.

Тут приезжал Марковский с питерским номером «Крещатика» (№ 62 за 2013 год). Там первые девять писем к тебе. Смешно смотреть на книжную голову этой эпистолярной рептилии (см. № 72, 73), когда корявые буквы её хвоста ещё выскальзывают из-под «моей» руки. Змея, кусающая себя за хвост.

Ураборос.

Ура, Боря!

Бесконечность, брат.

Бред, брат.

Круг — абстрактный андрогин?!

Короче, гимн (см. выше).

Твой брат-гимнаст В. Konstrictor.

13 (пятница). 12.2013

96

Дорогой брат!

Продолжаю мало-помалу сходить с ума. Перебирая книги для уборщицы, наткнулся на «Историко-философский ежегодник» за 1986 год. Там есть перевод (Т.В. Васильевой) статьи Мартина Хайдеггера «Учение Платона об истине». Из-за этого «я» и держал у «себя» это больше четверти века. Видно, пришла пора расстаться. Недаром год назад «я» был во Фрайбурге, блуждал с Кипнисом по шварцвальдовским лесам-горушкам, но до хижины Генри Дэвида Торо так и не добрёл. В этой статье исследуется предлагаемый ею перевод платоновской притчи о пещере. Она делится на четыре этапа («ступени»). Первый — люди живут в пещере закованные. Второй — они могут поворачивать голову. Третий — один из раскованных оказывается вне пещеры. Четвёртый — раскованный, обретая новое, увидев сияние, возвращается обратно, чтобы сломать парадигму троглодитов. Они его убивают. По-«моему», Платон описал здесь механизм Голгофы.

«Нескрытое» непереносимо.

Смерть как солнце, на неё не глянешь.

Цивилизация очков от солнца. Вот последние строки этой статьи. «Ещё должна наступить такая нужда, когда не только сущее, но и бытие перестанут быть чем-то несомненным. И пока эта нужда остаётся предстоящей, то первоначальное существо истины пока ещё покоится в своём скрытом начале».

Прости, брат, если надоел.

«Скоро кончится всё это», как сказано-спето у нас со скрипачом в «Сюр-реквиеме». Прости.

14.12.2013

97

Дорогой брат!

Был на днях у Кирилла Козырева. Там обсуждали (Борис Останин, Саша Скидан) состав кудряковского сборника прозы для «НЛО». Если повезёт, он выйдет года через два. Говорить же о твоей книге до выхода кудряковской бессмысленно. Велено ещё подождать, Николай Ильич.

Доживу ли? Тебе-то из вечности «мои» трепыхания смешны, наверно. Хотя возможны разве в вечности такие эмоции? В Раю — радость, в Аду — отчаяние. Монохром. И баста!

А «я» пока буду продолжать свои никудышные манипуляции.

Ещё один вития, Максим Кантор, художник, сын философа Карла Кантора в «Известиях» (от 16. 12. 2013, с. 11) вещает на тему механизма скачка: «Изменить ситуацию можно лишь в целом, фрагментарно — невозможно. А менять в целом можно только с позиций философии и искусства, устраняя релятивистскую систему ценностей последних десятилетий. Говоря совсем просто: когда и если удастся показать гибельность постмодерна, когда и если удастся вернуть гуманистическое искусство, когда и если вернётся категориальная философия и единение социальной и религиозной доктрин — тогда у Запада и, реактивным образом, у России, появится шанс. До того — шаги в никуда».

(NB! Посмотри выше, братишка).

Его отец-философ считал, что существует единый замысел миропорядка («первопарадигма»). Он явил себя в христианстве, в Возрождении, в марксизме. Единение этих посылок ещё впереди.

Понимаешь, брат, ошибка в том, что думают о средствах, не думая об объекте. А объект может измениться изнутри, так измениться, что человек окажется в такой же удалённости от изменщика, как обезьяна. И всё «наше» станет достоянием какого-нибудь «Мира животных». Эта обезьяна — я. Ему предстоит перестать.

Ты думаешь, это «я» говорю? Это во «мне» что-то говорит. И когда оно говорит, «я» знаю, что это так. Потом странное я, как Сократ, знает, что оно ничего не знает.

Незнайка — это Сократ?

Твой брат.

20.12.2013

98

Дорогой брат!

Темно. Двенадцатый час, а ещё темно. Только-только фонари погасли. Снега нет. Идёт редкий дождь. Декабрьские сумерки. Сумерки истории. Сумерки человека.

Завтра (22-е) — апофеоз мрака и конец «конца света». После новогодних пьянок люксов чуть-чуть прибавится. Может быть, в следующем году (после Олимпиады!) государство смилоствится и выпустит нас из времени Леты в зимнее. А то с Европой три часа разницы. Почти как на обэриутской афише «Три с половиной левых часа». Вдруг вспомнил, как Бахтерев, стоя на Невском неподалёку от Малой Садовой, говорил «мне»: «Вот здесь я последний раз встретил Хармса». Имелся в виду 1941 год.

А ещё недавно наткнулся на стихотворение Зинаиды Гиппиус «Молодому веку» (1914 г.). Первая строфа:

Тринадцать лет! Мы так недавно
Его приветили, любя.

В тринадцать лет он своенравно
И дерзко показал себя.

Вот-вот грянет Первая мировая война-поллюция. Пубертационный период столетия. Поэтом юность — революция. А тут надежды:

Мир говорит тебе: «Я жду».

Сойди с кровавых бездорожий
Хоть на пятнадцатом году!

Что тут, Коля, делать: плакать или смеяться. Или помалкивать в тряпочку с эфиром.

«Мы ничего уже не значим».

Таня Никольская рассказывала про свою родственницу, знавшую Венденского: «Ах, Шурка, негодяй, подлец, картёжник, бабник, пьяница, рябой. Как я его любила! Как я его любила!»

Кофе что ли пойти выпить. Пока.

21.12.2013

99

Дорогой брат!

Это что же выходит, я практически закончило книгу? Ещё одной бесполезной вещью в мире стало больше. Выдул очередной мыльный пузырь из кириллицы.

Тупить не надо. Остричь не надо. Надо ничего. Это самое трудное. Перестать быть при жизни. Выйти из игры, пусть даже и в бисер.

Вышиб дно и вышел вон.

В общем, братишка, я на распутье, кончать (pardon) или продолжать эти эпистолярные фрикции дальше? Может, знак какой подашь? Ведь эта книга тебя напрямую касается.

«Я»-с.

27.12.2013

100

Дорогой брат!

Никаких знаков не было. Не считать же ими два подряд теракта в Волгограде. Сегодня снились динозавры, они бегали за «мной». Я убегаю. А ведь динозавры такая же часть нас, как яйцеклетки и сперматозоиды. Если смотреть на себя как на процесс, то многие проблемы отпадают. Ты волна-частица этой восхитительной мистерии неизвестно чего. Знание — нарастание неизвестности.

«Я» — мистер Икс.

А сейчас, дорогой мистер Игрек, «мне» предстоит отправить очередную порцию этих писем в журнал. Надо успеть до конца января. Жена пока

набрала № 10 и 11. Думаю добраться до № 19. Десять штук. Если я будет продвигаться такими темпами (сорок писем в год: журнал выходит ежеквартально), то мне понадобится больше двух с половиной световых лет для завершения этой публикации. Почему световых? Потому что в моём возрасте категория будущего столь же непостижима, как и всё остальное.

Коля, ау!

С Новым годом!

01.2014

101

Дорогой брат!

Я всё-таки продолжается.

Здесь «всё-таки» надо воспринимать в галилеевском контексте. Беда в том, что я начинает забывать, о чём оно уже писало, а пролистывать все письма подряд, чтобы вспомнить, было или не было, ему лень. Да и разве повредит в этом неэговом бульоне одна-другая шепотка маразма.

Реализм.

Тут, брат, снова Эпштейн «меня» смущает в «Новой газете» (от 17.01.2014, стр. 18).

«Я» ещё в том году написал стихотворение «Знатная ловушка» с двумя эпиграфами: «Верую, ибо абсурдно» (Тертуллиан), «Эта идея недостаточна безумна, чтобы быть верной» (Нильс Бор). Пафос в том, что вера и наука оказались в смежных палатах одной чеховской больнички № 6. Была психушка под этим номером около Лавры, «я» туда к Дасику ходил после его первого суицида.

Статька называется «Горизонт, где наука сходится с религией». В ней излагается первый манифест международной группы учёных «Симпозион». Их задача интеграция веры и науки в целостную картину мира.

«Мы ставим вопрос о создании интегрального научно-религиозного дискурса, примеры которого видим в трудах Тейяра де Шардена, Павла Флоренского, физика Пола Дэвиса и др. К началу XXI века наука совершила столь много прорывов, что добралась до трансцендентной «изнанки» мироздания, где неожиданно натолкнулась на те тайны и чудеса, которые исконно считались прерогативой религии. Повсюду мы видим, как наука выходит за пределы здравого смысла в область «безумных идей», граничащих с прозрениями поэтов и духовидцев».

Видишь, братишка, может, и твои писания окажутся востребованы в этой новой парадигме.

«Современная наука постепенно освобождается от позитивизма и редукционизма, её открытия согласуются с фундаментальными чертами религиозной картины мира. Вселенная имеет границы во времени и в пространстве (Большой взрыв); в основе всего живого — Логос (информация); мироздание предназначено для обитания в нём человека (антопный принцип в космологии)».

Вот последний пункт «меня» смущает. То, что все параметры оказались настроенными точно до миллионных долей, чтобы воспроизвести нас,

ещё не означает, что мы конечный результат этой грандиозной мистерии. Может быть, мы ещё всего лишь книжные черви ноосферы. Взрыхляем почву. Буквочки пропускаем сквозь себя.

Бе-бя-бя-бя (см. № 25)

22. 01. 2014

P.S. Вчера исполнилось 90 лет со дня смерти дедушки Ленина. Подержал он Россию на ручках, а потом бросил под ноги таракану всех времён и народов: «Жри!».

102

Дорогой брат!

Получил неожиданное подтверждение формулы «нас нет». В книге («Мифы и теории в искусстве России 1990-х — 2012». СПб. 2013), изданной Арт-центром «Пушкинская — 10», на стр. 154 приводится диаграмма состава Вселенной: тёмная материя — 22%, тёмная энергия — 74%, межгалактический газ — 3,6%, звёзды и проч. — 0,4%.

Интересно, какой процент в этих 0,4% занимает «моё» я. А в «Швейке» у Гашека есть замечательный пассаж на эту тему: «Для вашей ничтожности во вселенной не существует понятия».

Пойду, брат, в магазин. Обед надо готовить.

Ням-ям, как неоднократно говорило и рисовало «моё» я. Приготовил кислые щи и куриные бёдрышки. Выпил в честь 70-летия снятия Блокады немного коньяку с Надеждой. Поздравил тётю Майю.

Твой и проч., профессор кислых щей В. Konstrictor

27.01.2014

103

Дорогой брат!

В письме № 79 «я» приводил цитату о созерцании еврейскими мистиками бороды Бога. А тут вышло новое избранное Лены Шварц в издательстве «Вита Нова», я его просматривало и вдруг обалдело. Вот начало стихотворения 2003 года /стр. 183/

Я буду искать —

Кого люблю —

В закоулках Вселенной,

в чёрных дырах её,

В космоса гриве нетленной,

В бороде у Бога,

В зачарованном этом лесу волос.

За вьющейся белой колонкой

Волосинки

Найду —

Кого я люблю /.../

Всё-то аукается в этой вселенной. Ребята, «я» вас слышу.

Ау-у-у!

29.01.2014

104

Дорогой брат!

Как и следовало ожидать, «черепахи (см. № 64) не хватило». Купил несколько тетрадей школьных ученических по 18 листов в линейку. Надеюсь, хватит одной для завершения этой потусторонней переписки.

В предыдущем письме «я» писал тебе о том, что всё аюкается в нашей (ха-ха!) Вселенной.

Приходил тут в гости Вадим Максимов с дочкой Ниной. У него вышла книга статей «Театр. Рококо. Символизм. Модерн. Постмодернизм» (СПб. 2013). И там помещено послесловие к «моей» книге «Записки неохотника» — «Романы и двойники Бориса Ванталова». (Как пошутила Надежда: «От Ватто до Ванталова»). А вообще книга начинается статьёй о маркизе де Саде. Вот оно, тлетворное влияние Малой де Садовой.

Эта преамбула не для хвастовства, а для введения в суть. Стало я просматривать эту подзабытую статью и вдруг крякнуло. Весь сентябрь, пока оно жило в Крыму, был прослоён Пессоа. Наташа Азарова переводила его огромную поэму. По вечерам, за бокалом вина, иногда читала новые куски перевода. Так что Пессоа я было пропесочено изрядно.

И вот перелистывая статью Максимова о «себе», обнаруживаю большой пассаж о Фердинандо Пессоа (стр. 302 — 303). Он сравнивает «меня» с ним в связи с обилием гетеронимов. Понимаешь, братишка, «Записки» вышли шесть лет назад, и тогда для «меня» Пессоа был мёртвым звуком. А сейчас это звенящая струна мирового оркестра. Заукалось что-то в неизвестности.

«Мы дальнее эхо друг друга».

Pardon.

12.02.2014

105

Дорогой брат!

Да, и ноосфера, может быть, это такой колокольный перезвон. Без различия языка и хронологии всё вступает в резонанс. Волны родственных колебаний. Солярис. Соответствия Бодлера. Океан сказаний.

Человек — учащийся школы слепоглухонемых.

Ых!

Так называлась книга стихов Тамары Буковской. Она тебя, брат, помнит.

А школа дураков — это уже для гениев.

Там экскременты смывают водой из кастальского источника. На туалетной бумаге воспроизводятся памятники мировой литературы. Постельное бельё — шедевры живописи. Когда работает душ, звучит Дебюсси.

Я чего-то устало.

Прости.

25.02.2014

106

Дорогой брат!

Вам там, небось, не до нас. А тут опять Иван Иванович поссорился с Иваном Никифоровичем. Закипела миргородская лужа (Чёрное море), ост-

ров Крым (Аксёнов) взбух. Будет ли война (Афган), вот в чём вопрос. Ружжо-то у Гоголя, выходит, всё-таки выстрелило после просушки.

В общем, Коля, жизнь с идиотом (начальство) продолжается. Под старость это совсем некстати. Но кто нас спрашивает.

Я решило, что писем будет 108. Где-то прочитало, что это базовое число в строении мироздания (см. № 65). Пусть у нас с тобой будет база. Помнишь, как в молодости мечтали об отдельной комнатке, куда бы могли приводить фемин.

Да, инстинкты — всадники, а мы — яки. Куда прикажут, туда и поплетёмся.

Цоб-цобе, цоб-цобе.

А смерть — средство передвижения для этих домашних животных. Астральный транспорт. Впрочем, я уже не раз «себе» затыкал рот: ты-то практик, а «я» — теоретик до сих пор. Прости, Коля, «меня» грешного. Тем более что позавчера было Прощёное воскресенье. Почти всё уже было вчера. Помнишь, у Раисы Александровны Генделевой был второй муж по фамилии Вчерашний. Тесто замешивал для мацы в Синагоге.

Твой позавчерашний брат.

02.2014

107

Дорогой брат!

Вчера «умер» Сталин. Судя по всему, при «моей» жизни он так и не умрёт (см. № 106). Ленин будет продолжать разлагаться в Мавзоле. Никто его оттуда (вспомним фильм Абуладзе) выковыривать не будет.

Любовь к ублюдку — это народная страсть. Коллективный мазохизм.

Мир загажен идиотами. С этим ничего нельзя поделаться. Когда-нибудь они истребят себя сами, но вряд ли не-идиотам от этого станет лучше.

Лучше не станет.

Становление стонет.

Противно, брат, противно, брат, противно.

Противник — смердящее эго.

Глупая башка современника.

Это безапелляционное восхищение собой.

Все мы — автоматы Калашникова.

Недавно наш бог умер в Ижевске.

Как-то «мне» одиноко, брат, в его музее. Ну, какой из близорукого стрелок. Не ко двору.

Вота. Так заканчивала каждую свою фразу одна абитуриентка на приёмных экзаменах в Театральную Академию.

03.2014

108

Дорогой брат!

Стал громко смеяться, услышав по радио, что в США изобретена машина, которая превращает водопроводную воду в вино. Правда, на это

требуется трое суток и кое-какие ингредиенты. Но всё равно водопроводное вино дешевле натурального в десять раз. Кто бы мог подумать две тысячи лет назад, что Евангельское чудо может быть переведено в обыденную практику.

Вино «H₂O».

Нашёл интересную цитату в «Новой газете» (от 6. 03. 2014, стр. 7) в статье Александра Рубцова «Азартные игры со смертельным исходом»:

«С некоторых пор мир изменился кардинально. Вероятностная стохастика сменяется логикой бифуркационных процессов. Есть удивительная, почти мистическая закономерность: человек открывает в природе те закономерности, по которым в эту эпоху живёт общество. Абсолютизм был механистичен как детерминизм Лапласа — или как логика «Опасных связей» Шодерло де Лакло. Прошлый век был веком вероятности и статистики в науке, искусстве и политике. Но уже в его конце в физической и живой природе ученых поразили процессы, в которых малые сигналы на входе дают несоразмерные, а главное, непредсказуемые эффекты на выходе. Система скачкообразно, через каскад бифуркаций переходит в новое качество «из-за ничего», через «чёрный ящик».

Понимаешь, брат, вот ради этого «из-за ничего» и написаны обе «мои» последние книги. Ни-ни диалогия получилась. «Отрывки из Ничего» и «Письма в никуда».

Я работаю с отрицательными частицами всю жизнь.

Так вышло.

А книги про любовь.

Прощай.

P.S. Ничто ещё не закончено.

7.03.2014

Пётр Вяземский (1877)

В воспоминаниях ищу я вдохновенья,
Одною памятью живу я наизусть;
И радости мои не чужды сожаленья,
И мне отрадою моя бывает грусть.

Жизнь в нынешнем, а сердца жизнь в минувшем.
Средь битвы я один из братьев уцелел:
Кругом умолкнул бой, и на поле уснувшим
Я занят набожно прибраньем братских тел.

Хоть мёртвые, но мне они живые братья:
Их жизнь во мне, их дней я пасмурный закат.
И ждут они, чтоб в их загробные объятья
Припал их старый друг, их запоздавший брат.

29.09.2012–7.03.2014

СПб., Чёрная речка



Герман ВЛАСОВ

/ Москва /

* * *

Это в сером, это в белом, это кто...
не привыкший к подаванию пальто...
без улыбки, от которой... без палат
(даже цвет ее помады небогат)...

Вкус провинции (синица, воробей),
мелкий дождь (скорей со лба его убей),
рыжий кот залез на груды кирпичей,
это город — город русский и ничей...

Это церковь... Тонет радуга в реке,
лезет божия коровка по щеке...
Белый клевер, ветки шорох, душный вздох...
звезды августа облаял кабыздох...

Стрекотание кузнечика с куста,
рядом корчится, как грешник, береста;
режет воздух поезд, давит мошкарку...
Дождь опять пошел, закончится к утру...

* * *

не расплескай себя покинутая
лицо на спину опрокинутое

собором в спичечных лесах
речною пеной в волосах

сердечным кратким замиранием
толпящимся солнцестоянием

на маковке слепым ребром
в окне открывшемся рябом

где солнце замерло до времени
и кипятка до ног из темени

запомни задыханья миг
я из него возник

* * *

овалы незнакомых лиц
рук окрыленные кривые
сюда приедут из столиц
гулять по снегу в выходные

паломники из строгино
где ламинат в ходу и кафель
увидеть старое кино
листать альбомы фотографий

гербарий мерзлый бузины
вдыхать и восклицать картинно
их повзрослевшие сыны
переболели скарлатиной

их чай в пластмассовом глотке
вино и бутерброды кучей
их рыжий пес на поводке
затягивает в лес дремучий

они искусственный народ
их женщины белесы рыжи
сойдут с платформы в новый год
и сразу надевают лыжи

а тот у края закурив
стучит о лед зубцом ботинка
высматривает профиль ив
не для себя для фотоснимка

но не везет и все не в масть
там пересвет а здесь не тонко
но вот летит окурок в наст
и он скользит ему вдогонку

одышка ровные толчки
лыжня ведущая к оврагу
и запотевшие очки
снег принимают за бумагу

* * *

без примеси покой и осень
иосиф ну какой покой
ужели счастья ближним просим
и молимся какой рукой

рябые сумерки унылы
какие сутки напролет
московию заполонило
дожди на мокром месте льет

и льет а велено убраться
звезды до первой кочевой
и нам спасенья не дожждаться
в кругу воды а что зимой

ты говоришь дождемся снега
тиха изнанка и пуста
так хорошо после ночлега
начать все с чистого листа

что бегство от себя не просто
мы сами шумная тюрьма
что может осень просто остров
где мы с тобой сошли с ума

что нас ненастье затопило
и наша речь сухой травой
но ясли есть и есть стропила
и там звезда над головой

* * *

голуби прилетели
значит совьют гнездо
это как в донном теле
нота поется до

домини и господствуй
строй свой уютный дом
ластвуйся и высотствуй
ласточка там при том

что остаются силы
воздух высотный мять
господи до могилы
дай мне восторг принять

не помешать зарнице
целить янтарный нож
ласточки и синицы
сонная молодежь

строится и гуляет
летним безбедным днем
мы же садимся в ялик
яззой уплывем

* * *

Воздух от смысла тягуч, узнаваем —
воздухом сходятся наши пути.
Комната (окна во двор) угловая.
Так не шути, больше так не шути —
ни занавеской, ни сном, ни торшером
(вещи свезли, их раздали за так).
Разве осталось, что в семьдесят первом
выпущенный рыжеватый пятак.

Отчим приходит, дымя папиросой;
бросит газету, беззлобно шутя.
Детское: — Ну, заплетите мне косу...
(будь как дитя, лучше будь как дитя!)
Лето и летнее солнце отвесно,
время в заварку вливать кипяток.
Чашка с оленем снимается с места:
— С сахаром? (теплый и сладкий глоток)
Но исчезает и солнце и чашка,
сахар страны растворился уже,
разве подросток в немецких подтяжках
пишет письмо на втором этаже:

— Август проходит и солнце заходит,
запад назавтра сгорит со стыда...
Но получатель без адреса бродит
и выговаривает: — Никогда —
летом ли, осенью — не было смерти;
август не может сгореть, умереть;
время облизывать клей на конверте,
на заходящее солнце смотреть;
время водою (прозрачной, проточной)
воздухом теплым (ах Боже ты мой!)
днем или ночью воздушною почтой
длинные письма отправить домой...

* * *

Любимая говорит:
 — Вот, здесь у меня болит.
 Думаю об этом месте,
 где мы оказываемся вместе.
 Там сращенный перелом,
 ливень и метроном,
 отчаянные стихи.
 Она говорит: — Глухи
 рассветы, иволги и ветра,
 дым стелющийся костра,
 исповедь таволги и повилики.
 На воде отражаются блики,
 в ванной шумит вода.
 Вода с водою — всегда.

* * *

январь а такая водица
 от неба до самой земли
 влюбиться наверно влюбиться
 забыть как мираж словари

а солнце сияет в простенок
 и гладит по лбу по щеке
 ребенок и ровный оттенок
 по смытой дождями реке

стекает и с солнечным светом
 уходит на дно в никуда
 старейшая волга ли лета
 проводим на дно провода

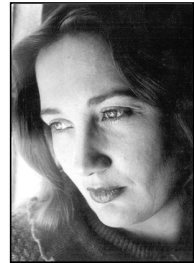
как там все ли должно в природе
 титаник я хьюстон прием
 но тонет при ясной погоде
 и год и полгода в водоем

мы плаваем третии сутки
 и беды смываем со щек
 желайте нам стансов побудки
 отверстий и ангельский шелк

но если мы чем отличались
 в афгане в отместке в каре
 то это безвинная шалость
 и тающий снег на дворе

Раиса ГУРИНА (БЕЛЯЕВА)

/ Киев /



ПЕДИКЮР И ТАТУАЖ

Неизвестно, от кого унаследовала Татьяна Ефимовна свой счастливый характер, но он был так крепок и силен, что передался не только её дочери, но и внучке, которую никто во дворе иначе, как Гунькой, не называл. Откуда взялось это озорное прозвище тоже непонятно, потому что ни в имени её — Светлана, ни в фамилии ничего похожего слышно не было, но так и неслось отовсюду это «Гуня, Гунька, Гунечка!», потому что все дети хотели с нею дружить и звали в свои игры.

Та ещё была семейка! Яркая, горластая, — жизненные силы били через край. Но всё же родовые черты — вкус к жизни и умение в ней устроиться, женская привлекательность и, главное, легкость нрава — в бабушке были выражены полнее всего, в дочери они шли на убыль, зато во внучке вновь вспыхивали, обещая со временем превзойти бабушкины. И хотя в семнадцать лет Гуня заявила, что она «создана для любви» и вышла замуж за одноклассника, настоящей красавицей в их семействе была всё-таки Татьяна Ефимовна. Внешностью её чада мало на неё походили — они были маленькими и миленькими блондинками, она — в меру рослой, прекрасно сложенной брюнеткой с синими глазами. Всю жизнь Татьяна Ефимовна регулярно посещала парикмахерскую, делала маникюр и педикюр, коротко стригла свои от природы вьющиеся волосы и красила губы помадой алого цвета. На руках у неё блестели кольца, на запястьях браслеты.

Обладая такой гламурной, как теперь сказали бы, внешностью и привычкой ухаживать за своим лицом и телом, Татьяна Ефимовна отнюдь не была бездельницей и постоянно где-то работала. При явном отсутствии образования сверх средней школы ей удавалось найти и устроиться на место, где не требовались ни чрезмерные умственные или физические усилия, ни диплом. Она не работала на заводе или в каком-нибудь НИИ, ни дня не была ни дворником, ни посудомойкой, ни прачкой. Её невозможно было представить толкущейся восемь часов в день на ногах в переполненном общественном транспорте и продающей проездные билеты. Она проверяла билеты на входе в кинотеатр, то есть делала, по видимости, почти то же самое, что кондуктор трамвая или троллейбуса, но, со-

гласитесь, что и место культурное и спокойное, и траты сил неизмеримо меньше: во время киносеанса можно было передохнуть, посудачить с сослуживцами или даже сходить домой пообедать. В умении «посудачить», легко входить в контакт и ладить с людьми она была мастерица и, может быть, благодаря этому качеству, не оставшемуся незамеченным и оценённому директрисой кинотеатра, ненадолго задержалась во входных дверях и вскоре уже подавала кофе, лимонад и пирожные в тамошнем буфете. Так устроиться уметь надо, тем более, что к тому времени была Татьяна Ефимовна дамой предпенсионного возраста.

И дочь её Валентина тоже не «сушила мозги» излишним образованием и не истязала слабое женское тело физическим трудом — всю жизнь просидела за кассой в ближайшем гастрономе и носила в ушах бриллиантовые серёжки. Но никто им не завидовал, потому что и они не завидовали никому — характер у женщин такой был: легкий, открытый, весёлый! Только крепко держались они друг за дружку и попробуй кто сказать что плохое, особенно о Гунечке, так рты раскрывались у бабушки с мамой — мало не покажется. И всё у них всегда было хорошо, никогда не жаловались никому ни о чём. Наоборот, только и слышно: «чешский гарнитур мебельный купили», «ремонт в Светочкиной комнате сделали — девочке условия для занятий нужны, школу заканчивает».

Но мужчины в их семействе почему-то надолго не задерживались: они вскорости, после выполнения важных жизненных предназначений — от зачатия детей до обустройства лоджии — исчезали. Была какая-то загадка судьбы в этом семействе малороссийских Лисистрат — не было мужа у красавицы Татьяны Ефимовны, былою поросла память об отце Гуньки, вот и внучка ходила брюхатой от изгнанного из дома малолетнего мужа.

«Проститутки! — колотили в двери отвергнутые малокультурные родственники, — отдайте деньги за свадьбу!» — и грозили побить окна. Поорали-побуянили пару вечеров и ушли ни с чем.

А Гунечка родила через несколько месяцев дочку. Но на этом не остановилась и, оставив растить дитя маме с бабушкой, то есть уже бабушке с прабабушкой, вновь вышла замуж. Ну впрямь, как чеховская «душечка»! Второй её муж был музыкантом, гитаристом какой-то из расплывшихся в те годы в изобилии рок-групп, и постоянно ездил на гастроли. Гунечка обвила ручки бисерными «фенечками», выкрасила прелестные белокурые волосы в малиновый цвет, не уложила, нет, — при помощи лака поставила их вертикально вверх в воинственную причёску «ирокез» и самозабвенно погрузилась в «попсовую» жизнь. Все её помыслы и речи были только о новомодных группах «Кино», «Аквариум» или «ДДТ» и о том, какой талантливый её Сенечка и что он непременно преуспеет в своём искусстве и станет знаменитым.

Детей с музыкантом, к счастью, произвести на свет не успели, так как однажды отправились они в гости к Гунечкиной школьной подружке, с которой новый муж незамедлительно уединился в ванной комнате и не открывал двери более получаса, сколько жена ни стучала и ни просила выйти. Ему, как и подлой подружке, немедленно и навсегда была дана отставка.

Сняв «фенечки» и отравив естественную гривку, Гуня некоторое время грустила, размышляя о человеческой низости и вероломстве, потом повеселела — характер такой был, отходчивый, легкий, — и встретила своего третьего мужа.

Психотерапевт Владимирский был родом не из Владимира, а из Ленинграда, на ту пору возвратившего своё историческое имя — Санкт-Петербург. Будучи человеком основательным и с самыми серьёзными семейными намерениями, он искренне полюбил маленькую, похожую на подростка Гунечку, она же в ответ с полной преданностью приникла к нему. Быстро освоив медицинскую терминологию, молодая жена вела переговоры по телефону с пациентами, а чаще с их родственниками, и никто из них ни на минуту не усомнился в её компетентности. Звонков было много, потому как Владимирский вёл приём в двух клиниках и, кроме того, имел частную практику.

«Мой Владимирский...» — нежно именовала супруга Гунечка, — и далее следовало что-нибудь непременно хорошее и положительное о нём. В счастливом браке родились две девочки, так что в тридцать с небольшим Гуня была матерью троих дочерей: Евгении, Валерии и Виктории. Правда, старшая, выросшая у Татьяны Ефимовны и Валентины, мамой называла бабушку, а бабушкой — прабабушку.

«Наша Женечка такая умная, так хорошо учится, скоро школу заканчивает, будет в институт поступать. И Светочкины девочки такие красивые, такие умные, в школу при Соломоновом университете ходят, то есть ездят: их университетский автобус каждое утро забирает... И Светочка так хорошо устроилась: расписывает красками сувениры, их туристам другие люди продают, даже иностранцы покупают — ну прямо художницей стала! Владимирский так её любит, так заботится... и у него тоже всё хорошо на работе... — делилась семейными радостями Татьяна Ефимовна, встретив знакомых, которых у неё было множество, потому что, напомним, женщина она была общительная, с характером счастливым и приятным. — Да-да, и Валечка моя бросила свой гастронорм, в Польшу за трикотажем и галантереей ездит, на базар сдаёт и, знаете, на жизнь зарабатывает неплохо. Хотя устаёт, конечно, тяжело мотаться туда-сюда».

Так и жило сплочённое женское семейство в бурные годы, когда во круг них всё рушилось.

Татьяне Ефимовне исполнилось семьдесят, потом восемьдесят, но выглядела всегда лет на двадцать моложе. Маникюр-педикюр, алая помада, колечки-браслетики — всё всегда при ней. Потом как-то разом подохла, стала ходить, опираясь на палку. Но выйдет из дому и слышится вокруг всё то же:

«Женечка в институте с таким хорошим мальчиком встречается, наверное, поженятся скоро, будут у нас жить».

«Сколько лет твоей бабушке?» — спрашивали соседи у Гунечки, когда та приезжала проведать родное гнездо.

«Не поверите — правда: в будущем году девяносто праздновать будем», — смеялась счастливая Гуня.

И отпраздновали, и ещё год прошёл. Идет Валентина по улице и встречает давнюю знакомую — маму одноклассницы своей Гунечки, но не той, что в ванной с музыкантом заперлась, а ту, с которой школьный родительский кросс когда-то вместе бежали. Давным-давно.

«Я тебя на родительский кросс записала, в субботу, так что давай, собирайся и не вздумай отнекиваться, ты ведь спортивная девушка, с детками нашими побежим», — заявила тогда Валентина как о деле решённом, о котором спорить бесполезно. И побегали, и пробежали так славно, так что кросс этот почему-то обе долго потом вспоминали. А сейчас Валентина такая худая-худая стала, ноги из брюк, как палочки торчат. Но пальчики ухоженные, как у Татьяны Ефимовны, алым лаком покрыты.

«Вон в ту аптеку иду, — кивнула неопределенно вдаль, — там скидки пенсионерам хорошие, диабет у меня нашли, в санатории... Но санаторий такой хороший: и массаж, и ванны, «бриллиантовые» называются, в них кожа вся пузырьками красивыми покрывается, аж щекотно... Я приехала, купила запросто курсовку и так хорошо подлечилась...»

«А как Татьяна Ефимовна?»

«Нету мамочки, — лицо Валентины мгновенно осунулось. — Этой весной похоронили. Я так за нею ухаживала, с ложечки кашкою кормила, ножки ей мыла. А она решила педикюр сделать, ну скажи, на черта ей этот педикюр в её годы сдался? У неё ведь тоже диабет был, то есть это у меня «тоже», тогда ещё не было, а у неё давно и диабет, и гипертония... Ну хорошо, пригласили педикюршу на дом, и эта халда ей, наверное, инфекцию внесла, заражение началось, гангрена почти», — в аквамаринных глазках появились слёзы, она смахнула их ладошкой и, с необыкновенной легкостью меняя тему разговора и настроение, продолжила:

«Я ведь прабабушкой стала, представляешь? Женечка сына родила, мальчика! Первого мальчишку в нашем бабьем роду! Теперь я его нянчу. Весело: они с мужем у меня живут...» — она задумалась на секунду и завершила неожиданно: «Слушай, я вот всё думаю: не сделать ли мне татуаж? А? Теперь все делают. Вот тут, например? Маленький цветочек...» — Валентина подняла очи горе и ткнула алым ногтем в левое надбровье.

НА ВЫСЕЛКАХ

Алла Орловская принадлежала не просто к коренным жителям столицы, но к тем совсем немногим, кому посчастливилось вырасти в лучшей её части — на холмах Верхнего города, носивших имя «Липки». Её отец работал конструктором знаменитого на всю страну авиазавода, от которого и получил еще в пятидесятые годы минувшего века просторную четырехкомнатную квартиру в высотной «сталинке», — по числу детей, их у него было четверо — и все девочки, Алла была старшей.

Семья была обеспеченная, жили дружно. Воспитанием дочерей занималась супруга авиаконструктора — милая образованная дама известной в среде старожиллов фамилии. Еще до поступления в школу их обучили грамоте, письму и чтению, а также выразительной декламации и игре на фортепиано. Несмотря на то, что мать посвящала девочкам всё своё время, Алла почему-то больше любила вечно занятого на работе отца —

из дому он уходил спозаранок, а возвращался в иные дни так поздно, что девочки уже спали и дожидалась его только жена. Зато в воскресенье были и общие, всегда праздничные трапезы, и разговоры, и рассказы, и пение, и веселье. Отец возил на новенькой «Победе» дочерей на прогулки в сады и парки, которых было множество, можно сказать, что в те годы весь город был сплошным парком и садом.

Алла первой из сестер вышла замуж, встретившись с Политехническим институтом с обаятельным юношей, и после распределения молодая пара уехала в его родную Одессу, которую всю свою последующую жизнь Алла вспоминала с неизменной радостью и почти восторгом, называя себя «одесситкой». Она вообще всегда была устремлена к радости, даже в преклонные годы, и глаза ее, мудрые и печальные, как у давно живущей на свете собаки, загорались по малейшему радостному поводу, а хохолок седых, но упрямо вьющихся волос взвивался надо лбом.

Впрочем, Алла не любила рассказов о своем замужестве, но, кажется, счастливая жизнь в солнечном городе у моря не сложилась: молодой жене пришлось делить домашний кров со свекровью — и они его не разделили.

Она возвратилась домой, к отцу. Младшие сестры к тому времени обзавелись своими семьями, а мама умерла рано. И еще долгие годы старшая дочь прожила в большой, с высокими потолками и окнами, некогда шумной квартире вдвоем с нежно любимым, но стареющим отцом. Потом отец умер, и она осталась одна.

По праздникам приезжали сестры с мужьями, племянники и племянницы уже со своими детьми — семейное древо Орловских разрослось, только ее веточка оказалась сухой. А почему? Кто знает, почему, хоть была она и добрая, и умная, и симпатичная.

Однажды в дождливый вечер Алла увидела во дворе продрогшего щенка, забрала его к себе и назвала Даром — обычная история у пожилых и одиноких людей. Так бы и продолжалась ее жизнь в старом, но крепком родном доме, но стала она замечать, будто холодок какой-то пролетает между сестрами и нею. И не говорят вроде ничего такого, а словно что-то появилось между ними или, наоборот, исчезло. Подумала внимательная Алла и поняла: у них семьи большие, внуки уже студенты, а она одна с собачкой в четырех комнатах живет. Позвала сестер на семейный совет и к общей их радости решили: родительскую квартиру продать и купить жилье детям и внукам.

Просторная недвижимость покойного авиаконструктора была продана в одночасье. Денег хватило на две двухкомнатные квартиры в хорошем районе и одну «гостинку» на окраине, в которую и перебралась на старости лет Алла со своим Дариком.

Но ничего, обжилась. Сменила на старинном диване обивку на темно-зеленый велюр, тщательно, по цвету и фактуре подобрав шерстяные нитки, расшила его доисторическими папоротниками — красота вышла неопишная! Соседки всё удивлялись, не художница, не декоратор ли она какой? «Нет, я по специальности инженер-механик», — отвечала довольная Алла.

Но, видимо, техническое своё образование она выбрала в юности тоже из любви к отцу, а не по призванию, так как обладала Орловская несомненным художественным вкусом и умением создавать красоту собственными руками. Кроме раритетного дивана, была в ее комнате дверная занавесь из нанизанных на длинные нити мелких ракушек, которые всё ещё пахли морем и тихо звенели, когда сквозь них проходили. «В память об Одессе», — поясняла рукодельница.

Соседок и знакомых, Алла впускала к себе всех без разбору, никого не опасаясь и не боясь дурного глаза. Она слушала и отвечала красивым голосом, никогда не выявляя несогласия или неодобрения, нахваливала их деток, разъезжающих по общему коридору на роликовых коньках, и, частенько случалось, поздними вечерами открывала дверь парадного загулявшим жильцам. Квартирка ей досталась на первом этаже и новые знакомые запросто подходили к ее окну, полускрытому жасминовым кустом, и стучали. Тотчас за ним раздавался радостный собачий лай, хозяйка выглядывала из-за шторы и кивала: «Сейчас открою».

Зато и любили её все, а если и не любили по-настоящему, то, по крайней мере, были в добрых отношениях. Протрезвевший сосед на следующее утро, к примеру, брал лопату и окапывал её цветочную грядку, или подстригал тот же куст, или приносил ведро воды для полива. Кто-нибудь из женщин, когда она заболела, покупал лекарство в аптеке или рыбки на базаре.

«Нет-нет, что вы! Родные меня не забывают, — убеждала Алла, не допуская даже легкого подозрения о своей заброшенности и одиночестве, — каждый вечер кто-нибудь звонит и навещать-навещают, и продукты приносят», — и торопилась, в подтверждение своих слов, распахнуть дверцу холодильника.

Чаще других навещала племянница с дочерью — красивая, хорошо одетая и уверенная в себе сорокалетняя блондинка. «Ну, раз у неё такие родственники, — заключали знакомые, увидев блондинку, — значит, беспокоиться не о чем».

Жизнь Орловской, в основном, сосредоточилась на обихаживании к тому времени старого, но всё ещё бодрого и непосредливого Дарика, которого она чаще звала Даркой. Дважды, а то и трижды в день она выгуливала его под деревьями за домом, где издавала примечалась её высокая, в былые времена стройная, теперь ссутулившаяся фигура в куртке с капюшоном, спортивных штанах и кроссовках. Летом седые кудри прикрывала бейсболка, посаженная по-молодецки, как у юного репера, — козырьком к затылку. Но когда Алла выходила по своим немногочисленным делам на улицу без собаки, она надевала жакет и длинную юбку, а кепку заменяла бархатным беретом — и сразу преображалась в прекрасную даму, какой была когда-то её мать.

В таком облике Орловская посещала местный храм. О своей вере, как и о далеком замужестве, она не распространялась, но на службы ходила регулярно и ежемесячно, по получении пенсии, отдавала в церковь десятину, о чём никто бы не узнал, если бы болезнь не вынудила её попросить соседку отнести деньги.

У неё стали болеть ноги и выстоять двухчасовую литургию было трудно, но двенадцатые праздничные службы Орловская никогда не пропускала, любила и вечерние, особенно великопостные, с чтением паремий и поминовением усопших. По возвращении из храма ещё долго светилось полускрытое кустом окно — Алла читала своё вечернее молитвенное Правило.

В лесопосадке, неподалёку от её жилого массива, обосновалось семейство бездомных собак. Их было пятеро: папаша, мамаша, двое детей и примкнувший к ним приёмный братец. Добрых собак опекали добрые люди: кормили, поили, лечили. Но в лес стали приходиться «догхантеры», т.е. «охотники на собак», которые называли животных «шкурами», а их друзей «зоофилами». Живоде́ры приходили по ночам и травили четвероногих адскими ядами. Приходилось переводить собак с места на место и как-то обустроить.

Орловская не только принимала самое активное участие в собачьих «мытарствах», но почти сразу заняла почетное и уважаемое место в кругу «зоофилов». Именно к ней по возвращении из леса почему-то считали нужным зайти или хотя бы позвонить и рассказать о дневных событиях: покормлены ли собаки, здоровы ли и, главное, живы ли они вообще. Алла завела толстую тетрадь, разграфила листы по фамилиям кормильцев и согласованным с ними дням дежурств. Туда же вносились данные о заменах дней и фамилий в связи с чьим-то временным отсутствием, а также о поступлении добровольных взносов от тех, кто связывать себя обязательствами не хотел или не мог, но всё же периодически вносил посильный «собачий налог». Круг «зоофилов» расширялся и всё бы шло своим чередом и без её смешной копеечной бухгалтерии, но таким образом делу были приданы форма и порядок. Орловская же оживила угасшее было чувство своей жизненной востребованности и обрела новых знакомых, которые тут же становились друзьями. В праздники она одаривала их загодя приготовленными пакетиками с конфетами и печеньем, крашеными яйцами, куличиками и бумажными иконками, и всегда оказывалось, что именно *т а к о й* иконы у них и не было, а кое у кого не было вовсе никакой и подаренная оказывалась первой.

Дважды в неделю, невзирая на время года и погоду, не позднее семи утра она выходила из дому к приезжающим из окрестных сел продавцам мяса и забирала у них несколько килограммов мясных обрезков — её уже знали и не отдавали собачье лакомство никому другому. Потом распределяла обрезки между кормильцами. Пока позволяло здоровье, «диспетчер, бухгалтер и снабженец» и сама ходила в лес со своим Дариком, где созывала собак на трапезу мелодичным свистом, которому обучилась в годы одесской молодости.

«Это очень просто, — поясняла Алла юному «зоофилу», — вы протягиваете губы, словно для поцелуя, и медленно выдыхаете воздух». Ей со смехом отвечали: «Так никто уже давно не целуется: теперь раскрывают рты пошире, будто собираются пожрать друг друга». «Пожалуй, что так... — соглашалась старая Алла, — раньше любовь *н е ж н е е* была».

Здоровье Орловской подкосили собачьи смерти. Сначала погиб глава семейства красавец Каштан, затем его весёлая подруга Жуля, «Жульетта», как называла её одна из женщин. После похорон родителей собаки ушли из леса и стали жить на улице, став из «лесных» обычными, уличными, а Алла попала в больницу.

Она то выздоравливала, то опять её состояние ухудшалось, но не роптала и сражалась с недугами, постепенно захватывающими всё её уставшее за жизнь тело. С кухонного столика почти исчезла еда, его заполнили расставленные в особом порядке бутылочки, коробочки и тубики с лекарствами, которые щедро прописывал участковый доктор, — большая оплачивала его визиты на дом.

Праздничную литургию в день Святой Троицы Орловская с особенным воодушевлением выстояла на ногах с подживающими язвами. По выходе из храма долго сидела на скамье, отдыхала в тени церковного сада и любовалась его пышным июньским цветением. К ней подошел местный побирушка, одетый по случаю праздника в новый, не по погоде теплый, шерстяной свитер. «Наверное, это его лучшая, одежда», — подумала Алла, глядя на упарившегося нищего, и положила в протянутую руку милостыню.

Это был её последний двенадцатый праздник — на Петра и Павла Орловской не стало. Вывела, как обычно, Дарика на прогулку и отойти далеко не успела, пошатнулась и сразу упала, рядом со своим жасминовым кустом.

К похоронам она всё приготовила загодя, даже головной платок, которых никогда при жизни не носила. Она вообще всё приготовила как следует: душу, крест, икону, свечи, одежду и документы — материальное было сложено в пакет и уложено на освобождённое для этой цели место в шкафу. Тогда и выяснилось, что квартирка, в которой Алла Орловская прожила последние десять лет своей жизни, ей не принадлежала, а предсудомнительно, во избежание излишних хлопот, ещё при покупке была оформлена на дочку блондинки. Так что, следуя Христовым заповедям, она успела раздать всё.

Собаку, как было о том договорено заранее, забрала блондинка, но долго у себя не держала — Дарик скулил и кусался — и передала другой племяннице. Та вскорости отвезла его на дачу, к отцу, выздоравливающему на природе от недавнего инсульта. Осенью Дарика видели на шоссе — подслеповатый пёсик трусил по обочине в сторону города, возвращался домой, к хозяйке.

В последний путь Орловскую провожало довольно много народу и кто-то сразу высчитал, что сороковой день выпадает на ещё больший праздник — Преображение Господне. Борясь с печалью, все поспешили обрадоваться хорошему знаку, а напоследок ещё раз подивились прекрасной старухе: под конец панихиды в храм неожиданно и быстро вошёл молодой человек с охапкой цветов — никому неведомый Тайный Друг.

Максим ГЛИКИН

/ Москва /



СНИМУ

Сниму показания счетчика
Сниму накипь и ржавчину
Сниму напряжение последних недель
Сниму порчу
Сниму все лишнее и ненужное
Сниму все плевые разногласия
Сниму все дурацкие вопросы
Сниму для этого слой за слоем
Сниму ради этого год за годом
Сниму цель за целью
Сниму цепь за цепью
Сниму все с себя
Сниму все для тебя
Сниму тебе комнату возле метро
Сниму еще лучше две комнаты в десяти минутах
Сниму еще лучше клип о полете твоих бровей
Сниму видеоарт о повороте твоей головы
Сниму — вот что: фильм о скитаньях забредшей в тебя души
Сниму — нет! — фильм о домике, снятом мной в потемках родной души
Сниму остров, где снимают фильм о тех, кто сумел все снять
Сниму себя со спецрейса на остров где сняли бы вместе скитания двух душ
Снимут о нас, упорхнувших, скажут, на съемки не то на съем,
сбившихся еще долго, снявшихся до холодов

ЗАПАДАЮЩИЙ

Западал за пазуху к бабушке
залезая в запахи кашемира, войны, сыпучего клея детгиза
Западал вслед за лопнувшей клавишей ми
в провалы истории, толщи смыслов, корневые ходы мироздания
Западал на тех, что маячили за спинами, мелькали в толпе,
оставляли быстрый взгляд, ветерок шанели

Западал: двигался к западу, шел по теченью к большим мостам у ворот
 в океан, к последнему шансу уплыть наконец от себя
 Западаешь, залипаешь в глину, что не даст и первого урожая,
 в песок, куда уходят все силы, в кустарник рук, тянущихся не к тебе
 Западаешь, впадаешь в спящий режим, не слышишь вопросов, не пом-
 нишь ответов, ходишь на самозаводе, вшиваешь в аорту автопилот
 Вздрогнуть, встряхнуться, не циклиться
 не западать
 на запах обоев давно снесенных хрущевок, в ноты невыученных этюдов,
 в черные сугробы на остановках невстреч
 Не западать к закату, вспомнить как держал орбиту поближе к теплу,
 вспыхнул когда-то сверхновой и резал ночь
 Высверливаться, высверкивать,
 Не спать, не падать
 не западать.

НЕПОПАДАНИЕ

- Сколько лет?
- Не тот климат.
- Как зовут?
- Все реже.
- Где живешь?
- После 22
- Кто ты?
- Ну не совсем.
- С кем ты?
- Я скоро.
- С праздником!
- Знаю, сам виноват.
- Ты злишься?
- Меня нет.
- Чего ты хочешь?
- Благодарю.
- Почему ты такой навязчивый?
- Мне 37.

ОЗЕРО

Дважды в одну не ступишь
 но и однажды
 не расслабляйся
 не теряй равновесие, зоркость
 не воображай
 что мрамор податлив как целлофан
 не принимай прилив за призыв
 полны дождевой водой — не думами о тебе
 и если чайки как брови вспорхнут

не сочти за сигнал
не снимай ткань паутины с колючих кустов
не проверяй на твердость бутон
не-припомню-как-звали цветка
не касайся губами, носом
ядовито набухших ягод
сыро еще
не раздвигай камыши
не обжигай щиколотки крапивой
не ступай во взрыхленную илом жидкость
не спеши впасть в зависимость
от волнения каждой складки
сложения каждой волны
не торопись
я еще холодна

СЧАСТЬЕ

собрал всего борхеса
и перестал читать
купил всего триера
и перестал смотреть
получил годичный шенген
и перестал выезжать
приобрел новейшую камеру
и перестал снимать
записал на себя три квартиры
не нахожу места для сна
восстановил все знакомства
и прекратил звонить
машина ржавеет: езжу на метро
в холодильнике все гниет: соблюдаю диету
она ворочается и мерзнет: молюсь за дверь
счастливый я человек



Ирина ЧАЙКОВСКАЯ

/ Вашингтон /

ПУТЕШЕСТВИЕ В ...

(Записки из Италии)

...Инвалид выехал из-за угла. На синей машине, и притаился. Пслышался знакомый свист. По узкому тротуару шел ничего не подозревающий матрос, насвистывая. Инвалид резко взял с места, машина пронеслась мимо матроса с невероятной скоростью. Она почти касалась тротуара. От неожиданности матрос упал, фуражка с головы у него слетела. С гадкой ухмылкой инвалид поехал назад, слегка притормаживая. Матрос лежал на тротуаре, потом встал и погрозил инвалиду кулаком. Синяя машина скрылась из виду...

Я продолжала свой обычный путь. Все вверх и вверх, в горку. Там на горе, среди увядшей и вечно зеленой растительности, белое здание странной формы — из кубов и шаров; это азило, скуола матерна, за детьми здесь присматривают сестры-францисканки. Под крылом одной из сестер — Суор Энрики — учится Илюша, точнее, не учится, дети здесь играют, рисуют, гуляют и даже обедают. Обед — по-итальянски «пранцо». Но Илюша на пранцо не остается, дома он специально оговаривает, чтобы взяли «до пранцо», повторяет это «до пранцо» из раза в раз каждый вечер и еще утром, когда встает. Конечно, до пранцо. Мы давно поняли, что до пранцо. Чистого времени около двух часов. Убрать квартиру — полы ужасно маркие, требуется ежедневная влажная уборка, да и ходят к нам часто, к тому же хочется, чтобы Дон Паоло был доволен. Словом, убрать квартиру, сходить в супермаркет, приготовить обед. Темпо аллегро.

Выхожу за Илюшей в одиннадцать. Бон джорно, Дон Паоло. Последнее время редко встречаю Дона Паоло на лестнице. Он все бегаёт, бегаёт — много работы, каждый день две мессы, уроки философии в лицее. До азило полчаса ходу, если не спешить. Иду по вяле Виттория. По-нашему, это бульвар, смотрю по сторонам, отдыхаю. Бульвар — узкий. Чистые пруды гораздо шире. И здесь, и там с обеих сторон потоком идут машины. Там меня это ужасно раздражало. Здесь, пожалуй, тоже. Но вообще воздух здесь несравнимо чище, чем в Москве, на Чистопрудном. Здесь море. Адриатика. Ветер с моря очищает воздух. К тому же, машины не так газуют, моторы у них работают лучше, грузовиков совсем нет.

А люди почти такие же. Иногда тип полностью совпадает. Вот эту, например, женщину средних лет, легко можно представить себе на улицах Москвы. А вот эту нет. Лицо темное, смуглое, да и одета слишком экстравагантно.

Нет, главное, конечно, не в этом. В Москве тоже есть смуглолицые модницы. Здесь на людях налет лоска, ухоженности. И на челе ее высокою не отразилось ничего. Нет нашей вечной озабоченности. Тревоги на лицах. Нет ожидания чего-нибудь плохого. Худшего, из того, что можно предположить. Нет страха и понурости. Они свободнее держатся, вздымают голову.

Старики в галстуках. Прогуливаются. Чао, Фернандо. Чао, профессор. Нет этих ужасных старушечьих глаз, в которые невозможно смотреть. Нет стариков в переходах.

Хотя... есть тут один негр. Если идти по нашей улице к порту, он сидит в самом конце, прямо на асфальте. Один раз я встретила его возле Станды, он протянул руку и что-то сказал. Я отшатнулась и пробежала мимо. Я ничего ему не дала. В принципе, мы здесь почти беженцы. Или Илюше, или ему. И в воскресенье тысяча лир на церковь, каждый раз.

В Москве я перестала подавать нищим, когда их стало слишком много. Во всех переходах, стоят и лежат. Я читала про голод на Украине, когда на улицах валялись голодные, умирающие или уже мертвые. А люди шли мимо. Так и мы. Так и я. Мимо этого негра.

А недавно мимо соотечественников. Те двое, музыканты, про которых говорила Лена. Шли с Илюшей по виа Гарибальди и вдруг — музыка. Один на гитаре, другой — не разобрала на чем, что-то вроде дудки, кларнет? И сразу поняла, что это они. Лена говорила — двое, молоденькие, приехали с экскурсией из Сочи. Лена, когда проходила, дала им пять тысяч. Вообще она деньги считает, но тут... еще важно, что музыканты, она ведь музыку преподавала в Союзе. Эти двое живут в той же гостинице, в которой жили, когда были с экскурсией; хозяин берет с них не помню сколько, но побожески, жалеет. Сказали Лене, что их обобрали на границе, чуть ли не забрали какой-то инструмент, кларнет? Не помню точно, и что они собирают деньги на новый инструмент, и уже немного собрали, и что питаются хорошо. Питаются хорошо. Господи помоги, питаются хорошо, собирают на кларнет, и все на те деньги, которые зарабатывают на улице. Сонечка Мармеладова.

Слишком сильно?

А нам Лидия купила теплые вещи. Нам с Наташей свитера и Сереже. Это как? Это не нищенство? Неужели купила на свои? Скорее всего, на церковные, есть же у них какие-то фонды, благотворительные. Но нет, кажется, на свои, хоть и небогата. Вот интересно: Сережа здесь работает в Университете, научный сотрудник, профессор, а они держат нас вроде как за беженцев. Может, знают, что зарплата, маленькая, на одного, а нас вон сколько — четверо. Знают, наверное, от Дона Паоло, а тому Б. сказал. Лучше бы больше платили. Нет, так нельзя говорить. Б. нас вызволил, мы сидели в Москве как в капкане. Завтра обязательно схожу на Гарибальди, может, музыканты еще там. Подумаешь, пять тысяч лир! Что можно здесь купить на пять тысяч лир? Не так уж много — две куриные ножки и три банана, вот и все. Вот перед этой горкой я всегда немного отдыхаю. Собира-

юсь с силами, время подходит. Илья там в своем *азило* смотрит в окошко. Слава Богу, история для него уже есть. Инвалид выехал из-за угла и так далее. А если будет кланчить, расскажу про пьяного.

...Пьяный лежал на тротуаре, а рядом рабочие на лестнице ремонтировали крышу. Инвалид выехал из-за угла на своей синей машине и так шустро покатил, что один из рабочих свалился с лестницы. Прямо на пьяного...

Смешно? Будет Илюша смеяться? Подъем взят, вот и хорошо. Сейчас за поворотом *скуола materna*, илюшино *азило*. Очень крутая витая лестница из мелких белых камешков, сверху нависают кипарисы, есть в этом месте что-то от райского сада, птички поют. Вот на этом витке меня видит монахиня, сидящая у входа. Бывает, я не успеваю подняться, а Илюша уже одет и со своим маленьким зеленым честино ждет меня у двери. Как он там сегодня?

Когда мы только приехали в А., у нас с Илюшей была одна прогулка. Вообще-то мы шли к наташиному Лицею, но это был лишь повод. Мне просто хотелось немножко погулять по незнакомым улицам. Нам обоим было страшновато. И страшнее было мне, ведь Илюша маленький, если что случится, какой с него спрос?

Всю дорогу он спрашивал: «Мы не заблудимся?» и тянул меня назад, а я говорила: «Ну давай еще немного, а вдруг здесь где-нибудь есть сад?» и вела его дальше по узким уводящим вверх улочкам. Сад в то время был нашей навязчивой идеей. Сад или парк. Мы мечтали его отыскать, чтобы по нему гулять. Неужели в этом чудесном городе, кроме загазованного наподобие Чистых прудов бульвара Виттория, нет зеленых уголков? Есть, конечно. Крохотных зеленых островков, с пальмами, фонтанами и каменными скамьями, здесь не счесть. Но настоящего парка или сада мы не встречали. И в смутной надежде поднимались вверх по улочкам, удаляясь от наташиного Лицея: а вдруг за следующим поворотом откроется?..

Мы вышли к полукруглой балюстраде. Вверху, над нами, домов больше не было, внизу лепились домики, расстиралось море. Но это далеко внизу. А прямо под нами по склону холма располагалось какое-то странное здание. Белое, в форме кубов и шаров. В местности вокруг было что-то от райского сада: высились кипарисы (возможно, я путаю, и это не кипарисы, тогда что?), благоухала вечнозеленая субтропическая растительность, тесно росли деревья и кустарники, пели птицы. Мне подумалось: какое чудесное уединенное место, наверное, монастырь, Это было Илюшино *азило*. Но тогда мы этого не знали, Илюша тянул меня за рукав, хныча: «Мы уже заблудились, да? Пойдем назад, назад, назад...», и мы стали возвращаться назад той же уже знакомой дорогой.

А про... а про... Ну хорошо, хотя я уже рассказала про инвалида и про пьяного. Хорошо, только не плачь. Ты там плакал, а? Подходил к суор Энрике, спрашивал, когда мама придет, а? Каждую минуту спрашивал, мешал ей отдыхать, а? Ну хорошо, хорошо, не хнычь, будет тебе золотая рыбка; это я так, к слову, ведь я не про рыбку тебе рассказываю, а про... про кого? Про Гру или про Андрию? Ах, про Гру... И на чем мы остановились? Зачем ты останавливаешься посреди улицы? Это некрасиво, видишь: все ог-

лядываются. Думаешь, потому что ты такой красивый? А ведь действительно красивый, главное — есть масть, темные волосы и сине-зеленые глаза, очень миленький мальчик, в красной курточке, принесенной Б., в синем *капеллино* с кисточкой. Это мой сын? Как это получилось? Когда? Ведь совсем недавно, совсем недавно, совсем-совсем недавно я сама была ребенок — Ирочка — хорошенькая, нервная, умненькая. Считала себя умной и продолжаю считать всю жизнь. И вообще ничего не изменилось: я такая же, такая же, такая же. Ведь когда мы будем Там, у нас возраста не будет, нет? Там будет некая наша сущность, эманация, там мы будем маленькие, а?

Ну хорошо, хорошо, слушай. Грушенька решила сниматься в кино. Это я тебе еще не рассказывала? И пришла к знакомому режиссеру. Снимите, говорит, про меня фильм. А что ты такого делала? Я в море купалась, на берегу загорала, в горы ходила, в доме убиралась, картошку сажала. Э, это неинтересно. И захлопнул дверь, чтобы больше Грушенька не входила. Как ты считаешь, он правильно захлопнул дверь? Не знаешь? Но ты же помнишь — я тебе уже вон сколько нарасказывала — и как она в море купалась, и как на берегу загорала, и как в горы ходила, и как в доме прибиралась, и как картошку сажала. Про все — отдельная история. Помнишь, ты смеялся?

Скажешь, неинтересно? Не интересно, скажешь? Ты чего молчишь? А что было дальше? Что дальше было? с Грушенькой? Ну, слушай.

Как можно понять другого человека? Невозможно. Вот дала я Лене рукопись почитать. Время идет, уже скоро две недели, как дала. Ни слуху, ни духу. Не понравилось. Но главное не это. Я многим давала, в основном своим ученикам, и потом в лицо смотрела: понял? не понял? Очень редко кто понимает. Скорее, никто не понимает: мне понравилось, мне очень жаль героя.

Не то, не то. Я ведь душу свою выворачивала, и не герой это во все, а я, я сама. И в его судьбе есть какой-то знак для меня. И я боюсь, сильно боюсь, что что-то напророченное сбудется, и плачу во сне, и кричу. И мне не по себе, и я вижу, что все это со мной, со мной. Понравилось, спасибо.

Лене, скорее всего, не понравится. Но это не больно.

Не так больно, как когда присылали из журналов: «Прочли с большим вниманием... не представляет интереса... широкой публики».

Ты что это, опять хнычешь? Ах, Грушенька? Ну, слушай.

Пришла она к маме, в слезах, рассказала про режиссера. А мама ей посоветовала, давай запишем все истории по отдельности, и с подробностями. Как она в море купалась — зимой, на берегу загорала — намазавшись коричневой краской, в горы ходила — и на вертолете ее спасали, в доме убиралась — и разбила все мамины пузырьки с лекарствами, картошку сажала — в Африке. И они написали. И Грушенька отнесла написанное режиссеру. Тот долго смеялся и решил снимать фильм про Грушеньку с Грушенькой в главной роли.

Хорошая сказка? Хорошая сказка, это я тебе скажу. Главное, что не очень на правду похожа. Где это мы? Ах, уже детская площадка?

Конечно, конечно, покачайся. Ты покачаешься, а я отдохну, соберусь с мыслями. В Москве тоже детская площадка, и качели. Правда, последнее время сломанные. Последнее время все было или уже сломанным, или еще не вполне сломанным, но доходящим. И город был грязный, страшный. Как при неприятеле. Вспомнилась улыбка последнего при мне выбранного мэра, хитрая и скользкая, когда-то она казалась умной. А человек оказался так себе. Мы его выбрали, мы за него болели, слали телеграммы, подбадривали, жалели, а он ушел из мэров на партийную работу. Демократ. В газете написали, что у него и его приближенных куплены дачи где-то в Америке, кажется, во Флориде, газета просила объяснений, и он объяснил, мол, обращайтесь не ко мне, а к фирме-посреднику. И еще он объяснил уже не в газете, а с экраном, что взятки давать и брать не позорно, обычное дело, вполне цивилизованное. И я поняла. Нельзя им верить, нельзя доверять. Никому. Все продажны. Все только для себя, для своей пользы, даже те, кто вначале кажется интеллигентным. Интеллигентных там нет. Интеллигентные, такие как Сахаров, всегда жертвы. Власть их боится, и они от власти бегут. А те, кто у власти, — прав Достоевский — все преступают, все Наполеоны, всем наплевать на нас, муравьев.

Все? Покачался? не хочешь больше? Ну, пошли, пошли. Как ты думаешь, не будет дождя? Что-то тучки, и похолодало вроде. Море. Адриатика. Все меняется очень быстро. Только что небо было чистое — и вот дождь. Прямо как у нас в России.

Опять вяле Виттория. С двух сторон сплошной поток машин — ж-ж-ж. Все спешат на *пранцо*. *Пранцо* у них в час. А *цена* — ужин — в восемь, это закон. Если ты честный человек, хороший работник, любящий семьянин, лояльный член общества... кто там еще? ты обязан в восемь часов сесть за ужин. В восемь часов улицы пустеют. Банкарелла к восьми закрывается. Италия ужинает. А до ужина, часиков этак в семь, улицы заполнены народом, итальянцы прогуливаются перед обильной едой. По виа Гарибальди движутся пожилые солидные пары, дамы в мехах, тонком капроне и туфельках на высоком каблучке, кавалеры в шикарных, перекинутых на обе стороны кашне, сильно надушенные. Молодежь теснится по обеим сторонам улицы, стоят — разговаривают, смеются, песен не слышно, гитар нет, но нет и ругани, драк, плевков и мата. Нет агрессивности. Немножко скучновато, зато в рамках приличия. К четверти восьмого по виа Гарибальди пройти почти уже невозможно, всюду толпа. Улица ярко освещена, горят витрины магазинов и кафе — и внутри, и снаружи нарядные, смеющиеся, празднично настроенные люди. Хорошо быть итальянцем. Хорошо быть итальянцем? итальянкой? Прислушиваюсь к себе. Я бы не смогла. Ведь вот даже эта регулярность меня чем-то раздражает. В час — *пранцо*, в восемь — *цена*. Наташин хор начинается в девять пятнадцать. Мы с Наташей недоумевали, почему так поздно? Теперь-то я понимаю: люди хотят нормально поужинать.

Это у нас в театр идут к семи. Почему-то никто не думает, что после работы надо бы поесть, кое-кто, правда, надеется перекусить в буфете. Прочие довольствуются духовной пищей.

Русские. С их вечной расхлябанностью и нелюбовью к порядку. С их бездомностью и безбытностью, у них всегда материальное на втором месте. Не отсюда ли проистекает загадочность русской души для иностранцев? Не из-за этого ли неугождения желудку? Черт с ним, с ужином, схожу-ка я в театр. Театр вместо ужина или ужин вместо театра?

Хорошо, хорошо, на ручки, так на ручки. Большой ведь уже, шестой год. Вон люди смеются — иностранные, думают, какие мы с тобой чудные: маленькая мама несет большого ребенка, и не стыдно? Нет? Что? Еще и про...? Слезай, задохлась. Глупый ты, Илюша, и своенравный. Прямо самодур какой-то. Как у Островского. Не понимаешь? Русский, говорю, у тебя характер.

Какой сегодня день? Пятница. Вчера здесь, на въезда Виттория, были демонстрация и митинг. И в понедельник тут тоже будут митинговать. Наташа говорит, их снимают с четвертого урока на демонстрацию против антисемитизма и расизма. А вчера была — против налогов. Любят они демонстрировать. Я почему-то не очень верила телекадрам про демонстрации на Западе, считала их пропагандой. Но нет, выходит, правда. И чего им здесь демонстрировать и митинговать? Магазины ломаются от продуктов и товаров. Вон Лидия объясняла, когда мы от вещей отказывались, зачем, мол, так много? — не возьмете — выбросим, вещи устаревших моделей, никому не нужны. Да с превеликим удовольствием, какие там, к черту, устаревшие модели? — хорошие, красивые, импортные вещи, ну дырочка небольшая на рукаве, так ведь не заметно. Разве можно выбрасывать вещи, они же даже не ношенные, прямо с банкареллы и... на свалку?

Нет, конечно, лучше нам, мы возьмем. С удовольствием. Грации. Грации миле, танте, как там еще? А налоги здесь действительно большие. Это нам с Сережей повезло: его грант налогом не облагается — маленькие деньги, но получает он их все, без вычетов, спасибо Б. А у самого Б., Сережа говорил, налоги забирают 35 процентов зарплаты. Ужас просто. Вот они и бастуют, и демонстрируют. Автобусы вчера вечером не ходили, свет несколько раз отключали. А на митинге кричали в мегафон до того громко, что я из нашей кухни в Сан Козьма все, все слышала. Все слова очень отчетливо. Смысла, естественно, не понимала. Сплошное — ж-ж-ж, шум, в общем. Илюша был уже дома после азило, ему этот шум сильно не нравился, давай-ка — говорит — скажем, чтобы они прекратили. А я ему: «Мы здесь чужие, Илюша, кто нас послушает?» Да, чужие. Чужие в Италии. А в России? Здесь, в Италии, нас все зовут русскими. Но мы не вполне русские. У нас есть одна особенность. Мы евреи.

...Матрос приблизился к синей машине. Приоткрыл дверцу и вытянул инвалида с водительского сиденья. Тот беспомощно трепыхался в сильных руках, матрос начал слегка подбрасывать инвалида, вверх, как мячик, шел и подбрасывал. Потом вернулся к машине и усадил инвалида на его место. А сам ушел, похвистывая.

Что, что ты говоришь? Я не слышу из-за машин. Пьяный? Пьяный-то тут при чем? Пьяного в этот раз не было. Вернее, я его видела, но только одну минутку. Он был абсолютно трезвый и следил за матросом из-за угла. Помнишь, когда мы первый раз шли в азило, проходили мимо мастерской? Там еще машины ремонтировались, вверх ногами, помнишь? Так вот пья-

ный оттуда следил, из мастерской, из темноты. Зачем? Откуда я знаю? Может, просто так. Но скорее всего, он что-то задумал. Я видела глаза у него так и горели, как у кошки... Дальше? А дальше я пошла за тобой в азию, чуть не опоздала. А ты почему ничего не рассказываешь? Опять плакал? хоть с перерывами? А эта, внизу, почему такая хмурая, не знаешь? может, ей надо конфет принести? Как ты думаешь? Монахиня... любит, наверное, сладкое... купить каких-нибудь леденцов... Сколько я этих конфет перетаскала за годы наташиного садовского детства! На поверхности помогало, внешне воспитательницы становились приветливее и добрее к моему ребенку. Но потом, когда Наташа выросла, стала вспоминать свои многочисленные садики, оказалось, что тот, кому я больше носила, и был самый злой и несправедливый. И воспоминания все были тяжелые — про грубость, несправедливость, наказания, мне даже показалось, что они похожи на воспоминания заключенного: тот ждет освобождения, а ребенок ждет маму. Ждет с самого момента привода и до конца. В Москве мы Илюшу держали дома, никуда не отдавали. Что? Подарок? Что ж ты молчишь? Давай сюда *честино*.

А, понятно, рисунок. Мани. Что это — мани? А, понятно, ладони. Это суор Энрика нарисовала, да? Ты положил ладони на лист, а она их обвела красным карандашом. Прекрасно, прекрасно, *бельо*. Очень красиво получилось, и ладони красивые. Ну-ка покажи. Грязные, грязные у тебя ладони, как не стыдно, суор Энрика, наверное, подумала, что ты грязнуля. Придем домой — помоешь. Когда придем? Скоро. Скоро уже. Все эта бесконечная вяле Виттория.

Кольцо больших бульваров обойти хотя бы раз. Моя юность прошла вне московских бульваров. Мы жили на окраине — в Перове. Помню, студентками мы с сестрой поехали однажды на семинар в институт с длинным педагогическим названием. От метро шли пешком, по бульвару. Было это весной, бульвар показался прекрасным, почти бесконечным. Тогда мы еще не знали, что он называется Чистопрудным. Отзанимавшись в Историчке, шли пешком по длинной улице Чернышевского вниз, к Земляному валу. И не предполагали, что лет через десять эти места станут родными.

Помню, как однажды набрела на маленький магазинчик самообслуживания на углу двух улочек в районе Садовой, место показалось несколько странным, вроде центр в двух шагах, Красная площадь, а здесь все как-то по-своему, по-домашнему, и дворик старомосковский, в духе Поленова, и люди неторопливые, женщины в тапочках на босу ногу...

Вышла из магазинчика, устремила взгляд вперед — и увидела... Что увидела? А свой дом, в котором поселюсь не скоро, через десять лет. Но помню, что четко его тогда увидела, как Лермонтов увидел свою смерть во сне. Дом тогда был светло-зеленый. Потом он стал серым, а когда мы уезжали, он был уже розовым, после ремонта; и магазинчик тоже многожды изменялся, продукты в нем то пропадали совсем, то появлялись (на короткое время), его площадь использовали на половину, потом на треть; когда мы уезжали, он обслуживал по талонам ветеранов, нет, вру, уже не обслуживал, уже работал как нормальный магазин, и даже у левой стены появились арендные продавцы, торгующие тем же самым ассортиментом, но без перерыва на обед... А что там сейчас — Бог весть, может, и вовсе закрылся.

А бульвары... Когда мы переехали в наш новый старый дом (знаете, здесь в тридцатые страшно было жить, всех почти жильцов перебрал ворон, ночью приезжал, так рассказывала старая соседка снизу), так вот, когда мы переехали, я заново полюбила Москву, переживала, что юность моя прошла не здесь, и появилось у меня обыкновение: в хорошую погоду, весной, совершала я обход бульваров. Все разы помню, не так-то уж много их было, два раза ходила одна. Один раз с бывшим учеником Володей, другой раз — с бывшим учеником Андреем. Как вы там, мальчики? Володя, наверно, как обычно позвонит на Новый год, чтобы поздравить, а мама скажет, нету, в Италии. И Володя прикусит губу — сколько мы с ним говорили об этом: ехать, не ехать. Он и без меня знал, что ехать нужно, только как? Он кончил финансовый, недавно поступил в аспирантуру, стал разбираться в наших экономических делах, махнул рукой, решил: надо бежать. Кончил курсы французского языка, устроился на совместное предприятие; в тот раз на бульваре говорил мне, что уедет хоть в Израиль (он русский, и жена молодая тоже русская), хоть к черту на рога, купит туристические путевки и останется, попросит убежища. Собственно, музыканты уличные так ведь и сделали. Может, и Володя уже где-то там, в чужих краях, и вовсе не позвонит на Новый год, не поздравит маму и не услышит, что нет меня, что в Италии. Ау, Володя! Я учила его с седьмого класса, была тогда аспиранткой, собирала материал для диссертации, вела факультатив по грузинской поэзии. Почему-то почти все на моем факультативе были из Володиного класса, и почти все — мальчики, и мы ставили с ними «Витязя в тигровой шкуре», а Володя был ведущим. Даже Тариэлу — его играл Гиви — не нужно было учить столько, сколько Володе, — едва ли не всю поэму. Помню, начинались каникулы, и на занятия никто не пришел, кроме Володи. Володя пришел, и мы с ним релетировали. Мы оба воспламенились, нас воспламенил Руставели. И, конечно же, Заболоцкий, так как текст был в его переводе. Текст совершенно замечательный.

Есть любовь высоких духом,
Отблеск высшего начала,
Чтобы дать о ней понятие,
Языка земного мало.
Дар небес, она нередко
Нас, людей, преображала,
И терзала тех несчастных,
Чья душа ее взалкала.

Володя кое-чего не понимал (семиклассник!), я ему растолковывала, мы не краснели, нет, ведь речь шла не о постыдном, речь шла о благороднейшей рыцарской любви.

Называется миджнуром
У арабов тот влюбленный,
Кто стремится к совершенству,
Как безумец иступленный.
Ведь один изнемогает
К горним высям устремленный,
А другой — бежит к красоткам, —
Сластолюбец развращенный.

Вот здесь он, пожалуй, покраснел. Когда читал о красотах. В седьмом классе все так осязаемо и ярко представляешь. Каждое слово влечет ассоциации, да такие, что пугаешься своего воображения.

Через много лет в классе, где учился Андрей, я готовила вечер поэзии Петрарки. Тоже любовь, тоже божественная, далекая от телесной. Перед отъездом я встретила девочку из этого класса — Таню, сказала ей, что собираюсь в Италию, и она просияла, заволновалась: «На родину Петрарки?» А встретились мы, кстати, на Чистых прудах. Первое, что вспомнила Таня, когда я сказала об Италии, был Петрарка, наш давнишний вечер, где звучали его канцоны. Значит, Петрарка осталась с ней. Значит, все было не напрасно. Не напрасны мои учительские муки. Не напрасна история человечества — Петрарка, Руставели, неземная любовь. Все это живет в сердцах Володи, Тани, Андрея. И когда нас не будет, это останется. Не порвется серебряный шнур. Главное, чтобы было, кому передать и чтобы был тот, кто передает, и чтобы они встретились, не обязательно на Чистых прудах.

А Андрей был замечательный. Было два замечательных Андрея. Оба — ученики. Один — первый, в школе, другой — когда репетиторствовал. Первый Андрей большой, сильный, странный, пришел из другой школы вместе со своим другом. Друг никакой, а этот... я его сразу выделила, сразу мы друг другу понравились, и уроки стала проводить только для него. Он поймет, он оценит, посмотрит умным черным глазом, сильный — занимался в секции самбо — и одновременно мальчишески застенчивый. Когда уходил из школы, на выпускном вечере, часа в четыре утра, я что-то говорила ему о Каролине Павловой. Молоденькая учительница внимала мне с ужасом, пыталась оттащить его от меня, придумывала разные предлоги. Она считала меня сумасшедшей, а его — жертвой, и звала мальчишка пить кофе, играть в ручеек или стрелять по мишеням, а он упирался и не шел, слушал мой бред про Каролину Павлову. Каролина Павлова жила на Рождественском бульваре. Когда потом мы гуляли с ним по бульварам, я показала ему ее дом, чудесный маленький особнячок, странно, что там живут современные люди. Каролина Павлова умерла на чужбине. Последние ее стихи были на немецком языке, в России ее к тому времени все забыли. Странно, почему он все-таки не уходил и зачем я все это говорила? Что ему была полоумная старуха Каролина Павлова в последнюю ночь перед началом новой жизни?

Потом Андрея призвали, и он служил в Армении. Он был там в момент землетрясения и остался жив. А я боялась, очень боялась. Дело в том, что я списывала с него своего героя, а герой погибал, погибал молодым, и я боялась, что накличу на него беду. До сих пор боюсь. Живи долго, Андрей!

Второй Андрей появился за год до моего отъезда, к тому времени я ушла из школы и давала частные уроки, готовила к экзаменам. Позвонила знакомая — мы с ней вместе уходили из школы — и сказала, что у третьего, уходившего вместе с нами, учителя физики, есть племянник. Племяннику нужны уроки русского языка, так как он абсолютно безграмотен и для поступления на физфак педагогического института нуждается хотя бы в тройке. «Уходивший с нами» учитель был мне симпатичен. Он ушел из

школы сразу же, как пришел, проработав всего несколько месяцев, но оставил по себе память. Он был настоящий учитель физики, и при нем в школе начался театр. Я видела постановку, она была слабой, пьесу слепил сам учитель, и не очень удачно — о школьной жизни; но в перерывах между неудачным действием он читал стихи, и читал прекрасно: Тютчева, Цветаеву. Представление шло не в школе, а где-то у черта на куличках, вообще в школе о нем знали только посвященные, репетиции проводились тоже где-то на стороне и в тайне; похоже, учитель сразу распознал самодержавно-крепостнический нрав нашего директора и решил не шутить с огнем. Он был очень большой, массивный, с красивым густым голосом, его уроки слышны были в коридоре; ребятам он нравился, свой класс успел он сводить на выставку и куда-то еще, были у нас с ним планы совместных уроков, но... ему вредили слишком свободный нрав, слишком малая приспособляемость. И из той, новой, школы, куда перешел он работать, тоже пришлось ему уйти. Нет, свободному неуправляемому мужчине не место в советской школе. Ему вообще нет места. Нигде. Он вечный скиталец, как Чацкий. Не знаю, только ли в России существует этот феномен. Вот с его-то племянником мне и предстояло заниматься.

Андрей чем-то напоминал моего теперешнего Луиджи. Может быть, взглядом — пристальным и открытым. Был помладше, но тоже уже не отрок. Спасался от армии в педагогическом училище, единственный парень среди девчонок. Наверное, над ним смеялись: этаким ботаник, не смешливый, подтянуто строгий, любящий чтение.

Постепенно выяснилось, что он вовсе не племянник учителя физики, а какая-то там пятая вода, но тот тянет его из болота, от простых неинтеллигентных и бранчливых родителей к искусству, поэзии, театру. Андрей играл в театре своего «дяди», правда, в том первом представлении он не участвовал, а «Власть тьмы», где он играл молодого героя, я не смогла посмотреть. А он там пел. Вот песни в его исполнении мне бы точно хотелось бы послушать. Пел он народные песни. Но не услышала. Перед отъездом я мало куда ходила — не было сил, не хотелось никуда вылезать из дому. А опять надо было добираться бог знает куда, в очередное тайное прибежище.

А безграмотным был он действительно. Фантастически безграмотным, мог сделать в сочинении 15–20 ошибок. Притом, что читал он очень много, отсутствовал у него орфографический инстинкт.

С ним я как-то по-новому взглянула на наш язык и удивилась, до чего ж разнообразен, богат, сколько лексических нюансов. Все эти приставки и суффиксы, в правописании которых Андрей с моей помощью должен был разобраться, как они многочисленны, даже избыточны. По-английски — *ту гоу* — и все, а у нас ехать, поехать, проехать, переехать, заехать, наехать, отъехать, подъехать — сколько еще? По-английски — *бьюти* — и все, а у нас красавица, красотка, красотуля, а еще красоточка, красотулечка... и так с каждым словом. Обрастая приставками и суффиксами, корень приобретает все новые и новые значения. Бедный Луиджи! Конечно же, не в моих силах дать ему насладиться всеми этими оттенками, черточками, нюансами. Они усваиваются с молоком матери, на языке надо говорить с рожде-

ния, тогда лишь легко будут слетать с языка — миленький, милашечка, милочка. О великий, могучий, правдивый и свободный. Не будь тебя, как не впасть в отчаяние, при виде того, что делается дома, но я отвлеклась.

Болезнь называется вегетативно-сосудистая дистония. Она не страшная. Физиология на первых порах не страдает, органики, как говорят врачи, нет. Просто не хочется и трудно становится жить. Болит сердце, кружится голова. Участковый врач Колобова говорила, что все это пустяки, не по правде, электрокардиограмма нормальная, и вообще дистония у девяноста процентов советских людей. Согласно. С последним согласно, — наверное, действительно, у многих, и наверное, ее, а не рак, следует признать болезнью века.

Выхожу на Чистые пруды. Осень. Но утки еще здесь, и жирные голуби, и воробьи. Нестерпимо щемит сердце, каждый шаг сопровождается мыслью — последний? А что дальше? Вот упаду, унесут тело, а дальше — что? Нестерпимо страдает душа, ищет ответа, не находит, снова и снова возвращается к тому же, а дальше, дальше, дальше... Хочется выть, кричать, биться в истерике. Чистые пруды, мир и покой, голуби и утки, спасибо, вы давали облегчение.

* * *

Илюша в азило не ходит. У него бронхит. Он дома, и я вместе с ним. Какая тоска! Но к обеду возвращается из Лицея Наташа, приходит из Университета Сережа, я разогреваю первое, второе, Наташа с Сережей рассказывает новости, становится веселее. Вчера у Наташи была манифестация против антисемитизма. Несколько часов лицеисты ходили по улицам города — к порту и назад — с лозунгами и плакатами. Наташа не очень разобрала их содержание, но замерзла очень, — зима, градусов восемь, правда, выше нуля. В лицее выступала некая Фрида Росси, активистка еврейского движения — я сразу вспомнила, что про нее нам говорил Дон Паоло, он хотел нас познакомить. Из выступления Наташа запомнила рассказ, как, когда та училась в Риме, на школьном вечере всех угощали бутербродами с ветчиной, а для нее был специально приготовлен бутерброд с сыром. Интересно, когда это было? Наверное, до войны, когда же еще? Надо бы потом узнать, как уцелела она в Италии, как оказалась в А. Сейчас здесь полосу борьбы с антисемитизмом. Долго ли она продлится? До очередного экономического кризиса? Мне как-то грустно от подобных акций. С одной стороны, спасибо, конечно, вступаются добрые люди за евреев, клеймят, так сказать, антисемитизм. А с другой, раз вступаются, значит, есть, существует и здесь этот кошмарный еврейский вопрос. А где его нет? Разве где-нибудь в Малайзии, на Мадагаскаре? Куда податься бедному еврею? Как куда? В Израиль, все, все ступайте в свой Израиль, там ваше место. Да? вы так считаете? А если я как-то не вижу себя в Израиле? Видите ли, я родилась в России, жила с ее культурой, преподаю русский язык и литературу; я, понимаете ли, — патриотка русской художественной культуры. Ты? Патриотка? Ты? Ой, держите меня! Она русская патриотка! Ты еврейская рожа, вот ты кто, и тебя надо гнать отсюда взащей в твой Израиль, чтобы не портила наших детей, не внушала им чего не положено, масоно-жидовское что-нибудь...

Наташа в лицее после истории Междуречья изучает историю древних евреев. Мы в нашей советской школе после Междуречья начали Китай. Про Древнюю Иудею не было в учебнике ни слова. Может, правильно? Зачем дразнить гусей? И так ведь, как у Высоцкого, «кругом одни евреи».

Ошибаешься, вас уже нет совсем, всех выперли, скоро ни одного не останется. То-то хорошо будет, дышать нам станет полегче, простор будет для русского человека.

Да? Значит, значит... значит правильно, что я в Италии? Значит, все верно? Вы во мне не нуждаетесь, я вас правильно поняла? Дело в том, что вы впервые сформулировали. Четко и ясно. А до этого, всю мою прошлую жизнь, я как-то не понимала, вроде намекали, давали понять, но больше иносказательно, не очень четко. Отчетливо слышу отвратительно звонкий голос Тамары Дмитриевны, моей шефины, заведующей лабораторией: «А мать у вас — русская? да? А отец — тоже русский?!» Вопросы обращены не ко мне. Тамара Дмитриевна набирает в лабораторию сотрудников, беседует с претендентами. Меня взяли в лабораторию без её ведома, когда она болела, и Тамара Дмитриевна очень недовольна, очень. Взяли еврейку, и мать, и отец у нее евреи; мало ей, Тамаре Дмитриевне, Лейбсона, так вот, поди ж ты, еще и лаборантку подкузьмили! И Тамара Дмитриевна показывает, как ей неприятно, что я у нее работаю, ей не неловко — ей сладостно задавать в моем присутствии свои вопросы: «Да? И отец — тоже русский? И мать?» Почему я не возмущаюсь, не кричу ей в лицо, что она антисемитка, что ей не место в Институте художественного воспитания? Почему? А потому что я и сама не понимаю, как это меня взяли. Нигде не брали (школа с серебряной медалью, институт с красным дипломом), разводили руками, человек нужен, правильно, но вы нам не подходите, — а тут вдруг взяли. Мне уже и самой, как и Тамаре Дмитриевне, кажется, что я не могу подойти, раз у меня и мать и отец евреи, это же клеймо, разве таких берут? Вот замдиректора, впоследствии мой научный руководитель, он же рассказывал мне, не устыдился, как его сын решил, что его карьера страдает из-за слишком похожей на еврейскую фамилии, и как побегал этот сын к своему начальнику и стал божиться, что не еврей он, не еврей, что просто фамилия такая похожая, а так нет, и мать у него русская, и отец, и, если надо, он метрику принесет. Ведь не постеснялся, рассказал, посмеялись. Почему я смеялась тогда вместе с ним, почему не грохнула по столу кулаком и не прокричала: «Хорошо, ваш сын не замешан, но я-то замешана, и что мне делать с этим моим несчастным еврейством в вашем институте и в моей стране?»

Что мне делать? А? Не дает ответа.

Звонят *кампанилы* нашей церкви Сан Козьма, а мы с Наташей тянем на кухне русские народные песни.

Однозвучно гремит колокольчик,
И дорога пылится слегка.

Наташа поет тонко, мне в октаву; про колокольчик мы поем почти каждый вечер, причем оба варианта, сначала более распевный, песенный,

потом — романсовый, гладкий. Колокольчик дает выход тоске, невыплаканным слезам, как там мама, сестра, как там без нас Чистые пруды... этот стон у нас песней зовется.

Сколько грусти в той песне унылой,
Сколько грусти в напеве простом...

Болит, разрывается душа, плачет и стонет, проклятая Россия, ты не отпускаешь, не отпускаешь, не отпускаешь...

Одна моя ученица — она сейчас в Израиле — как-то сказала:

— Я знаю, с чего начнется погром, он начнется с колокольного звона.

Звонят кампанилы нашей церкви Сан-Козьма, мы с Наташей тянем на кухне песню про однозвучный колокольчик.

Я боюсь погрома. Я очень боюсь погрома. Я знаю, что это возможно. Возможно в России. Но с некоторых пор мне стало казаться, что это возможно и в Италии. Ведь был у них фашизм, Муссолини, ведь убивали и изгоняли они своих евреев, осталась горстка, среди них Фрида Росси, вспоминающая со слезами на глазах о бутерброде с сыром. И что они все время про антисемитизм, про антисемитизм... Но главное не в этом. Главное — Лидия. Кстати, она живет в районе старого еврейского кладбища, там уже давно не хоронят, сохранилось с прежних времен. Так вот Лидия — а она приходит теперь почти каждый вечер — приносит какие-то вещи, сладости для Илюши, мы поим ее чаем — Лидия очень хочет обратить нас в свою веру. И популярно пересказывает Библию. В прошлый раз она, видно, вдохновилась проповедью Дона Паоло. Он рассказывал о Понтии Пилате. Странно, но я понимаю его проповеди, хотя еще не знаю итальянского, понимаю какой-то внутренний смысл его речи, мне интересно его слушать...

В речи Дона Паоло звучали и евреи, но он говорил про евреев с пониманием, не обидно. На месте евреев могли быть итальянцы, они тоже бы кричали Пилату: «Распни его». Понятно, что это были бы не лучшие итальянцы, не гордость нации — фанатики, охочие до зрелищ обыватели... Лучшие сидели бы по домам или молчали, да, к сожалению, именно так бы они себя вели. Конечно, Дон Паоло не говорил ничего подобного, просто во время его проповеди мне так подумалось. Вообще когда до меня дошло, о ком говорит Дон Паоло, я сильно удивилась — накануне вечером Пилат был героем нашей с Наташей дискуссии. Не евангельский Пилат — булгаковский. Наташе в Лицее поручили написать реферат о романе «Мастер и Маргарита», где, как известно, пятый прокуратор Иудеи — один из главных персонажей. И вдруг Дон Паоло — о нем же! Было обидно, что Наташи нет на проповеди, она бы больше моего поняла, я бы сверила с ней свои догадки.

А после мессы, часов в двенадцать, пришла Лидия и стала на свой лад излагать все ту же историю. Сережа, по случаю воскресенья, был дома, мы с ним сидели в кухне за мраморным итальянским столом, слушали Лидию. Наташа добросовестно переводила. У Лидии получалось, что все евреи — и тогдашние и теперешние — жадные и богатые, и именно они виноваты в расправе над Христом. По-итальянски слово евреи звучит очень похоже — *эбрази*; каждый раз, когда Лидия произносила это слово, я прямо-таки осязала, как они, эти эбрази, ей ненавистны, как они богаты, жадны, бесчеловечны.

Интересно, к какой нации, по ее мнению, принадлежит сам Христос? Мария? Джузеппе? Может, они итальянцы? Римляне?

Сию с Сережей за столом, обреченно слушаю Лидию, вернее, наташин перевод. Наташа вся красная, это с ней бывает, когда волнуется, тема ее явно задевает. В ушах стоит: эбрэи, эбрэи... сказать Лидии, кто мы? Сказать? Ну, положим, скажу, что дальше? Смутится, расстроится, возможно, перестанет приходить... или будет приходить, но с нехорошим чувством. Потом — что я ей смогу объяснить? что евреи бывают хорошие? что не они распяли Христа? Слава Богу, она дожила до семидесяти двух лет, примерная католичка, бескорыстно помогает бедным и больным, во время мессы собирает деньги на нужды церкви, мы тоже даем ей свою тысячу лир — и что, она должна в один миг перемениться? понять, что заблуждалась, что была несправедлива? Да чушь это. Никого не переделаешь, это говорю я, педагог, вон даже мальчики уже закоренели. Это я о музыкантах уличных, русских. Вчера они к нам приходили. Отогрелись в нашей Сан Козьма — на улице холодно и противно, — пообедали. Мы разговаривали все *помериджо*. Взрослые разговаривали, а Илюша играл у себя в комнате, ему мальчики не интересны — они не приносят подарков, мальчикам по двадцать пять, как моему Луиджи, а выглядят на двадцать, совсем молоденькие на вид. Женя играет на гитаре — не играет, так, перебирает струны, явный дилетант; а вот Дима — он блондин, — тот профессионал, играет не на кларнете, как мне вначале показалось, а на флейте, а саксофон у него отобрали таможенники на границе; но они, мальчики, не унывают, уже собрали на саксофон миллион лир! (как это возможно, не понимаю, собрать игрой на улице за два месяца миллион лир, почти всю месячную Сережину зарплату, а еще ведь нужно питаться и платить за квартиру). Короче, вечерами мальчики ходят в магазин музыкальных инструментов, что рядом с вокзалом, и присматриваются, прицениваются. Когда у них будет саксофон (Дима оканчивал училище по классу саксофона), их обещают взять на настоящую работу — в бар.

Почему-то и с ними мы заговорили о Пилате. И Женя, говорящий немного на одесский манер, симпатичный брюнет, оказал, что да, евреи распяли Христа, и против этого не попрешь. — Кто распял? — Римляне распяли, — это он знал, — но ведь евреи кричали: распни его, и Пилату пришлось им уступить. — Хорошо, — сказала я, — а кто были апостолы? Мария? Положим, действительно, кто-то кричал, но были и другие, кто ему верил, или кто, как Наташа говорит, «еще не врубился», кто не разобрался, молчал или от непонимания, или от страха... как быть с ними? И почему они должны отвечать за тех, кто кричал. Почему мы сейчас должны отвечать за тех, кто кричал?

И вообще, распятие Христа — метафора на все времена и для всех народов. У каждого народа свои распятые. Разве русские не распяли Сахарова? Разве мы его не распяли, а? Самого лучшего, самого чистого, заступившегося за нас? И многие кричали: распни его. Если поискать, можно найти и Пилата... А Пастернак? Его не распяли? Да в России кого не распинали?

Ребята молчали вежливо. Наверное, они думали, что евреи распяли первые — и тем подали русским пример. О, Господи!

А против кавказцев оба очень распалены, даже тихий синеглазый Дима. Мальчики из Сочи, а Сочи теперь, по их словам, прифронтовой город, кругом идет война между кавказскими народами, город наполнен русскими беженцами, вечером страшно идти по улицам, мальчики считают, что во всем виноваты армяне, грузины и прочие кавказцы, что нужна новая кавказская война... Только войны не хватало России!

Когда-то, когда нам с сестрой было по пять лет, как сейчас Илюше, мы поехали в Сочи. Старшая мамаина сестра с мужем, жившие на Сахалине, сделали широкий жест — оплатили нашим родителям проезд и проживание в чудесном южном городе. Мама всю жизнь вспоминала эту поездку с неодобрением. Она помнила, что было жарко, они с папой просто погибали от влажной жары и ждали, когда это наконец кончится и они вернутся в Москву. Я почему-то жары совсем не помню. Вспоминаю запахи, а еще пальмы, магнолии, олеандр, который рос под окном. Мне казалось, что жили мы во дворце, — дом был белый, с колоннами. Запомнился запах моря. Когда мы приехали в А. и в первый раз пришли к морю, я узнала этот запах, запах соленого южного моря. В центре города там была какая-то красивая гостиница. «Советская»? Нет, мальчики отрицательно качают головой, такой у них нет. Но я уже вспомнила. «Приморская», она звалась «Приморская». Мы всегда шли к морю мимо нее. И однажды. О, это незабываемо. Однажды мы с мамой шли к морю. Молодая черноволосая женщина с пучком и две одинаковые девочки с косичками. На всех трех были ситцевы сарафаны одинаковой расцветки — что-то вроде красных цветов по черному полю. Откуда у нас были такие чудесные вещи, не знаю, но помню, что да, были. Вот, когда мы с мамой приблизились к гостинице «Приморская» — а шли мы мимо магнолий и пальм, среди чудных запахов, вокруг пели птицы и неподалеку плескалось море, — нам навстречу вышли двое, мужчина и женщина, и женщина несла в руках букет удивительных роз. Они появились как-то внезапно — и ахнули, увидев нас, и остановились. Женщина протянула нам цветы, и мы с сестрой их взяли, не знаю почему. Обычно мы ничего у прохожих не брали. У самой гостиницы бил фонтан, мы намочили стебли роз прохладной водой... может, все это мне приснилось? Но мальчики подтвердили, да, гостиница Приморская есть, да, белая, да, рядом фонтан. А Сочи очень похож на А. Такие же пальмы. И море. Впрочем, сейчас уже не похож. Сейчас Сочи, они повторили, прифронтовой город.

* * *

Все. Сварю обед и выйду на улицу, на свет божий. Уже неделю — как в заточении. Илюша болеет. Перебираю рис. Рис здесь почему-то очень плохой, дорогой, но плохой. Может, потому, что рис для итальянцев экзотика, продукт не частый в употреблении, выбираю и выбрасываю в ведро рисинки с червоточинкой. Очень похожие на большие, изъеденные кариесом зубы. Если у меня заболят зубы, что я буду делать? Говорят, врач берет здесь деньги уже за то, что пациент открыл рот. В Москве я довольно часто ходила к стоматологу, зубы разрушались, болели; за год до нашего отъезда у нас в районе наконец-то открыли стоматологическую поликлинику. До этого каждый лечил зубы где и как хотел, я, например, в платной поликлинике на Старой площади. Но там мне не нравилось. Не только по-

тому, что дорого, дорого, да, но и не квалифицированно, на старом оборудовании, без необходимых препаратов. Однажды врачу понадобилась гвоздика, но ее не оказалось, она махнула рукой и влила мне в рот что-то другое, возможно, не вполне адекватное. К тому же по открытой всем ветрам платной поликлинике шествовали африканцы, афганцы, цыгане и прочие не внушающие доверия личности без прописки и пристанища. Я опасалась СПИДа, ведь боры здесь не менялись, вероятно, годами. Короче, когда среди всеобщей разрухи и закрытия государственных учреждений в нашем районе вдруг открылась стоматологическая поликлиника, я возликовала. Но нашла ее с третьего захода. Она хитроумно спряталась от страдающих зубной болью за заборами и стройками, — в принципе она была под боком. И даже бесплатная для жителей района. Шоколадок из посылки с гуманитарной помощью я не считаю. Илюша в глаза не видел этих шоколадок, все они шли на «сувениры» врачам (советский шоколад к тому времени достиг баснословной цены и почему-то исчез из магазинов). Я стала наведываться в поликлинику часто. Мне нравился стоматолог — красивая молодая женщина с татарскими раскосыми глазами, густыми бровями и пушистой косой, но Надей я звать ее не решалась, — Надежда Анатольевна. В новооткрывшейся поликлинике было современное оборудование, был даже слюноотсос, который Надежда Анатольевна мужественно пыталась использовать во время первого моего визита. Он жутко громыхал и скакал во рту, она и я изрядно с ним намучились, я еще долго не могла прийти в себя и решала, стоит ли идти повторно. Но пошла. Слюноотсос уже не действовал, кажется, вышел из строя. Надежда Анатольевна работала ловко, споро и строго по графику, что мне очень нравилось. Ждать здесь приходилось не больше часа. Поставив необходимые пломбы, Надежда Анатольевна сказала, что у меня патологическая стираемость эмали и необходима консультация специалиста. И дала мне направление в стоматологический центр. Для бесплатной консультации. Проблема зубов была мне не безразлична, я поехала в центр на консультацию. Сравнительно молодой врач с еврейской фамилией и хитроватой внешностью объяснил мне, что бессилен перед моими зубами, что у него нет материала и — главное — нет клея. Вот, говорят, в Италии есть клей, но они, гады, нам его не продают. А у нас — он развел руками. Наша страна разваливается, и наша отрасль тоже разваливается, так что идите в свою родную районную поликлинику N 34 (он потряс направлением) и делайте себе железные мосты, он хитровато оскалился и отпустил меня с миром. В России не было зубного клея, но не было и таких чудесных конфет — молочной и шоколадной нуги с орехами. О бедные, бедные мои зубы! Несколько конфет я все же съела, но могла не съесть, и потом прислушивалась к начинающейся зубной боли, не приходи, не надо, я не знаю, как здесь с тобой справляться.

* * *

Три дня и три ночи у Илюши была температура сорок. Он кашлял, мы боялись воспаления легких. Не знаю, что бы мы делали (у нас нет здесь медицинской страховки), не приди на помощь семья Т. Нильде, улыбчивая,

но явно строгая преподавательница латыни, поет с Наташей в одном хоре, ее муж — Сандро — врач-терапевт. Позже мы поняли, что семья эта одна из самых уважаемых в А., увидели, как с Сандро здороваются и ректор университета, и главный прелат, а на Рождество он читал с церковной кафедры текст Священного писания — огромная честь... Тогда мы этого не знали, мы волновались за Илюшу, и Сандро был с нами, приезжал к Илюше утром и вечером, прописывал и сам же покупал лекарство — сладкую жидкость-антибиотик, слушал илюшину грудку, спинку... а Илья жутко орал и отбивался от него руками и ногами (странно — при такой температуре). Потом, когда все кончилось, Илья сказал, что согласен, чтобы его лечил Сандро, что он к нему уже привык. В Москве Илья так и не привык ни к одному из врачей — все посещения поликлиники кончались плачем и скандалом, а Майя Михайловна уже не делала даже попыток его осмотреть. Сандро, в моем представлении, — настоящий врач, очень похожий на Чехова, высокий, сухощавый, быстрый. Доктор в духе Чехова, Сандро очень любит русскую литературу, особенно Достоевского.

Любимый роман — «Бесы», по-итальянски звучит смешновато «Демони».

Сандро — чеховский дотторе,
Друг и в радости, и в горе.

Эту частушку мы с Наташей спели, когда после ужасных трех дней и ночей наступило внезапное илюшино выздоровление. Сандро с Нильдой пришли к нам по этому случаю на чай. Мы выпили шампанского. Сандро лечил Илюшу на высшем уровне — и бесплатно. Будь мы итальянцами, нам пришлось бы заплатить за лечение, думаю, довольно много. Но Сандро — наш друг и любит русских...

А на пьядца Кавур греются голуби. И вообще эта маленькая, обсаженная розами площадь с фонтанчиком на краю, — по-моему, самое теплое место города, его гелиоцентр. Я заметила, Кавур на меня действует успокаивающе, как наши Чистые пруды. Он в двух шагах от Сан Козьма и от говорливой *банкареллы*, но какой-то несуетный, спокойный, согревающий. Площадь называется в честь некоего итальянского деятеля Кавура, чей памятник возвышается в самом центре. В начале нашего здесь пребывания Б. привели нас сюда, на этот крохотный зеленый островок, и сказали: вот хорошее место для гуляния, а про памятник — это Кавур, объединитель Италии. И действительно, крохотный островок оказался превосходным местом для гулянья, а про Кавура мы так больше ничего и не узнали — объединитель Италии и баста. Мы стали любовно называть это местечко Кавуром — пойдем к Кавуру, а? Почему-то розы здесь не вянут, даже зимой. И пальмы все такие же зеленые, нет, немножко пожелтели. Делаю второй круг по Кавуру. Маловато, конечно, да и автобусы кругом — здесь место их стоянки; но все равно лучше, чем по шумной виа Гарибальди или по нашей Мадзини, где раскинулась банкарелла. Вот здесь, возле самой автобусной стоянки, осенью торговали книгами. Палатки стоят до сих пор. Вначале мне было страшновато к ним приблизиться, впервые я видела большой книжный развал; казалось, продавца здесь нет, во всяком случае, нигде его не было видно, может, вон тот старичок на скамеечке? Потом все же преодо-

лела робость, подошла, стала разбирать итальянские названия, из знакомых — Данте «Божественная комедия», два больших тома, Пруст, Кафка, Дневник Анны Франк, что-то еще, уже не припомню, а, вспомнила — «Преступление и наказание» Достоевского, естественно, в итальянском переводе, много развлекательной и фантастической литературы, с десятком иллюстрированных кулинарных книг, в правом углу серия книг по искусству. И первая из них, попавшаяся мне на глаза, — о Леонардо. Помню, сердце у меня забилось. В те первые дни я считала каждую тысячу лир, ничего себе не позволяла, но тут... Загадала: если будет Мона Лиза, — возьму. Но ее не было. Было все — мадонна Литта и Тайная вечеря, Дама с горностаем, Иоанн Креститель, а Джоконды не было. Я ушла. На другой день снова пришла, листала знакомые иллюстрации; может, я пропустила, может, все-таки... нет, не было, но купить книжку хотелось. Непреодолимо. Сзади была наклейка с ценой — 14 тысяч лир. Для нашего бюджета — заметная трата. В конце концов я же ничего, совсем ничего не покупала на банкарелле, специально даже не останавливаюсь, не смотрю на лотки, могу я себе позволить... Я отсчитала 14 тысяч лир, подошла к скамеечке с книгой в одной руке и с деньгами в другой. Продавец оказался совсем не стар, маленький плотный итальянец. Взял деньги, мотнул головой, что-то сказал, я чувствовала, как мучительно краснею; наверное, я чего-то не поняла и книга стоит больше. Но сколько? Продавец тем временем протянул мне несколько бумажек — половину суммы. Из его слов я разобрала слово «мета» — скидка. Всем скидка или только мне как иностранке?

Обескураженная, принесла книгу домой. Дома моя покупка была воспринята сдержанно. Книга не первой свежести, лежала-то под открытым небом, каждый подойдет, полистает. Но, Сережа, всего семь лир... это же не много... В последующие дни я купила еще три книги из этой серии. Эмилио, так звали продавца, неизменно делал половинную скидку. А в конце осени, когда я пришла на развал, он сказал, что сегодня «ультима вольта» — последний день его торговли. Посмотрел на меня заговорщически, произнес «аспетта», залез в стоящую рядом легковушку и вытащил оттуда что-то громоздкое. Оказалось, лист с воспроизведенным рисунком Микеланджело — «Обнаженный натурщик» или что-то в этом роде, с сохранением масштаба. Потом этот лист я еле доволокла до дома, очень уж большой. А Эмилио прекратил торговлю под открытым небом до весны, до теплых денюков.

* * *

На Кавуре много лавочек, но не деревянных, нет, — каменных: как на таких можно сидеть? Глядеть на их холодную мраморность — и то мороз продирает. Осенними вечерами на этих холодных скамьях сидели парочки, причем позы девушек были весьма своеобразны: они клали ноги на колени кавалера. Скорее всего, такая вольность связана с желанием согреться — ноябрьский вечер прохладен, скамья холодная, а на девушках тоненькие капроновые колготки. Вообще итальянки стойки относительно холода гораздо больше, чем мы, северяне. Вот я гуляю по Кавуру в январе, мороз примерно 6 градусов, на мне теплые колготки, рейтузы и брюки, на ногах

шерстяные носки и сапоги. А навстречу мне идут пожилые, но ухоженные итальянки в маленьких меховых манти, тонких чулочках на стройных ножках и туфельках на высоком каблучке. Цок-цок по Кавуру каблучки, цок-цок. Или холода не боятся или побеждает страсть к красоте — бельо, всепобеждающая итальянская страсть.

Днем на Кавуре, когда пригревает солнце, часто сидят моряки с прибывших в порт судов. Мы с Илюшей очень уважаем морячков и наша любимая прогулка — в порт, мы смотрим, а вдруг пришел какой-нибудь русский корабль, и действительно, приходили. Один раз пришел сухогруз «Волга», привез в А. уголь и древесину. Мы с Илюшей издали смотрели на не очень красивый грузовой корабль, наблюдали за работой кранов. Когда шли назад, нас догнала группа морячков с этого корабля, они громко обсуждали, куда идти отовариваться. Был неудобный час — *помериджо*, все вокруг было закрыто. Один из морячков подскочил к нам с Илюшей и спросил, смешивая слова: «Америкэн рынок?» Я развела руками, не хотелось вступать в разговор. А где находится «америкэн рынок» и существует ли он в действительности, я не знала. Лена говорила что-то про «русский рынок», расположенный далеко, за туннелем, даже обещала нас свозить, да так и не собралась. Я заметила: у Лены всегда много планов, и все они замечательные, воспитательные, но то ли она к ним охладевает, то ли они оказываются невыполнимыми, но в итоге никто больше к разговору не возвращается, и чудесные планы уходят туда же, откуда пришли, — в небытие. А Лена... Лена... остается Леной, Еленой, Еленой Прекрасной.

Это было в самом начале нашего пребывания в А. Неожиданно наши друзья предложили нам пойти на музыкальный концерт. Программа была интересная: негритянские спиричуэлс, симфония «Новый свет» Дворжака, но концерт начинался очень поздно, в половине девятого. Знакомые обещали подвезти нас на машине.

Весь тот день лил дождь, к восьми началась настоящая буря, сверкала молния, громыхал гром, казалось, все небесные хляби разверзлись. Но машина, за нами приехала. Ехали только мы с Наташей, Сережа с Илюшей оставались дома. Огромный зал сверкал огнями. В просторном холле мы повесили свои зонтики на специальные перила, где уже разместились сотни цветных зонтов, концерт я провела как в сомнамбулическом сне. Звуки до меня доносились, но смутно, отдельные темы вызывали почти экстатическое состояние, потом я снова выпадала из музыки, смотрела в зал. Прямо передо мной, отделенная лишь широким проходом, сидела итальянская семья: муж, жена и девочка лет десяти. Они сразу бросались в глаза, детей в зале было немного. А эта девочка, с гладкими светлыми волосами, вела себя как-то уж очень по-детски, она буквально висела на своем черноволосом отце. Тот не был строгим родителем, не отбивался от ребенка, наоборот, ласково ей что-то нашептывал, негромко смеялся. Слева сидела мама, молчаливо наблюдая за девочкой и мужем. Меня поразила ее горделивая осанка; останавливали взгляд прелестный профиль, гладко зачесанные, светлые, как у дочки, волосы. Мысли у меня в это время были примерно такие: какая счастливая семья, какие непосредственные эти итальянцы, какие красивые у них женщины, а еще говорят, итальянки — темные. Когда концерт кончился, я снова обратила внимание на знакомое се-

мейство, девочка, одна из немногих державшая в руках цветы, побежала вручать их дирижеру. В это время ее родители встали с мест, у красавицы оказалось длинное черное платье, мне померещилось, даже со шлейфом. Ого, как одевается местная знать! И вот снова просторный холл с перилами для зонтов, как ни странно, каждый брал именно свой зонтик, и наши с Наташей зонты оказались, вопреки ожиданиям, на своем месте. Потом был бег под зонтом к машине и снова езда по городу, озаренному молниями. Пейзаж был явно фантастический и напомнил мне «Вид Толедо» Эль Греко.

Прошло какое-то время, и как-то днем к нам в дверь позвонил как всегда приветливый Дон Паоло. За ним стояли какие-то фигуры. Дон Паоло сказал, что с нами хотят познакомиться русские, и спустился к себе, а фигуры оказались мамой и дочкой, виденными мною на концерте, я их тотчас узнала. Это были Лена и Катя. Снова поразительное совпадение. Лена живет здесь уже четыре года, два года как замужем за крупным адвокатом, известным всему городу, Катя учится в школе, а еще — в консерватории, хотя ей всего двенадцать лет. Здесь такой вариант реален в случае, если консерваторский профессор захочет с тобой заниматься. С Катей захотел, возможно, подействовали чары Лены, может, сыграло роль то, что жена у профессора была русская и тоже Лена, может, понравилось, как Катя держится за роялем. Она пока не играет, а именно держится, у нее есть смелость, она не боится инструмента, манеру ей привила Лена, ведь в своем Ленинграде она преподавала в музыкальной школе, многие мамы возили к ней детей через весь город. В Италии, Лена говорит, таких мам нет; современные итальянцы ценят покой, здоровый сон, им не хочется мучить маленьких детей. Лена не работает тут по специальности... Но вот Катю свою мучит, возит Катю аж в Пезаро, в консерваторию, час туда, час обратно — на поезде, и там занятия часа два, целый день уходит. Лене не жалко, видит она Катю концертирующей пианисткой... что ж, дай Бог! Еще одна пианистка с русской фамилией за пределами России.

Завершая свою пробежку по Кавуру, думаю о странных совпадениях. Многое человеку дается как бы в предощущении. Ему посылается сигнал — фантастический, непонятный, загадочный. Потом что-то проясняется, но далеко не все. Вот Лена, которую я узнала до того, как мы познакомились. Она для меня загадка. Я не знаю, чем и как она живет, что у нее на душе и в мыслях. Теперь кое-что для меня прояснилось, но загадка по-прежнему остается...

Может, так же обстоит дело и с Тем миром, о котором я так часто думаю, может, это какой-то новый ракурс, другой угол зрения, иная оптика? Не верится, что он совсем не дает о себе знать, не посылает нам, живущим в ЭТОМ измерении, своих рефлексов. Нужно не пропустить эту попытку связи, этот намек, уловить переход в новое состояние.

Из А., освещенной солнцем, в А., озаренную молниями, поразительно напоминающую эль-грековский Толедо.

* * *

От Кавура до нашей Сан Козьма — рукой подать. Перехожу дорогу — и оказываюсь на нашей улице — корсо Мадзини.

Утром и после пяти часов вечера здесь царит банкарелла. Сейчас тихо, юноша в одной легкой рубашке сметает бумажки с тротуара. Час дня. В Италии обед. Я тоже спешу домой, чтобы кормить свою семью. *Буон пранцо, буон пранцо*. Что-то там едят сегодня наши в России? Мама, папа, сестра... Что они, как они? На расстоянии жизнь в Москве не представляется уж такой отчаянно страшной. Ну дорого, ну очереди... к этому можно в конце концов привыкнуть. Нужно сосредоточиться, чтобы вспомнить страх. Страх за жизнь детей. Каждый день. И главное — каждую ночь. Вот он, вот он — звук колокола, приближается, нарастает, это у Елоховской звонят? Нет, ближе... кажется, с Телеграфного, совсем близко, рядом... Наташа, Илюша... Мой ночной многосерийный кошмар. Сколько веков это длится? Тысячелетий? В Москве я написала пьесу «Эсфирь». Увидела, что история эта вечная и повторяется с неотвратимостью. В любой стране, куда попадает наше несчастное племя, наступает срок — и раздается клич: «Бей». И звонят в набат, и бежит озверелая толпа, и гибнут невинные.

Сколько у евреев родин? Вопрос звучит кощунственно, я ставлю его намеренно резко. У себя я насчитала четыре. Первая — прародина, та самая, о да, земля обетованная, она первая и единственная, и я надеюсь когда-нибудь ее увидеть.

Вторая... вторая — Испания. Почему-то мне кажется, хотя я ничего про это не знаю, что предки мои после рассеяния, когда Храм был разрушен и Иерусалим стерт с лица земли, оказались там. Испания... когда-нибудь исследователь займется — о мечты! — «испанской темой» в творчестве И. Чайковской. Испания... Толедо для меня звучит как песня, испанские романсы на меня действуют так, словно про меня они написаны, и есть среди них один... ну да это уже другая история. Словом, Испания, где ни разу я не была, — моя вторая родина. А третья? Третья — Голландия. Когда в XV веке по благословенной Богом Испании прошел клич «Бей», большая часть ограбленных и чуть живых изгнанников нашла приют в Голландии. Из Голландии (о чудо!) моих предков не изгоняли, нет. Я придумала, что они оказались в России — моей четвертой родине — в эпоху Петра. Некий горный инженер, романтик в душе, надумал помочь плотнику из Сардама строить в дикой Московии новую жизнь. За инженером потянулись семья, освоили язык, обычаи. Клич «Бей» проносился по России многожды, мои предки уцелели. Но их страх живет в моем сердце. Это их ночные кошмары не давали мне спать в Москве.

Россия, я не нужна тебе, да? Я не знаю, не слышу твоего ответа. Ты не даешь ответа никому, никогда... Я нужна тебе, Россия, это говорю тебе я, я сама. Я любила тебя, твою природу, твоих людей и их песни, твой язык, твою культуру, твоего Пушкина. И я учила тебя любить своих учеников. Цепочка длилась, серебряный шнур не рвался... Но я не могу больше, понимаешь, я не могу. Мне страшно. Я боюсь за детей. Я ухожу, Россия. Я не знаю, как мне без тебя жить. А ты, ты проживешь без меня? Проживешь? Ты уверена? Послушайте, не надо вмешиваться. Ваш ответ я давно знаю. Вы уже высказались, я вас внимательно слушала. Мне нужно, чтоб не вы, чтобы она сама, Россия... Что? Вы и есть Россия? Да бросьте. Она не такая. Если б она была такая, Пушкин бы даже не родился. Но он ведь родился и прожил тридцать семь — о да, —

тридцать семь лет прожил. Все-таки прожил тридцать семь лет. Я ухожу... до свидания... ариведерчи... ариведерла... Россия, куда же ты? Куда? Не дает ответа...

Чудным звоном заливается колокольчик... о нет, не колокольчик — колокол, новопочиненный колокол нашего пароккио пробует голос, бьет прямо мне в уши, и под его нестерпимый звон я вхожу в свое итальянское жилище. Буон пранцо, буон пранцо, синьоры.

* * *

А вечером... вечером очень хочется попеть. Но у людей есть особое вытье — песни, и я предлагаю Наташе: «Попоем, а?» иногда она соглашается, чаще я пою в одиночестве. Общий у нас с Наташей репертуар — песни Окуджавы. Когда Наташа должна была родиться, в продаже появилась первая пластинка Окуджавы; я тогда не выходила из дому, и единственное, что мне хотелось слушать, — была эта пластинка. Я ходила по комнате, а Окуджава все пел, пел...

Музыкант в лесу под деревом наигрывает вальс,
Он наигрывает вальс то ласково, то странно,
А что касается меня, то я опять гляжу на вас,
А вы смотрите на него, а он глядит в пространство.

Я шучу, что Наташа заболела Окуджавой еще в утробе матери. Сюда, в Италию, она взяла записи окуджавских песен, слушает их в наушники, переписывает слова, меня наушники раздражают, от них начинают болеть уши, а песня не воспринимается, нет. «Наташа, споем Фета, а? Перед отъездом я наконец-то выучила стихотворение Фета «На заре ты ее не буди», ставшее знаменитым романсом. Слова на редкость корявые, трудно запоминающиеся, чего стоят, например, строчки:

Утро дышит у ней на груди,
Ярко пышет на ямках ланит...

Или еще того замечательнее:

И чернеясь, бегут на плеча
Косы лентой с обеих сторон.

Но вот удивительно: когда я эту несусветную корявость выучила, она показалась мне прекрасной поэзией, а уж если эти стихи начать петь, то как-то даже хочется, чтобы было не гладко, а почуднее, помудреннее; короче, чтоб так и было, как есть. Вообще в стихах у Фета я часто замечаю некоторое косноязычие, он словно с трудом выражает мысли, подыскивает слова, не всегда попадает. Пользуется первым попавшимся словом, главное — скорей, скорей выразить эмоцию — и вот — из каких-то полублобков вырастает нечто пленительное. О русская поэзия!

А другой романс я пою одна. Наташа его то ли не любит, то ли не знает. А в меня он запал с детства, слышала его в исполнении Обуховой — «Помню я еще молодухой была».

Помню я еще молодухой была,
Наша армия в поход далекий шла,
Вечерело, я стояла у ворот,
А по улице все конница идет.

Как подъехал ко мне барин молодой,
Говорит: «Напой, красавица, водой!»
А напившись, он мне праву руку жал,
Наклонился — и меня поцеловал.

После этого молодухе всю-то ноченьку спать было невмочь, раскрасавец барин снился ей всю ночь. Рассказ идет дальше, пропускается все необязательное, за скобками остается вся жизнь — замужество, рождение детей, а их пятеро, замужество всех пяти дочерей, смерть мужа... И вот финал жизни, но одновременно — ее кульминация — вторая встреча с раскрасавцем-баринком.

А потом уж как я вдовушкой была,
Пятерых уж дочек замуж отдала,
К нам приехал на квартиру генерал,
Весь израненный, он жалобно стонал.
Посмотрела — встрепенулася душой,
Это тот же, тот же барин молодой,
Та же удаль, тот же блеск в его очах,
Только много седины в его усах.

Жизнь этой удивительной женщины оказалась не лишенной смысла потому лишь, что были две эти встречи, две ослепительные вспышки — в молодости и в старости. Все побочное романс отбрасывает как ненужное, остаются две эти встречи.

У Бунина в «Темных аллеях» есть рассказ о старом военном, может, и генерале, где-то на постоялом дворе встретившем свою прежнюю возлюбленную, ныне превратившуюся в некрасивую старуху. Рассказ о неотвратимости времени, об утратах старости, рассказ — воспоминание. В романсе, запавшем мне в душу, не то, совсем не то. Здесь любовь — не воспоминание, она живая, не гаснет. Вдовушка, ставшая уже бабушкой, как в молодости, не спит всю ночь, видит во сне раскрасавца-барина. Да ведь и барин не постарел, нет. Он удалец, с непогасшим блестящим взором, а седина, седина — старость тела, не души. Душа остается. Все такая же, все та же, что дана была при рождении, а, может, и раньше — в инобытии? Кто знает?

Путь от детства к старости — как он мучителен. Человек смотрит в зеркало и видит, что он — не он, другое выражение глаз, складки у губ, морщины... А душа у него — та же, детская, и до детства близко-близко — только руку протяни, и коснешься.

Но это мои мысли. Романс о другом. Он о любви. О любви, которая никуда не уходит.

* * *

- Мама, а ты мне песенки споешь?
- Но ведь ты еще не ложишься... я перед сном спою.
- Нет, сейчас, сейчас, ночью я сам себе спою.
- Ну хорошо, что тебе спеть? Военные? Пионерские?
- Ты про меня спой, а еще про раненого, ну и про ветерок...

Два часа дня. Наташа закрылась в нашей спальне и делает уроки, а я пою Илюше его любимые песни. Какие песни вы поете своим детям?

Приехав в Италию, я обнаружила, что не помню ни одной современной песни — только те, что пела или слышала в детстве. А в детстве я слышала и учила на уроках пения песни 20–30-х годов. О гражданской войне, комсомольцах-героях, Щорсе, Первой конной армии Буденного, та-чанке, партизанах Дальнего Востока. И надо сказать, когда я пою их Илюше, они нам обоим нравятся и не надоедают.

Мы сыны, батрацкие, мы за новый мир,
Щорс идет под знаменем, красный командир.

Мы с Илюшей особенно любим припев этой песни: «Э-э-э, красный командир». Наслаждаясь маршевым ритмом другой песни, я с ужасом замечаю, что пою варварские слова о белых костях классового врага:

На Дону и в Замостье тлеют белые кости,
Над костями шумят ветерки,
Помнят псы-атаманы, помнят польские паны
Конармейские наши клинки.

Станислав, наш польский друг, говорил, что его мама родом из Замостья; возможно, ее и имеет в виду песня, ее или ее родню, польских павнов...

И все равно пою. Что-то есть в этих песнях будоражащее, зажигающее для человека из России. Нет, не правы те, кто говорит, что революция была в России случайно, что она не органична для русского народа, что во всем виновата кучка рвущихся к власти интеллигентов. Евангельская идея равенства, ненависть к богатым, ожидание момента, когда «первые станут последними, а последние первыми», живут в русском народе. Октябрьская революция в России не последняя. И словно в подтверждение вспоминается Окуджава, его песня с той, первой, пластинки.

И если вдруг когда-нибудь мне отвертеться не удастся,
Какие б новые сраженья ни охватили шар земной,
Я все равно паду на той, на той единственной — гражданской,
И комиссары в пыльных шлемах склонятся молча надо мной.

Комиссары в пыльных шлемах, романтика революции, стреляя в белых гадов — все это в крови нескольких поколений, в генетической памяти народа. Не хочется быть Кассандрой и предвещать несчастья, но...

А любопытно: когда я свою «Эсфирь» дала на прочтение одному молодому редактору новорожденного еврейского альманаха, он ее отклонил

под тем предлогом, что-де не актуально. У вас тут, мол, погром, резня, убийство детей. Сейчас такого быть не может, не те времена... Святая простота (если это не отговорка, чтобы отделаться от автора), неужели так трудно представить себе озверевшую толпу на улицах Москвы, набатный звук колокола, ликование наглежащей черни, страх и тоску обывателей...

По-видимому, у молодого редактора просто плохое воображение, но хороший сон и здоровый аппетит, дай ему Бог здоровья!

Еще я пою Илюше песни своего пионерского детства; они, как и военные, крепко застряли в памяти, помню все до одной.

Сейчас принято говорить о подлом обмане советского народа, о подлоге, о различных мифах, в том числе и о мифе «счастливого детства» советских детей. На расстоянии, возможно, все так; наверное, нас обманули; но у меня действительно было счастливое детство. Когда мы с сестрой пели в пионерском лагере

До чего же хорошо кругом!
Под деревьями густыми светлый дом,
И дорожка золотая, ярким солнцем залитая,
По которой мы идем,
До чего же хорошо кругом! —

мы именно так и ощущали окружающее. Нам действительно нравилось все вокруг — простор луга, полевые запахи; мы, городские дети, впервые столкнулись с природой, и она нас потрясла. Мы не слышали фальши и в тех песнях, где пелось о пионерской дружбе, о родине, которой нет краше, о том, что нам открыты все пути. Мы всему этому верили, это было правдой, именно так и должно было быть по каким-то неведомым нам, но понятным законам. Родина должна быть единственной и неповторимой.

Дружба должна быть верной и крепкой.
Детям должны быть открыты все пути.

Разве не так? Только так, и никак иначе, если в детстве думаешь по-другому, что ж это за детство такое?

С десяти лет мы пели с сестрой в пионерском ансамбле, нашего руководителя Владимира Сергеевича Локтева забыть невозможно. Вот я пою Илюше локтевские песни — и вспоминаю, как удивительно Локтев улыбался, просто не помню его без улыбки. Дон Паоло похож на Локтева, хотя улыбается меньше. Трудно сказать, в чем их сходство, может, в том, что оба добрые? Если человек добрый, то все остальное прилагается, главное-то уже есть. Дон Паоло тоже возится с детьми, у него и в проповедях всегда есть какое-нибудь местечко для детей, какой-нибудь вопрос, восклицание или звукоподражание, чтобы ребятишки посмеялись.

Ты лети, ветерок, через тысячу дорог,
Через весь наш светлый край.
Всем родной земли героям,
Мастерам великих строек
Пионерский привет передай —

пою я Илюше, вспоминаю детство, Локтева; очень хочется плакать. Пою тихо, но акустика здесь поистине церковная, может быть, даже Дон Паоло слышит, он живет этажом ниже. Дон Паоло слышит песню Владимира Сергеевича, написанную много лет назад, о счастливом пионерском детстве, мои дети через много лет будут петь локтевские песни своим детям... Где будут звучать эти песни? В какой стране? В каком городе? Ничего, ничего я не знаю. Лена говорит, что в Италии совсем нет детской самостоятельности, дети предоставлены сами себе.

— Мама, ты чего остановилась? Пой!

— Я, Илюша, задумалась.

— А ты не думай, ты пой.

— Я теперь, Илюша, так не умею, я теперь всегда пою и думаю, пою и думаю.

— Но тогда ты лучше думай, а не плачь, чего ты глаза вытираешь?

— Хорошо, Илюша, постараюсь, только это трудно очень.

Потом поймешь.

* * *

А сегодня Сережа в первый раз после долгого перерыва отвел Илюшу в азило. Вот я иду его забирать. Кавур сегодня удивительно солнечный, на лавочках щурятся старички и матросики, у пальм вид не побежденных зимой красоток. По вяле Виттория прогуливаются пожилые парочки, надушенные дамы в шубейках и на каблучках под руку с хорошо причесанными франтоватыми кавалерами, деревья бульвара, с облетевшей листвой, радуются проблеску весны, в воздухе она — *примавера!*

А на этом перекрестке мне нужно начать что-то придумывать. Для Илюши. Иначе он остановится и не пойдет дальше.

...Синяя машина стояла возле лавчонки — той, что торгует фруктами. За рулем сидел инвалид, в нетерпении подсакивая на своем сидении. Вдруг из дверей лавчонки выбежал пьяный с большим ананасом в руках. Через мгновение он был уже в машине, и инвалид дал газ. Следом за пьяным из дверей выскочил взбешенный хозяин, огляделся и стал что есть сил свистеть в свисток. Завыла сирена, мимо меня промчалась команда карабинеров, видимо, вызванная хозяином лавки. Несдобровать инвалиду и пьяному! — подумала я. Но когда я уже подходила к азило, я сумела разглядеть за деревьями хорошо запрятанную синюю машину. А под деревьями валялись ананасные корки. Подняв голову, я увидела, что пьяный и инвалид сидят на крыше дома и преспокойно поедают ананас. Снова раздалась сирена. Вторично промчались карабинеры, но уже в другом направлении. Следом за ними, свистя в свой свисток, бежал обессиленный хозяин лавки. Воров, сидящих на крыше, он не заметил...

Пожав плечами, я стала подниматься в гору.

О да, я стала подниматься в гору по крутой белой лестнице, зажатой с двух сторон белыми же стенами. Вот оно — илюшино азило. Пели птицы. Благоухала вечнозеленая растительность. По синеве, пронизанной солнцем, чувствовалось, что скоро весна. На вершине холма я остановилась передохнуть, зашла в небольшой огороженный садик с памятником Фран-

циску Ассизскому посредине. От земли шел знакомый запах. Точно такой запах бывает в Ивановке, когда в начале мая мы приезжаем туда на полевые работы. Я втянула носом воздух. Как хорошо, Господи! Неужели я не буду этой весной пропалывать клубнику, сажать огурцы, копать в земле? Неужели?

Щелкнул дверной замок, привратница, видно, давно увидела меня и уже выводила Илюшу. Неужели это мой сын? Как он вырос за три месяца, куртка на вырост, подаренная Б., мала ему. И взгляд взрослый. Он бежит ко мне по ступенькам.

— Мама, а мы умрем?

— Умрем, Илюша.

— И я умру?

— И ты.

— А что с нами будет, когда мы умрем? Куда мы попадем?

— Не знаю, Илюша, и никто не знает.

Мы идем с Илюшей привычным путем по вяле Виттория. Вон он впереди — Кавур, а там уже два шага до нашей церкви Сан Козьма. Если мы чуть-чуть прибавим шагу, то подойдем к ней как раз к двенадцати часам, к звону колокола. Но мы не спешим — мы нежмся на солнце. Солнце мешает смотреть, и я не вижу, а догадываюсь, кто стоит у фонтана. Там две черноглазые девочки с косичками — я и моя сестра, рядом девчужка, похоящая на мальчика, — наша мама, она держит за руку моих Наташу и Илюшу. А вокруг — не увядающие даже на морозе розы Италии.

*Октябрь-февраль 1992-1993 года
Анкона, Италия*

Борис ЮДИН

/ Нью-Йорк /



ЖЕНЩИНА У ОКНА

Всё у окна да у окна
И не достать до небосвода.
А карты вышли на свободу
И задержались дотемна.

И стало видно между строк
Как лжёт гадалка над раскладом.
И стынет редким экспонатом,
В окне повисший, городок.

И женщина похожа на
Столб соляной, — супругу Лота, —
В дисплее мутного окна
И в рамке свадебного фото.

* * *

А за окном — прохожих череда,
Соседка в комбинашке на балконе...
А здесь гардины нежная чадра
Не пропускает взгляды посторонних.

Весна. Любовью налита земля,
Приблудный пёс лежит у магазина,
Септима восходящая *до-ля*
Упрятана под крышку пианино.

* * *

Крест рамы, воробьёв токката
И женщина в зрачке окна.

Ещё, пожалуй, не распята,
Но намертво прикреплена.

Окрест — газонов сухобылье,
На церкви — купола бутон.
Унылых перекрёстков крылья,
Окраинный микрорайон.

У ног бормочет кот учёный
О сладком таинстве ночей.
В вечернем небе сетью чёрной —
Кресты хохочущих грачей.

* * *

В окне красивая, немая, —
Халатик, пряжи — на висок, —
Стоит игрушка восковая.
Завидуйте, мадам Тюссо.

Ложится новый день на душу,
А на лицо тональный крем.
И долг супружеский не нужен.
А секс и не с кем и зачем.

СЛУЧАЙНОСТЬ

Театр и вечер, и гранит ступеней.
На клумбе засыхает резеда.
Прохожих силуэты — словно тени
Обещанного Страшного суда.

— Мы, кажется, знакомы? — Это странно.
Ах, да! Друзья, гитара, Новый год..
«Людмила Петрушевская Чинзано»,
Если афиша нам не слишком врёт.

Прикосновение руки случайно.
Спектакля блажь и алый бархат лож,
И тайна многозначного молчанья..
А вечер по-особому хорош.

Но дом был зыбок, и асфальт был влажен,
И грелся ветер в свете фонарей.
Визгливые скрипичные пассажи
Хранились в петлях запертых дверей.

И отраженье утра в чашке чайной,
И в пепельнице трупы сигарет —
Всё это было странно и случайно,
Как грузовик, что угодил в кювет.

КИММЕРИЯ

Шуршанье волн и чаек крики,
Дыхание небытия.
На пляже в полдень сердолики
Блестят, как рыба чешуя.

И черноокие богини
Выходят из морской среды
В таких рискованных бикини,
Что недалече до беды.

У них в отличие от Ники,
Есть голова, помимо крыл.
И обещают сердолики
Любви случайной жар и пыл.

ПАСТОРАЛЬ

По розовым росам — и в хитросплетенье
Ветвей и просёлочных вен.
Там пчёлы купаются в пене вербены
У серых бревенчатых стен.

Запахнет навозом, дымком, самогоном,
Скопа пролетит от болот.
И хрип патефона в пространстве оконном
О девичьем счастье споёт.

За лесом рыдает пастушечья дудка,
Печальны глаза у коров,
И курит усталый Господь самокрутку,
Присев на колоду у дров.

ТРОЙКА

Блажь колокольчика. Ах, как ему одиноко!
Ветер, зима и позёмки белёсые змеи.
Лишь пристяжная сверкнёт лакированным оком
И на скаку изогнёт лебединую шею.

А небосвод, словно омут, пугает и манит.
 В нём — кастаньеты копыт и заходится сердце.
 Взвизгнут полозья, качнут надоевшие сани.
 И не согреться уже поцелуями в сенцах.

Вспомнятся ливни и запахи сена, и губы,
 Но не обнять, не увидеть ни то и ни это.
 Жаль, что приметы, как песни, по-прежнему глупы.
 И потому возвращаться — плохая примета.

В сладость объятий пастушек на пасторалях
 Кони несут, закусив удила и хмелея,
 Чтобы чернел впереди разсусаленный Палех,
 Чтобы фонарь покачнулся на шее аллеи.

Вечер, дорога, подмёрзших созвездий осколки.
 Ржёт кореной, предвкушая приход конокрада,
 Воеет ямщик так, что плачут от зависти волки.

— Слушай, таксист! Тормозни-ка. Мне дальше не надо.

* * *

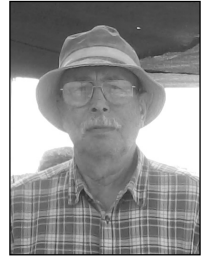
Похоже, я сошёл с ума.
 Дороги грязная тесьма
 Ещё дурманит, врёт и манит.
 Но перекрестия дорог
 Укрыли сонный городок,
 Забытый, как пятак в кармане.

Надежд нелепость, глупость Вер,
 Квартир убогий интерьер
 С Любовью в этом интерьере.
 Театра выпретенная ложь,
 Линялый бархат пыльных лож
 И сладкий запах дам в партере.

И в переулках разных стран
 Не видно ничего. Туман.
 Сплошной туман и фото лживы.
 Врача бы мне. Вра... вра... и вран,
 Погостов мрачный ветеран,
 Смеётся, чувствуя поживу.

Абрам ГРОССМАН

/ Натаня /



МАГГИ

Рассказ кота

* * *

Дождь хлещет по черной глади лежащей предо мной уже промокшей Хайфской улицы. Удивительно дурная погода для прогулок...

Я сижу у открытого окна нашей квартиры — передние лапы прямо и твердо упираются в подоконник. Мой друг, дворовый кот Марко Поло, пристроился в комнате, по другую сторону решетки — магической линии, разделяющей наши миры, мое и его прошлое и настоящее.

Я — в его шкуре, он — в моей; я — здесь, под дождем, он — там внутри, *над ним не каплет!*

Я привыкаю к результату моего перемещения в тело Марко и прислушиваюсь, как бьется *его* сердце — его звуки пока еще не совсем привычны мне.

— Ты хорошо пометил дорогу? Дождь не смоеет? — я испытующе вглядываюсь в глаза и рассматриваю черты моей (бывшей моей) морды.

— Не должен... — он тоже чувствует некоторую неловкость, перебравшись в мое тело, и с некоторым удивлением смотрит на свой хвост, который дергается вопреки его желанию.

— Значит... как туда добраться? — я немного робею перед путешествием в неизвестность.

— Спускайся к морю, а потом вдоль берега к порту, направление к нему легко определить — громадные краны хорошо видны отовсюду. А потом... я пометил практически все крытые подъезды... Да, — он вспоминает что-то важное — там они расширяют трассу и строят мосты к новой промзоне... Так что ты того... будь осторожен...

— Ладно, как договорились, ничего с твоей шкурой не случится — успокаиваю я его.

Мой двойник продолжает что-то бурчать, но я уже в пути.

* * *

Все зовут меня просто Ясик, хотя в паспорте мое имя значится как Ясер Леви. Так представил меня ветеринару мой приемный отец, Тициан Леви, когда принес для регистрации и "освобождения от всякой гельминтологической мерзости, обитающей в кошачьем кишечнике". Доктор подтвердил сходство удивленно наглой морды с лицом "главного палестинца — Ясера Арафата" и заметил, что бывший бесприютный котенок тоже "ищет то, чем никогда не владел", а потом посочувствовал: "С таким именем в нашей стране будет нелегко".

— Вот именно, голубчик, но мы не позволим ему стать уличным бродягой!

Этот разговор произошел примерно два года назад.

* * *

После бесконечных мытарств в неуютном астрале между Небом и Землей, моя душа была помещена для дальнейшего совершенствования в тело новорожденного котенка. Я не знал, когда, в какой стране и в каком городе я объявлюсь... Все решило провидение. Из разговора obsługi я случайно узнал, что попал в страну, где живут евреи, мусульмане и христиане — я очутился в Израиле!

Но мне не нравился приют для бездомных животных, и я решил покинуть его.

Когда я поднаторел немного в новинках и особенностях жизни в этом благословенном государстве, я без особого труда ускользнул из временного пристанища в большой мир и оказался на узкой, круто сбегаящей по склону горы, кривой улочке. В число моих особенностей входят повышенная восприимчивость к свету, звукам и запахам, и я очень тосковал без этих ощущений в моих внеземных мытарствах. А тут я (о, радость!) попал в живой мир морского воздуха, насыщенного запахами цветов, разогретого камня и кипарисов, играющего мозаикой красок и звенящего многоголосием невидимых птиц.

По точно таким же улочкам я бродил в любимом мною городе-жемчужине, столице древней Испании, Толедо, пристроившейся на склоне горы обтекаемой бурной рекой и заросшей оливковыми рощами. Город, где я неожиданно очутился, тоже раскинулся на склонах горы. Вдоль узкой улицы стояли невысокие, двух- и трехэтажные дома с небольшими палисадниками перед ними, тесно заросшими сплошь цветущими кустарниками и пальмами с разлапистыми металлически-блестящими гофрированными листьями. За домами возвышалась вся увитая цветущими кустарниками отвесная скала, возносящаяся к прозрачно-голубому небу. А с другой стороны улицы этот же обрыв резко сбегал вниз к невероятно громадному и темно-синему морю.

Было прохладное утро, солнце не палило, а только ласково играло из-за горы заросшим пятнистым лесом и обесцвечивало небо там, где оно сливалось с морем в натянутую нить горизонта. Людей на улице было немного, некоторые пешеходы были в купальных костюмах с раскладными стульями,

что никого не смущало, включая одетых в черные габардины и меховые шапки, куда-то спешащих евреев. Переведя дух, я устроился в тени апельсинового дерева и, купаясь в знакомом аромате цветущих цитрусов и черно-зеленых кипарисов, наблюдал за пестренькой пичугой с длинным загнутым клювом, тихо млея от предвкушения радостей и удовольствий моей новой жизни.

Внезапно меня накрыла лавина оглушительных звуков, словно я оказался в середине громадного гудящего набата. Я в ужасе метнулся в сторону, под защиту небольшой ниши в ближайшей каменной огаде, но напрасно — все пространство продолжало гудеть, заполненное густевшими как клей, вытесняющими воздух раскатами. Чудилось, что даже листья пальм прогнулись под давящей с неба тяжестью. В нескончаемом хаосе звуков, однако, стали проскальзывать отдельные, понятные мне слова и фразы. Тогда меня осенило, я оказался недалеко от мечети, с минарета которой разносился стократ усиленный голос муэдзина, призывающий совершить утренний намаз. Это немного успокоило меня, хотя громающий голос гиганта продолжал ранить мои уши и вызывать звенящую боль в голове.

Невзирая на призывы к всеобщей молитве, жизнь на улице не остановилась — проезжали машины и шли люди. Никто не обращал внимания на имамский призыв молиться; вот только собаки ответили непристойным лаем и воем на необычный шум, заполнивший улицу.

Когда проповедник, наконец, уgomонился, я решил спуститься к морю, но мое внимание привлекла многоцветная зеленая лавка. В ней сидел тучный еврей в сдвинутой на затылок вязаной кипе с рыжими, как морковь, и витыми, как канат, тяжелыми пейсами. Рядом с пестрым развалом овощей, зелени и фруктов пристроился тощий, похожий на нахохлившуюся ворону в скуфье араб с пронзительно-скорбными глазами. С импровизированного прилавка — картонных коробок, он торговал разложенным на газете утренним уловом — блестящей черным серебром рыбой и лениво шевелящимися, серо-розовыми креветками. Словно на рынке в старом добром Толедо за Кафедральным Собором, оба продавца за своими прилавками демонстративно не обращали внимания друг на друга, но и не проявляли видимой враждебности.

Молча и не глядя в мою сторону, продавец рыбы широким жестом (чтобы его сосед мог заметить щедрость дававшего) бросил мне рыбешку. Я ухватил добычу и переместился в просторный садик неподалеку, где и оприходовал подачку.

* * *

Я хотел было продолжить мой путь к морю, но увидел высокого господина, ведомого на поводке небольшой белой собачкой. Собака было заинтересовалась мной, но тут же отвлеклась записками своих братьев и ответами им на деревьях и столбах. Таковы уж эти собачьи нравы. Хозяин собаки, однако, не последовал за своей подопечной. Он взял меня на руки, и я с достоинством замурлыкал по-арабски (в минуты волнения я думаю на языке, который считаю родным).

— Яу-у-у! — я посмотрел в лучистые глаза доброго человека.

Он легко принял информацию, погладил меня и пощекотал брюхо.

— Мя, У-у-у, А-а, — артикулируя и произнеся каждый слог, я громко выразил безмерную благодарность.

Он опустил меня на землю.

Я тут же присел и зарыл недоеденную голову рыбешки, показав глубокие знания того, что и где делать.

Собака подошла и проверила мою работу.

— Он знает дело, но уж слишком уродлив, — фыркнула она. — Посмотри на его задние кривые ноги, большие уши и длинный хвост, — и пошла дальше по своим собачьим делам.

— Страшноват, но чувствуется порода, — хозяин собаки поглядел на меня с интересом.

— Ах, какой же он умница, этот господин! — Его не назовешь красавцем, но выразительный, манящий взгляд проникает в самую душу. — Он просто очаровал меня ласковым спокойствием, — сообщил я собаке.

— Посмотри на него! Он еще чего-то лопочет... — небрежно бросила псина через плечо. — Породистые египетские коты, отличающиеся своим изяществом, это те же беспородные, недокормленные уличные бродяги.

— Откуда вам знать, глубокоуважаемая леди, что коты — врожденные полиглоты, что нам понятны языки всех народов, и что мы без труда читаем мысли людей. Мы можем общаться либо открытым текстом, либо телепатически посылать заряд умственной энергии прямо в мозг. Это дает нам возможность уверенно разговаривать с любым живым существом.

В ответ на эти мысли собака ткнула меня своим носом в бок, и я замурлыкал так громко, как мог.

— В Толедо, например, я жил у мудрого визиря Мусы-аль-Герсона... Этот ученый человек мог писать и читать на языках всей вселенной, включая галльскую и берберскую тарабарщину, благородную латынь, внятный каждому арабский и незаслуженно забытый, любимый мною арамейский. Замечу, что мы свободно изъяснялись с мудрецом на всех знакомых ему языках — это длинное послание я отправил собаке прямо ей в черепушку.

— На каком это языке он лопочет? — удивилась она, — *S'il vous pla't, sprechen Sie Englisch? Se habla español?* — собака обрушила на меня каскад европейских фраз. — Все одно — не красавец: длинный хвост и видно дыру под ним... Хотя бы хвост опустил для приличия... — продолжала осуждать меня эта задавака, хотя ее внутренний голос звучал уже гораздо нежнее.

— Domina, я прошу прощения, но иногда происходят сбои, и я путаю языки, — врезал я по-латыни. Мое маленькое сердце было готово разорваться от предчувствия победы. — Кстати, никто и никогда ранее не говорил мне, что моя внешность оставляет желать лучшего, и только от вас я впервые услышал, что уродлив. Вы заставили меня задуматься о моей внешности. Но, ведь я не претендую на то, чтобы стать выставочной штучкой или основателем новой породы. К тому же, история знает примеры, когда внешне неприглядные личности вершили великие дела.

— Возможно, он вырастет в огромные уши и хвост, выданные ему, а ноги выпрямятся, — весело глядя на меня, вступил в наш диалог господин. — Знаешь, Тютя-Матютя, будет преступлением оставить сироту здесь. Ты не возражаешь, если мы возьмем его к себе?

— При условии, что этот подкидыш будет говорить только на понятных мне языках, и... вообще, помыть бы его с *дегтярным* мылом, — она опять ткнула меня в бок своим кожаным носом, но ее черные глаза уже светились добротой.

— Это мы враз, — радостно щебетал господин, — и назовем его Ясером в честь египетского фараона Джосера — основателя династии царей.

Потом я узнал, что приятного господина зовут Тициан Леви, а его собаку — Магги. Мои новые друзья стали называть меня Ясиком.

По человеческим меркам, Магги была старой девой и не подпускала к себе даже самых породистых кобелей, решив всю любовь без остатка подарить своему хозяину. Но что делать с вечной женской мечтой о своем беспомощном младенце... И тут появился я.

Главное то, что господин увидел во мне благородную кровь великих египетских предков, освященных самой богиней Бастет. Ведь это я, бездомный котенок, сделал все возможное, чтобы он и его собачка приняли меня в свой дом.

Сейчас-то они понимают, как им повезло! Но тогда они даже и не догадывались об этом.

* * *

В новом доме меня, к моему удовольствию, ждала миска, до краев наполненная сухим кошачьим кормом, плошка со свежей водой и корытце с чистым песком. Недалеко от миски стояла другая — с собачьими консервами для Магги. Не обращая внимания на свою еду, я присел около мягкого собачьего корма и умял его в один присест!

Добрая Магги дала понять, что не возражает против кошачьего произвола. Потом я отправился в персональный туалет, а когда вернулся, с радостью обнаружил, что в собачьей миске волшебным образом вновь появилась еда, которую я немедленно оприходовал.

— Похоже, его не кормили несколько поколений, — фыркнула Магги.

— Он стал больше в ширину, чем в длину, — заметил Тициан.

— Я не раз говорила, что так называемая особая порода египетских котов — выдумка египтологов, генетиков и старых дев-кошатниц. Покорми досья самую что ни на есть изящную египетскую кошку, и вся ее изысканность испарится... Другое дело мы — породистые терьеры-вэсти, с запавших шотландских высокогорий! — буркнула Магги.

Вслушав этот высокоинтеллектуальный (ха-ха-ха!!!) обмен мнениями между собакой и человеком, я постарался поскорее взобраться на кровать.

— Устал, бедняга, — сочувственно сказал Тициан.

— Любой устанет, если придется блуждать среди незнакомых миров, в полной темноте, без запахов и звуков более шестисот лет, — пробормотал я и заснул.

Проснувшись, я несколько раз предавался гастрономическому празднику, убеждаясь в том, что еда в этом доме прекрасна и неиссякаема.

Кот-потребитель во мне понемногу угомонился, а кот-исследователь отправился знакомиться с новым жилищем. Даже поверхностное обследование квартиры показало, что углы в ней заполнены темнотой, где даже на расстоянии чувствовалось присутствие враждебных сил, они порождали слабость и уныние, и убивали радость жизни.

Незабвенный Муса-аль-Гершон как-то указал мне:

— Обрати внимание, *mi gato sabio* (мой умный кот), что маленькие дети и котята, играющие во дворе, держатся его середины. В углах заводятся демоны. Если нечисть не прогнать, она размножится и заполнит все вокруг.

Учитель прошелся по дому и произнес каббалистические заклинания. Я, как обычно, следовал за ним. После этой процедуры дети и котята уже не боялись углов, и во время своих игр прятались там от глаз взрослых. Тогда же я выучил пару эффективных заклинаний, которые старательно промяукал в квартире Тициана, очищая ее от злых духов.

Так началась моя жизнь в доме Тициана Леви и его собаки Магги.

* * *

Господин Тициан Леви, как положено, служил в войсках Израиля. Во время Войны Судного дня его ранило в ногу разорвавшимся патроном, который случайно оказался в железной бочке, где жгли мусор. Его отправили в госпиталь, застрявшую пулю извлекли, и он поехал домой. В войсках он больше не служил, но в его словах зазвучала гордость тем, что он — настоящий израильтянин и живет особой, простой с виду, но интенсивной, лучше которой нет и не может быть, жизнью.

Я горжусь своим хозяином. Он — весьма культурный человек, хорошо образован. С Магги они общаются на четырех европейских языках, и ему известны многие факты из истории, почерпнутые из оригинальных источников (Библии и Корана, к примеру), и библейской археологии (он часто работает волонтером на археологических раскопках в Израиле, который он называет "*археологический Клондайк*"). Для него не было секретом, что многоступенчатая пирамида моего тезки фараона Джосера украсила пустыню задолго до громадной усыпальницы Хеопса. Поэт и художник, он сумел усмотреть визуальную прелесть в контрастной окраске своих любимцев — кошки и собаки (*котовский* и *собакевич*, как он называет нас ласково). Как эстет и мистик, он оценил многозначительный символизм наших глаз — громадных, огненно-зеленых у меня и безгранично-добрых, обсидиановых — у Магги.

Стеллажи нашего дома уставлены выполненными им скульптурами великих поэтов, а стены украшают зеркала в затейливых рамах из обкатанного морем рифового известняка. Почерневшая амальгама старых зеркал воспроизводит мир в разных плоскостях, отражая бесконечность пространства, разбитую на отдельные фрагменты. Именно в таких мирах я метался

прежде, чем материализовался в приюте для бездомных домашних животных. Но нет добра без худа: только под крышей этого благословенного дома я увидел отражение своих задних лап (признаюсь, они кривоваты...).

В течение дня каждый из нас был занят своим делом. Перед сном мы собирались на громадной кровати, где я и Магги начинали игру, а Тициан присоединялся к нам во время досуга. Тютя-Матютя стала для меня отдушиной после затянувшегося одиночества. Добрая душа никого в жизни не укусила, любила детей и уважала котов. Некоторое неудобство доставляло стремление Магги кого-то вылизывать, словно обретенного после долгой разлуки щенка. В минуты одиночества бедняга вылизывала свои лапы до стерильной чистоты. Со временем между нами воцарилось полное взаимопонимание, я стал для нее приемным ребенком, а она для меня — мудрым старшим другом. Каждая минута общения доставляла нам удовольствие.

Наша любимая игра “кошки-собаки” заключалась в том, что я прятался под одеяло, а Магги пыталась найти меня. Но отыскать крохотного котенка в нагромождении пухового одеяла было нелегко, особенно, если я лежал, не двигаясь. Когда ей удавалось обнаружить моещеющее тельце, она люто рычала, неистово лизала и тискала меня, одеяло горбилось и шевелилось, как распластанное гигантское животное. Я вырывался, весь замуколенный, и убегал в другую комнату; Магги пыталась меня поймать, но я вновь нырнул под одеяло, чтобы затеряться в холмах и оврагах постели. Вся эта кутерьма продолжалась до тех пор, пока собаченция в азарте игры не путала меня и ноги Тициана, и принималась ожесточенно лизать его пятки, а я, позабыв осторожность, начинал царапать и кусать мою милую подружку. Иногда доставалось и нашему хозяину. Тогда Тициан, подобно Зевсу, метал громы и молнии, изгоняя нас с кровати, как с Олимпа. Мы в притворной панике разбегались, кто куда, чтоб вернуться угомонившимися и довольными и отойти ко сну.

На ночь Тютя устраивалась в ногах у хозяина. Спала она чутко, мгновенно просыпалась и ворчала на любой шорох, доносившийся с улицы. Подзреваю, что она под шумок успевала лизнуть пятку Тициана. Я спал под боком моего Тицика, предохраняя его от плохих сновидений и греясь возле его большого тела.

Полное доверие к хозяину позволяло мне массировать его появившийся живот. Работа массажиста доставляла мне удовольствие — этот процесс воссоединял выдавшего жизнь матерого кота и котенка-кроху, упирающегося слабыми лапами в теплый живот матери-кормилицы, чтоб получить живительные капли молока. Я урчал от удовольствия и выпускал в нежный хозяйский живот когти, надеясь, что смогу вновь ощутить полузабытый вкус. Хозяин терпел, видя мою страсть, но, не вынося пытки когтями, просил о пощаде, а я, смущенный, возвращался в реальность и засыпал недалеко от Магги.

Тициан Леви — очень “трогательная” личность. Подобно его тезке, великому художнику Ренессанса, он любил прикасаться к вещам и чувствовать их сущность кончиками пальцев. Это сыграло важную роль в нашей жизни — ведь мы, коты, тоже очень “трогательные” животные. С благодарностью отмечу, что Тициан великодушно прощал мне мои детские шалости, хотя его руки были “украшены” царапинами и покусками, которые он с гор-

достью всем показывал, называя их “ранами роста” и “орденами детских удовольствий”. Это было давно... Я вырос, и руки моего хозяина теперь свободны от следов когтей и клыков. Сегодня покусывание пальцев Тициана — признак нежности, переполняющей мою душу. Когда моя любовь переходит границы, он дует мне в ухо и вежливо вынимает руку из моей пасты. — Ну, какого черта ты грызешь меня? — говорит он с улыбкой, и я испытываю истинное счастье.

* * *

В перерывах между нашими развлечениями и играми Магги делилась опытом своей жизни в Стране, а я рассказывал ей о Золотом Веке в Испании, где под владычеством муров, пришедших из Северной Африки, а потом берберов из глубины Сахары, мирно уживались евреи, христиане и мусульмане... жил я тогда в Толедо.

— А что было потом?

— А потом был суп с котом... испанская королева Изабелла и ее муж Фердинанд прогнали и евреев и мусульман... а во всей Европе началось Средневековье... полный завал, темное время. Мой дорогой учитель и господин, Муса-аль-Гершон, погиб в застенках Инквизиции, а моя душа была обречена на взвездное скитание, пока я не очутился в этой стране и не встретил тебя и Тицика — наши взгляды встретились, ее глаза лучились счастьем и радостью...

— Все хорошо, что хорошо кончается. Ты здесь и я рада тому, — улыбка прибавляла прелести ее мордахе.

— При условии, что это конец... Но Муса-аль-Гершон часто говорил: Счастливое настоящее, к сожалению, имеет плохую привычку — оно становится грустной историей.

— Ты это о чем, Ясик? — она сразу посерьезнела.

— Ты живешь здесь всю свою жизнь и, кажется, должна была бы знать все, — я посмотрел в ее черные глаза. — Давно хотел спросить у тебя, возможен ли мир здесь?

— А, вот ты о чем... — она села напротив меня. — Все знать невозможно. Ты хочешь знать, что будет? — ее рожца расплылась в хитром прищуре лукавой улыбки. — Как ты говоришь? А потом — суп с котом... — и уже более серьезно: — Надеюсь, что Тицику (и его поколению) повезет, а следующим наверно, будет нелегко. Тицик как-то поведал мне, что в Коране сказано: “Спешка — от дьявола”, а палестинцы умеют ждать и у них есть время. Они — как доберманы, только с вашим, *кошачьим*, терпением... Чтобы выжить здесь, нужно быть сильным, а не хорошим, — закончила она уже совсем серьезно.

Этот разговор был пару лет назад, когда я ещебыл неопытным мальчишкой (по человеческим меркам). С тех пор мало что изменилось у нас в стране, но многое стало другим в нашем доме. Это заставило меня задуматься о своей жизни очень серьезно...

* * *

Я смотрю в окно — Тициан сидит напротив компьютера. Я вижу отражение игральных карт в его глазах — это единственное, чем он может за-

нять себя — компьютерные игры. Он не знает, что я, обменявшись с Марко телами, сижу за окном. Марко, примостившись на моем месте с другой стороны решетки в моем теле и в моей позе — голова на передних лапах, лежащих на подоконнике — рассматривает улицу. Магги, похоже, тоже ничего не заметила и, как обычно, устроилась у ног хозяина.

Но довольно любоваться идиллией! Пора заняться делом: я должен спасти моего Тициана — найти и вернуть ему Тихею. Кроме того, это “доброе дело” поможет завершить мое совершенствование и припасть к ногам Бастет.

Капли дождя стучат по жестяному вееру пальмовых листьев и мгновенно впитываются иссохшей за горячее лето землей. Кто видит этот первый в сезоне ливень — опытный бродяга Марко Поло, или его двойник, Ясер Леви, исполненный любви к своему хозяину и его подруге?

Неотличимый внешне от Марко, я чувствую его дубленой шкурой еще не остывший жар воздуха, ловлю прохладные капли небесной влаги. Я — Ясер, морщусь от непривычных запахов перегретых колес и противных выхлопных газов, а тело бывшего Марко не обращает внимания на мелкие неудобства. Его уши улавливают доносящиеся отовсюду призывы, а у меня в голове гудит: “Скорее!”, “Поспеши!” — я внутренне содрогаюсь от этих тревожных сигналов, как от хлестких ударов. Только гроза, которую всегда боялись мы оба, отвлекает меня от несущихся с неба безжалостных сигналов: “Скорее... торопись, скорее...”.

“Когда тебе трудно, главное — сохраняй силу духа и стремись к цели,” — эти слова Тицика сейчас очень кстати.

Я спешу вдоль улицы, прижимаясь к каменным стенам и перебегая от одного подъезда к другому, пробираюсь среди руин строительного хлама и последней войны. Я должен выглядеть прилично, чтобы Тихея узнала своего черного любимца. Мы с Марко Поло похожи, неотличимой короткой блестящей обсидиановой шерстью, элегантным белым галстучком, массивной круглой головой, мощным мускулистым телом и честным взглядом огромных, смотрящих без боязни глаз.

Но под черепушкой, за зелеными глазами, все мое!

Я пробираюсь сквозь кусты, отгородившие улицу от жилых домов, переходя от одной пометки, оставленной Марко, к другой.

Неожиданно под грубой лапой уличного бродяги чувствую подозрительную вещичку, присматриваюсь, принимаю — это знакомый тубик губной помады. Я передал ее Марко и, несомненно, Марко подготовил эту штуку для меня, она — ориентир в нелегком пути. Сквозь прозрачный, едва уловимый запах розы пробивался знакомый мне аромат катнипа. Эту травку Тихея добывала у садовника-египтянина и дарила мне, когда прибегала к моему любимому хозяину.

* * *

Все прекрасное происходит неожиданно. Звонок задребезжал и Магги, как обычно, с радостным лаем бросилась встречать гостей.

Тициан открыл дверь.

У входа стояла молодая женщина с великолепной копной волос цвета клубники. Гостья выглядела немного растерянной, как будто по ошибке попала в чужой дом, и незнакомый мужчина открыл дверь.

— Привет, — она непроизвольно сделала глотательные движения прежде, чем придумала нужную концовку первой фразы, — извините, я... была поблизости... и решила заскочить...

— Великолепно... Я очень рад... проходите, Тихея ...

Мы с Магги переглянулись.

— Вот это да! — непроизвольно прошептал я.

— Она с греческими корнями, из Салоников... — Магги поняла мою реакцию.

— Тогда понятно ее необычное имя... Такое нарочно не придумаешь — явление Богини Случая в нашем доме! Только это уже обещает многое... — успел шепнуть я подруге в восторге.

— Но не всегда, — заканчивает она, придерживая мой энтузиазм. — Это его старая любовь... Теперь многое будет другим в нашем доме — в ее голосе появились нотки неопределенности. — Кто знает, чем все это кончится...

— Что ты хочешь этим сказать? — ее последняя фраза озадачила меня.

— Поживем — увидим... Однако, пошли поприветствуем гостью.

— О, Магги, ты узнала меня, — гостья взъерошила шерсть на голове собаки и ее глаза заискрились откровенной радостью.

— А это кто? Какой прекрасный экземпляр! — незнакомка улыбнулась мне.

Миг, и наши взгляды встретились, — не отрываясь, я смотрю на нее, глубже погружаясь в ее глаза.

— Сразу видна порода! — Было ясно, что она говорит искренне, не стараясь произвести благоприятное впечатление.

Мы немедленно понравились друг другу

— Это Ясик, наш новый член семьи... Прошу любить и жаловать, — Тициан представил меня даме.

— Я только на пару минут...

— Вы так давно не были в нашем клубе, что я потерял надежду увидеть вас снова, — Тициан широким жестом и улыбкой пригласил в квартиру.

Было очевидно, что Тихея была особенным явлением в жизни хозяйки. Все женщины, приходившие в наш дом (в мою бытность здесь) были попроще и пошумней. Эта была не такая, я понял с первого взгляда на тонкую нежную фигуру, с первого звука шелестящего голоса. Она отличалась от остальных фарфоровым лицом феи, дерзкими малахитово-кошачьими глазами, усыпанными золотыми пылинками; каждое ее движение в облаке аромата трав было свободным и грациозным. На нежном лице Тихеи то и дело появлялась ласковая улыбка, будто в ответ на звуки знакомого голоса или хорошую музыку.

— Да, я давно не была в клубе... А как вы? — было заметно, что она не особо соскучилась по еженедельным собраниям доморощенных поэтов.

— Забросил, но на это есть причина, много работы... А у вас что нового?

— Право ничего... полный кризис.

— Вы не должны беспокоиться... — Тициан улыбнулся ободряюще, — у меня тоже... случается творческий кризис.

— Вот он всегда такой... Что значит "тоже"? Всегда тянет одеяло на себя... — с досадой подумал я.

Неожиданно внимание Тициана привлекла своенравная прядь волос, некстати выглядывающая из-за уха гостьи. Хозяин поправил непослушный локон.

Узнаю стремление к совершенству и лукавую 'трогательность' поэта.

Гостья смутилась, когда его пальцы *случайно* коснулись ее щеки.

— Вы слишком торопливы, Тициан... — глаза ее сузились, улыбка пропала с лица. — Я думаю, будет лучше, если я уйду!

— Я не хотел вас обидеть. Это как стихи...

...Твоих волос волнующая прядь
И нежные прекрасные уста...

— Простите! — гостья резко встала со стула, повернулась и исчезла так же неожиданно, как пришла.

Однако через некоторое время она вновь появилась в нашем доме, и вечерние игры в "кошки-собаки" прекратились, потому что Богиня Случая играла совсем в другие игры. Теперь я спал в мягком кресле в гостиной и мог, слыша долетавшие из спальни звуки, догадываться о происходящем. Магги же была свидетелем их развлечений, ей разрешалось быть на Олимпе во время игры богов.

И тут неудовлетворенная материнская потребность Магги пришлось к стати. Тихее нравилось, когда собака принималась вылизывать ее маленькие пятки, особенно во время судороги страсти, что сводила тело нашей богини.

— Псюшка помогает мне расслабиться, — женские пальцы нежно щекотали ухо Магги. — "Спасибо, Тютя", говорилось таким тоном, с такой загадочной улыбкой, что бедная собачка стремилась еще раз услышать слова благодарности.

— А еще гостье нравится, когда Тициан целует ее ухо, — сплетничала моя подруга.

— Я тоже люблю, когда он щекочет мое ухо, — поддержал я разговор.

Прошло время, и я проникся симпатией к Богине Случайности — Тихе, как мы называли ее по-гречески. Она казалась маленькой медноволосой зверушкой, и было невозможно предугадать, что она сделает в каждую следующую минуту. Утром, по пути на кухню, Тихе могла окружиться в танце среди комнаты, одетая в прозрачный халатик из лучей утреннего солнца, плавные движения рук вторили музыке, звучавшей в ее голове. Личико Тихе становилось серьезным и строгим.

— Откуда это у молодой современной женщины? — такие движения я видел во время ритуальных танцев в храме богини Бастет тысячи лет назад.

Любимая Тициана была гением небрежности — забывала о времени и месте назначенных встреч, оплатить мобильник. Ее вещи валялись по всем углам квартиры; *лично меня* это радовало, потому что они нежно пахли обожаемой мною кошачьей травкой-катнипом. Я спал на ароматных тряпочках, утыкался в них носом, и призывный запах уносил кошачью память далеко за пределы этого дома.

Она — госпожа Импульсивность, а Тициан — господин Методичность — были такими разными, что мы с Магги часто удивлялись, как эти два человека могут находиться в одной комнате больше часа. Но они любили друг друга.

— Люди — это животные, сохранившие природные инстинкты, — так решили мы с Тютей.

Главное, всем нам было хорошо вместе до того злосчастного дня, когда автомобиль Тихеи...

* * *

В тот вечер мы втроем: мой хозяин Тициан, сопровождаемый его любимцами — белоснежной терьершей Магги и вашим покорным слугой, котом Ясыком, прогуливались в садике перед нашим трехэтажным домом. В то время мне уже разрешалось (в пределах нашего садика, конечно) наслаждаться природой — нюхать цветы, жевать травку и валяться на песчаной горке. Вечерний променад успешно совмещался с ожиданием красавицы Тихеи.

Я не заметил, как Магги, услышав знакомый шум мотора, выскочила за ворота. Заскрежетали тормоза, и наступила наводящая жуть тишина. Яркий свет фар по касательной ударил в стену дома, осветив верхние этажи.

Тициан бросился на улицу. Калитка была открыта, и я метнулся вслед за ним.

Выдавший виды красный “Фиат” Тихеи стоял поперек дороги передними колесами на тротуаре.

Магги ковыляла навстречу, скуля и хромая.

Увидев ее, я малодушно не выдержал напряжения и провалился в дальний мир, где движения замедляются, уши заложены комками шерсти, а глаза, затянутые пеленой отчаяния, изливают горькие слезы. Через несколько секунд, придя в себя, я увидел Тициана с Магги на руках. Он плакал и выл, как собака, хлюпая носом. Кровь Магги черными подтеками стекала с его рубахи на шорты.

Тихея выскочила из машины, не понимая, что произошло.

— Oh, God! Посмотри, что ты сделала!.. Ты убила того, кто тебя любил, — рыдал Тициан голосом, полным боли и горечи.

— Я ее не заметила... она сама... — лицо Тихеи выражало искреннее раскаяние. — Позволь мне отвезти ее... вас в больницу... — взмолилась она неуверенно.

— Ты... ты понимаешь, — Тицик искал подходящие слова, — ты опасна даже для самой себя. Оставь нас... — прозвучало резко, как пощечина. — Мы обойдемся без твоей помощи...

Нанесенные Тихеей раны заживали у Магги медленно и плохо. Тициан несколько раз вызывал на дом ветеринара, но тот заявил, что медицина уже сделала свое дело, а теперь Природа должна сыграть свою роль. Тогда Тицик отдал Магги на мое попечение. Я постоянно был около нее, следил, чтобы она что-нибудь ела и у нее всегда была свежая вода, вылизывал нагноения и снимал боли мурлыканием (чему я научился еще там, в Испании), расположившись около моей подруги. Магги лежала на подстилке и только тихо стонала. Спустя несколько дней она на короткое время открыла глаза, молочно-мутные, как у новорожденных котят, посмотрела на меня и тихо прошептала: “Ты прекрасный экземпляр,” — и снова провалилась в свои сны. Из-за многочисленных сбоев в ее подкорке читать напрямую ее мысли было невозможно. Наверно, она хотела сказать что-то другое, но полубредила, повторив фразу Тихеи. Когда же ей стало лучше, она со вздохом произнесла: «Вот видишь, я же говорила, что появление Тихи изменит нашу жизнь...»

— Но ведь у каждой тучи есть серебряный подбой.

— Я бы хотела видеть это...

— Лежи спокойно. — Я помог ей повернуться на другой бок, — потом разберемся.

Тем не менее, ее реабилитация проходила успешно, я был некоторой причиной тому. Вскоре мы вернулись к нашей игре “кошки-собаки”, а Тицик уступил нам свою обширную кровать. Физические нагрузки вовремя помогли Магги выкарабкаться из травмы без видимых последствий. Через пару месяцев Магги уже гуляла на лужайке перед домом.

С нашим хозяином дело обстояло хуже.

Сначала Тихея звонила несколько раз на день.

Я способен распознавать, кто хочет связаться с Тицианом по телефону, поэтому сидел возле телефона и умолял нашего хозяина ответить на призывы любимой женщины. Тициан понимал меня, но к телефону не подходил — гнев и память о пережитой боли не оставляли его.

— Ты понимаешь, с ней трудно... Лучше уж без нее, — с нескрываемой горечью говорил он. — Да и у Магги “остался осадок” от происшедшего, — сказал он полупешотом, что бы Магги (не дай Бог) не услышала. — Давай подождем...

А потом Тициан звонил Тихее, но в ответ в трубке звучали длинные гудки. Оправданием могло быть то, что и в лучшие дни женщина часто забывала включить телефон. Затем телефон замолчал намертво — очевидно, растеряха посеяла мобильник.

Когда Тихея снилась хозяйину (я мог видеть его сны), в них он звал любимую, говорил ей ласковые слова. Тогда Магги ложилась около него, дышала ему в ухо, говорила, что все в порядке и что у нее нет “плохого осадка”, и Тициан нежно обнимал собачку... Мы с Магги понимали, как трудно нашему поэту разлюбить — он сгорал изнутри.

* * *

Ко времени появления Тихеи в нашем доме я успел завести знакомства среди окрестных котов.

Квартира Тициана расположена на первом этаже трехэтажного многоквартирного дома. Стены всех комнат нашей квартиры представляют собой окна до потолка, с широкими подоконниками, удобными для наблюдения за жизнью, идущей вокруг дома. Окна открывались, ветер свободно гулял по всей квартире. Переходя от окна к окну, я обсуждал кошачьи дела с соседями. Новые знакомые рассказали мне о порядках, царящих в Стране Обетованной, о щедрых горожанах приморского города, которые делятся рыбными отходами и куриными обрезками в таком количестве, что уличные кошки обжираются ими и перестали охотиться на мышей. От уличных друзей я узнавал об ужасных терактах внутри страны, они рассказывали о войнах между Израилем и ее соседями. Бывалым котам пришлось пережить подобные трагедии, и они хвастались полученными ранами.

* * *

Из всех новых друзей мне больше всего нравился добродушный проstack Марко Поло. Мы с этим уличным котом очень похожи — блестяще-черные от кончика носа до последней шерстинки на хвосте, только особо внимательные могли заметить, что маленький белый галстук на шее Марко качнулся влево, а мой — наклонился вправо.

Имя Марко Поло мой друг получил от своей хозяйки Сами, укорочено Фозсам. Ее имя было составленным из первых слогов французских слов: Foi, Espoir и Amour, означающие Вера, Надежда и Любовь.

— И она дарит веру, надежду и любовь всем окружающим... — Марко прикрыл свои глазки в знак большой и безусловной любви к хозяйке.

От Марко я узнал, что Сами была дочкой раввина; их семья иммигрировала в Израиль из Швейцарии (они жили этажом выше). Они привезли с собой кошку, та скоро забеременела от израильского кавалера с улицы. Когда роженица облизала и обсушила новорожденных котят, Сами собрала малышей на ковре, чтобы оставить дома самого живучего, который сумеет забраться на спины собратьев, а остальных — раздать. Один малыш, черный, как уголек, не пожелал принять участие в выборах "царя горы" и отполз в сторону.

— Ну, этот — путешественник, — отметила Сами, — настоящий Марко Поло.

Так необычное имя пристало к расторопному котенку.

Марко вырос в великолепного представителя нашего рода — громадный котище с массивной головой, мощными лапами, с железными когтями, не слишком развитым интеллектом и золотым сердцем. Свободный духом, кот жил на улице, а в дом Сами приходил подхарчиться.

Мой новый друг и в душе был настоящим путешественником (по его рассказам, он знал город вдоль и поперек) и благодарным слушателем. Марко находился только в начале своих трансцендентных совершенствований, поэтому с большим интересом внимал моим рассказам о превращениях и странствиях среди миров.

Взамен он делился воспоминаниями о двух недавних, пережитых им, так называемых Ливанских, войнах и нескольких терактах.

— Жизнь здесь — не паштет из куриной печенки со смальцем — сюда брошена большая щепотка горя. Характер у людей сильно портится от войны. Я слышал, там, в Ливане, солдаты опасней собак. От нечего делать они выбирали живую мишень — кошек и собак — чтобы поупражняться в меткости своего оружия и решали, кому жить, а кому умирать, или стреляли в нас ради забавы, чтобы посмотреть, как мы разбегаемся в страхе.

— А ты знаешь, что персы сотни лет назад использовали котов как живой щит против египтян... — я решил смягчить тему разговора.

— Это как? — заинтересовался мой друг.

— Когда-то я тебе рассказывал, что у египтян убийство кошки каралось смертной казнью.

— Да, помню... А если это произойдет случайно?

— Не имеет значения... За убийство священного животного — смерть. Персы несли кошек на руках, и это приводило египтян в смятение.

— И они проигрывали войны?

— Не всегда, но почитают кошек до сих пор...

— Я тебе скажу, Ясик, мир в этом месте зыбок и особенно дорог всем живущим, — Марко глубоко вздохнул, — я потерял хороших друзей. Последняя бойня была страшней других — бомбы, напалм, химическое оружие. Многие коты, и в Ливане, и здесь, потеряли своих людей и надолго застывали рядом с холодными телами, оберегая своих бывших защитников от жадных крыс. Домашние любимцы становились бездомными бродягами. Они никогда не мяукали — им некого звать, только смотрели остекленевшими глазами. Почему им не помогает твоя кошачья богиня Бастет? — Марко с укоризной уставился на меня.

Что я мог сказать?

— Главное то, что мы, Марко, не теряем кошачьей гордости и остаемся настоящими котами, — сказал я неуверенно. — Мне рассказывали, как женщину с ребенком завалило в подвале дома, а ее кошка таскала пострадавшим цыплят с соседней фермы. Так люди выжили. А потом она привела собаку и спасателей. Такая вот история...

Мы задумались...

— Не понимаю, Марко, как вы умудряетесь здесь... жить и даже веселиться? — нарушил я молчание.

— Так и живем... бомбят — страдаем, а потом гуляем... Левант, брат, это особое состояние духа... Это не всем дано. Вот наши соседи говорят, Израиль не хочет дружить с ними... Это, знаешь, все равно как меня упрашивать пожрать второй раз на день. Истина в том, что за пару лет спокойной жизни люди закрывают глаза на все провокации наших соседей и придумывают всякие там извинения, вместо того, чтобы дать по мозгам так, чтобы они больше не лезли к нам... Но никто не спрашивает моего мнения, — закончил он философски безнадежно.

* * *

Прошло немало дней с тех пор, как Тициан мог обнимать Тихею и нежничать с ней только в своих снах. Когда хозяин обнаружил свои коричневые на красном подбое домашние тапочки в морозильной камере, мы с Тютей поняли, что привычная жизнь нашего дома в опасности.

— Тициан не знает золотой середины в своих настроениях: или витает в облаках, или находит на него такая хандра — прямо ложись и помирай. Теперь прощай покой и уют, — бурчала Магги.

— А ты ему сообщила, что у тебя уже нет *плохого осадка*?

— Да, но Тихе пропала навсегда. Теперь жди ее следующего явления. Я боюсь, нам придется ждать долго...

И тут в моей голове созрел план. Когда Магги уснула, я встретился с Марко Поло для судьбоносного разговора.

— Что случилось? — Марко лениво чесал спину о решетку окна.

Я ему рассказал о ситуации в нашем доме.

— Нужно спасти Тициана, Магги, нас всех...

— И как же ты решил спасти?

— Все завязано на Тихее. Нужно найти Тихею и вернуть ее в наш дом.

— Ты думаешь, это поможет?

— Тютя сказала, хуже не будет...

— А как ты ее найдешь?

— Ты сможешь мне... Ты ведь хорошо знаешь город, мистер путешественник...

Марко задумался. Было слышно, как пульсирует кровь под его черепушкой, и я терпеливо ждал.

— Допустим, я смогу это сделать... при условии, если у тебя есть какая-нибудь вещица, которая сохранила запах Тихеи.

— У нас осталось много ее вещей.

— Если я найду эту женщину, как смогу направить за ней тебя?

— Ты пометишь к ней путь, как положено по-нашему, по-кошачьи... ну и для верности оставишь знакомые вещи на этом пути, а я смогу продвигаться от одной вежи к другой.

— Я не о том... Как ты окажешься на улице? Если ты сбежишь, то он подымет *всю миштару* на ноги...

— У меня есть идея. Чтобы все получилось, мне нужен ты... физически... я имею в виду твое тело.

Я перешел на шепот, — Магги проснулась и завозилась на своем коврик.

— Ты мне друг?

— Не сомневайся.

— Значит, сможешь мне? — я направил мощный заряд умственной энергии прямо в его подкорку.

— Не понял...

— Нам придется на короткий срок обменяться телами. Я стану Марко Поло, а ты — Ясером Леви. *Comprende, amigo?* (Опять сбивка... Я уже говорил, когда волнуюсь, я путаю языки.)

Марко напрягся, пытаясь переварить информацию, шерсть на загривке стала дыбом, глаза округлились, а хвост превратился в ершик для бутылок.

— Пока я буду в пути, ты в моем теле будешь жить здесь.

— А потом что?

— А потом суп с котом... если и когда я вернусь... мы отыграем все назад.

— А почему "если"?

— А потому, что там не моя территория, там многое может случиться...

— А если ты не вернешься?

— То будет тот самый суп с котом, и ты останешься вместо меня навсегда.

— И как мы провернем эту штуку?

— Это не трудно, но потребует внимания и точности. Я поднесу свой нос к твоему так близко, чтобы наши усы сплелись, скомандую, и мы одновременно мурлыкнем. Сразу после этого я выдохну воздух, а ты его вдохнешь, потом мы повторим процедуру, тогда я вберу твоё дыхание. Ну как? Совладаешь?

— И правда, не сложно...

— Не сомневайся, все получится.

— Обменяться с другом парой вдохов-выдохов не проблема, — Марко облегченно вздохнул. — О'кей, я пойду на это... Когда мы начнем? — поинтересовался Марко.

— Как только ты найдешь Тихую и пометишь дорогу к ней. Я хотел бы проделать все за один вечер, чтобы Магги не обнаружила подмены.

— Не волнуйся... Ты там того... проверь только, чтобы еда была...

— Об этом не беспокойся. Еда в доме не переводится никогда.

— А зачем тебе все это? — поинтересовался Марко. — Ведь Тициан может найти новую женщину.

— Такую он не найдет... Потом, дело не только в хозяине... — я решил поделиться с другом своей мечтой, — мне необходимо достичь совершенства души.

— Э-э-э, волос ты куда загнул... Я знал, что здесь есть что-то для тебя лично... — в голосе моего товарища послышалось разочарование.

— А тебе-то что?

— Это значит, что ты того... туда, — и он уставился буркалами в небо. — Ты же оттуда не вернешься... Не-а... я не согласен.

— Марко, — шикнул я в нетерпении, — мы уже говорили с тобой о совершенствовании души... Почему это нужно для котов?

— Чтобы соединиться с Богиней Бастет...

— Правильно... Ты помнишь историю о двух свечах?

— Мяу! — от напряжения черный бродяга вытаращил глаза, копясь в своей памяти. — Это когда пламенем одной свечи зажигают другую.

— Пламя второй свечи рождается из пламени первой, и новый огонь содержит в себе все, что было заложено в нем изначально. Так и в нашей трансформации — новое естество вбирает все качества предыдущей, включая все наши несовершенства. Их-то мы и должны убрать из нашей жизни. К сонму богов может приблизиться только совершенный... настоящий Кот. А чтобы достичь великой чести, он должен хотя бы раз пожертвовать жизнью для любимого существа.

— Обязательно для человека?

— Возможно, подойдет и животное, но я не уверен.

- Помереть, значит?
- Не обязательно помереть, но быть готовым отдать всего себя... В этом — весь смысл жертвы.
- Это — как террористы? — продолжал тупо допрашивать меня Марко.
- Нет, у нас другая идея... Убивать никого не надо...
- А если мы того... не будем совершенными... Что будет?
- Ты веришь в реинкарнацию? — у меня перехватило дыхание от волнения. Кот тупо посмотрел на меня. Было ясно, что он еще не созрел для полного понимания реинкарнации.
- Без совершенства души ты *котом* будешь мотаться из одной жизни в другую бесконечно! Тебе это нравится?
- Нет ... не знаю ... А это какво?
- А я вот, после того как помер в Испании, черт знает где, три сотни лет, — моя лапа устремилась к небесам, — скажу, ничего хорошего... Холодно, темно и... никакой еды.
- Да, это не жизнь, — согласился Марко.
- Наконец бродяга заинтересовался.
- А почему ты решил рискнуть жизнью именно сейчас?
- В Толедо я не мог спасти моего хозяина, Мусу-аль-Герсона, да будет благословенно его имя, случая такого не представилось. Сейчас судьба дала мне шанс сделать любимых мною двух людей и одну собаченцию счастливыми, для этого я ставлю свою жизнь на кон!
- Я замолчал, чтобы Марко Поло смог осмыслить сказанное.
- Мяу! — От напряжения челюсти кота заклацали, и кончик хвоста начал вибрировать, как будто котяра увидел добычу. Матерый черный котиче выглядел, как несмышленный котенок. Новорожденная душа совместилась с мощным телом — это было начало воплощений для Марко Поло. Он мучительно старался понять задачи моей реинкарнации.
- Тогда я, кот Ясик, ласково, но твердо сказал: "Прошу тебя, Ахи (брат мой), помочь мне на пути соединения с богиней Бастет".
- О`кей, о`кей — неожиданно поспешно согласился он.
- Интонация друга могла бы насторожить меня, но мысленно готовясь к переселению души в новое обиталище, я не обратил на это внимания.

* * *

Я осторожно пробираюсь по темной узкой улочке незнакомого мне города. Каждый шаг может мгновенно изменить мою жизнь. Мудрец Муса-аль-Гершон часто повторял: "Многое может случиться между чашей вина и устами".

— Чуткая Тютя заметит подмену — это будет небольшое отклонение от плана, но не трагедия... хуже всего лабиринты огромного морского Порта, где возможно все: я не найду возлюбленную нашего хозяина, потерю путь домой, встречу смерть под машиной или буду разорван сворой собак... К тому же, эти странные сигналы Оттуда. Я посмотрел на низкое, в темных облаках небо, прислушиваясь к звукам дождя... Сквозь треск электрических разрядов меня тревожат обрывки фраз. Кто знает, что это значит?

Ясно только одно: моя душа в чужом теле. Если я не вернусь в мое тело — прервется цепь совершенствования моей души, я никогда не приду к стопам великой Бастет и мне будет закрыт путь к реинкарнации.

С сердечной болью я выпускаю из лап знакомый тюбик помады и вновь бегу по запутанным улочкам вдоль грязных домов и устрашающих граффити. Дождь усиливается, шерсть становится тяжелой, а кожа мокрой.

Нужно торопиться, пока дождь не смоет метки, сделанные Марко. Ага, вот еще одна отметина на стене, а прямо под забором я вижу изящную гребенку. Какой же Марко умница! Узнаю расческу Тихеи, врученную ему вместе с тюбиком губной помады. Золотые волоски между зубцов намokли и пахнут Тихеей после ванны. Мокрые лапы тяжелеют, но я снова и снова ступаю в лужи, — важно лишь, что я не потерял направление, пробираюсь по улицам и знаю, что никто не видит этих передвижений и не идет вслед за мной. Слава богам — пока на пути ни одной собаки!

Холодные струи дождя сковали мой затылок, подобно ледящему страху при мысли об острых песьих клыках.

Я остановился, слизнул дождь с кончика носа и потрусил, не выбирая дороги.

Веги, оставленные моим другом, ведут в крошечную тьму, из которой, как чудовища, высовываются подъемные краны Порта.

— Думать только о хорошем, надеяться на удачу, чтобы не дать страху овладеть мною.

Начатое дело должно быть закончено сегодня ночью.

Однако низкое небо в тучах продолжает посылать тревожные сигналы...

Я сильно разозлился, когда Марко сообщил, где сейчас можно найти нашу Тихею. Он поклялся именем Бастет, что наша лучезарная Тихея служит в третьесортном притоне самого забытого людьми и высшими силами уголка припортовых кварталов.

* * *

Красный фонарь над дверью освещает вход в то проклятое место. Вокруг стоит мертвая тишина. Ни души... Дверь приоткрыта... В этом вертепе опустившиеся люди, чтобы выжить, продают себя тем, кто желает купить их тело. Затхлый воздух притона вызывал спазмы в горле.

Мое внимание привлекла нацарапанная на куске косо висящего картона записка: «Требуются танцовщицы». С ужасом я вспомнил записку, криво прикрепленную к двери церковного подвала одного из храмов Толедо. На латыни это звучало: *Cadavera sunt hic*, что в переводе значило: «трупы выдаются здесь». На грязном каменном полу я нашел изуродованное пытками тело моего господина Мусы-аль-Герсона и привел туда его домоправителя Мигуэля. Он выкупил тело хозяина и на скрипучей тачке повез мертвого мудреца за черту города, где было позволено хоронить «неверных». Только мы вдвоем стояли на краю могилы любимого господина. Тогда я был очень пожилым котом, скорая смерть моего учителя не позволила мне свершить «благое дело», отдать жизнь за дорогого человека, как учил Муса-аль-Герсон, да будет благословенно его имя.

Я все еще не достоин милости богов, а мои страдания — плата за земную любовь к людям.

* * *

Над барной стойкой, заставленной разнокалиберными бутылками, красовалась надпись "Мы открыты до утра!" Бар находился у входа в комнату, привлекательную только размерами. Посередине, как ожидающий мученика эшафот, красовались подмости, отмеченные столбом позора. На потолке зеркальный шар отбрасывал вокруг яркие блики, изображающие падающие звезды. По стенам жались пустые столы. В воздухе висела гробовая тишина. Вся обстановка напоминала зал инквизиторского судилища, и шерсть вдоль кошачьего хребта мгновенно вздыбилась.

— Ясик — услышал я неожиданно знакомый женский голос.

От радости сердце чуть не выпрыгнуло из груди.

— Ясик, как ты оказался здесь?

Легкое покусывание кожи на щиколотке ноги — мое обычное приветствие. Она обрадовалась.

— Как ты нашел меня? — поднос с напитками переместился на стойку. Тихея присела, поймала мой взгляд, а с ним и серию сигналов. — Ты на меня не сердишься?

— Ты работаешь около этого шеста?

— Что ты, Ясик... — в голосе Тихеи звучала обида, — это не для меня. Она кивнула в сторону бара: — Там моя вотчина... Хочешь, я приготовлю молочный коктейль для тебя?

— Нет... Спасибо... как ни будь в другой раз, — у меня отлегло от сердца.

— Что случилось? Ты ушел из дома Тициана? Милый *котовский*, ты не сможешь выжить на улице, а я сейчас не могу взять тебя с собой, — ее нежная рука ласково потрепала мой затылок.

Благо в этом заведении полумрак, даже с такого близкого расстояния женщина не заметила подмены... Глубоко вздохнув, я прищурил глаза, от этого они стали похожими на две молодые луны, горизонтально повисшие в черном небе.

Через минуту я рассказал Тихе о происходящем в нашем доме и страданиях Тициана.

— Этот наглый хитроглазый кот покушается на твое благополучие, малышка? — двухметровый амбал с руками-кувалдами и аккуратно ухоженной маленькой головенкой, украшенной зализанным пробором, подошел к нам. Добродушные глазки светились на лице выцветшей бирюзой и скрывали настоящую природу его работы.

— Ясик, это Чич. Он хороший...

Взглянув на Чича, я послал приветствие в знак приязни в его хорошо упрятанный мозг.

— Бэби, ты хочешь сбежать? — гигант опустил руку на плечо нашей леди, — а кто будет разносить выпивку?

— Народу не много, а Ясик попросил меня отвести его домой.

— А потом? Опять пропадешь? — в глазах Чича мелькнула озабоченность.

— Не знаю... Там решим, — Тихея сняла белый фартук и крахмальную наколку. Волосы золотым каскадом рассыпались по плечам. — Не беспокойся, Чич, если что, то я пришлю кого-нибудь вместо себя.

— Такой королеве невозможно отказать, — Чич улыбнулся ей в ответ. — Не забудь положить выручку и ключ на стойку.

Тихея оделась, и мы вышли на улицу.

Холодная пыль дождя словно повисла между небом и землей.

— Мы должны торопиться... похоже, у нас мало времени.

— Почему?

— Получил сигналы, — я кивнул на небо.

— Понятно, но что они значат?

— Не знаю... Ты только того... Тицику ни слова, что я тебя нашел...

— Могила, — Тихея одарила меня той самой улыбкой, которая омывала мою душу теплом и светом.

С ней приятно общаться, как с понимающей жрицей Бастет.

* * *

Прелесть левантийских городишек состоит в том, что они невелики, их можно без труда пересечь вдоль и поперек даже на таких коротких ногах, как мои. Непогода и желание оказаться дома быстро привели нас с Тихеей к дверям знакомой квартиры. Моя спутница нажала на кнопку звонка, а потом нетерпеливо позвонила еще раз, ответом ей были радостные вопли Магги и клацанье замков. Дверь открылась, и в проеме возникло лицо Тициана, сначала сосредоточенное, потом удивленное, и, наконец, расплывшееся в счастливой улыбке. Хозяин даже не спросил, как и почему Тихея появилась на пороге его дома, а сразу принялся тискать любимую или, как они обычно шутили, "проводить инвентаризацию".

Воспользовавшись суматохой у двери, я незаметно проскользнул в кабинет, по дороге шепнув Магги, чтобы она молча и быстро следовала за мной.

Марко, как прирожденный домашний любимец, спал, развалившись на окне. Это дало мне возможность объяснить Магги, что произошло за последнее время и каким образом Тихея снова объявилась у нас в квартире.

— По правде говоря, — усмехнулась Магги, — вы так шептались, что я была вынуждена прислушиваться, и мне удалось кое-что понять. А Тициан завис над своей очередной компьютерной игрой и не обращал внимания на происходящее у него под носом.

Как обычно, собака подчеркнула свое старшинство, проявила материнскую заботу и притащила из ванной махровое полотенце.

— Посмотри на себя, ты промок, как бездомный пес...

— А Марко?

— Я сделала вид, что ничего не поняла, обращалась с ним, как с тобой. Он же обалдел от счастья, все время ест или дрыхнет на окне.

— Давай будить его... — я вскочил на подоконник. — Эй, Марко пронись, это Ясер, — я вежливо толкнул его вбок.

Марко лениво открыл один глаз и, как бы не узнав, посмотрел на меня. Потом зевнул, демонстрируя две пары великолепных клыков.

— Ну что ты шумишь, ведь не пожар... Ты привел ее?

— Да, — я не ожидал такой реакции.

— Ну, теперь ты доволен? — кот-бродяга прикрыл глаза и глубоко вздохнул, словно собрался продолжать прерванный сон.

— Марко, — я старался не сорваться на вопль, — мы должны немедленно снова обменяться... Ты что, забыл?

Марко по-прежнему лежал, закрыв глаза, однако дыхание его участилось.

— Марко, — я пнул лапой эту черную неподвижную тварь. (Притворяется гаденыш, наверняка притворяется.)

Он вскочил, как черт из табакерки, на все четыре лапы, принял угрожающую позу, выгнув дугой спину.

— Знаешь, Ясик, я передумал возвращаться в свою шкуру. Мне и в твоей неплохо...

Блохастая крыса! Еще тогда, в конце нашего разговора, у меня проскочило подозрение, что этот сукин сын может подкинуть сюрприз!

— А как же наш уговор?! — я старался говорить ровным голосом.

— Чего захотел?! Ты пожил здесь, а теперь — моя очередь... Но я не эгоист, мы можем пожить здесь вместе, — он посмотрел на Магги, ища поддержку у моей подруги.

— Это зависит от Тициана, — произнесла Магги, как будто происходящее ее не волновало.

Подумать только, лежит спокойно, положив голову на лапы, и черные угли глаз взирают на нашу перепалку с холодным безразличием постороннего зрителя.

— Магги, — послышался повеселевший голос Тициана, — пошли гулять.

Собака вскочила и, виляя хвостом, посмотрела на нас с лукавой улыбкой.

— Я думаю, что Марко прав, — Магги незаметно взглянула на меня, словно намекая на принадлежащую мне и ей тайну. — Ты, Ясик, должен проявить благоразумие и уступить Марко — он много страдал. А вообще-то последнее слово за Тицианом.

— Магги?! — у меня перехватило дыхание.

— Я могла бы объяснить тебе, но сейчас для этого нет времени. Поверь мне, Ясик, будет лучше, если ты уйдешь из квартиры так же, как и пришел — не-за-мет-но!

Я не видел выхода из ситуации, а вероломное предательство бывшей подруги и советчицы не давало собраться с мыслями. Раздавленный навалившимся горем я, бывший домашний любимчик, спотыкаясь, поплелся к выходу. По дороге собака успела мне шепнуть:

— Постарайся понять, стратег доморощенный, ситуация вышла из-под контроля... Делай, что я говорю, иначе всем будет плохо...

В прихожей царила обычная возня, аханье, оханье, восторги Тихеи, напоминающие сладкие стоны возвратившейся «блудной» дочери.

- Во что бы то ни стало прогуляться перед сном!
- Дождь!
- Неважно!
- Пройтись с моей любимой собачкой!
- Зонт, зонт!

Незамеченный бывшими друзьями, я вышел в темноту, под холодный дождь.

* * *

Сегодня самая страшная ночь в моей кошачьей жизни. Я одинок, бездомен и голоден. Я продрог... и к тому же, я в шкуре гнусного предателя! Но главное: мне неведомы и другие препятствия, которые еще придется преодолеть на пути к престолу Бастет.

Я подождал возвращения с прогулки моих друзей и кое-как примостился снаружи на подоконнике спальни в надежде увидеть свое прошлое.

Но вид за окном принес мне дополнительные страдания: моя семья, дорогие друзья, смеялись и болтали без меня, бедный Ясик не мог их услышать. Мои сигналы не могли проникнуть сквозь закрытое окно. Любимые люди, как ни в чем не бывало, ходили по потерянному мною дому. В свете уличного фонаря я мог разглядеть бесстыжего Марко, развалившегося в моем кресле, радостно виляющий хвост Магги и шевелящуюся массу пухового одеяла, скрывавшего от всех любовь Тициана и Тихеи.

В безнадежном отчаянии я стоял над пропастью неизвестности.

Утро не принесло облегчения. За окном Марко жрал из моей миски, пользовался моим туалетом. Для бывших друзей меня не существовало, и только Магги один раз подошла к окну, проверяя, жив ли я, и, встретившись взглядом, быстро ушла вглубь квартиры.

Вскоре счастливые любовники, захватив Магги, появились на улице и радостно поспешили к машине, намереваясь совершить "очередной набег на магазины" — привычное занятие Тихеи.

Магги издалека послала мне короткую весточку: — Не волнуйся! Все идет по плану... оставайся здесь...

Я не стремился увидеть Марко, говорить с предателем. Вспомнил, что ничего не ел с позавчерашнего вечера, голод пришлось утолить объедками, которые сердобольные старушки оставляют для бездомных котов, каким мне пришлось стать. Съев пару кусочков мяса и утолив жажду водой из лужи, я, заглушая боль души, пристроился на солнышке около махровой китайской розы — красы и гордости нашего палисадника. Отсюда я мог наблюдать за происходящим на улице и около дома, однако, сказалась усталость, и я задремал. Проснулся за полдень по возвращении друзей домой. Магги шествовала впереди, весело виляя хвостом, задранным вверх, как машинная антенна. Не глядя на меня, просигналила: — Все идет путем... Жди вечера, — и скрылась за дверь.

Мы, коты, умеем ждать, если перед глазами видим цель. Даже самому долгому дню обязательно придет конец, и будет вечер.

Когда стало темнеть, Тициан и Тихея уехали в город развлекаться.

Я опять устроился у окна хозяйского кабинета. В окне показалась Магги, открыла жалюзи и, улыбаясь, радостно сообщила, что Марко "вот-вот спечется и будет готов к обмену шкурами".

Я подпрыгнул на месте.

— Что это значит?

— Сам увидишь, — пробурчала она и скрылась в недрах квартиры.

Вскоре послышалось напряженное сопенье, и я разглядел удивительную сцену — Магги за шиворот волокла по полу мертвого Марко!

— Он тяжелый, как камень, — Тютя перевела дух и улыбнулась мне.

— Ты его убила?

— Мертвый он нужен нам, как еще одна дырка в голове...

Магги подтащила кота ближе. С близкого расстояния стало заметно, что котяра дышит. Передохнув, Магги взялась возводить около окна странное сооружение, подтаскивая книги и сдвигая стулья.

— Что ты делаешь?

— То, что надо... К сожалению, ты мне помочь не можешь, так что наблюдай молча. Я должна затащить эту тушу на стол.

Тут я понял собачий замысел: конструкция приобрела форму трапа, по уклону которого собака затащила Марко на стол около открытого окна, где на подоконнике устроился я.

Когда Магги, сопя от напряжения, подтащила Марко к окну и повернула кота носом ко мне, бродяга похрапывал и безмятежно улыбался во сне. Я прислушался к самодовольному урчанию приятеля.

— Что с ним?

— Ничего особенного, наглец спит непробудным сном и счастлив, как никогда. Ты как-то говорил, что все коты любят валериану, хотя сам никогда не употребляешь эту травку потому что от нее балдеешь и голова болит.

— Не припомню, но это правда..

— Ну так вот, я подсуетилась, и Марко налакался валерианой до упору... Обрати внимание — он пьян в стельку!

— А где ты достала корень?

— На блошином рынке. Уговорить наших приятелей завернуть на толкучку — пара пустяков, а потом я стремглав дернула в сторону и привела парочку к знахарю-бедуину в лавочку трав и снадобий. Теперь этот лживый кот — твой, дышите вдоволь, — Магги хитровато прищурилась, как бы проверяя мою осведомленность в музыкальных терминах, — в унисон или в терцию, — и расплылась в радостной улыбке.

— Ты придумала все это еще вчера вечером?

— Легко представить, во что могла превратить дом драка двух крупных котов, беспорядок не ограничился бы лишь битьем посуды. А так немного хитрости, и Марко готов к обмену душ, — Тютя подтолкнула спящего кота к решетке так близко, что бродяга дыхнул на меня перегаром валерианы.

— Надо же так надраться, — меня чуть не стошнило.

— Начинай, — Магги присела рядом с Марко.

Я с трудом подстраивал дыхание к ритму выдохов моего бывшего друга, когда услышал размышление вслух моей подруги: Не понимаю, любит

ли Тицик Тихею, а она его? Ты думаешь, что он любит ее? Жрицы любви подчиняются только своей богине, — в голосе моей дорогой Магги слышались грустные нотки. — Не твои ли это слова?

На мгновение прервав процесс перехода, я ответил:

— Бывают исключения... Да и наш Тицик тоже не тот, кем он кажется. — Я улыбнулся любимой Магги и стал отсчитывать: один... два... три... Все было готово к обратному переселению душ.

Марко приоткрыл один глаз...

В этот момент страшный грохот потряс весь дом.

И тогда громко и ясно до меня донеслось с небес: "Торопись! Идет Война!"

Раздробленный цемент, кирпичная пыль, арматура посыпалась на голову. Взрывная волна отбросила меня в сторону, и я потерял сознание.

* * *

Когда я пришел в себя, стояла глубокая ночь. Прошло несколько часов с того момента, как я начал отсчет для возвращения в собственное тело. Я не был уверен, что мы с Марко завершили обмен душами и шкурами, и что я нахожусь в собственном теле. Я ощупал себя — болел левый бок, все остальное было в порядке, хотя вся моя шерсть задубела от песка и разила дымом.

На месте нашего дома возвышалась гора разбитых цементных плит, труб, обломков мебели и строительного хлама. На фоне черно-синего неба ярко освещенные прожекторами руины выглядели зловеще — тихо и по-особому пустынно, а за ними (уже вторым планом), угрожающе целился в нас минарет-стрела с зацепившейся за него лунной. По развалинам осторожно ходили какие-то люди в желтых куртках с собаками, те вынюхивали что-то.

Большая группа людей стояла вдали от развалин. Я узнал некоторых из них — это были наши соседи по дому, они стояли, не двигаясь, и тихо переговаривались.

— Что бы это могло быть? Война? Теракт или взорвался газовый баллон? — я приблизился к толпе.

По обрывкам фраз я понял, что из соседнего государства в нашу страну было выпущено несколько ракет, одна из которых прямым попаданием уничтожила наш дом.

— Ну вот и я очутился в зоне военных действий, — мелькнула у меня первая мысль. — Но где Марко? Магги? Тицик и Тихе?

Когда-то Муса-аль-Гершон научил меня подниматься над суетой, чтобы почувствовать состояние близкого существа, которое в этот момент находится далеко.

Я не обнаружил поблизости кота-двойника, а под развалинами лежала Магги — белая шерстка покрылась кровью, недвижимая, но кажется, без видимых ран.

— Скорее всего, мне придется повторить неудавшийся этап совершенствования моей души ...

— Тихе и Тицик должны быть где-то здесь, поблизости, — глазами я стал искать и увидел их в толпе. — Слава богам! — я посмотрел в черное небо. — Тихе увела его из дома. Они наверняка помогут Магги (если она жива), а мне нужно найти Марко.

Я, как мог, привел себя в порядок и отправился на поиски моего двойника.

Около нашего разрушенного дома я развесил объявления: " Если вы увидите черного кота с белым галстучком, окликните его... Возможно, его зовут Марко. Если он отзовется, дайте мне знать. Я буду здесь неподалеку... Мне позарез нужно встретиться со старым приятелем. Война помешала нам закончить одно важное дело... Премного благодарен. Кот Ясик (Ясер Леви)".

Эпилог

Меня зовут Брам Аммо.

Надеюсь, это имя подсказывает, что я нашел Марко. После того, как он обнаружил, что наш дом был разрушен, бродяга согласился перелезть обратно в свою шкуру, а я завершил (слава богам!) самый важный этап в трансформации моей души — процесс реинкарнации!

Тицик и Тихе уехали из этого горячего места в Канаду.

— Там климат прохладнее, — решила Тихе.

С ними мы часто перезваниваемся и обмениваемся праздничными поздравлениями.

Магги контузило взрывом, ей долгое время пришлось лечиться от сотрясения мозга. Я снова был ее сиделкой; все обошлось, но она стала плохо слышать (наверное, к старости). Моя собаченция по-прежнему видит во мне беспомощного младенца; сейчас спит спокойно у моих ног. Я уверен, мудрая леди предвидела все, что произошло с нами, включая мою реинкарнацию, с того самого момента, когда Тихея позвонила в нашу дверь.

Марко как-то упомянул, что многие люди, приезжающие в Израиль, заболевают странной болезнью — они начинают любить эту страну — государство без признанных границ, находящееся под постоянной угрозой уничтожения извне и разрушения изнутри.

— За что? — недоумевал я.

— Это трудно определить. Наверно, здесь воздух такой, инфекционный.

Мне кажется, что я подхватил этот вирус и решил остаться в Израиле.

Мы с Магги перебрались в Иерусалим — он так похож на незабываемый мною город-жемчужину Толедо...

Юлия БЕЛОХВОСТОВА

/ Москва /



ПО РИМСКОМУ СЧЕТУ

I. Все дороги ведут в Рим

А с утра пораньше — попробуй, глаза протри,
ни звезды на небе, ни солнечной полосы,
только-только к шестерке стрелки стянут часы,
а уже с порога дороги уведят в Рим.

И бульвар, сусально вызолоченный листвою,
и тропинка, вытопанная через газон...
Это, видимо, перелетный настал сезон,
даже птичьи следы, царапнув по мостовой,

даже в лужах луну сменившие фонари
и дорожки от них, дрожащие на ветру,
и ходы жуков, прогрызенные в кору,
все дороги ведут из нашего в первый Рим.

Так из дома выйдешь утром в туман и хмарь,
может, мусор выбросить, может, выгулять пса,
а под ноги ложится взлетная полоса,
и на Виа дель Корса луной сияет фонарь.

II. Вечный город

Вечный город берет в объятия, как в осаду,
стоит солнце увидеть в небе его однажды.
В перевернутый купол Петра наливает яду —
не отказывайся, иначе сгоришь от жажды.

Ходят кони понуро по дну сухого фонтана,
где была вода — на камнях осталась полоска.
Там, где пели гимны, теперь продают каштаны,
и нельзя напиток горечью из напёрстка.

И нельзя уместить все эти мосты и крыши
ни в какой свободе республики и верлибра.
Отзываясь на голос ангела, выше, выше
поднимаются воды притихшего было Тибра.

Ты садишься в автобус, словно на колесницу,
и летишь по городу в радости и во славе,
открывая каждую улицу, как страницу,
и в ответ на «*bonjorno*» тебе отвечают «*Ave!*»

III. Римский счет

Считаю до трех: один, два, три...
Увидишь то же, что я? смотри:
на ножке коринфской колонны горит
рассветный небесный гриб,
и свет пронзает его изнутри
лучами: один, два, три.

Считаю дальше : четыре, пять...
А ты до сколько умеешь скучать?
Текут молоком облака — волчат
волчица кормит опять,
и птицей слетает в мою тетрадь
галочка цифры «пять».

И дальше, дальше, до десяти...
Пальцы, как я, на удачу скрести.
Видишь, уже над холмом Палатин
солнце успело взойти,
и мы крестом вышиваем стих,
считаем до десяти.

IV. Parliamo italiano

Наклоняешься над тарелкой,
где кудряво лежат спагетти,
пармезан натираешь мелко
(запах — душу возьмите, черти!)
базилик, бальзамин — по вкусу,
бешамель, болоньезе, песто...
обучите меня искусству
останавливать время жестом!
Дольки красного помидора
под оливковым желтым маслом —
чем не повод для вас, синьора,
побеседовать о прекрасном?
За беседой тянуть просекко
из бокальчика типа «флейта»,
поскрести по своим сусекам
золотистые крошки лета...

А казалось бы, что такого —
макароны запить шампанским?
Из набитого рта — ни слова.
Да, ни слова по-итальянски.

V. Синьор Никола!

По испанским ступеням в итальянское море,
где боками покачивает баркачча,
не идешь, а бежишь, спотыкаешься, скачешь,
выдувая выдохи в ре-миноре.

А вокруг — Борромини, Бернини, Виньола,
травертин, подрумяненный поздним солнцем...
Ты столкнешься, задумавшись, с незнакомцем,
а его окликнут: «синьор Никола!»

И синьор повернется к тому человеку,
показав на прощанье знакомый профиль,
и отправится пить неизменный кофий
в неизменной как время кофейне Greco.

Молодые люди в плащах долгополых,
элегантные дамы в пернатых шляпах —
все скворцами летят на кофейный запах
и на крошки с блюда синьора Николы.

День свернет в переулочек и дальше длится,
набирая крепости, как настойка,
ждет кого-то на Виа Кондотти тройка,
и летит над Тибром редкая птица.

VI. Гоголь-моголь

В молочной чашке чернильный кофе
(не чай французский в хрустальном штофе)
на венском стуле, как на Голгофе
наколот на ржавый гвоздь

сидишь, раскачиваешься нервно
предполагаешь, что прав Коперник
и мир вращается равномерно
меняя на радость злость,

меняя вечер (как это мудро!)
на свежеепеченное утро
и посыпая сахарной пудрой
взошедший в окно желток

взбивая облако ложкой долгой
до пены (сахара тут не много ль?)
пьешь получившийся гоголь-моголь
растягивая глоток



Игорь БЕЛИКОВ

/ Иерусалим /

КРЕСТНЫЙ ПУТЬ¹

Виа Долороса как маршрут Крестного пути начал складываться довольно поздно — в 13–14 веках, а в нынешнем своем виде сформировался, можно сказать, совсем недавно — в середине 19 века. Тогда же утвердились и нынешние 14 остановок («станций»), связанные с событиями, произошедшими с Иисусом во время Крестного пути. Последние пять из них находятся внутри храма Гроба Господня. Недалеко от Львиных ворот, почти напротив греческой церкви святой Анны, министерство туризма Израиля на специальной каменной стенке разместило выгравированные на металле 14 небольших картин, которые являются образным пояснением того, с чем связана та или иная остановка.

Каждая из девяти «внешних» остановок помечена прикрепленным к стене металлическим кругом с римской цифрой, отмечающей ее порядковый номер. Все они находятся на Виа Долороса. И вместе с тем, Виа Долороса — это не абстрактный символ, а реальная улица, по которой ходят люди, бегают кошки и собаки, иногда проезжают ослики, на которой находится масса магазинчиков и лавок, торгующих типичным ассортиментом восточного базара. Я даже сфотографировал вывеску одного из магазинов на этой улице, чтобы подтвердить ее материальность — «Хадер М. Байдун и сыновья. Лучший антиквариат. Иерусалим, улица виа Долороса, 28, адрес Интернет-сайта магазина www.baidun.com Рабочие часы с 10 до 18, телефон...».

По маршруту Крестного пути, проходящему по улице Виа Долороса, и повела нас наш гид.

Исходной точкой движения по Крестному пути является место осуждения Иисуса на смерть через распятие, после чего он подвергся бичеванию, на него надели багряницу (плащ красного цвета — насмешка над приписанной Иисусу Синедрионом претензией быть «Царем Иудейским»), возложили терновый венец и крест. Этим событиям посвящены первые две остановки. Согласно традиции, они происходили на территории места

¹ Из книги «Израиль: почти паломничество». Книга выходит в издательстве «Алетейя» в 2015 г.

с названием Преторий, под которым принято понимать что-то вроде временной резиденции римского префекта Понтия Пилата, в которой он останавливался, когда приезжал в Иерусалим из своей постоянной резиденции в Кейсарии, на побережье Средиземного моря. Также принято считать, что находился Преторий на территории крепости Антония, построенной Иродом Великими и названной в честь римского полководца Марка Антония. Того самого, который связал себя слишком тесными узами с египетской царицей Клеопатрой и потерял жизнь в неудачном противоборстве за наследование власти Юлия Цезаря с Октавианом, будущим императором Августом.

В Преторий к Пилату члены Синедриона, «начальники иудейские», привели схваченного в Гефсиманском саду Иисуса после того, как Он провел ночь в тюрьме возле дома иудейского первосвященника Каифы, и Синедрион, высший иудейский судебный орган, вынес ему смертный приговор. Иудея находилась тогда под властью Рима, поэтому приговор должен был утвердить верховный представитель римской власти, которым был префект Понтий Пилат. И здесь разворачивается драма, которая на протяжении почти двух тысячелетий продолжает волновать многих людей.

Согласно Евангелиям, Пилат пытался избежать утверждения смертного приговора. На первом допросе он проявил не рвение следователя, а скорее снисходительное любопытство высокопоставленного чиновника великой империи к странному бродячему философу из дальней провинции, в которой префекту по воле римского кесаря пришлось служить. В Иудее людей, считавших себя пророками и мессиями, было больше, чем в каком-либо другом уголке империи. Так что, похоже, Пилат в начале не проявил особого интереса к осужденному. «Ты — Царь Иудейский? ... Твой народ и первосвященники предали Тебя мне; что Ты сделал?», спросил Пилат. Иисус сказал: «Царство Мое не от мира сего... Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине; всякий, кто от истины, слушает гласа Моего». Похоже, Пилат не был особо впечатлен этим ответом, но не нашел в нем ничего опасного. «Пилат сказал Ему: что есть истина? И, сказав это, опять вышел к Иудеям и сказал им: я никакой вины не нахожу в Нем».

Однако Синедрион продолжал настаивать на том, что Иисус должен быть казнен как опасный преступник. «Если отпустишь Его, ты не друг кесарю; всякий, делающий себя царем, противник кесарю». Это уже был конкретный политический шантаж. Тут лучше передать слово Михаилу Булгакову: «Пилату показалось, что... будто вдали проиграла грозно трубы и очень явственно послышался носовой голос, надменно тянущий слова — "закон об оскорблении величества..."». Дальше сопротивляться давлению Синедриона было уже опасно для своей карьеры и, может, даже жизни.

Когда Иисус снова предстал перед Пилатом, то у Претория собралась большая толпа — горожане, «иудейские начальники и старейшины», которые шумели все громче, требуя вынесения обвинительного приговора. У Зинаиды Гиппиус это описано в четырех строках, но так, как будто она там присутствовала —

Недавно мы с тобою
По площади бежали второпях,
К судилищу, где двое пред толпою
Стояли на высоких ступенях.

По сравнению с другими римскими провинциями, не говоря уж о самом Риме, жизнь в Иерусалиме была до оскомины монотонной. Ни театра с привычными в других частях империи захватывающими — веселыми или трагическим — представлениями, ни цирка с льющейся кровью гладиаторов и диких зверей. Иудейская ортодоксия сковывала немислимо. Забежать к соседу иной веры и то означало осквернение и влекло длинные и сложные процедуры очищения. Разве что происходившие время от времени побиения камнями да распятия на кресте нарушали монотонность иерусалимской жизни. Думаете, преувеличиваю? Во время одной из экскурсий по местам появления привидений в ночном Лондоне гид-англичанка рассказала нам, что так часто используемое сейчас слово «гала», означающее какое-то пышное представление (гала-шоу) — это производное от английского слова gallows, «виселица». Еще в начале 19-го века лондонцы собирались на публичное повешение как на перво-статейное развлечение — с родственниками, кружками пива и бутербродами, стремясь занять местечко в первых рядах. Очень сомневаюсь, что жители Иерусалима начала первого века были намного более гуманными. Уверен — также стремились прорваться в первые ряды. «Из десяти девять не знают отличия тьмы от света, истины от лжи, чести от бесчестия, свободы от рабства. Также не знают и пользы своей». Это мудрые братья Стругацкие о тех временах. Да только ли о тех?

Пилат решил воспользоваться одной из еврейских традиций: правитель мог простить одного из преступников, осужденных на казнь, по выбору народа. В тот день, помимо Иисуса, на казнь были осуждены еще три преступника, одним из которых был некий Варавва, разбойник, совершивший тяжкие преступления — грабежи и убийство. Выйдя к собравшейся толпе, Пилат предложил освободить Иисуса, но она стала требовать отпустить Варавву. Тогда по приказу Пилата римские солдаты отвели Иисуса во двор и подвергли его жестокому бичеванию. Похоже, Пилат полагал, что собравшийся народ сочтет это достаточным наказанием.

В базилике Санта Прасседе в Риме хранится колонна из резиденции Пилата в Претории, к которой, согласно преданию, во время бичевания был привязан Иисус — метра в полтора, из серого пятнистого камня, по форме напоминающая песочные часы. Обычно возле нее образуется небольшое скопление посетителей, стремящихся прикоснуться к ней. Я тоже прикоснулся к ней — прохладная шершавая поверхность. Смотрел на нее и думал — неужели это та самая, из Иерусалима? Желание историка увидеть настоящую историческую реликвию боролось со скепсисом...

После бичевания на Иисуса надели багряницу, «и сплетши венец из терна, возложили Ему на голову и дали Ему в правую руку трость; и, становясь пред Ним на колени, насмехались над Ним...». После этой экзекуции, выведя окровавленного Иисуса в таком наряде к толпе, Пилат ска-

зал ей — «Вот, человек», имея в виду, что этот человек уже достаточно наказан. Но толпа продолжала с еще большей настойчивостью требовать отпустить Варавву и распять Христа. «Пилат, видя, что ничто не помогает, ... взял воды и умыл руки перед народом, и сказал: невиновен я в крови Праведника Сего». С тех пор этот жест, до того бывший лишь частью еврейского ритуала жертвоприношения, стал жестом, понятным разным народам без дополнительного пояснения: «я в этом участия не принимаю и ответственности не несу».

Почему толпа перед Преторием так жаждала смерти Иисуса, хотя, скорее всего, в ней было немало тех, кто совсем недавно кричал «Осанна» (на греческом — приветственный возглас) Иисусу при Его въезде в город? Евангелия отвечают на это — народ был научен иудейскими старейшинами. «Отче! отпусти им, не ведя бо, что творят...».

Еще одна цитата, на мой взгляд, очень поучительная:

«Беседуя с верующими старушками, я показываю на изображение распятого Христа и спрашиваю известную мне постоянную богомолку:

— Акулина! Ты знаешь, кто это распят на кресте?

— Это, Владыко, Господь наш Иисус Христос, — отвечает.

— А знаешь, за что Его, Господа нашего Иисуса Христа распяли? — продолжаю расспрашивать я.

Немного помешкав, старушка отвечает:

— Знать, было за что, Ваше Высокопреосвященство».

Этот диалог очень похож на анекдот из серии «черного юмора». Но, к сожалению, он является документальным фактом — фрагментом из отчета одного из архиереев русской церкви Священному Синоду, написанного в 1913 году.

Надо ли говорить, что сомнению в описанной в Евангелиях истории подвергается все. И сам факт суда, и иудейская традиция отпускать на волю одного из преступников в честь праздника Пасхи, и состав действующих лиц.

Сомнения в существовании Иисуса — вообще отдельная тема, которой я касаться не буду.

До недавнего времени отрицали существование Пилата как исторического персонажа. Пока в Кесарии, израильском городе на побережье Средиземного моря, не нашли плиту с его упоминанием как римского префекта (именно префекта, а не прокуратора) Иудеи.

Что касается истории с освобождением Вараввы, то согласно одной из версий, того тоже звали Иисус, а его полное имя было Иисус Бар-Аба («Бар Аба» на арамейском — «сын отца», «Варавва» — это русифицированное имя), а полное имя Иисуса из Назарета (Христа) было — Иисус Бар Иму («сын матери»). И народ на площади хотел освободить Бар Иму, т.е. Иисуса, а казнить Бар Абу, но просто запутался в именах. Есть мнение, что Бар-Аба было прозвищем самого Иисуса Христа из-за его привычки обращаться к Богу словом «отец», на арамейском — «аба». Часть исследователей считает, что вся история с выбором между Иисусом и «Вараввой» — назидательная выдумка в соответствии с шаблоном древнего предания об искупительной жертве или ошибка древних переводчиков с арамейского на греческий.

Но все эти сомнения и развенчания нисколько не помешали описанной в Евангелиях истории формировать моральные принципы, питать философские размышления о смысле бытия и истине, вдохновлять на протяжении почти двух тысяч лет людей искусства.

Очень длинен список художников, создавших картины, на темы, связанные с арестом и судом Пилата над Иисусом. Одни страсти вокруг картины Николая Ге «Что есть истина (Христос перед Пилатом)» из его знаменитого «Страстного цикла» чего стоят! Изображенный художником Христос, моральный победитель, но без привычных соответствующих внешних признаков, измученный и истерзанный, был отвергнут церковью, властями и многими собратьями по кисти. Александр III лично написал отзыв — «Картина отвратительная, снять!» И лишь спустя годы было признано, что Ге подошел к изображению этого сюжета реалистично, используя новую изобразительную технику для передачи связанных с ним мыслей и настроений. Думаю, этого вполне достаточно, чтобы пойти в Третьяковку и посмотреть (впервые или заново) картины Ге из «Страстного цикла».

А если перечислять писателей и поэтов, вдохновленных историей суда Пилата, то, боюсь, превращу книгу в справочник по истории культуры.

Некоторые церкви очень «продвинулись» в новом понимании Понтия Пилата. В то время как большинство церквей считает его одним из виновников казни Иисуса, в Коптской и Эфиопской церквях Понтий Пилат причислен к лику святых как мученик, умерший за веру. Каждый год 25 июня отмечается ими как день «святого Пилата».

Варавва тоже не остался в полном забвении. Он стал героем эпического фильма своего имени («Barabbas»), по нынешнему блокбастера, поставленного в 1961 году по одноименному роману шведского писателя Пера Лагерквиста, получившего за роман Нобелевскую премию. В нем Варавва, в исполнении молодого Энтони Квина, присутствует при Распятии, после многих приключений присоединяется к христианам и заканчивает свою жизнь в Риме, распятый рядом со святым Петром. В начале 1980-х годов мне удалось посмотреть этот фильм. В одном из институтов Академии наук, где я был аспирантом, действовал кино клуб. Фильмы брали из разных посольств, но в основном из польского. Хотя в Польше уже действовал режим военного положения, на посольстве это мало отразилось. Его отдел культуры по-прежнему хранил в своем архиве фильмы мировой киноклассики, в том числе и на сомнительные, с советской точки зрения, темы, фильмы опальных польских режиссеров, таких, как Анджей Вайда, и охотно предоставлял их нашему клубу. Кто такой Варавва я узнал только в день показа фильма. Прошло много лет, но общее сильное впечатление от фильма сохраняется у меня до сих пор. Теперь Интернет позволяет свободно посмотреть любые фильмы, в том числе и этот.

Размышления о том, что есть истина, активно продолжают и сегодня. А некоторые предположения в отношении того, где ее можно найти — более чем неожиданные. Надпись на стене главного вестибюля здания Центрального разведывательного управления (ЦРУ) в Лэнгли, под Вашингтоном, гласит — «И познаете истину, и истина сделает вас свободными» (Евангелие от Иоанна, 8:32).

На протяжении последующих двух тысячелетий националистически настроенные христианские клерикалы возлагали на евреев вину за распятие Христа, считая это основанием для еврейских погромов и прочих притеснений евреев. Когда в марте 2011 года папа римский Бенедикт XVI заявил, что католическая церковь снимает с еврейского народа вину за распятие Иисуса — все израильские СМИ поместили эту новость в качестве важнейшей и одной из самых срочных. А израильский премьер, комментируя это заявление, не мог сдержать радостной улыбки и вообще выглядел так, как будто в этот день Израиль подписал мирный договор со всеми арабскими государствами Ближнего Востока вместе взятыми. Вот вам и «исторические предания»!

Возвращусь, однако, в Иерусалим к первым двум остановкам Крестного пути.

О том, где именно находилась крепость Антония, а значит и Преторий, до сих пор ведутся споры. Но согласно наиболее распространенной точке зрения, территория крепости и Претория ныне оказалась разделенной между мусульманской школой Эль-Омария, двумя католическими монастырями — францисканским *Esse Homo* («Се Человек») и Сестер Сиона — и несколькими католическими капеллами. На территории Эль-Омарии нет никаких достопримечательностей, хотя именно от нее францисканцы начинают свою процессию Крестного пути. Все достопримечательности сосредоточены в католических монастырях и капеллах.

Пройдя через ворота, справа по Виа Долороса, мы оказываемся на территории комплекса, принадлежащего католическому ордену францисканцев. От улицы она отделена высокой стеной. Здесь находится сразу несколько объектов, по преданию, связываемых с Крестным путем. Справа от входа — небольшая церковь (капелла) Бичевания, прямо напротив входа — францисканский Институт по изучению Библии, налево от входа — церковь Осуждения.

Считается, что церковь Бичевания стоит на месте, где Иисус был подвергнут бичеванию плетью, после того, как Пилат первый раз показал Его собравшейся толпе. Здесь же на Него надели багряницу, возложили терновый венец, и, после того, как Пилат подтвердил смертный приговор, вынесенный Синедроином, здесь на Иисуса возложили крест, который Он пронес до Голгофы. Внутренняя часть стены, примыкающая к церкви, увита плющом или похожим на него растением, свежий запах которого растекается в воздухе двора. Портал церкви очень простой и строгий, стилизован под ранние византийские христианские храмы. Внутри церковь небольшая, однонефная, но ее интерьер производит очень сильное впечатление: кремовый мрамор стен, светлые арки в сочетании с темными витражами в центре и на стенах, изображающими происходившие здесь события — «Пилат умывает руки», «Поругание Христа», «Освобождение Вараввы». Купол представляет собой изображение тернового венца, как бы нависающего над посетителями. Все это создает впечатление суровости и трагизма. Нынешнее здание церкви было построено известным итальянским архитектором Антонио Барлуцци в 1920-е годы на фундаменте ранее стоявших здесь древних храмов. С творениями Барлуцци мы будем сталкиваться многократно и в Иерусалиме, и в других местах в Израиле. Недаром он получил неформальный статус «архитектора Святой земли».

Он, несомненно, является выдающимся, даже гениальным архитектором, определившим облик очень большого количества самых значимых христианских сооружений на территории нынешнего Израиля. Достаточно назвать лишь некоторые из них — церковь Всех Наций, церковь Преображения, церковь Нагорной Проповеди, церковь Посещения, церковь святого Лазаря. Лишь на Святой земле им построено более двух десятков сооружений. И каких! Каждое из них производит глубочайшее впечатление глубинной, духовной связью с местом и событием, которое, как считается, произошло на этом месте, и которое сооружение призвано увековечить.

Вот что он сам говорил о своем методе: «В Палестине каждое из Святых мест имеет прямое отношение к конкретной мистерии в жизни Иисуса Христа. Совершенно естественно, в этом случае, отказаться от типовой архитектуры, постоянно повторяющей одно и то же, и попытаться строить архитектурный образ так, чтобы он выражал религиозные чувства, вызываемые именно данной мистерией. Тогда верующий, входя в святилище, легко сможет представить себе соответствующий евангельский рассказ и сосредоточиться мысленно на самой сути именно здесь, в единственный миг истории свершавшегося таинства. Не выбирать сначала — более или менее стандартно или, наоборот, субъективистски ту или иную форму и потом всё подгонять под неё, а определить основную религиозную концепцию Святого места, для которого строится храм, и архитектуру подбирать под эту концепцию каждый раз интуитивным и независимым образом».

Уверен, его творения заслуживают того, чтобы стать самостоятельными объектами посещения. Такими как Парфенон в Афинах, Пантеон в Риме, собор Святого Семейства Антонио Гауди в Барселоне и даже «Мона Лиза» в Лувре. Не преувеличиваю. А если нет возможности увидеть шедевры Барлуцци «вживую», то очень советую посмотреть их хотя бы на фото и прочитать в Интернете их описание, сделанное Сержем Вольфсоном, нашим бывшим соотечественником. Не пожалееете.

Но вернемся к Крестному пути.

Из церкви Бичевания через мощный камень двор мы перешли в храм напротив — капеллу Осуждения и Возложения Креста. Считается, что она стоит на месте, куда Иисуса вывели из резиденции Пилата (Претория?) уже после приговора, с возложенным крестом Распятия.

Нынешнее здание церкви было построено в самом начале 20 века также на месте древних церквей. Но интерьер ее не идет ни в какое сравнение с тем, что мы увидели в капелле Бичевания. Стены украшены простоватыми фресками, мозаикой, небольшими витражами под куполом. Главная же ее особенность — в фигурах из папье-маше в нескольких нишах, образно рассказывающих о произошедших здесь событиях. Пилат, произносящий приговор; Иисус, спускающийся по лестнице во двор к кресту; несущий крест Иисус; апостол Иоанн, пытающийся помешать Деве Марии увидеть Иисуса, несущего крест. Традиция изображать Библейские сюжеты фигурами из папье-маше родилась в средние века в сельских районах Франции, где подавляющее большинство прихожан-крестьян были неграмотны. Священники ломали голову над тем, как донести до них содержание Евангелий в дополнение к церковным службам.

И кому-то пришла идея создания такой наглядной пропаганды: основные сюжеты стали изображаться в виде фигур из папье-маше, устанавливавшихся в сельских церквях и время от времени обновлявшихся. Почему эту традицию решили использовать при оформлении этой церкви не очень понятно, учитывая время ее возведения.

Особо стоит обратить внимание на композицию, изображающую Иисуса, стоящего на нижних ступенях лестницы. В Риме, в личной папской часовне Сан-Лоренцо, в сооружении справа от базилики Сан-Джовани-ин-Латерано находится «Святая лестница», причисляемая католической церковью к одной из своих величайших святынь. Считается, что это та самая лестница, по которой Иисус спустился из резиденции Пилата во двор крепости Антония после вынесения приговора. Она-то и изображена в церкви Бичевания.

Ватикан утверждает, что в 326 году императрица Елена вывезла эту лестницу, находившуюся где-то здесь, в остатках резиденции Пилата, в Рим. И вот уже на протяжении столетий приезжающие в Рим паломники отправляются сюда, чтобы подняться на коленях по ее 28 ступеням и тем самым очиститься от грехов. Доступ к лестнице свободный, единственное условие — подниматься по ней исключительно на коленях. Лестница покрыта «чехлом» из очень твердого дерева, через несколько прорезей в котором можно видеть мрамор лестницы. Деревянное покрытие само по себе исключительно твердое. Колени многочисленных верующих выдавливали в деревянном покрытии ступеней многочисленные углубления неправильной формы, которые сильно впииваются в колени тех, кто сейчас поднимается по лестнице. Я видел, как некоторые паломники, пройдя на коленях вверх по лестнице 4-5 ступеней, в смущении пятились назад, понимая, что едва ли смогут подняться до конца. На четвертой, пятой и последней ступенях в деревянном покрытии есть отверстия, прикрытые стеклом, через которые можно видеть неяркие темные пятна на мраморных ступенях. Считается, что это капли крови Христа, оставшиеся, когда Он поднимался и спускался по лестнице в резиденции Пилата. Вопрос о том, как эти пятна могли сохраниться на протяжении почти 2000 лет, для верующих не существует.

Часть каменного пола церкви Бичевания — это плиты, сохранившиеся с римских времен. Но не времени Распятия, как утверждают многие гиды и путеводители, а середины 2 века, времени города Элия Капиталина, построенного по приказу римского императора Адриана на месте Иерусалима. На них и сейчас видны насечки для предотвращения скольжения сандалий людей и копыт лошадей. Это каменное мощение, по-гречески «литостратос», считается одной из немногих подлинных римских достопримечательностей. Выйдя из церкви, мы с интересом рассматривали древние каменные плиты двора, расставленные по двору остатки древних колонн, часть из которых прячется среди пальм и кустов. Эти каменные реликвии, голуби, запахи цветов — все это создает атмосферу спокойствия и отрешенности. Но, конечно, когда здесь нет туристов. Нам в этом отношении повезло.

Древнее каменное мощение уходит за стену, в находящийся за ней монастырь Сестер Сиона, территория которого тоже входит в комплекс первой и второй остановок Крестного пути. Поэтому мы отправляемся туда.

Внутри монастыря туристам пройти нельзя. Но то, что нам нужно, находится на площадке перед входом в него. Это продолжение «литостратоса». На этом его участке процарапано много различных геометрических фигур. По словам экскурсовода, это сделали римские солдаты, проводившие здесь время на посту, развлекаясь игрой в кости. Через стеклянную стену можно увидеть церковь *Esse Homo* («Се, человек»), в алтарной части которой хорошо видна ее главная достопримечательность — одноименная арка. Как я ранее упомянул, согласно Евангелиям, это были слова, с которыми Пилат вывел Иисуса к толпе перед Преторием после бичевания. В алтарной части мы видим одну из двух сохранившихся арок. Остатки же второй перекрывают улицу *Виа Долороса* и уходят в здание на другой ее стороне. Сверху на второй арке надстроено какое-то жилое помещение, являющееся частью соседнего арабского жилого дома. Пространства в Старом городе очень мало, так что все стараются использовать любое основание, на котором можно поставить дополнительную жилую площадь.

Долгое время арка считалась тем местом, с которого Пилат и произнес эти слова, ставшие знаменитыми. Некоторые гиды и путеводители до сих пор это утверждают. Но археологи и историки категоричны в том, что это арка времен императора Адриана, то есть 2 века.

К монастырю Сестер Сиона примыкает здание из белого камня, цвет которого резко контрастирует с ведущей в него черной дверью и нарисованными на ней белыми крестами. Табличка на двери на трех языках (греческом, английском и русском) гласит — «Темница Христа». От неожиданности впадаю в легкий ступор. Откуда она здесь?! Еще не привык, что это Иерусалим, где история вообще, а раннего христианства в особенности, существует во многих вариантах и версиях. В данном случае — это версия, излагаемая Иерусалимской православной церковью, которой принадлежит здание — церковь Обряжения в Багряницу. Наши собратья по вере утверждают, правда, без особой настойчивости, что суд над Иисусом происходил здесь, и именно здесь Он содержался в ночь после ареста в Гефсиманском саду. Отсюда православные начинают свой Крестный ход в православную Страстную пятницу.

Заходим в церковь. Спроектирована она точь-в-точь как та, в которой находится монастырь — дом святых Анны и Иакова, родной дом Девы Марии. Только вход в темницу, ведущий в помещения под зданием, не справа, как там, а слева.

На цокольном этаже расположена небольшая церковь. Суровый бородатый монах торгует здесь церковно-туристическими сувенирами. Причащая прихожан и отпуская им грехи, он смотрелся бы куда органичнее.

На первом подземном этаже находится небольшая ниша с каменной лавкой, в которой сделаны два отверстия. Заключение сажали на нее, просовывали его ноги в эти отверстия и снизу связывали вместе щиколотки его ног. Как пояснял лежавший на плите указатель, это и считается местом, где содержался Иисус в ожидании суда. Такая античная камера предварительного заключения. Второй и третий подземные этажи представляли собой небольшие пещеры с выдолбленными в стенах нишами и глубокими ямами. К стене одной из таких ям на самом нижнем этаже прикреплена пояснительная табличка — «Темница разбойников и Вараввы». Какая точность: держали их не просто на этом

этаже, а конкретно в этой яме... Впрочем, очень много археологов и историков считает, что там, где католики поставили свои церкви и монастырь, Преторий тоже не находился. Но где же — сказать не берутся. Такая «конкретика», судя по всему, кроме самих историков, в Иерусалиме никому не нужна.

На выходе мы купили небольшую интересную икону. Печальный Иисус на ней намного ближе к образу картины Ивана Крамского «Христос в пустыне», чем к привычному каноническому иконописному изображению.

Идем дальше по Виа Долороса и доходим до пересечения ее с улицей эль-Вад. Здесь, за поворотом, на левой стороне, на расстоянии нескольких метров друг от друга, находятся третья и четвертая остановки. Согласно традиции, третья остановка отмечает место, где Иисус первый раз упал под тяжестью креста. Об этом напоминает небольшой барельеф на стене часовни армян-католиков. Четвертая остановка находится на месте последней встречи Иисуса с Богородицей, которая стояла здесь на Крестном пути, и отмечена барельефом над дверью, ведущую в здание патриархии Армянской католической церкви. Для меня существование такой церкви было полным открытием. Я считал, что армяне отличаются большой сплоченностью не только в личных и деловых отношениях, но в вопросах религии. Но оказалось, что хотя подавляющее большинство их принадлежит к Армянской апостольской церкви (которую у нас именуют Армяно-григорианской), уже почти 900 лет существует и Армянская католическая церковь, подчиняющаяся Ватикану. Ее прихожане были и в царской России, так что после 1917 года их унаследовала Советская Россия. Но это плохо для них кончилось: к концу 1940-х годов все ее иерархи и большая часть прихожан оказались в местах очень отдаленных, откуда мало кто из них вернулся. Сейчас в Москве есть церковь армян-католиков, единственная на всю Россию. Стоит также упомянуть, что в начале 20 века существовала и Российская католическая церковь византийского обряда (российские грекокатолики), подчинявшаяся Ватикану, хотя и в особом статусе. В результате репрессий 1930-х годов общины этой церкви были уничтожены и возродились лишь в середине 2000-х годов.

Двигаясь дальше, мы поравнялись с процессией пожилых итальянцев. Человек 30–40 растянулись по улице, держа в руках тексты Библии и читая, по-видимому, отрывки из Евангелий, относящиеся к Крестному пути. Три человека в центре группы несли небольшой крест, метра два длиной. Лица у всех были очень сосредоточенные и погруженные в себя, как будто кроме них на улице не было совершенно никого.

Где-то здесь, по преданию, случилась история, породившая легенду об Агасфере, знаменитом Вечном Жиде. Согласно, так сказать, базовому ее варианту, Иисус, проходя по улице с крестом на плечах, попросил одного из ее жителей разрешения прислониться к стене его дома, чтобы отдохнуть. Но тот не только грубо отказал, но и толкнул или даже ударил Иисуса, сказав насмешливо: «Иди скорей, чего так медлишь?». На что Христос ответил ему: «Я пойду, но ты дождешься Моего возвращения». С той поры этот грешник странствует по свету, мировой литературе, живописи и кинематографии в ожидании Второго пришествия. Старея и дряхлея до столетнего возраста, чтобы потом стать молодым и начать новый цикл. Он давно раскаялся и жаждет смерти, но ничего поделать не может.

Столько лет я бредил наяву,
Воскресал и умирал так часто,
Что не помню, для чего живу,
И на жизнь взираю безучастно.
Годы — точно палая листва.
Сколько их? Я не веду им счёта.
Каждый раз на новые места
Гонит в путь неведомое что-то.
Города сменяют города.
Я иду, не глядявываясь в лица,
Но одно запомнил навсегда,
И оно мне лунной ночью снится...
Южный город. Буйствует толпа.
Этот человек остановился —
Изнемог под тяжестью столпа
И к моей хибаре прислонился.

М. Лаврентьев.

В «Золотом теленке» Остап Бендер убеждал иностранных корреспондентов, что случайно забредя в Советскую Россию во время гражданской войны, Вечный Жид здесь наконец-то расстался с жизнью: расстреляли его петлюровцы. Как мы верили, что с нами почти две тысячи лет предшествующий истории перестают существовать, и мы начинаем писать историю заново. В этой новой истории не было места фигурам прошлого куда более значимым, чем какой-то Вечный Жид...

До поворота Виа Долороса шла в основном вдоль глухих стен, но после поворота картина резко переменилась. Отсюда и уже до самого ее конца она резко сужается, и обе ее стороны представляют собой нескончаемые прилавки восточных лавок и магазинов. Их владельцы и продавцы видят во всех оказывавшихся рядом с ними потенциальных покупателей и ведут себя соответствующе, передавая туристов по цепочке.

Пятая остановка является одной из наиболее известных. Считается, что Иисус изнемог здесь под тяжестью креста, тогда кто-то из римских солдат схватил проходившего мимо человека, Симона Кириянина, и заставил его нести крест за Иисуса какое-то расстояние. Для увековечивания этого события здесь с 1895 года стоит небольшая католическая часовня Симона Кириянина (Кириянского) с простым и строгим порталом, который делает ее внешний вид очень древним. Аскетический интерьер, в центре — сделанный в экспрессионистско-модернистском стиле барельеф: Симон принимает крест у Иисуса. Странно, но такой барельеф смотрится в часовне очень органично. На внешней стене часовни, справа от входа на уровне человеческого роста в стену вмонтирован темный камень с вмятиной посредине, напоминающей расплывшийся отпечаток ладони. Согласно легенде, это отпечаток ладони Иисуса — то ли опершегося о стену, то ли споткнувшегося и опершегося на камень мостовой. Все по очереди прикладывают свои ладони к этому отпечатку. Поцеловать его никто из нашей группы не решился. Но мы видели, что многие с радостью это делают.

Волнующая история с глубоким моральным смыслом, впечатляющий интерьер часовни — все это настраивало постояльцев здесь в размышлении. Но не тут-то было.

Здесь Виа Долороса делает еще один поворот, и на этом углу оказались на редкость настырные торговцы. Услышав, что гид говорит по-русски, несколько из них тоже на русском (вот полиглоты!) с минимальным акцентом и максимальной убедительностью стали навязывать свой товар. А чтобы предложения их были совсем доходчивы, включили свой голос на максимум громкости, забывая голос гида: «СИМ-карты! Де-е-еш-е-е-в-ы-е СИМ-карты!!! С-а-а-м-ые лучшие-е-е телефоны-ы-ы!!! Чеканка!!!! Настоящий антиквариат!!!!!!». Так и не предавшись должным здесь размышлениям, мы скорым шагом двинулись к следующей остановке, наивно надеясь оторваться от торговцев. Но было поздно. Часть из них двинулась за нами, а другие просто передали нас по цепочке.

Наверное, над толпой, следовавшей за Иисусом, несущим крест, раздавались похожие крики торговцев. Только товары они предлагали другие.

Шестой остановкой считается место, где некая женщина по имени Вероника отерла грязь и кровь со лба Иисуса. Это место находится на очень узком участке Виа Долороса, идущем в гору. Оно отмечено металлическим кругом с римской цифрой, висящим над мощной деревянной дверью, укрепленной несколькими рядами металлических полос, и куском древней колонны, вмурованным в стену. За этой дверью — греко-католическая церковь и женский монастырь святой Вероники, к реставрации которых приложил свою руку все тот же Антонио Барлуцци. Первый этаж здания считается домом Вероники. Как во многих других случаях, находящаяся здесь церковь стоит на фундаменте более ранней, византийской церкви. Эта история, пожалуй, известна еще больше, чем история с Симоном Кириянеянином. По легенде, на платке Вероники навсегда осталось изображение лица Иисуса — нерукотворный лик. В русских церквях икона Спаса Нерукотворного — одна из самых почитаемых. Почти вплоть до царствования Петра Великого большие изображения Спаса Нерукотворного, закрепленные на длинных шестах, играли в русском войске роль знамен. Под ними наши предки сражались, например, на Куликовом поле.

Думаю, многие слышали или читали о Туринской плащанице — большом куске материи, на котором непонятным для современной науки образом отпечаталось тело человека, умершего в результате распятия. Церковь считает ее погребальным саваном Иисуса. Исследования ткани показали, что она вполне могла быть изготовлена в здешних местах в первом веке. А детали изображения открыли портрет умершего, который полностью соответствует каноническому изображению Иисуса и поражает гармоничной красотой и величественной отрешенностью. Пишу это не с чужих слов и не только на основании фотографий в книгах. Ватикан подарил точные копии Туринской плащаницы ряду храмов, и я видел одну такую копию в греко-католическом (униатском) соборе Святого Юра во Львове пару лет назад. Долго стоял перед ней. Лицо на ней производит необычайно сильное впечатление.

Плат святой Вероники хранится в реликварии Ватикана. Вокруг него ведутся острые споры, подобные спорам вокруг Туринской плащаницы. Признается необычность ткани, из которой он сделан, и непонятная природа самого изображения. Но смущает то, что лицо на ней с закрытыми гла-

зами. Согласно преданию и свидетельствам ранних паломников, на плате Вероники лицо Иисуса отпечаталось с открытыми глазами. По одной из версий, плат в Ватикане — это тот, которым Мария Магдалена покрыла лицо Иисуса во время его положения во гроб после снятия с креста.

12 июля католики празднуют день святой Вероники. Фотографы заявляют, что считают ее покровительницей своей профессии. На мой взгляд, это уже утрата чувства меры. В Интернете даже есть масса сообщений на тему того, что папа римский, якобы закрепил это своим «указом», и что 12 июля празднуется день фотографии. Это, конечно, полная нелепица. Официальным праздником фотографов является 19 августа — Всемирный день фотографии, определенный в честь сугубо мирского события. Католическая церковь официально считает святую Веронику покровительницей прачек. Выбор, на мой взгляд, странный и двусмысленный. Ведь ее плат — это кусок ткани с отражением Святого Лика с потом и кровью, а прачки занимаются прямо противоположным — удаляют с тканей любые пятна. В календаре православных праздников РПЦ день 12 июля значит как день памяти праведной Вероники. В православии за ней, по-моему, не закреплено покровительство над какой-то конкретной профессией.

Продавцы окружающих лавок продолжали свою осаду. Несколько изменился лишь ассортимент предложений, но не их настырность. В результате, у некоторых, не слишком стойких в вере паломников из числа новообращенных и туристов от этого участка Виа Долороса может случиться легкое помутнение памяти и сложиться примерно такой ассоциативный ряд: пятая остановка — дешевые СИМ-карты, телефоны и чеканка; шестая остановка — антиквариат, текстиль, кальяны, керамика.

Через несколько десятков метров подъема Виа Долороса, как улица, заканчивается у массивной черной металлической двери с геометрическими рисунками красного цвета. Это седьмая остановка Крестного пути, отмечающая место второго падения Иисуса. Считается, что эта дверь находится на месте ворот, за которыми Иерусалим в те времена заканчивался. С 1875 года на этом месте стоит францисканская капелла.

Восьмая и девятая остановки находятся совсем недалеко от седьмой. Но путь к ним уже не представляет собой единого маршрута из-за плотной застройки этой части города.

Восьмой остановкой считается место, где Иисус обратился к иерусалимским женщинам, следовавшим за ним и оплакивавшим его, и предрек скорую гибель города. К ней ведет узкая улочка, начинающаяся за углом францисканской капеллы. Остановку отмечает круглый камень над входом в греческий монастырь святого Харлампия, похожий на кусок древней колонны, на торце которой — аббревиатура на греческом, расшифровывающаяся как «Иисус Христос — Победитель».

Девятая остановка обозначает место третьего падения Иисуса и отмечена колонной при входе в Коптскую Патриархию. Чтобы попасть к ней, надо вернуться к францисканской капелле, повернуть направо от окончания Виа Долороса, и через метров десять свернуть в узкий переулок.

Остальные остановки находятся уже в храме Гроба Господня — десятая (снятие одежд), одиннадцатая (прибитие к кресту), двенадцатая (смерть на кресте), тринадцатая (снятие с креста) и четырнадцатая (положение во гроб).

Восьмую и девятую остановки мы осмотрели уже самостоятельно, через день, так как наш маршрут в этот день не проходил мимо них. Продолжая наш маршрут, свернув налево от францисканской капеллы, мы пошли по узкой торговой улочке Сук Хан эз-Зейт, и, сделав несколько поворотов, вышли на улицу Даббагха («Дубильщиков»), которая ведет к главной мировой христианской святыне — храму Гроба Господня. Но до него мы посетили еще одно очень интересное и значимое для христиан место, находящееся на правой стороне улицы.

На высоких дверях висело несколько табличек — «Предел Судных врат», «Храм святого Александра Невского», «Правление Императорского Православного Палестинского общества (Иерусалим и Ближний Восток)». Это вход в Александровское подворье — религиозный и историко-архитектурный комплекс, созданный в 19 веке Русской православной церковью. Главной его достопримечательностью считаются остатки одних из внешних ворот Иерусалима. Всего лишь в нескольких десятках метров отсюда находится укрытая храмом Гроба Господня Голгофа — место Распятия Иисуса. Поэтому, очень большое число не только представителей православной церкви, религиоведов, но и историков считают, что именно здесь находятся остатки тех самых легендарных Судных врат, через которые Иисуса вывели из города на Голгофу. Согласно традиции, перед этими воротами последний раз публично оглашался приговор, и если никто из присутствовавших не заявлял каких-то весомых аргументов против него, то приговор уже никто не мог изменить, и осужденного ждала неминуемая смерть. Так что здесь гораздо больше оснований для одной из важнейших остановок на Крестном пути. Но католики неизменно придерживаются маршрута, сложившегося до открытия этого исторического памятника. Гиды, которые водят русских паломников и туристов, ориентированных прежде всего на посещение религиозных мест, обычно сворачивают от седьмой остановки католического Крестного пути именно сюда, пропуская восьмую и девятую.

Остатки Судных врат находятся на глубине более трех метров по сравнению с нынешним уровнем улиц. И это может рассматриваться как дополнительное подтверждение того, что это вполне может быть сооружение времен Распятия, т.е. первого века новой эры. Ведь за две тысячи лет должен был накопиться очень большой культурный слой, как его называют археологи.

Лучше всего уцелели два фрагмента. Самый большой — это боковая часть ворот. В колонне, поддерживающей свод ворот, есть отверстие, по форме напоминающее игольное ушко — широкое сверху и сужающееся к низу. Историки считают, что это был проход для путников, подошедших к воротам уже после их вечернего закрытия. Чтобы не открывать ворота, что было опасно, таких путников пропускали через это узкое отверстие. Контролировать его было очень легко. Считается, что именно такое игольное ушко имел в виду Иисус, говоря: «Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие». Согласно местной легенде, неисправимые грешники не смогут протиснуться в эту щель. Конечно же, каждый из нас счел своим долгом протиснуться через это отверстие и сфотографироваться. Не могу судить о степени истинной веры каждого члена нашей группы, но протискивались через «ушко» все с очень озабоченными лицами, и по завершении каждый издавал глубокий вздох и выглядел очень радостным. Пролезли все.

Рядом с «ушком» висит этюд Ильи Репина «Несение креста», написанный им специально для церкви Александра Невского во время его приезда в Палестину.

Между этим остатком боковины ворот и современной внутренней стеной подворья на древнем каменном полу хорошо виден сильно выщербленный и истертый каменный порог, укрытый стеклянным колпаком. Собственно это и считается главной частью святыни — порогом («пределом») Судных врат. По преданию, именно о него споткнулся Иисус, когда упал во второй раз, выходя из города. Над ним висят семь негаснущих лампад. За пределом возвышается очень большая каменная глыба с распятием на вершине, обнесенная ажурной чугунной решеткой. Это кусок Голгофы, который откололся от нее во время землетрясения в конце 19-го века и был чуть позже куплен архимандритом Антонином (об этом удивительном человеке я еще расскажу) у греческих священнослужителей и водружен здесь. Перед пределом врат и голгофским камнем монахини круглосуточно читают молитвы. На высокой стене рядом с порогом Судных врат висят черные мраморные мемориальные доски с именами жертвователей на храм, видных деятелей Императорского Православного Палестинского Общества (ИППО). Среди них — император Александр III, великие князья, государственные чиновники высокого ранга, деятели церкви, ученые, военные. На противоположной стене находится большая роспись, изображающая страдания Христа. Рядом с этим залом, на том же уровне, находится зал поменьше, где стоит хорошо сохранившийся каменный остов ворот времен императора Константина, 4 века. Чтобы войти в зал с Судными вратами, надо спуститься с и пройти через этот зал.

На верхнем, а фактически первом, этаже (так как описанные выше сооружения находятся на подземном уровне) расположена церковь Александра Невского. Большой резной двухрядный иконостас выглядит непривычно — яркие иконы расположены на довольно большом расстоянии друг от друга, а сам иконостас черный. За иконостасом в верхней части стены — несколько витражей в стиле русского модерна, что тоже выглядит очень необычно для православной церкви. Перед алтарем находится каменный престол византийской базилики времен императора Константина. На стенах висят необычно большие, почти 3-метровые, иконы. В комплекс входит небольшой музей, библиотека, палаты, где раньше размещались паломники.

История Александровского подворья — это часть истории создания «русской Палестины», собирания зданий и земельных участков, приобретенных в пользу России в Иерусалиме и других местах Святой Земли. В истории этой подвижнической деятельности центральной фигурой является архимандрит Антонин (в миру — Андрей Иванович Капустин), человек необыкновенный во многих отношениях. Возглавляя Русскую духовную миссию в Иерусалиме с 1865 по 1894 годы, он оставил такую основу русского присутствия в Святой Земле, на которую опирались все последующие поколения, включая и нынешнее. Мемориальные доски в зале у Судных врат Александровского подворья свидетельствуют о том, что своим энтузиазмом, энергией он пробудил интерес к Святой Земле у самых разных представителей русского общества. Организаторский талант и абсолютная бескорытность отца Антонина позволили ему преобразовать этот интерес в систему частной спонсорской поддержки (выражаясь современным языком) дея-

тельности по обеспечению культурного и духовного присутствия России здесь. Его стараниями были приобретены участки в различных частях Святой Земли, на них были построены церкви и монастыри, организованы приюты для паломников, больницы, школы. Вот лишь самое значимое из созданной им «русской Палестины» — участок на вершине Елеонской горы (построен монастырь Вознесения Господня), участок в Гефсимании (построен монастырь святой Марии Магдалины), участок возле Мамврийского дуба (построен монастырь Святой Троицы), участок в Эйн-Карнеме (построен Горний монастырь), участок возле Яффы (построена церковь святого Петра), два участка в Бейт-Джале (построены школа и женская учительская семинария), участки в Иерихоне, Тивериаде, Вифлееме, Силоаме и Анате. О большинстве из этих мест я напишу в этой главе более подробно.

По подсчетам архимандрита Киприана (Керна), который сам в конце 1920-х годов возглавлял Русскую духовную миссию в Иерусалиме, отцом Антонином было куплено и законно оформлено 13 участков, площадью около 425 000 м², стоимостью до миллиона рублей золотом, а всего им было сделано около 40 приобретений. К 1917 году российским организациям на Святой Земле принадлежало 70 участков земли с храмами, монастырями, школами, больницами, подворьями, вмещавшими до 10 000 паломников в год. В системе школьного образования православных арабов под российским патронажем находилось около 100 школ, в которых обучалось более 10 000 учащихся и работало 417 учителей.

Во многом благодаря усилиям отца Антонина в 1882 году указом императора Александра III было создано Императорское православное палестинское общество (ИППО).

Помимо приобретения земельных участков и организации строительства на них, отец Антонин проводил научные изыскания, к которым привлекал известных ученых. На каждом из участков проводились детальные археологические раскопки. Под его руководством были проведены раскопки Александровского подворья, открыты Судные врата и другие исторические памятники. Первоначально на этом месте планировалось поставить здание русской дипломатической миссии. И далеко не все чиновники дипломатического ведомства были рады тому, что им не удалось усесться на столь престижном месте — в нескольких десятках метров от храма Гроба Господня. Найденные во время раскопок вещи составили коллекцию небольшого, но ценного музея. В музей Русского археологического общества и ИППО отец Антонин передал в дар свои коллекции из несколько сотен греческих, римских и средневековых монет. Научные заслуги отца Антонина были отмечены избранием его членом многочисленных ученых обществ и учреждений России и Европы, и наградами, которые тогда еще вручались за реальные заслуги, а не потому лишь, что награждаемый занимал высокую административную должность и дожил до определенного возраста. Отец Антонин увлекался нумизматикой, астрономией, до глубокой старости писал стихи и рисовал.

Примером глубины и добросовестности его археологически-исторических изысканий может служить открытие им Судных врат. Представляете — на деньги спонсоров сделано такое открытие! Какая наиболее ожидаемая реакция со стороны руководителя таких раскопок? Гордость, «распиаривание», выражаясь современным сленгом, своего выдающегося

открытия, убеждение всех в том, что это именно «те самые ворота» — как с целью подчеркнуть свои заслуги, так и получить больше новых средств от впечатленных спонсоров. Такой же реакции можно было бы ждать и от обычного священнослужителя, ликующего от получения материального подтверждения веры, не особо вникающего в его детали, и предвкушающего как он «утрет нос» католикам и другим конкурентам во Христе. Но отец Антонин не был примитивным фанатиком веры и проектным управляющим в рясе. Он был человеком, озабоченным поиском подлинных свидетельств Библейской истории. В своем письме председателю ИППО великому князю Сергею Александровичу он выражает не только сдержанную радость в связи с открытием того, что может быть Судными воротами, но и свои сомнения в отношении того, что это именно они. Например, отмечает, что ямки петлиц дверей ворот выглядят слишком маленькими для городских ворот. Сравните его поведение как исследователя и, например, поведение знаменитого Генриха Шлимана. Последний, организовав дилетантские раскопки, повлекшие серьезные разрушения исторических памятников, нашел золотые украшения, историческая принадлежность которых и сейчас до конца не определена, объявил их «золотом царя Приама», протрубив на весь мир об открытии Трои, описанной в «Илиаде» Гомера. Находки, сделанные во время других своих раскопок, проводившихся таким же непрофессиональными способами, он немедленно объявлял то шлемом вождя ахейцев Агамемнона, то чашей Одиссея, то мечом Ахилла.

Скончался отец Антонин в Иерусалиме в 1894 году в возрасте 77 лет, и был похоронен в Спасо-Вознесенском монастыре на вершине Елеонской горы. Колокольня этого монастыря — «Русская свеча» — вполне может считаться памятником ему. Я был рад обнаружить, что пермяки не забыли своего земляка — отца Антонина: на сайте, посвященном культурному наследию города и края, есть страница о нем.

За несколько лет до смерти отец Антонин озаботился тем, чтобы сохранить созданную им «русскую Палестину» для потомков. Похоже, что общение как с представителями российского государства, так и иерархами русской церкви вызывало у него беспокойство за ее судьбу. Поэтому самое ценное из приобретенного им недвижимого имущества он оформил в соответствии с исламским законом как «вакуф», т.е. имущество, которым наследники могут распоряжаться, но не отчуждать (продавать, обменивать и т.п.). В этом документе — голос вечности: после смерти отца Антонина эти земли переходят под управление Священного Синода русской православной церкви; если же Синод перестанет существовать, то земли эти делаются достоянием всех православных русских людей, а если и они исчезнут, то земли поступают в распоряжение бедняков-христиан; если на земле не останется ни одного бедного христианина, то имущество будет использоваться на пользу бедняков-мусульман, а в конечном счете (если и мусульман не останется) единым собственником всего считается сам Аллах. Прочитывая вакуфный акт: «...он делает правильный, законный вакуф, ясно установленный и обязательный к исполнению, вакуф, коего имя не сотрется и след не исчезнет, и который по прошествии времени и веков утвердится и увековечится. Таковое положение будет соблюдено во веки веков, пока Господь не унаследует землю и на ней находящихся, ибо Он лучший Наследник...»

К сожалению, проявленная отцом Антонином предусмотрительность не смогла защитить созданное им от потрясений, последовавших в 20 веке.

После октябрьской революции в России объекты «русской Палестины» перешли под покровительство Православного палестинского общества (ППО), продолжившего свою деятельность в эмиграции, и Русской православной церкви за рубежом (РПЦЗ). С большим трудом им удавалось, в основном, сохранять унаследованное. В 1948 году новорожденное государство Израиль, в благодарность за поддержку его со стороны СССР в войне с арабскими соседями, признаёт собственностью СССР все здания и земли ППО и РПЦЗ на территории, завоеванной Израилем в ходе войны. Члены ППО и РПЦЗ были оттуда немедленно изгнаны, часть принадлежавших им объектов была конфискована израильским правительством в свою пользу, а другая — передана СССР. За ППО и РПЦЗ сохранились лишь те объекты, которые остались на части Святой Земли, попавшей под контроль Иордании.

Нужны ли были стране победившего атеизма приобретенные «так называемые» русские святые места? Ответ на этот вопрос был получен довольно скоро. В 1964 году правительство СССР, так и не проявив никакой заботы о полученном наследстве, продало его основную часть Израилю за 3,5 млн. израильских фунтов (примерно \$4,5 млн.). Среди проданного были дом Российского генерального консульства, Русская больница, Мариинское, Елизаветинское, Николаевское и Вениаминовское подворья в Иерусалиме, подворье в Назарете, несколько участков в Хайфе, Афуле, Эйн-Кареме и Кафр-Канне. Сделка получила название «апельсиновой», потому что Израиль заплатил за полученные исторические земли и строения не деньгами, а апельсинами и текстилем.

После арабо-израильской войны 1967 года ранее подконтрольные Иордании территории с объектами «русской Палестины», принадлежавшими ППО и РПЦЗ (часть старого города, восточный Иерусалим, западный берег реки Иордан), перешли под контроль Израйля. Но поскольку СССР тогда поддерживал арабов, то Израиль сохранил на этих объектах статус-кво.

В мае 1992 года в России существовавший в советские времена придаток Академии наук — Российское палестинское общество было переименовано в Императорское православное палестинское общество (ИППО). При поддержке российского правительства новое ИППО начало борьбу за возвращение ему объектов, которые были конфискованы израильским правительством или же стали объектом «апельсиновой сделки», но в отношении которых права СССР на момент сделки были спорными. К концу 2010 года ИППО удалось вернуть Сергиево подворье в Иерусалиме и три участка в Иерихоне. На объекты, которые остаются под контролем ППО и РПЦЗ, ИППО не покушается. Во всяком случае, пока. В свою очередь, ППО раскололось на несколько организаций, с одинаковыми или схожими названиями, находящимися между собой в натянутых отношениях. С ИППО постсоветской России у них сложные отношения. Так же, как впрочем, и с РПЦЗ. Например, Александровское подворье находится под управлением ИППО (Иерусалим и Ближний Восток), являющегося самостоятельной общественной организацией, независимой от какой-либо церковной юрисдикции.



Михаил ОКУНЬ

/ Аален /

В ПАВЛОВСКЕ

Г.П.

Пиль-башня, башня «пиль»...
(пилю, но лишь чуток).
Уныл немецкий шпиль,
закрыта на замок.

И опоясан бок
чугунной винтовой.
И зелени клубок
над речкой неживой.

И лишь верхушки в дрожь
бросает ветерок.
И ты еще хлебнёшь
со мною, мой сурок!..

БАЛЕРИНА

С жизнью твоей ничего не поделать теперь —
Замкнута дверь...

...My little dream in ballet shoes.¹

Это — начала строка.
Это — конца строка.
Это — банальность, если перевести.
И всё ж это ты...

¹ Моя маленькая мечта в балетных туфельках (англ.)

Видишь впечатанный след
На белом песке у залива?
Нынче ему стукнуло тридцать семь лет
(Столько же, сколько тебе).
Тридцать из них на пуантах —
Жизнь среди сгустков и квантов
Энергии танца.

...My little dream in ballet shoes.

Вздувшихся вен груз.

В ЛЕСУ

1

Поймешь, что осень подошла,
когда увидишь в озере
лицо
печальной эшеровой рыбы.

2

У дерева поваленного —
тлен меж корней и мхов,
опрелости и пролежни,
и воздух
медлительного умиранья густ —
вдохнёшь когда-нибудь
на койке альтенхайма...

3

Средь веток,
вдали на вершине
сквозит синева
обещаньем прорыва...

* * *

Ветер бросает в лицо
Дикие выкрики.
Что же, чем хуже — тем лучше!
Осень. Сгорбься, стога
Под ливнем бредут по равнине.
До внутренностей разворочен просёлок.
И некуда, некуда нам...

* * *

...И незачем талдычить про печать Каина,
Про граниты, стиснувшие Неву.
Я родился в центре этого города,
Переехал на его окраину,
А теперь и вовсе в нём не живу.

В КОНЦЕ ЗИМЫ

Отчужденье не тает, не тает,
Словно лёд, надоевший давно.
Только будет концовка простая,
И однажды увидим в окно:
По каналу, среди улиц недлинных,
Мимо утренней их кутерьмы,
Уплывает шершавая льдина,
Как последний осколок зимы.

ГРОССМЕЙСТЕР

Памяти Л. Полугаевского

Цейтнотная жёсткая спешка
Вовсю довершает бедлам:
Пропала центральная пешка,
Коней развело по углам.

Всклокочены патлы седые.
Соперник дожмет без труда.
Вы думаете, молодые,
Что так же играл он всегда?

Когда бы вы знали, что правит
Средь поздней турнирной тоски! —
Что опухоль смертная давит,
Что центра не видит доски...

ЗАМОК КАТЦЕНШТАЙН

Среди лоскутьев швабской пашни,
Устав от суеты и тайн,
Уткнувшись в небо главной башней,
Похрапывает Катценштайн.

Кошачий камень...
Вверх подброшен,
Лёг на вершине, и на ней
Под вечер — блеск цветных горошин,
В ночи — элизиум теней.

* * *

Как мы сюда попали — уже не помним и сами.
Как эти черные птички с желтыми носами.

Кто мы такие, откуда? — вечные семеро с ложкой.
Ленятся летать птички, бегают на тонких ножках.

Вот июль догорает за макушкой лета.
Глупые, глупые птички, толку от вас нету.

Солнце моё остывает, за темную гору скользя.
Многое было можно, а теперь ничего нельзя.

* * *

Поехали на Острова!
Там жизнь проста, как дважды два,
Там свет над сонною водой,
Там я вчерашний, молодой...

ИЗ ШВАБСКИХ ЧЕТВЕРОСТИШЕЙ

*

В тени совсем других лесов,
Но поворот тропинки, блики!..
И хлорофилловая кровь
С гемоглобином земляники.

*

Лес застыл в багетной раме,
Ящерица спит на пне,
И деревья с номерами
Синей краской на спине.

*

Предаваясь чтению,
Глотаешь всё ту же взвесь.
По трезвому разумению,
Нет жизни ни там, ни здесь.



Александр ЛЮБИНСКИЙ

/ Иерусалим /

ЛУНА И КРЕСТ

Посвящается Маше

— Ну, знаете... Сколько можно ждать? Полгода? Год? Вы что, издеваетесь, в самом деле?!

Фразу эту, характерную для тех памятных лет, коим посвящена наша повесть, произнёс плотный крепыш небольшого роста с растрёпанной светлой бородкой. Тот, кому была обращена эта тирада, улыбнулся озорно и чуть хитровато, как шкодливый пятиклашка. Он сидел за столом и, подперев голову рукой, задумчиво смотрел на собеседника.

— Что я могу поделать, Володя? Ситуация такова, что министерство ещё не оплатило брошюру. Как же я могу заплатить тебе?

— Чёрт подери! Вы что, только одну эту брошюру печатаете?

Сидевший за столом печально вздохнул и покачал красивой головой, увенчанной густыми седеющими кудрями.

— Слава богу, мы сейчас не без заказов, но перечислять деньги не спешат... Ты ведь знаешь, как в этой стране делаются дела.

— О, да! Нельзя выцарапать даже те крохи, которые должны заплатить! Двенадцать шекелей за страницу!

Собеседник поморщился. По-видимому, пафос он не любил.

— Я не заставляю тебя. Не хочешь — не переводи.

В густом неподвижном воздухе зависла тишина... Из-за стеклянной стены, перегородившей комнату, доносился женский щебет — там было царство редакторш и наборщиц.

— Ладно... Так когда зайти? Только назови хоть реальный срок!

— Через две недели... Да, через две недели.

— Это точно?

— Надеюсь! Что может быть точного в этом мире?

Володя не ответил — и вышел из комнаты. На лестничной площадке обернулся на дверь, украшенную табличкой с крупными ивритскими — и под ними более мелкими — русскими буквами: «Издательство Культура». Ощерился, обнажив крупные жёлтые зубы, поднял кулак, замахнулся — опустил руку... По ступеням, воняющим мочой, вышел на Агриппас.

Встал в тени трейлера, который с грохотом разгружали двое арабов, достал из холщовой сумки, перекинутой через плечо, мятую пачку, вытащил последнюю сигарету; бросив пустую обёртку под ноги, с наслаждением закурил... Улица истекала жаром, плавила под солнцем. Запах фалафельных мешался с вонью мазута и бензина; визжа тормозами, ползли машины в бесконечной пробке, и между ними сновали все эти потные с пакетами, рюкзаками, свёртками, сумками...

Сигарета уже жгла пальцы. Швырнул в мусорную кучу. Подтянул пузырящиеся на коленях брюки — двинулся по улице мимо бесчисленных лавочек и закусовых. Дойдя до Яффо, пересёк её, вошёл в тень низкорослых деревьев, пыльных кустов, покосившихся развалюх, выставивших наружу ржавые челюсти балконов. Всё чаще попадались мужчины в чёрных сюртуках и пиджаках, женщины в длинных платьях.

Свернул в тихий проулок. Не раздумывая, распахнул скрипучую калитку, поднялся на крыльцо, дёрнул за ручку двери — ещё, и ещё раз... На соседнем дворе за каменным полуразвалившимся забором томно закукарекал одуревший от жары петух.

Спустился с крыльца, взглянул вверх... Дверь на втором этаже, куда ведёт шаткая, похожая на пожарную лестница, открыта! Торопливо, перепрыгивая через ступеньки, взбежал по лестнице, шагнул в комнату. Полный человек в расстёгнутой на груди потной рубаше, поднял голову:

— Мера веса в древней Греции! — крикнул он, нацелив в гостя волосатый палец.

— Мина! — выдохнул Володя — и рухнул на единственный в комнате стул.

— Ага... Подошло.

Взял со стола карандаш, склонился над газетой.

— А где Нахман?

— Не будет сегодня Нахмана... Жена рожает. Уже шестого. Бедный... Их ведь надо кормить.

— Дал Бог свет, даст и пищу... Хотя лично я начинаю в этом сомневаться...

Толстяк оторвался от кроссворда и посмотрел на Володю. Пошевелил красными губами, казалось, живущими своей отдельной жизнью среди густой чёрной бороды. Снова уткнулся в газету... В окно были видны крыши домов с облезлыми баками бойлеров, и на дальнем холме — очерк стен Старого города.

— Моше, послушай, у меня не осталось ни копейки! Понимаешь, ни копейки! Выплатите хоть что-нибудь!

Не отрывая взгляд от газеты, Моше на ощупь открыл ящик стола, вытянул бумажку — протянул Володе. Это был чек.

Схватил, взгляделся...

— Но здесь только половина!

— Ну и люди! Им дают деньги, а они ещё недовольны! Будет тебе другая половина. В следующем месяце... Хочешь выпить?

— Что?..

— Я говорю, выпить хочешь?

— А... Давай...

Моше полез под стол, достал початую бутылку, банку маслин. Поставил на газету два гранёных стакана. Наполнил прозрачной влагой.

— Ты что? Так много? В такую жару!

— Ладно уж... Лехаим...

Выпили. Потянулись к банке, отловили по очереди маслины в жирном соке.

— Хорошо! — Моше причмокнул губами. — Кстати, Нахман решил перевести Пиркей Авот. Так что будет у тебя работа.

— Правда? Замечательно... — глаза Володи заволоклись. Он осел на стуле.

— Новых олим нужно приобщать к традиции.

— Разумеется! Сказал Шимон-праведник: на трёх основах стоит мир — на изучении Торы, на служении Богу и на добрых делах.

Моше запустил пальцы в банку, поболтал ими, достал маслину — чёрную и гладкую.

— А почему бы тебе не принять гиюр? Так, как ты, мало кто из евреев знает...

С размаху, нетвёрдой рукой Володя ударил себя в грудь:

— Недостойн!

— Почему это?

— Не по Сеньке шапка!

— Да брось ты...

— Все эти обязанности, строгий устав... Хотя, что и говорить, во вратах твоих стою, Иерусалим...

— Вот и входи. Не стесняйся.

— Ладно... Пойду я. Отovarивать чек.

— И то дело. Заходи на следующей неделе. Поговорим. Может, и чек уже будет готов.

— Ага! Бывай!

— И ты...

Моше снова склонился над газетой. Спутанные волосы, кипа, сдвинутая набекрень.

Осторожно, держась обеими руками за перила, Володя спустился вниз, побрёл по жаркой улице.

Свернул на Невиим, дошёл до угла, где смотрят друг на друга серое здание времен мандата и странный теремок, построенный в те времена, когда ещё никто не догадывался, что это творение прихотливой архитектурной мысли знаменует начало «иерусалимского стиля». В теремке размещается больница «Бикур холим», в основном обслуживающая арабов из Восточного города. Что же касается подмандатного здания...

Володя поднялся на его крыльцо, толкнул тяжелую дверь. Еле передвигая ноги, направился в дальний конец полутёмного холла, откуда доносились голоса; вошёл в просторную комнату. Здесь было светлее, и даже работал кондиционер. Большинство пластмассовых столиков, тянувшихся вдоль стен, пустовали. Аскетизмом обстановки помещение напоминало столовку советских времен. Володя сразу направился к буфету, где из-за стойки ему навстречу поднялась худощавая женщина с сухим и жёстким лицом.

— Здравствуйте, Стелла! — сказал Володя, — и попытался улыбнуться.

— Добрый день.

— И впрямь, этот день добр ко мне... Нужно отоварить чек.

— Давайте.

— Процент обычный? Сумма-то побольше будет.

— Я не настаиваю. Можете идти в банк.

Вздохнул, полез в карман, достал чек, положил на прилавок... Поставил корявую подпись. Снова вздохнул... Взяла чек, внимательно осмотрела. Протянула несколько мятых бумажек.

— Что будем заказывать?

— Блинчики с мясом... Двойную порцию. Со сметаной! И салат оливье!

Чем-нибудь запить...

— Апельсиновый сок?

— Прекрасно! И графинчик холодной воды... С лимоном!

— Садитесь. Таня принесет.

За соседним столиком шумно обсуждался квартирный вопрос. В воздухе витали банки, ссуды, гарантии... Последнее слово повторялось особенно часто. Таня, худенькая и вертлявая, принесла тарелки, расставила, едва не вывалив на стол (по-видимому, в качестве бесплатного гарнира) свои упругие грудки. Схватил графин с водой, плеснул в стакан, выпил — отдышался... Уже неторопливо потянулся к вилке, поддел жаркий, дышащий, с тоненькой корочкой, блинчик. Почувствовав чей-то взгляд, вскинул голову... У самой двери сидел худощавый парень с гривой чёрных волос, спускающихся на плечи. Сидел и смотрел. Володя поднес вилку ко рту. Парень смотрел. Володя откусил блинчик, потянулся к стакану с апельсиновым соком. Подцепил розовый помидор... Парень смотрел, сжимая в ладони пустую чашку. Передёрнул плечами, поднялся...

— Послушай, — сказал Володя, — мне сегодня привалила удача. Бывает же такое... Подсаживайся. Угощу, чем Бог послал.

Парень помедлил... улыбнулся, шагнул к столику. Высокий, в синей куртке и такого же цвета джинсах.

Как из-под земли возникла Таня.

— Рагу этому молодцу. Да и мне, пожалуй, тоже... Гулять так гулять!

Удалилась, покачивая задом.

— Как тебя зовут-то?

Парень вздохнул:

— Андрей... Меня зовут Андрей...

— Не печалься, Андрюша. Фортуна переменчива. Даром что женщина.

Снова возникла Таня, уже с дымящимися тарелками и свежим графином воды.

Склонились над едой. Молча заработали ножами и вилками... Отвалились от стола.

В душном воздухе, не умолкая ни на секунду, звенели ссуды, банки, гарантии...

— Танюша, ещё воды! Хотя бы вода здесь бесплатно. А что тебя привело сюда?

— Я вообще-то в Индию еду. Так, заехал... по дороге.

- Хм... Это что же, самый короткий путь в Индию?
- Не самый. Мне хотелось кое-что увидеть... Чтобы потом сравнить.
- И увидел?

Задумался. Провел ладонью по заросшему серой щетиной подбородку.

- Нет ещё... Странное место. Непонятное.
- Да уж, не очень... Я вот тоже приехал. Чтобы понять.
- И откуда, если не секрет?
- Из Костромы. А где ночуешь?
- Да нигде. Вот уже неделю в парке...
- Так ты, парень, до своей Индии не доберёшься.

Сокрущённо мотнул головой. Дрогнули по плечам длинные сальные волосы.

- Это точно!
- Знаешь что... Есть одно место... Монастырь. Как ты вообще-то к крестам относишься?
- Да никак. Не трогают.
- Ну и ладушки... Там можно перекантоваться. Место тихое.
- Здорово!
- Я как раз туда направляюсь. Только продукты прикуплю по дороге.

Пошли?

- Ага! Всё равно делать нечего...

В кафе уже было пусто. Таня, лениво бренча посудой, убирала со стола, за которым разыгрывались квартирные страсти. Андрей подхватил брезентовый баул, — привет, Стелла! — крикнул Володя, и вышли на улицу.

Подступал вечер, обводя контуры домов чёрной краской — на её фоне еще ярче сверкало небо. Двинулись по Штраус и через Яффо — дальше, по Кинг-Дэвид. Был конец рабочего дня, на остановках толпился усталый народ, и серые, в потрёпанных галунах украшений дома поблескивали закатными окнами.

Миновали Машбир, свернули к Бецалель, уходящей вниз к ущелью, над которым вознеслось безвкусное здание Кнессета, напоминающее очертаниями афинский Акрополь. Завернули в лавочку на углу, где Володя купил батон хлеба, пакет молока, пачку Мальборо и еще одну — длинные сигареты в нежно-голубой упаковке.

На улице, как всегда в этот час, поднялся ветер, закружил по мостовой сухой трухлявый сор. Андрей зябко передёрнул плечами.

- Как резко падает температура!
- Привыкай. Это Иерусалим.
- А как там, в Костроме?
- Что?
- Ну... в смысле погоды...
- В смысле погоды там хорошо.

Володя остановился, глянул снизу вверх на Андрея.

— Давай договоримся. Если хочешь что-то узнать, спрашивай напрямую, ладно?

- Ага!

Прошли молча несколько шагов. Здание Кнессета уже не было видно, зато вплотную приблизилось запруженное машинами шоссе, перекрёсток со светофором.

— У меня жена-еврейка. Приехал чин-чинарем по закону о возвращении. Но тут как-то всё разладилось... Вот я и ушёл. Можно сказать, в никуда.

— Понятно...

— Жена всё-таки, дочка... Пусть живут нормально. А я как-нибудь перебуюсь.

— А... в монастыре ты один такой?

— Не один. Там хороший старичок-настоятель. Приютил. Да и монастыря, в общем-то, никакого нет. Полный развал.

Спустились к перекрёстку.

— А где монастырь?

— Да вон же! — Володя махнул рукой куда-то влево через дорогу — там, почти сливаясь с холмом, темнели высокие стены, и подсвеченная фиолетовым небом, проступала колокольня с крестом.

Торопливо перебежали через шоссе, двинулись по узкой асфальтовой дорожке к монастырю, наползающему своими контрфорсами и бойницами узких окон.

— Сюда! — пригнувшись, Володя скользнул куда-то вниз, — осторожней!

— О, господи!.. — едва держась на ногах, Андрей сбегал по склону.

— Надо всё же лампочку вкрутить над дверью. Колька-мошенник отлынивает.

И правда, едва заметная в стенном углублении, проступила кованая дверь. Володя достал из сумки длинный ключ; на ощупь, шаря рукою по низу, всунул его, толкнулся плечом, ещё, и ещё... Дверь со скрипом поддалась.

— Наклони голову!

В последний момент увернувшись от встречи с каменной кладкой, Андрей оказался в узком проходе, ведущем во внутренний двор. Лязгнул за спиной железный засов.

— Не отставай!

Володя двинулся вглубь двора к арке с горящим над нею тусклым фонарём. Гулкий перестук шагов, и вот уже они на маленькой площадке, вокруг которой — ступенчатые выступы с зияющими провалами дверных проёмов. Уходящие ввысь кроны двух огромных кипарисов, и небо над ними с жёлто-красной, нависшей над холмами, луной.

Володя схватил Андрея за руку.

— Здесь ступени!

— О, ччёрт...

— Держись! Как ты?

— Вроде, ничего...

Еще несколько шагов, и они очутились в узкой комнате с низким каменным сводом. В дальнем конце её, забранной решеткой, горел огонь. Им навстречу метнулась длинная тень, перегородила проход.

— Кого ты привёл?!

— Цербер несчастный! Это свой!..

— Ага, ты знаешь... — пробурчала тень, отступая. Всмотревшись, можно было различить тощую фигуру с узким лицом и хрящеватым носом.

— Привет! — Андрей выступил из-за спины Володи, огляделся: вдоль стены тянулась скамья, убранный тяжёлым красным покрывалом с кистями. У камина в резном деревянном кресле сидел старик в чёрной рясе и клобуке, внимательно разглядывал пришельца из-под густых седых бровей. Рядом с ним на скамье — худенькая девушка с длинными прямыми волосами. Курила, сжимая сигарету в тонких пальцах. По другую сторону стола, ближе к двери, смотрел на пришельцев парень в распахнутой на груди рубахе и шортах.

Старик что-то сказал. Сигаретка девушки замерла у маленьких припухлых губ...

— Как тебя зовут? — низкий хрипловатый голос.

— Андрей. У меня и паспорт есть!

— Андрей... — клобук старика качнулся. — Андрей... Паспорт...

— Ну да!

— А зачем пожаловал? Ежели паспорт есть? — парень в шортах, вздёрнув голову, в упор разглядывал гостя. Девушка шептала, наклонившись к уху старика.

— Ему негде ночевать. Что вы, в самом деле, нелюди, что ли? — Володя опустил на скамью, стукнул ладонью по покрывалу. — Садись!

Андрей осторожно сел рядом.

— Если каждого, кому негде переночевать, тащить сюда...

— А сам ты, Сёма, не был в таком же положении?

Старик пробормотал несколько слов. Девушка обернулась к Андрею.

— Зачем ты приехал в город?

Задумчиво Андрей погрузил пятерню в густые спутанные волосы, улыбнулся.

— Вообще-то я еду в Индию...

Парень сухо хохотнул.

— И что же ты там забыл?

Перегнувшись через стол, в упор взглянул на него:

— Себя!

Володя достал из сумки сигареты, протянул девушке. Улыбнулась, благодарно кивнула головой. Старик что-то сказал. Тощий, неподвижно стоявший за его спиной, снял маленькую чашку с решётки над огнем, поставил перед Андреем. Пододвинул блюдце с тонко нарезанной халвой.

— А почему ты решил искать себя в Индии? — девушка поднесла сигаретку к припухлым губам. Склонившись, Андрей прихлебнул из чашки.

— Отличный кофе!

— Это Коля. Он специалист, — Володя вынул из сумки пакет молока и хлеб. Положил на стол.

— Так зачем тебе Индия?

— Читал... Загадочная страна! Правда, и сам человек не очень-то понятен...

Старик задумчиво кивнул головой, пробормотал еле слышно...

Струйка дыма вспорхнула к потолку из розовых губ:

— Человек в своей тайне, как улитка в раковине. Куда он, туда и она.
— Верить надо! — парень подался вперёд, упершись ладонями в голые колени. — Если веришь, то и тайны нет! Ладно, недосуг мне с вами болтать...

Поднялся, направился к выходу.

— Будьте мне здоровы!

Исчез в ночи.

Коля взял хлеб и молоко. Разместил на полках холодильника, стоящего у стены по другую сторону стола.

— Пошли!

— И мне пора, — сказал Володя.

Андрей подхватил баул.

— Спасибо вам...

Склонив голову к плечу, девушка вежливо улыбнулась.

Во дворе надвинулась, нависла громада стен. Сверкнул в свете луны над куполом храма едва различимый крест.

— Ну и местечко вы выбрали...

— Другого нет. Не отставай!

Коля шагнул в темноту.

— Сюда!

Вспыхнул свет — неожиданный и яркий. Коля стоял в дверном проеме — двумерная картонная фигурка.

— Прибрался для отца Феофила, — отодвинулся, пропуская гостей. — А он и не прибыл.

В келье — топчан, застеленный шерстяным одеялом. Над ним — иконка в серебряном окладе. Низкий шкафчик с несколькими потрёпанными томиками в кожаном переплете, столик у крохотного окна...

— Это гостевая. Да гости редки. Живи пока... Желаю здравствовать!

Вышел, прикрыл железную дверь.

— Эк он расщедрился! Моя-то келья похуже будет!

— А где она?

— Через двор. С противоположной стороны. Возле Лининой. А Семена с этой, поближе к тебе.

— Хорошая девушка...

Задумчиво Володя почесал бородку.

— Вот как!

— Милая. Тихая такая...

— В тихом омуте черти водятся.

— Что-то не похоже.

— Много ты понимаешь...

— А что она делает? Ну... по жизни?

— Да ничего. Разговаривает с Юстином. Она греческий знает. А если не разговаривает, сидит у себя.

— Так она вроде монашки?

— Ну... Как сказать...

Андрей остановился у шкафа, пробежал пальцами по книжным корешкам.

- Какие старые!
- Их здесь как грязь. В основном, на греческом. Вот Лина их и читает.
- А этот... Семен?
- Семен- то?.. Он у нас самый деловой. Ты с ним поговори. Он тебе какую-никакую работу подыщет. Там сгрузить, тут поднести. У нас ведь общий стол...
- А Коля вроде хозяйственника?
- В свободное от работы время.
- То есть...
- По большей части подаяние просит. Возле Машбира.
- Понятно...
- Рад, если тебе понятно... Подойди завтра утром часам к восьми к кофейне. Поговори с Семёном.
- Слушаюсь, товарищ начальник!
- Осмотришь. Место неплохое. Растолстеешь еще на монастырских-то хлебах!
- Ну, ты скажешь...
- Отдыхай!

Выйдя из кельи, Володя взошёл по ступеням на каменный выступ, огибающий двор. Впереди — едва различимая тень, подрагивающий красный огонек.

- Ещё не спишь?
 - Жду тебя.
- Она стояла, облокотившись на перила.
- Так уверена, что я приду?
 - А куда ты денешься...
 - Ну, знаешь!
- Полыхнула сигаретка, высветив на мгновенье худую щеку, длинную прядь.
- Не обижайся... Я сегодня злая.
 - Что, опять этот?..
 - Да. Становится всё настырней.
 - Хочешь, поговорю?
 - Не стоит... Это его только обозлит.
 - Но надо ведь что-то делать!
- Затянулась сигареткой, помолчала.
- Сама справляюсь... Странно... Неужели ему в городе этого добра не хватает?
 - Привязался к тебе. У тебя это получается.
 - Что?
 - Привязывать.
- Вздохнула. Выпрямилась.
- Не представляешь, как я устала!
 - Нужно хотя бы иногда выходить отсюда.
 - Разумеется...
- Повернулась, взглянула Володе в лицо.

— Зачем ты привел мальчишку?

— Пожалел.

Задумчиво качнула головой. Опустила окурок в жестяную банку на перилах. В ночной тишине придвинулся вплотную слитный гул машин, бегущих по шоссе.

— Поживем-увидим...

— А что Юстин?

— Юстин? Юстин — стар... Пора спать.

— Это точно. Никак не отучусь от этой вредной привычки.

Смешок.

— Да уж... Спасибо за сигареты!

— Всегда рад. Спокойной ночи.

— Ага!

Она смотрела, как Володя подымается по каменным ступеням на следующий выступ, идёт вдоль ряда келий... Резкий скрип двери.

Постояла, прислушиваясь... Звуки с шоссе доносились глуше, растворяясь среди холмов.

Оторвала ладони от холодных поручней, спустилась вниз на площадку двора, и снова вниз. Вошла в кофейню, и дальше — в просторную келью с низким потолком, где в том же кресле сидел возле углей жаровни Юстин. Подошла, припала к руке. Села на скамеечку возле кресла. Коля, возникший из полутьмы, поправил на коленях настоятеля легкий плед.

— Зажечь свет?

— Не надо. Ты ведь знаешь, у него болят глаза.

Коля снял с углей жаровни тигель, налил кофе в фарфоровую чашечку, протянул Лине. Взяла, жжала в ладонях.

— Ты вернулась... — сказал Юстин. Он говорил еле слышно.

— Да... Мне опять беспокойно! Вчера, после молитвы, почувствовала облегчение, а сегодня снова... Особенно вечером... Такая мука! Иногда мне кажется, что я сойду с ума!

— Тебе не о чем беспокоиться... Господь — твоя защита...

— Ты — моя защита! Ты так добр ко мне! Никто не был ко мне так добр...

Поднесла чашку к губам, отпила.

— Не привязывайся к человеку, ибо смертен... Не тревожься. Полагайся на Господа. Он поможет, если уверуешь в чистоте сердца...

Последние слова Юстин произнес еле слышно. Откинул голову на спинку кресла, прикрыл глаза.

Подошел Коля, снял плед с колен, раскрыл, укутал плечи настоятеля.

— Сколько ему осталось, Коля?

— Не знаю... Это может случиться в любой момент.

— А что же будет с нами?

— Что будет, то и будет. Не в нашей это власти...

Поднялась, поставила чашку на жаровню.

— Сменю тебя утром.

— Храни тебя Господь...

Андрей проснулся от крика.

— Дурак малахольный, как ты ключ-то держишь!? Поверни вот так!
Крепче!

Глухое бормотанье в ответ.

— Держи сильнее!

Натянул рубашку и джинсы, вышел во двор. Из ржавой трубы, тянувшейся вдоль стены, бил вверх фонтанчик воды. Коля стоял, сжимая обеими руками разводной ключ, подрагивала от напряжения широкая спина сидевшего на корточках Семёна.

— Помочь?

Семён обернулся. Оскалился.

— Да уж... Одного безрукого хватает!

Коле:

— Где лента? Дай!

Схватил, широкими резкими кругами стал наматывать. Фонтанчик ослабел, иссяк...

Поднялся, держась за спину.

— И так чуть не каждый день! То в одном месте, то в другом!

— Трубы, наверно, давно не меняли.

— Ну, да. С прошлого века!

Солнце бьёт в глаза. Ярко-синий купол неба. Вознеслись, кажется, прямо над головой, ступени колокольни...

Андрей опустил голову, покачнулся. Голос Семёна:

— Эй, ты что?

— Ему поесть надо.

— Пошли!

Двинулись вглубь двора, спустились в прохладную и сумрачную кофейню. Коля достал из холодильника творог, хлеб и масло, снял с полки банку с растворимым кофе, разлил по чашкам кипятком. Сидя напротив Андрея, Семён смотрел, как тот, подрагивающими пальцами сжимая ложку, размешивает сахар.

— А ты наркотой, случаем, не балуешься?

— Что?!

— А что слышал.

Раздельно, глядя в глаза Семена:

— Не балуюсь!

— Ладно, поверил. Слушай сюда — отведу тебя в супер. Тут недалеко. Поработаешь денек, а там видно будет.

— Хорошо... А что делать?

— А что скажут.

Вышла Лина из соседней комнаты. Синие круги под глазами, потухшая сигаретка у припухлых губ. Семён обернулся, посерьёзnel.

— Плохо спалось?

— Так...

— А что так?

— Думала.

Села рядом с Андреем. Коля пододвинул к ней хлеб и творог, налил кофе. Скосив глаза, Андрей смотрел на прозрачные руки, обхватившие чашку.

— Холодно?

Кивнула головой.

— А ей всегда холодно! — Семён резко поднялся. — Говорю же — на воздухе надо больше бывать. Не кажешь носа за ворота — твоё дело. Но хоть не сиди со стариком весь день. Потопали!

Вышли во двор.

— А что Володи не видно?

— Да ну его... Лентяй.

У выхода из монастыря их догнал Коля с сумкой в руке.

— Ты куда? К Машбиру?

— Как обычно.

— Ну, будь здоров!

Коля скрылся за высокими кустами, прикрывающими шоссе.

Андрей огляделся: сзади на вершине холма видны были белые павильоны, выделявшиеся на фоне рыжей травы и серых камней. Слева через шоссе внушительных размеров высотка закрывала горизонт, уступая место зелёному парку и светлым каменным домам.

— Чего пялиться? Времени в обрез. Пошли!

Семён двинулся направо к надрывно гудящему перекрёстку.

— Ты, парень, поменьше смотри по сторонам, а то, не ровён час, спокнёшься.

Перебежали через дорогу и — вверх по улице вглубь квартала.

— Далеко ещё?

— Да нет, минут десять от силы.

Семён шёл широким размеренным шагом — Андрей семенил рядом.

— Ты откуда, парень?

— Из Москвы...

— О! Это вы все в Москве такие?

— Какие?

— Недоделанные.

— Ха!

Прошли несколько шагов молча.

— А ты сам откуда?

— Я-то? Издалека. Отсюда не видать.

— А чего в монастыре живешь? Если работаешь...

— Так ведь жильё бесплатное. Да и вся коммуналка за счет Юстина.

— Ну да... Это выгодно.

— Поменьше вопросов задавай. Дольше будешь жить.

Свернули в переулок, круто взбирающийся на вершину холма. Пошли по теневой стороне, очерченной резким утренним светом. Становилось жарко. Узкий проход между невысокими белыми домами, окружёнными пиниями, и снова — вниз.

— Ну и топография!

— Привыкай. Это не твоя плоскодонка.

Проходным двором выбрались к извилистой улице, соскальзывающей куда-то вбок. И вдоль магазинчиков, лавочек, кафе — к торцу высокого дома.

У входа в магазин развалившийся на стуле охранник вскинулся при их появлении.

— А ты, Вася, всё террористов ждёшь? Жди-жди! Аось придут.

— Ладно тебе, балобол... — охранник снова опустился на стул. Он был усталый и старый.

Полутёмный зал, заставленный бесконечными рядами полок с продуктами. Между ними — бесплотные тени покупателей.

— Пустовато здесь...

— Только открылись. Ещё набегут.

И — мимо двух толстух, громко разговаривающих по-русски за кассами — к высокой стойке, из-за которой едва видна женская голова. Семен перешёл на иврит. Лицо его застыло от напряжения. Голова качнулась, щёлкнул тумблер. Раскатились по залу несколько гулких фраз. Тут же возник молодой человек в халате с гладким лицом и чёрными, гладко зачёсанными волосами. Семен осклабился — весь радушие и доброты. Не отвечая на приветствие Семена, тот взглянул на Андрея и — быстро направился между полок вглубь зала.

— Иди за ним! Это Али! Слушайся его, и всё будет хорошо!

Али приостановился, оглянулся, нырнул в проход за одной из стоек, вытянувшихся вдоль стены. Андрей прошёл за ним и оказался в узком длинном помещении, заставленном картонными ящиками и сетками с овощами. Двое рабочих, сидя на корточках, перебирали овощи. Али подошёл к ящикам с помидорами у дальней стены и, поставив на пол один из них, стал быстро и ловко перебирать, отбрасывая мятые и сгнившие помидоры в пустой ящик. Поднял голову. Вопросительно взглянул на Андрея — тот кивнул головой. Али принес откуда-то резиновые перчатки и замусоленный халат, протянул Андрею. Скрылся в проходе — изящный и легкий.

Рабочие оглянулись. Один из них загоготал, что-то сказал товарищу. Тот фыркнул в ответ. У них были такие же, как у Али, загорелые лица и близко посаженные, посверкивающие глаза. Андрей склонился над помидорами. Сразу же затекли ноги и шея. Осмотрелся, подтянул к себе один из ящиков, что повыше, устроился на нём. Стало легче. Снова раздался гогот. Один из рабочих, маленький, коренастый, поднялся, подошёл к Андрею. Лицо его исказилось, глаза вспыхнули. Легонько ударил ногой по ящику — тот отлетел к стене, перевернулся. Коренастый заговорил — быстро, яростно! Как из-под земли возник Али, что-то сказал, не разжимая губ. Бурча, рабочий отошёл...

Андрей собрал помидоры, снова придвинул ящик. Сердце билось, кровь стучала в висках, но страха не было — была ненависть, которую он еще никогда не испытывал. Ненависть и отвращенье!

Он работал, не поднимая головы. Подводило живот от голода. Схватил помидор, проглотил. Ещё один... Появились ящики с бананами. Потом с огурцами и луком. Он работал, время от времени заглатывая, почти не разжёвывая, подгнившую пересортицу. Арабы гоготали, но уже не подо-

дили. Когда затекали шея и руки, откидывался к стене, закрывал глаза — уже не чувствуя времени, снова принимался за дело... Услышал голос Семёна, вскинул голову.

— Эй! Шабаш!

— Да?

— Пойдём, твой сменщик пришёл.

Стянул халат и перчатки, швырнул на ящик.

— Ну, ты даешь. Заработался совсем...

Прошли в зал мимо рабочих: поскверкивающие глаза, ощеренные рты. В зале уже ярко горел свет, да и народу прибавилось. Пробрались к стойке, над которой возвышалась женская голова — уже другая. Семён что-то сказал. Голова качнулась, в протянутой руке возникли две бумажки... Хмыкнул, взял их, снова что-то сказал. Несколько секунд голова оставалась неподвижной, снова качнулась, послышался звон — три серебряные монетки скользнули на стойку. Сгрёб, передал Андрею вместе с бумажками.

— Бери! Больше не даст. Вот что: купи пожрать и дуй в монастырь. Коля ворота ещё не закрыл.

— А ты-то как?

— Приду попозже. У меня ключ есть. Надо ещё машину помочь разгрузить.

— Спасибо!

— Топай, топай. А ты ничего так... Не хлюпик.

Скрылся за спинами.

Андрей двинулся между полок. Стал набирать, пока хватало рук. Оглянулся, подтащил пустую тележку, вывалил в нее пакеты и банки.

У кассы полная бледнолицая женщина молча смотрела, как он торопливо ставит перед ней продукты. Назвала на иврите сумму. Улыбнулся, пожал плечами...

Хмыкнула.

— Восемьдесят семь-пятнадцать, — сказала, едва разжимая губы.

Протянул ей все деньги. Отсчитала, вернула серебристо-медяшную мелочь.

— А... сигареты есть?

— Какие тебе?

— Такие... длинные в голубой обертке.

Сняла с полки, швырнула пачку, собрала с его ладони мелочь. Осталось несколько медяков.

— Когда приехал?

— Недели три назад...

— И уже трудишься? Молодец! Здесь можно работать. Не худшее место.

В очереди к кассе уже возрос глухой ропот.

— Всё! Иди...

Вышел на улицу мимо охранника, молодого эфиопа, — улыбнувшегося ему.

Подступали вечерние сумерки. На тротуаре за столиками сидели люди. Разговаривали, смеялись. По другую сторону улицы смыкали тёмные

кроны дерева. Перебежал через дорогу, рухнул на скамью. Потянулся к пакету, открыл коробочку, отломил горбушку хлеба, зачерпнул салат — ещё и ещё... Когда эта опустела, открыл другую и уже медленно ел, запиная колой из большой бутылки.

Зажглись фонари. Поднялся, подхватил пакет, пошёл по улице... вернулся, отыскал проход между домами и, кругами вниз и вниз, к монастырю.

Семён вошёл в подсобку, открыл ключом железный шкафчик, повесил на крючок халат, достал из-под вороха старой ветоши завёрнутый в бумагу маленький, но увесистый свёрток, положил в пластиковый пакет, прикрыл сверху старой газетой — выскользнул из магазина через дверь на задний двор. Мимо кучи разодранных ящиков, сваленных возле помойки, вышел на улицу. Она тянулась вдаль, затенённая деревьями, подсвеченная фонарями.

Взглянул на часы — торопливо зашагал к центру города. У Театрона на ярко освещённой площадке шумела толпа, подъезжали машины, кружили в поисках свободного места.

Семён перебежал через дорогу. Здесь уже была полутьма. За ржавой оградой, едва различимой среди густой травы, чернели выбитые окна старого лепрозория. Рядом, на крутом спуске, поросшем пиниями, жгли костёр, слышались гитарные переборы.

Дошёл до конца улицы и — вниз... Вдалеке, на тёмно-синем фоне неба возникли стены Старого города, и он направился к ним по запруженной машинами, петляющей в ущелье дороге.

Свернул с неё, отыскал ведущую вверх тропу, поднялся к стене и по длинному, едва различимому между камней проходу, пробрался в Старый город. Он был уже пуст. Гулко отдавались шаги в узких проулках.

Вдоль закрытых лавок ночной ветер волок обрывки бумаги, пластиковые пакеты; погромыхивал пустыми банками. Семён вошёл в одну из лавок — внутри ещё горел свет. В глубине за прилавком сидел толстяк, обняв ладонями круглый живот.

— Привет тебе, Резо!

— Что так долго? Думал, уже не придёшь. Кофе хочешь?

Семён опустился на табурет возле прилавка, вытер пот со лба.

— После работы пить к тебе — удовольствие маленькое...

— Вот и подкрепись.

— Да нужен мне твой кофе!

— Грубый ты человек. Невоспитанный.

— Не до воспитания было...

Резо молчал, глядя на гостя внимательными насмешливыми глазами.

Семён вытащил из сумки свёрток, быстро и ловко развернул.

— Как тебе, а?

Перед Резо возникла отливающая тусклым серебром неглубокая чаша на тяжёлой широкой подставке. Склонился над ней...

— Это для омовения рук... Где взял? В храме?

— В одном из приделов. Стояла без надобности. Сколько дашь?

— Триста.

- Ты что?!
- Это на любителя.
- Взгляни, сколько ей лет! Посмотри, посмотри там внизу!
- Резо перевернул чашку.
- Восемнадцатый век...
- Ну, да!
- Уважаешь древность. Молодец.
- Склонился над чашей, подумал...
- Триста пятьдесят.
- Побойся бога!
- Больше не дам.
- Креста на тебе нет!
- Как хочешь. Твоё дело.
- А, черт с тобой, сквалыга...
- Резо убрал с прилавка чашу, протянул Семёну несколько бумажек.
- Схватил, хохотнул.
- Не фальшивые, а?
- Резо не отвечал.
- Так я пошёл?
- Подожди. Помнишь, о чём я говорил?
- Семён нахмурился, провёл ладонью по лбу.
- Помню... Но где искать эту чёртову тарелку? Перерыть весь монастырь?
- Сёма, это большие деньги. Это очень большие деньги.
- Догадываюсь, не маленький... Дался вам этот!..
- Резо поджал губы, лицо его окаменело.
- Она нужна. Это государственное дело.
- Вижу!
- Ну так что?
- Постараюсь уж... ради братского грузинского народа.
- Постарайся, Сёма. Очень постарайся.

Андрей спустился к шоссе и едва разглядел монастырь за потоком сверкающих фар. Вдруг показалось, что он исчез, растворился среди холмов. Только крест на колокольне едва проступал сквозь тьму.

Прошёл по дорожке мимо зарослей сухого кустарника к стене, вознёсшейся контрфорсом. Дверь была не заперта. Прогнувшись под каменной кладкой, вошёл во двор и по каменным ступеням вниз — оттуда сочился жёлтый свет — и снова оказался в притворе с длинной скамьёй, укрытой вытертым шёлком накидки.

Они сидели рядом, Володя и Лина. От жаровни, стоявшей в ближнем углу, тянуло теплом.

— Привет честной компании!

— Привет! Ставь пакет у холодильника. Коля разберёт.

Глаза Лины опущены. Володя нервно почёсывает бородку. Уж не помешал ли он им? Достал из кармана джинсов голубую пачку, протянул Лине через стол. Подняла к нему бледное лицо, улынулась.

— Спасибо!

Мгновенное прикосновение лёгких пальцев.

— Я ж тебе говорю — хороший парень!

Смешок.

— Без курева я не останусь.

Похоже, расслабились... Лина закурила. Поплыл по комнате легкий дымок. Смотрит на него, чуть прищутив глаза.

— Как ты?

— Я то?... Нормально.

Неслышно возник из соседней комнаты Коля, увидел пакет, склонился над ним...

Пододвинула блюдце с крупно нарезанными сыром и хлебом.

— Ешь. Заслужил. Завтра пойдешь?

— Пойду. А что делать...

Смешок.

— Ага...

Смотрят, как он ест, торопливо заглатывая хлеб.

— Возьми с сыром.

Склонила голову к плечу, дымок воспарил из розовых губ.

— Кого только не было здесь... А вот теперь пришёл ты.

— Как это?

— Так... Арабы, крестоносцы, мамелюки...

— Ну и юмор у тебя! Ты забыла про грузин.

— О, да! Как голодная кошка, облизываются на монастырь. Владели им, почитай пятьсот лет...

Стукнула дверь холодильника. Мягко ступая, Коля вышел из комнаты.

— А как сюда попали вы?

— Интересный вопрос... Лина лучше меня знает историю. Кажется, сначала появился Коля?

— Точно. Стал ухаживать за стариком. Тот ведь жил в полном одиночестве. Всеми забытый. И за настоятеля, и за сторожа...

— А что же его начальники?

— У них денег нет. Никогда не было денег на монастырь. Здесь жили богословы, переписчики... Собирали библиотеку — книгу к книге, рукопись к рукописи... Сами себя не кормили.

— Иждивенцы!

— Можно сказать и так...

— Значит, первым появился Коля...

— Ишь ты! Мальчик хочет всё знать!

— На то он и мальчик... Коля не справлялся один. Да и говорит только по-русски.

— И что же? Вывесил объявление у Машбира?

— Слушай, он мне положительно нравится!

— Мне тоже... Он не вывесил объявление. Он ждал. И я пришла.

Стряхнула пепел в пустую чашку.

— Ты всегда приходишь, когда нужна?

Кивнула головой, словно именно этого — ожидала... Ладонь Володи легла на её плечо.

— Претендентов хватает, правда?

Передёрнула плечами. Убрал руку.

Вошёл Коля, взял с кресла плед. Скрылся за дверью.

— Кажется, старик совсем плох...

Лина молчала, отвернув лицо.

— Да, — Володя встал. — До зимы мы вряд ли здесь дотянем.

— Почему?

— Выгонят. Пошли! Пора спать.

— Но...

— Отдохни, — Лина улыбнулась. — Ты ведь теперь рабочий человек!

...Он шёл по Яффо. Был шумный, жаркий, ослепительно-яркий иерусалимский день. Остановился, не обращая внимания на текущую мимо горластую разноязыкую толпу. Стоял и смотрел на противоположную сторону улицы, где за витриной лавочки, торгующей женской одеждой, почти вплотную к её стеклу продавщица, маленькая полная женщина, разговаривала с покупательницей. Вот, прошла вглубь лавки, вынырнула из полутьмы, разложила что-то на прилавке, заговорила... вдруг подняла голову, посмотрела в окно, отвернулась, снова посмотрела — тревожно и недоумённо... Там, за витриной, словно птичка в клетке, прохаживалась по тонкой жёрдочке, подрагивала сложенными крыльями — чья-то уже чужая жизнь. А ведь стоит перейти дорогу, и женщина, которая когда-то была твоей, снова окажется рядом...

Шагнул на поребрик, остановился... Нет, это иллюзия! Так станет ещё хуже! Словно натолкнёшься на невидимое стекло... Опустил голову, поправил холщовую сумку; неторопливо двинулся по краю тротуара, не обращая внимания на гул моторов, лязг тормозов, сизоватый, горький, стелющийся по улице дым.

Дойдя до перекрёстка, подождал, пока загорится зелёный свет, перешёл на другую сторону. В тени тёмно-серого подмандатного дома, у подъезда с табличками контор увидел знакомую фигуру: Коля сидел на земле, выставив вперёд тощую голую ногу, развороченную приклеенной гуттаперчевой раной — тёмно-бордовой, с загибающимися рваными краями. В руке Коля держал щиток с едва различимыми стершимися ивритскими буквами. Володя молча прошёл мимо: не следует мешать, у каждого — своя работа. Но буквы нужно подправить.

Возле Машбира на бордюре, огибающем сквер, где когда-то стоял монастырь, сидели те, кому нужна была тень, чтобы передохнуть — выпить воды, съесть питу, дожидаться свидания... Двое русских в кипах, сдвинутых набекрень, с серыми помятыми лицами, угрюмо склонились над пластмассовыми стаканчиками с бесцветной прозрачной жидкостью, каковой в изобилии в русском магазине, что возле Машбира.

Свернул направо. В этом месте в любую погоду — ветер. Он налетает из узкого устья Бецалель, скользящей вниз с холма, к простору, проступающему сквозь дома, к другим холмам, уходящим за горизонт. И Володя

направился по Бецалель, а дойдя до скверика между домами, прошёл сквозь него к приземистому зданию, где у входа как всегда стояли чучки оживлённо щебечущих олим с тетрадками в руках; поднялся на второй этаж, отворил дверь в зал, заставленный столами и полками с книгами.

Пройдя мимо библиотекарши, скучавшей за стойкой, сел у окна. Здесь не было солнца, поскольку окна с этой стороны зала смотрят в колодец двора, образованный квадратом сжавших друг друга железобетонных зданий. Он огляделся. Зал был почти пуст: через стол от него спал какой-то бомж растрёпанного вида, уткнув лицо в сложенные руки. У журнальных полок стоял молодой хасид, раскрасневшееся лицо его возбуждённо блестело. Судя по всему, он рассматривал женские журналы. Посреди зала сидел в одиночестве худощавый посетитель с ярко выраженным еврейским профилем и седыми кудрями, доходящими до плеч. Он что-то писал.

Володя вытащил из сумки маленькую потрёпанную кожаную книжку с золотым тиснением на обложке и, положив перед собой, принялся перелистывать, время от времени кое-что подчеркивая в ней огрызком карандаша. Поднял голову, взглянул в окно... Интересно, зачем им нужно переводить эту книгу? Чтобы потом — не читать? Вот же, написано: Рабан Гамлиэль, сын раби Йегуды Ханаси, говорил: «Хорошо сочетать изучение Торы с каким-либо ремеслом, ибо оба этих дела требуют напряжённого труда, что отвлекает от греха; а любые занятия Торой, не сочетающиеся с работой ради пропитания, не могут продолжаться долго и повлекут за собой грех». Но ведь сотни тысяч не работают и лишь изучают Тору вне зависимости от способности и желания... Пухнут от безделья, наливаются дурной кровью — как этот, нервно шарящий у журнальных полок рукой под сюртуком... И надо было приехать сюда, чтобы всё это увидеть! Чтобы с каждым днем отчаяние всё больше захлестывало тебя. Чтобы потерять в этом странствии семью и страну, и стать никем, песчинкой, уносимой ветром!

Поднялся, достал из сумки пачку, прошёл в коридор. Сел на широкий подоконник у окна, закурил... В здании — тихо: взрослые ученики разбрелись по классам, а время вечерних занятий ещё не настало. Сквозь пыльное стекло виден двор с его ржавыми балконами, кое-где завешенными разноцветным тряпьем.

Дверь отворилась, и в коридор вышел седовласый. Встал у стены, быстрым нервным движением вынул сигареты из кармана выдавших виды брюк, задымил, скользнул по Володе острым взглядом:

— Давно приехали?

— Года два уже будет... Признаться, мне уже надоел этот вопрос.

— Кама зман ата бэ арец! Хе-хе...

— Именно.

— Но это ведь понятно! Общество наполовину эмигрантское. Так что социальное положение напрямую связано с датой приезда. Я в стране около года. Болтаюсь пока без дела.

— Да. С работой очень трудно... А как продвигается язык?

— Неплохо. Он весьма своеобразен. Когда узнал первые слова, сразу подумал: ну вот, в Персию попал! Мемшала... Пакид... Ахшав!

Собеседник Володи, задрав острый подбородок вверх, снова хихикнул.

— Прелесть!

— У вас хорошее чувство языка. Эти слова, действительно, очень древние.

— О, так вы разбираетесь? Извините, я обратил внимание на книжку, которую вы читаете.

— А... Вот в чём дело...

И — под неотрывным внимательным взглядом седовласого:

— Я изучил язык ещё в России. В Костроме.

— А... Так вы из Костромы... Интересно!

— Очень... Случайно познакомился с прекрасным человеком. Его звали раби Соловейчик... У меня... у меня были проблемы... И он помог мне советом. Или, даже скорее, своей добротой, открытостью, умением радоваться жизни... А какая у него самого была тяжёлая жизнь! Долгие годы в тюрьмах и лагерях, потеря близких... И такая беззаветная детская вера!

— Он умер?

— Да. Перед моим отъездом... Со всего города едва набирался миньян. Они собирались у него в его крохотной квартирке едва ли не тайно.

— Простите, если я задам вам... э... вопрос... Пусть он не покажется вам бестактным...

— Не покажется. Я уже привык... Да, я русский. Коренной русак.

— Хм... Знаете ли, у евреев — своеобразная судьба. Лучше уж держаться от нас подальше.

— Не получилось.

— А что же... церковь?

— Местный священник оказался толстой продажной скотиной. Из-за него меня взяли на заметку в КГБ... А я начал изучать язык, чтобы читать эти таинственные древние книги... Я, знаете ли, способен к языкам, преподавал в школе. Вот так и пошло... Иврит, потом Тора, Танах...

— Был такой Онкелос. Стал знаменит. Остался в истории, и не только еврейской.

— Вы начитаны, однако...

Седовласый сокрушенно мотнул головой, издал свой короткий сдавленный смешок. Казалось, он подсмеивался — только над кем?

— Горшки и вершки! В отличие от вас, я не способен к усидчивости. Где-то что-то услышал... А как вы... то есть...

— Как я приехал сюда? Очень просто. Женился на еврейке.

— Понятно...

Володя молчал, глядя через окно во двор, где двое арабов с грохотом сгружали с грузовика пустые железные ящики. Заговорил медленно, тщательно подбирая слова:

— Нарисовал такую картинку... Словно идут по пустыне люди...

Снова умолк.

— Да? — с готовностью отозвался собеседник.

— Словно идут по пустыне люди в развевающихся одеждах... Знаете, такие хитоны, что ли... Мужчины, женщины, дети... Идут сквозь века, кон-

тиненты, страны... Упорно, к какой-то только им одним ведомой цели... Может быть, они хотят добраться до Земли Обетованной? Но вот ведь она — здесь!

Собеседник сокрушенно мотнул головой:

— Что-то не похоже...

— Картинка исчезла. Правда, временами всё ещё мерещится что-то...

Словно мелькают на горизонте одежды, звучат голоса...

— Ну... Этому можно найти объяснение. Если присмотреться к местным арабам...

— Они вросли в землю. Они никуда не идут.

— А ваши странники... Куда они направляются?

— Вам лучше знать.

Седовласый задумался, глядя в щербатый пол...

— Не знаю... Народ жив. Это главное.

Внизу нарастающий гул, топот ног, голоса. Лавина, катящаяся во двор.

— А вы счастливый человек. Только не догадываетесь об этом.

— Да уж... Счастья хоть отбавляй!

— Надеюсь, как-нибудь продолжим разговор. Если встретимся... в пути.

— В том же зале той же библиотеки!

Скрип открываемой двери, хлопок. Тишина...

Володя вернулся в зал. Вошла женщина в сопровождении двух мужчин, они громко говорили по-русски. Библиотекарьша, едва видная из-за стойки, прикрикнула на них. Уселась, продолжая шушукаться; достали учебники и тетрадки... И он был таким же — возбуждённо и озабоченно заглядывающим в будущее, как в полуоткрытую дверь.

Седоволосый сдал книгу, кивнул Володе — вышел из зала. Юный ортодокс перебрался в дальний угол — там ему уже никто не мешал. Володя склонился над страницами — и снова возникло это чувство: безостановочного равномерного движения сквозь время. Начиная говорить один, медленно и веско; в разговор вступал второй, не перебивая — дополняя, играя смыслами, как драгоценными камнями; и вот уже к ним присоединялись другие... Отчётливо и ясно звучали их голоса в гулкой тишине веков... Как же переводить? Со всеми ли комментариями или какие-то отбросить? Как сделать так, чтобы вот эти, возбуждённо шушукующиеся над тетрадками, почувствовали то же, что чувствует он?... А где его место? Похоже, нигде... Никто и ничей. Одинок... Да, одинок. Но и свободен! Сунул книжку в сумку, вышел из зала.

На улице сгущались сумерки. Здания горели в багровых лучах заходящего солнца. Их обугленные тела плавились, погружались в темноту. Томительная вязкая тяжесть разливалась в воздухе.

Вернулся на Кинг Джордж, на углу с Агриппа купил в душевой, водяющей прогорклым маслом фалафельной полпорции, положил в пластмассовую тарелку побольше бесплатных овощей. Действия, которые совершаешь каждый день, не замечая их... Одни и те же, каждый день. Какой бы жизнь ни была, она катится по раз и навсегда проложенным рель-

сам. А революции... революции — всего лишь неудачные попытки взорвать порядок вещей, противопоставить им волю к переменам... Сломать обыденность, придать жизни смысл. Эта борьба за смысл и есть первоначальный инстинкт, а вовсе не тяга к размножению или даже голод... Борьба за смысл — какой угодно! Тогда и смерть не страшна.

Плез в сумку, открыл кошелёк, пересчитал мелочь. Как раз — на банку фанты. Пробился к прилавку, за которым хозяйничал марокканец в кипе, с лоснящимся от жара лицом. Протянул мелочь, получил жестянку, покрытую патиной белесого инея. Как приятно глотать прохладную влагу горячим ртом! И хотя бы в эти мгновенья ни о чем не думать...

Швырнул пустую банку в деревянный ящик у входа, заполненный доверху грязной бумагой вперемежку с остатками еды; вышел на улицу. Она забирала круто вверх, и по ней спешили все, кому этот вечерний час предоставлял возможность задёшево набить сумки, перед тем как сомкнутся на ночь ненасытные челюсти рынка.

Лавочки тянулись непрерывной линией, вываливая напоказ, чуть ли не под ноги, всё своё тряпичное, пластмассово-жестяное содержимое. Остановился перед блочным зданием, асфальтовая площадка возле которого, забитая днем машинами, была уже пуста. Подняться наверх и узнать насчёт чека? Поздно, да и наверняка чек еще не готов. Унижаться лишний раз...

Улица заскользила вниз. Лавочки сменились закусочными и рестораничками с их запахами жареного мяса, свежее испеченного хлеба, крепчайшего кофе... И вот уже показалось внизу запруженное машинами шоссе, и за ним — едва угадываемые в темноте, уходящие за горизонт, мерно дышащие холмы.

Володя толкнул дверь — она была еще не заперта — прошёл сквозь узкое жерло входа во двор. Горел тусклый свет над аркой, и в его жёлтом круге две едва различимые, стёртые до белизны фигуры простирали обломки рук к святому дереву. Острый серп месяца едва проглядывал сквозь ветви кипарисов; в полукруг, как в амфитеатре, разглядывали пришельца пустые глазницы келий.

Шорох... Он прислушался. Женский голос? Да. Доносится сверху, где размещались когда-то кухня и трапезная.

— Не надо... Перестань!

Тишина. Шорох. Тяжелое дыханье.

— Прощу тебя! Я так не могу... Я так не хочу!

— Дурёха... Не строй из себя целку... Ты ведь хочешь, да?.. Ты хочешь... Дай я тебе...

— Нет!

Прерывистое дыханье. Мужской голос:

— О, чёрт! Ненормальная!

Стук туфелек. Володя вжался в стену... Пересекла двор, взметнулась туда, где кельи. Лязг железа о камень.

Тяжёлые шаги. Спустился вниз.

Он стоял в двух метрах от Володи — бычья голова на толстой шее, мускулистые ноги, короткие шорты — думал, сопел... Шагнул было в направлении келий — остановился... Направился вглубь двора. Скрылся в узком проходе между церковью и стеной.

Володя оторвался от стены. Билось сердце, перехватывало дыхание. Пересёк двор, взгляделся: среди чёрных провалов теплился свет. И тогда он поднялся по каменным ступеням, стукнул в дверь.

...Андрей вздрогнул — показалось или нет? Что-то мелькнуло в окне, на мгновенье закрыв его.

Поднялся, подкрался к окну... В нескольких метрах от него отчётливо выделялась тёмная фигура на фоне стены. Похоже, Семён... Снова чинит водопровод!? В руке Семёна вспыхнул фонарик, вобрав в свой жёлтый круг кусок стены и начало узкой железной лестницы, ползущей по стене собора. Семён стал медленно подниматься по ней. Наконец, пляшущий свет фонаря исчез в высоте, там, где навис над стеной костлявый очерк колокольни.

Андрей натянул джинсы, выскользнул за дверь, приблизился к лестнице... Что он делает наверху? Посмотреть? А если они столкнутся лицом к лицу... Ничего! Всегда можно сказать, что заподозрил что-то неладное, чужака, разгуливающего ночью по монастырю.

Ржавые поручни были влажны от росы. В нескольких местах болты, державшие лестницу, выскочили из стены, она шаталась при малейшем движении. Захотелось повернуть назад... но осталось уже совсем немного! Последнее усилие — и он уже на плоской крыше, с которой виден внутренний двор — полукруг низких построек, тянувшихся вдоль стены: туда можно проникнуть только через окованную железными листами дверь церковного портала. Но она всегда закрыта... Огонек пляшет справа, возле чердака с зарешённым окном. Нет, скорее, это не чердак, а верхний этаж постройки с рядом окон, вытянувшихся вдоль фасада.

Створка крайнего окна приоткрыта, его решётка, аккуратно вывернутая, прислонена к стене. Свет фонаря — уже внутри — скользит по полкам с книгами, длинным столам, каким-то иконам, подсвечникам, чашам... Вот, замер, взлетел вверх, выхватил чьё-то лицо с железом и в клобуке — на мгновенье глаза ожили, сверкнули! Грохот, словно что-то обрушилось. Хриплый мат... Отпрянул. Пора уходить. Тот — в любой момент может выскочить на крышу! Вернулся к лестнице, нащупал в темноте ржавые поручни и — вниз, по шатким ступеням; метнулся за выступ... Семён спускался медленно, тяжело дыша. Коснулся земли, остановился. В руке — большой пластиковый пакет. Переложил в другую руку, с усилием поднял... По-видимому, добыча весома.

Скрип гравия. Длинная тень скользнула по светлой лунной стене. Исчезла.

...Стукнул в дверь. Пауза... щелчок замка.

— Это ты? Так поздно...

— А ты думала, кто? Курево кончилось. Помоги страдальцу.

Смешок.

— Подожди здесь. У меня ужасный бардак...

Вернулась, протянула пачку.

— Как... Все?

— Там две штуки. До утра хватит?

Взял пачку. Коснулся прохладных пальцев.

— Я слышал...

Прислонилась к дверному косяку.

— Подслушивал?

— Так получилось... Вы возились довольно громко.

— Я должна что-то объяснять?!

— Не терплю ханжества!

Подалась назад, схватилась за ручку двери... остановилась.

— Ты слишком строг ко мне! Почему?.. Сказать, или сам догадаешься?

— Тебя притягивает это животное! Ты боишься выйти за ограду, но даже здесь отыскиваешь грязь!

— Бедный... Мне тебя жаль...

— А себя тебе не жаль?

— Нет... Это мой земной опыт.

— Ха! Думаешь, пригодится?

— Хочу надеяться, что да... И не только мне.

Она стояла в полуметре от него. Протянуть руку, дотронуться... Слово угадав его движение, подалась назад.

— Пока!.. — и уже тише, с коротким смешком, — постарайся уснуть...

Щёлкнул замок.

Ночь огромной птицей простёрла свои крылья над холмами, изогнулся её клюв — серп молодого месяца. Знобкий ветер шуршал ветвями старых кипарисов, и они недовольно шумели.

Володя прошёл по полукругу двора до своей двери, открыл её, оглянулся... В окне, на другом конце галереи, погас свет.

...Она пила кофе, прислушиваясь к звукам, доносившимся из спальни Юстина. Уже вторая чашка, но голова по-прежнему отчаянно гудит.

В середине ночи к ней постучал Коля — с Юстином плохо! И впрямь, Юстин лежал на своём топчане, тяжело дыша, черты его заострились. Казалось, он был без сознания. Но при звуке её голоса — открыл глаза.

— Я думал, уже всё. Отошёл... — Коля перекрестился.

Села на край топчана, взяла руку Юстина. Пульс едва прослушивался.

— Давай вызовем скорую!

— Они возьмут его в больницу, а там он точно не выживет.

Показалось или нет, — пальцы Юстина сжали её запястье...

— С ним надо говорить.

— Что?

— С ним надо разговаривать! Нельзя позволить ему уйти!

И она стала произносить слова, осторожно поглаживая его руку. Главное — был голос, тихий, неотвязный, настойчивый... Юстин лежал; открыл глаза, слушал... Лина пересела в кресло, и вот уже Коля, склонив-

шись над настоятелем, забормотал молитвы. Лиана погружалась в темноту, выныривала под тусклый свет лампы... Сменила Колю и снова сжимала невесомые пальцы Юстина. Они уже не были так холодны... На рассвете Юстин заснул — припав к его рту, она уловила ровное дыханье.

Шорох за спиной... Лиана оглянулась. Коля вышел из спальни со своей сумкой в руке — такой же, как всегда, только морщины на щеках проступили резче.

— Как он?

— Спит. Уже не задыхается.

Поставила на стол пустую чашку.

— Купи еды. Деньги-то есть?

— Есть пока.

— Только не задерживайся.

— Да уж, постараюсь...

Прошёл во двор. Жилистая фигура, обтянутая выцветшей ковбойкой, исчезла в утреннем свете.

Откинулась к стене, но только прикрыла глаза, раздался шорох... Разлепила веки. Напротив неё сидит этот мальчишка, которого привел Володя. Рот кривится, глаза лихорадочно блестят. Похоже, у него тоже была бессонная ночь.

— Что случилось?

Провёл подрагивающими пальцами по лбу:

— Семён — вор!

Медленно склонила голову.

— Знаю...

— Он крадёт монастырскую утварь!

— О, да. Такой гадкий... В этом-то и дело.

— Тебе всё равно? Он... грязный, понимаешь? И опасный!

— Правда?

Губы сложились в едва заметную презрительную улыбку.

Отвёл взгляд.

Помолчала...

— Как ты думаешь, на какие средства мы живём? На милостыню Коли? Или подачки Володи? Он единственный достаёт деньги. Работает, ну и...

Вздыхнула, поправила рассыпавшиеся по плечам волосы.

— Если бы всё было так просто... Пойду к Юстину. Он очень плох.

— Да, я понимаю...

Занавеска, скрывающая проход в спальню, приподнялась. Опустилась.

Вот как... Единственный достаёт деньги. Работает! Но зачем ему работать, если он ворует? Интересное дело...

Соорудил бутерброд из остатков сыра и хлеба, заварил кофе. Из-за занавески не доносилось ни звука. Пойти в магазин? Хотя уже поздно, да и видеть подонка неохота. Но куда деваться? От этой девчонки, с презрением глядящей на него, этой чёртовой тюрьмы под видом монастыря?

Вдруг — словно обручем сдавило горло. Поперхнулся, вскочил, выбежал во двор. Бежать отсюда! Но бежать-то некуда... Просто уйти. Хотя бы в город. Если ворота открыты... А там — видно будет.

Ворота были открыты. За стеной, с дорожки, петляющей среди кустов, свернул на узкую улицу, где раскалённые машины непрерывной цепочкой ползли вверх мимо редких пешеходов, хоронящихся от солнца под едва различимой тенью невысоких домов. На вершине холма улочка превратилась в маленькую площадь, и вдруг внизу вдалеке на фоне ярко-синего неба — очерк стен Старого города.

На перекрёстке Андрей остановился. Раскалённая громада дня, зависшая над городом, придавливала всё живое к земле, прерывалось дыханье, но ей наперекор тянулись вдале не иссушенные солнцем, возвращённые бережной человеческой рукой, деревья. И Андрей пошёл вниз по улице мимо их терпеливых, упрямых стволов. Справа у старинного особняка стоял солдат — американский флаг осенял его, а слева, за полуразрушенной каменной изгородью, виднелись лужайки с жухлой травой, и среди них как выветренные черепа, возвышались камни надгробий, покрытых арабской вязью.

Казалось, стены с их очерком церквей и минаретов были уже совсем рядом... Но нет, пошли какие-то домишки, громоздящиеся друг на друга, и среди них, как линкор в окружении лодчонок, разрезал синеву фасад собора с каменной фигурой богоматери на фронтоне. Народу становилось всё больше: туристы с флягами и фотоаппаратами мелькали розовыми свежезагорелыми икрами и плечами, сквозь них с трудом пробивались евреи в чёрных шляпах и пиджаках, мальчишки-арабы вертели под ногами со своей мелочовкой; у ворот, сквозь которые непрерывно сновали жёлтые мерседесы-такси; на помосте мальчишки и девчонки в одинаковых футболках танцевали и пели по-английски, взявшись за руки.

За воротами толпа стала еще гуще. Казалось, узкие улочки с трудом выдерживали её. Непрерывной линией тянулись лавчонки, шли туристические группы, впереди которых семенили озабоченные экскурсоводы. Один из них, плотный бородач со взмокшей на спине рубашкой, поравнявшись с Андреем, крикнул своим белолицым, с бесцветными плоскими лицами подопечным: «Не отставааать! Это Старый город! Здесь всякое может случиться!»

И Андрей двинулся вслед за ними по узкой улочке, каменными, вытертыми от бесчисленных ног ступенями уходящей вниз. Сплошные навесы лавок закрывали небо, рябило в глазах от блеска поддельного золота, переливов серебра, всего этого пёстрого, яркого, окутанного плотной вонью косметики, смешанной с восточными приторно-сладкими запахами...

Повернули вбок в длинный как кишка переулоч, вдруг резко остановились возле каких-то ступеней, над которыми висела полустёртая табличка на иврите, английском и арабском. «Виа Долороса!» — возгласил проводник. Под табличкой фотографировались, нетерпеливо ждали очереди, щёлкали, ослепляя друг друга белыми вспышками. Дошла очередь и до русских.

Рядом с Андреем остановились две девушки, по-видимому, из группы. Одна, высокая и полная, с волосами, подвязанными платком, отрешенно

глядела вокруг, а другая — простоволосая, с острым лицом, улыбалась радостно и изумленно... Она была похожа на встревоженную птичку. Группа двинулась дальше. Девушки пристроились сзади. Андрей шёл за ними сквозь толпу, едва различая впереди экскурсовода: с поднятым жезлом, наверху которого болтался желтый флажок, он был похож на диковинного мажордома.

Вышли на площадь возле какого-то собора. Солнце палило; сквозь потную поволоку, наплывавшую на глаза, был едва различим тёмный вход, к которому и двинулась группа. Девушки мелькнули где-то впереди. Андрей стал пробиваться к ним, толпа внесла его внутрь собора — на мгновение отхлынула, разделившись на множество ручейков — и он вдруг остался один... В полутьме горели свечи, голоса сливались в один тревожный, неотвязный гул. Он воздымался вверх, к едва различимому куполу, нависавшему над массивными каменными стенами. Толпа завивалась вокруг саркофага в центре, окружённого мерцающим свечей. Кто-то рядом произнес по-русски: Гроб Господень.

Медленно нисходили куда-то вниз, осеняя себя крестным знамением, подымались, исчезали в полутьме. Андрей стоял, заворожённо глядя на блики, дрожащие на поверхности саркофага... Рядом остановилась экскурсовод с флажком, болтающимся на жезле, заверещала! Рванулся от неё вбок, по каменным ступеням, ведущим в подземелье. И вдруг — различил на стене, на ноздреватом камне — вырезанный полустёршийся знак — крест и рядом год: 1237. Он стал спускаться ниже, и увидел ещё и ещё... Пилигримы, достигнув цели, оставляли свои зарубки. Он шёл сквозь строй веков...

Лестница кончилась, и Андрей оказался в просторной зале, в дальнем конце которой за железной изгородью скрывалась, по-видимому, очередная могила. А рядом с ней на низкой мраморной плите сидели — его девушки! Они сидели, поджав под себя усталые ноги, и их туфельки, отдыхая, валялись рядом. Худенькая положила голову на плечо подруги, а та что-то шептала ей, обняв за плечи... Они достигли цели.

Лучше всего — подождать их наверху... Он вернулся к входу, протолкался в ворота, сквозь которые вливался в собор непрерывный людской поток. Бородач, помахивая жезлом, уже созывал зычным голосом вверенное его заботам стадо. Девушки подошли последними. Группа двинулась в обратный путь.

Как-то нужно заговорить с ними... А между тем возникла уже чистая просторная площадь с лавочками и закусочными. Хасид в своей неизменной шляпе наматывал тфилин на руку молоденького туриста в полуспуценных шортах и выглядывающих из-под майки цигит. Слышался ивритский говор. Экскурсовод провозгласил двадцатиминутный привал. Девушки направились к фалафельной, встали в очередь. Эх, была не была! Подошёл к ним и, заглядывая маленькой в лицо, выпалил первую пришедшую на ум фразу: «Простите, как пройти к Яффским воротам?!...» Пауза... «Не могли придумать ничего умней?» — сказала, нахмурившись, подруга. А маленькая, глядя в смущённое лицо Андрея, — рассмеялась!

— Вы всегда такой изобретательный?

- Нет... — сказал он. — Только сейчас.
- Вы и впрямь не знаете, где находятся эти самые ворота?
- На ваш вопрос так уж сразу не ответишь...
- Вот как? Забавно.

Очередь быстро двигалась.

- Что возьмём? — спросила подруга.

Даже не знаю... Шварму?

- Я бы вам посоветовал фалафель, — сказал Андрей.

— А что это?

— Это такие обжаренные шарики из гороховой муки. Вкусно. И дешевле швармы.

— Ага! — сказала маленькая. — И он тут еще про ворота темнит!.. Так что будем брать?

Они уже стояли напротив продавца.

- Фалафель, — сказала высокая. — Поверим уж этому знатоку.

— Фалафель! — объявила маленькая заплывшему от жара продавцу, подняв вверх два пальца. Получила в руки масляные пакеты с питами, обернулась к Андрею.

- А вы почему не заказываете?

— Я? Я... я не хочу.

— Вот как...

Несколько мгновений она смотрела на него... Посерьёзнела, качнула головой.

— Я вас угощаю.

— Нет!

— Что ты делаешь!? — воскликнула подруга.

Но маленькая уже с помощью пальцев всё разъяснила понятливому продавцу. Протянула Андрею питу.

— Берите.

— Но...

— Берите же!

— Спасибо...

— Вон пустая скамейка! Пошли, пока не заняли! — провозгласила подруга.

Подбежали, уселись рядком.

Он стал есть, захватывая зубами край питы, втягивая в рот... Какая вкуснятина!

Маленькая смотрела на него...

— Вы неправильно едите, — сказала она.

— Почему это?

— Надо вот так, слоями.

И она принялась подбирать своими быстрыми пальчиками лежащие сверху чипсы.

— Вот так.

— Вы когда-нибудь ели питу?!

— Нет. Но я уже поняла.

Засмеялся.

— Вы чудо!

— Ну, да, — сказала подруга. — Во всём разбирается и обо всём судит.

— Меня вообще-то зовут Андрей, — рот, набитый питой, мешал говорить, но звуки всё-таки проходили.

— А меня — Маша.

— Анна, — сказала подруга. Она задумчиво изучала эту странную еду...

— Ешь, а то не успеет! Надо бы колу ещё купить.

— Не надо, — питы уже не было. Андрей подобрал остатки чипсов с донышка пакета. — Где-то должен быть фонтанчик с водой. У них всегда так.

— Вкусно! — пользуясь своим методом, Маша добралась уже до шариков с фалафелем. — Вы давно здесь?

— Нет... Не очень. Я здесь проездом.

— И куда направляетесь?

— Вообще-то в Индию... А сейчас даже и не знаю...

Засмеялась, обернула к нему к нему узкое лицо с большими сияющими глазами.

— Сбились с маршрута?

— Можно сказать и так... — ткнул пальцем куда-то вбок. — А вон и фонтанчик! Видите?

В нескольких шагах от них стоял бородач в кипе. Склонившись над плоской чашей, из которой била струйка воды, заглатывал её толстыми губами.

— Очень аппетитно! — сказала Анна.

— Ничего страшного. Пошли.

Подбежали. Припали по очереди...

Вода была тепловатая, но фонтанчик работал исправно.

Андрей вытер губы ладонью, огляделся: площадь возбуждённо и радостно гудела, сиял над головой тёмно-синий карбункул неба. А рядом... рядом была эта замечательная девчонка!

Вожак уже покрикивал, воздымая свой жезл. Снова двинулись по узким проулкам, облепленным разноцветными лавочками.

— Вы откуда?

— Из Харькова, — сказала Маша. — По студенческому обмену. В рамках ИМКи. Слышали про такую?

— Слышал... И.. надолго вы здесь?

— Сначала поедем в двухдневную экскурсию по стране. Потом возвращаемся в Иерусалим на какой-то семинар... Еще неделя.

— Вот как...

— Остаться бы недельки на две!

— Кончай эти глупости, — сказала Анна.

— Ну правда, ведь здесь так здорово! А вы... — обернулась к Андрею, снизу вверх заглядывая в его глаза.

— Я?... Я в стране уже месяца два...

— Собираете деньги на билет в Индию?

— Уже нет.

Он произнес эти слова и сам им удивился. Голос звучал твердо, даже жёстко:

— Нет, в Индию я уже не хочу.

Дошли до Яффских ворот. Вожак провозгласил конец экскурсии. Те, кто приехал с ним, пусть идут к автобусу. Остальные — свободны! Толпа устало побрела к автобусам. Девушки и еще несколько человек — задержались.

— Куда вы сейчас?

— В гостиницу, — проговорила Анна. — Хватит шляться.

Маша молчала.

— А хотите, я вас ещё повожу по городу?

— Да вы что, с ума сошли!?

— Поводите нас завтра, — проговорила задумчиво Маша. — Ладно?

— Но мы решили завтра сходить на шопинг!

— Не хочу. Лучше ещё город посмотреть. Давайте встретимся завтра?

— Конечно! Э... снова у Яффских ворот. Чтобы не искать друг друга.

Во сколько?

— Ну... пораньше. Чтобы времени было побольше.

— В десять?

— Отлично!

— Ну, знаете, я вам не попутчик! Пошли уже!

— До завтра! — сказала Маша и — улыбнулась.

— До свиданья!

Андрей смотрел им вслед, пока они не исчезли среди серых домиков Мамиллы. Раскалённый зрачок солнца закатывался за холмы, высвечивая контуры высотных домов и гостиниц, а ближе, на противоположной стороне оврага, уже простёрлась фиолетовая тьма, и едва различимые сквозь её пелену, зависли над черепичными крышами Мишкенот Шаананим недвижимые крылья мельницы.

По всем признакам завтра — обещало быть.

Володя сидел на скамейке в парке в прозрачной тени куста у выхода к американскому консульству и из своего укрытия разглядывал фасад здания, вдоль которого прогуливался охранник в чёрном пиджаке. Ещё один, в таком же пиджаке, заглядывал в припаркованные у тротуара машины. Что и говорить, тяжёлая работа. А у него нет никакой... Позвонить этой сволочи возле рынка?.. Бесполезно. Лучше узнать у Нахмана. Может, он уже решил переводить Пиркей Авот?

Прошёл к выходу, под раскалённым козырьком телефонной кабинки набрал номер... Нахман ответил сразу.

— Кен?

— Нахман, привет! Это Володя!

— А...

— Извини, что беспокою... То есть, я хотел сказать... Как там насчёт Пиркей авот?..

Пауза.

Ровный бесстрастный голос:

— Ещё не принято решение.

— А когда...

— Не знаю. Это зависит не от меня.

— Понятно...

— А... когда позвонить?

— Звони. Заходи. Всегда рады.

Вышел из-под козырька. Перевел дыхание... Бесполезно!

Вниз по улице спускался Андрей. Долговязая фигура, спутанные волосы... Прошёл мимо, не глядя по сторонам. Интересно, куда он идёт... Окликнуть? Зачем... У каждого — своя жизнь. Привёл парнишку в монастырь — думал, это поможет. Но всё осталось по-прежнему.

Побрёл вдоль улицы. На углу — свернул на Кинг Джордж. Вынул кошелек из сумки, пересчитал мелочь. Странно, почему-то не прибавилось... Купить на последние курево или поесть? Лучше — курево, в магазинчике возле Сохнута. Всё те же дома, та же улица... Словно пойман в сеть, и её уже не разорвать!

Купил сигареты, закурил... Полегчало... Эта, бывшая, стоит сейчас за своим прилавком, словно всю жизнь там стояла. Словно и не было у неё ничего другого. Счастливая! А он — и не здесь, и не там. Нигде... Надо пересидеть жару. Не возвращаться же в монастырь...

Дошёл до Бецалель, спустился с горки к библиотеке. У входа пусто — видать, занятия в ульпане уже кончились. Поднялся по знакомой лестнице на второй этаж, вошёл в пустой и тихий зал... Последнее пристанище.

У окна сидит недавний знакомец, читает. Увидел Володю, улыбнулся, направился к нему.

— Есть разговор!

Вышли в коридор, устроились на широком подоконнике.

— Я уж думал — не поймаю вас. А мы ведь и не познакомились ещё. Как вас зовут?

— Володя.

Быстрая твердая рука.

— Марк!

— Очень приятно...

— Я к вам — с предложением.

— Правда? Это уже интересно...

— Надеюсь... Мы решили издавать еженедельную русскую газету в Иерусалиме. Пора! Количество русских здесь перевалило уже за десять тысяч. Этого достаточно, чтобы начать.

— А кто эти... мы?

— Я и ещё один... Он старожил, знает местные условия. Будет собирать рекламу и отвечать за финансы. А я буду редактировать. Я журналист. Нужен профессиональный переводчик. Переводить всё — рекламу, газетные статьи... Любую информацию, которая требуется газете. Можете?

— Могу. Только я устал от посулов. Сколько раз уже это было... Работашь, работаешь, а деньги не платят...

Марк задумался, понимающе мотнул седой гривой.

— Я сам с этим сталкивался... Поэтому лучше начать свое дело. Тогда уж точно не обманут. Я говорю вам как профессионал. Уже есть рынок.

— Надо подумать...

— Думайте. Только недолго. Позвоните дня через два... Есть, на чём записать телефон?

И — чиркнув авторучкой по протянутой сигаретной пачке:

- Надеюсь, смогу сказать что-то более конкретное. Идет?
- Ладно... Почему не поговорить...
- До встречи!

Едва слышно мякнула дверь.

Медленно спустился по лестнице, вышел на улицу. Двинулся вниз по Бецалель в сторону монастыря. Что это? Очередная обманка или, наконец, серьезное дело? Можно ли чему-нибудь верить в этом городе, дрожащем маревным миражом по склонам холмов...

Монастырь был едва различим среди жёлтой выгоревшей травы и серых камней. Но уже надвигались, нависали его контрфорсы... Володя открыл тяжёлую дверь; привычно согнувшись, пробрался по узкому проходу за стену. Из внутреннего двора доносились громкие голоса... О, так тут целая делегация!

Посреди двора расположились трое представительных мужчин, одетых в тёмные костюмы и рубашки с галстуками. Выделялся среди них самый полный и высокий, говоривший с веской начальственной интонацией. Рядом с ним стоял Семён, по-видимому, переводивший его слова. Семён явно нервничал — его голос звучал отрывисто и резко. Двери, ведущие внутрь собора, загораживали Лина и Коля. Лина покуривала, молча разглядывала пришельцев.

Скрестив на груди жилистые руки, Коля что-то тихо произнес. Семён обернулся к начальнику, торопливо зашептал... Начальник повысил голос, его округлая речь словно катилась по гулким камням двора. Это был грузинский — гортанный цокающий звук.

— Они хотят пройти в собор! Только и всего! Они ничего не тронут! Им надо только посмотреть! Господин Цирхадзе ручается за это! — вскрикнул Семён — и простёр воздетую длань в сторону Коли.

— Не велено пускать.

— Да пойми ты, дурья твоя башка, они хорошие деньги дают!

Господин Цирхадзе снова произнес свою длинную гортанную тираду.

— Ладно, пора кончать этот бардак, — Лина обернулась к Коле. — Пусть посмотрят. От нас не убудет. Только деньги — вперед.

Под недовольное бурчание Коли подошла к начальнику, протянула к нему маленькую ладошку. Радостно урча, вложил в неё увесистую пачку.

Обернулась к Коле:

— Пропусти!

Коля посторонился, делегация последовала к входу в собор, скрытому обитыми кованым железом створками массивной двери. Коля снял висевший у него на ремне длинный бронзовый ключ, вложил в затвор, с лязгом повернул, потянул на себя — створки медленно приоткрылись... Торопливо Семен шагнул вперед, раздвинул их — и гости вошли внутрь.

Сверху из-под купола проникал скудный свет, едва освещающая зыбкие сумерки, сквозь которые проступали колонны со стёртыми фресками, ветхие скамьи, большая круглая люстра в центре зала...

Пахло влажной прелью, отвалившаяся от стен штукатурка хрустела под ногами.

Гости, по-видимому, знали, зачем пришли, поскольку сразу направились к дальнему правому приделу. Остановились у колонны, всматриваясь в очертания какого-то седобородого старика с раскрытой книгой в руках... Начальник уважительно отодвинулся, дав место худенькому человечку с напряженным, словно сжатым в кулачок лицом, и внимательным взглядом. Вперившись в изображение, тот молча разглядывал его... Третий, молодой — красивый и гладкий — достал из кармана пиджака блокнот и ручку. Тишина зависла в воздухе... Вдруг человек резко поддался назад, прикрыв глаза — утвердительно качнул головой! Господин Цирхадзе издал восторженный гортанный крик! Молодой что-то торопливо писал в блокноте.

Семён обернулся к стоящим в дверях Володе и Лине:

— Определили! Это Руставели!

— Я рада за них.

Коля, стоявший поодаль и не сводивший с пришельцев настороженно-го взгляда, подошел к господину Цирхадзе; положив руку ему на плечо, другою — указал на дверь. Обернувшись к нему, тот — сжал Колю в своих объятьях! Между тем маленький что-то быстро говорил молодому, который, кивая головой, заносил всё в блокнот. Господин Цирхадзе выпустил, наконец, Колю и, подойдя вплотную к фреске, восторженно уставился в неё...

— Пусть наслаждаются. Они заплатили за это, — Лина прошла во двор, за ней потянулся Володя.

— Сколько дали?

— Пять тысяч.

— Ого!

— Да... Месяца на полтора хватит.

— Почаще бы приходили!

Улыбнулась своими бледными припухлыми губами:

— Лучше не надо. От них одна суета.

— Ну и что они теперь будут делать?

— Вернутся в Тбилиси и устроят национальный праздник. А потом обратятся с требованием вернуть монастырь.

— Да кто им отдаст!

— Разумеется. Монастырь перешёл к патриархии на законных основаниях. Но они попытаются...

Во дворе показался господин Цирхадзе. Лицо его раскраснелось от волнения. За ним шёл Семён — внимательный, готовый к услугам... Господин Цирхадзе подскочил к Лине, протянул ей руки; смеясь, вложила в его пальцы свои маленькие ладони, а он нежно и страстно припал к ним! Между тем, вышли уже искусствовед с секретарем. Обернувшись к ним, начальник издал победный клич — и они двинулись к выходу. Семён последовал за ними.

Со стуком и лязгом Коля закрывал двери...

Еще во дворе Андрей услышал голоса — непривычно-громко они звучали в вечерней тишине. Спустился по ступенькам вниз, вошёл в кофейню... Ну и ну! Настоящий пир! И впрямь, комната плывет в табачном дыму, сквозь него проступают раскрасневшиеся лица. Порозовевшая Лина дер-

жит в руке тонкий кубок на длинной ножке; Семён, примостившийся рядом, перегнулся через стол, что-то говорит смеющемуся Володе. И только Коля молча сидит на стуле у плотно прикрытой двери, ведущей в покои Юстина.

— А вот и наш юный друг! Присаживайся и вкушай! — улыбка как волчий оскал.

Андрей сел рядом с Володей, оглядел стол... Никогда еще не видел он такого изобилия: скатерть уставлена закуской; на огромном, едва ли не в половину стола, фарфоровом блюде ароматно дымитса мясо, призывно маянят бутылки с вином. И какие тарелки! Тонкие, белые, с проступающими сквозь белизну голубыми разводами цветов.

— Это Линочка решила устроить нам праздник!

Андрей зачерпнул большой серебряной ложкой мясо с густой подливкой, и ещё... Налил в кубок тёмно-красное густое вино.

— По какому поводу веселимся?

— Мы нашли Руставели. Здорово, правда? За это стоит выпить! — Володя приложился к кубку.

— Какого Руставели? Где?

— Изображение Руставели в соборе. Ну как живой!

— Закусывай, ладно? — сказала Лина. — Чтобы неприятностей не было.

— Какие могут быть неприятности, если мы нашли Руставели?

— Не мы нашли, а грузины нашли, — проговорил раздумчиво Семён.

— Ага! — сказала Лина, — не без твоей помощи...

Поморщился.

— Если б не я, так бы и сидели с голодными животами.

— Это точно...

Комната слегка покачивалась, как лодка. Яркий свет слепил глаза. Андрей ухватился ладонями за край скамьи.

— Только вот воровать не надо...

— Чтооо!?

Вскочив, Семён перегнулся через стол к Андрею. Тот увернулся. Володя перехватил руки Семёна. Скатерть сдвинулась. Звон посуды о каменный пол. Глухая ругань, пыхтенье.

— Перестаньте вы, идиоты! Да перестаньте же!

Тяжело отдуваясь, Семён опустился на скамью.

— Поговори у меня ещё, щенок!

— Я знаю, что говорю!

— Ничего ты не знаешь...

Хруст черепков под ногами Коли, шуршанье метлы.

Подрагивающими пальцами Лина вытаскала сигарету из пачки, закурила...

— Твои поиски этой тарелки уже не нужны... Они получили, что хотели.

— Вернее, сами сотворили! — залпом Володя заглотнул вино из кубка.

— Это неважно. Теперь им не нужно то самое блюдо с изображением Тамары и Руставели... Я правильно понимаю?

Молча Семён кивнул головой.

— Из всех нас лишь Сёма — добытчик. А монастырю не убудет... Грузины ничего не добьются. Патриархия своего не отдаст. Тем более, купчие остались... Всё равно — скоро нас уже здесь не будет.

— Где? — Володя снова потянулся к бутылки. — На этом свете?

— Ха! — сказал Сёмен. — Ха! Ну ты и шутник!

Обернулся к Лине:

— Что-нибудь знаешь?

— После смерти Юстина они сделают здесь женский монастырь.

— И когда же это... случится?

— В любой момент.

Пошатываясь, Андрей встал, вышел во двор. Струйка ударила в камень, зашуршала по траве. Проступили из темноты стены келий. Перерезая их, протянулась тень колокольни. Такая огромная в лунном свете, что, казалось, она тянется куда-то за стены, исчезает среди холмов.

Они встретились, как и договорились, возле Яфских ворот. Маша не опоздала. Сегодня она была одета как дама: в светло-серую узкую юбку и белую кофточку, прикрывающую грудь. На голове — маленькая соломенная шляпка.

— Привет! Давно ждешь?

— Только пришёл.

— Ты чего улыбаешься?

— Так... Смотрю на тебя...

— А я-то думала, уже маршрут придумал!

— Не успел.

Огляделась, махнула рукой в сторону мельницы на противоположной стороне оврага.

— Пойдём туда!

И они двинулись вниз по узкому петляющему шоссе, забитому туристическими автобусами и машинами, и мимо парка за оградой поднялись наверх. Но мельница была справа и довольно далеко, а прямо перед ними оказалось унылое серое здание со стенами, испещрёнными граффити. За ржавой железной дверью входа виднелся растрескавшийся камень перрона, а дальше — заросшие бурьяном пути.

— Это станция железной дороги, — сказала Маша, — Но она не действует.

— Правда? Неужели?..

Обернулась к нему, придерживая рукою шляпку.

— Ты всегда будешь смеяться надо мной?

Он задохнулся от этого «всегда». Захотелось сжать в пальцах её узкую ладошку...

— Видишь, какой замечательный холм напротив? Давай посмотрим, что там!

И впрямь, через дорогу возвышался каменный холм, поросший жухлой травой.

Среди камней Маша сразу отыскала петляющую тропинку и, подобрав юбку, мелькая узкими лодыжками, поскакала вверх.

А там — рыжее, спалённое солнцем плато с бетонными надолбами, вросшими в землю, и небо, огромной ярко-синей кипой прикрывшее город.

— Смотри, какой отсюда вид!

Да уж... На все четыре стороны... Старый город с его стенами, храмами, мечетями, минаретами... Пустыня, уходящая за горизонт, едва различимые сквозь зелень черепичные крыши, башни высотных гостиниц, белые улицы новых районов, птичьи гнезда домиков, теснящихся к Старому городу, а над ними — фасад собора с каменной девой: бредет куда-то вдаль, прижимая ребёнка к груди, защищая каменным плащом.

— Здорово!

— Ага...

— Видишь, там церковь!

И правда, слева от них вздымались к небу стены церкви, почти сливающиеся с выжженной землей.

— Пойдем туда!

И побежала вперед. Когда он подошёл, она уже стояла на поребрике, заглядывая внутрь сквозь прутья ограды.

— Смотри, там норы в скале. Жаль, нельзя подойти поближе!

— Похоже на древние захоронения. Я читал, так раньше хоронили. В скалах.

— Раньше — это когда?

— Не знаю... Тыщу лет назад. Может, две...

Посерьёзнела, поправила съехавшую на бок шляпку. Струйка пота течет по виску.

— Пить хочется...

— И мне.

Спустились по другую сторону холма к стоянке, забитой раскалёнными машинами, и у поворота на широкое шоссе обнаружили лавчонку. Внутри в прохладной тишине сидел за стойкой молодой красивый араб. Андрей нащупал в нагрудном кармане куртки стошечелевую бумажку — её утром выдала ему Лина, а Маша уже нашла полку с водой и соками.

— Смотри, как их много!

— Хочешь поесть?

— Неа...

— Давай съедим по бутеру.

— Не хочу.

— Зря. Самое время перекусить.

— Не хочу! Что ты как... как мамка какая! Вот... возьмем эту.

И понесла к стойке большую бутылку с прозрачной газировкой. Неподвижный араб назвал цену; не поворачивая головы, принял от Андрея бумажку, дал сдачу. Задумался на мгновение — добавил два пластмассовых стакана с трубочками.

Вышли из магазина, сели на лавку под кустом.

— А он милый. Только скучно ему, наверное, ужас. Никого нет!

— Очень милый. Все они такие милые... пей. Здесь нужно много пить.

Протянул ей стаканчик с пузырящейся влагой.

— Спасибо...

Поставила пустой стаканчик на скамейку, улыбнулась.

— Хорошо!

Осторожно, с бьющимся сердцем сжал её ладошку, отдыхающую на коленке... Повернула ладошку, и он почувствовал маленькие сильные пальцы.

На рассвете, когда плыл еще по воздуху сизый знобкий дымок, не стало Юстина.

Лина, дремавшая в кресле рядом с кроватью, вздрогнула, открыла глаза, подалась вперед... но не услышала ничего, кроме мёртвой серой тишины. Вскрикнула. Коля выбежал из соседней комнаты, склонился над Юстином... Обернулся к Лине:

— Отошёл...

Молча стояли они, глядя в это заострившееся, вдруг помолодевшее лицо.

Юстин спал и видел сон. А какой, им было знать не дано.

Коля прикрыл лицо Юстина покрывалом, зажёл в изголовье свечу. Обернувшись к образам, забормотал, крестясь.

Лина снова села в кресло; укрывшись пледом, смотрела на едва проступающее из-под покрывала тело — то, что ещё несколько минут назад было Юстином и вот уже стало пугающе-чужим, ничьим... Она задремала — проснулась от шороха. Посреди комнаты стоял Володя, с ужасом вглядываясь в это непонятное и страшное, вдруг — вторгшееся в жизнь.

— Когда это... случилось?

— Часа два назад. Пойдём выпьем кофе. Очень устала...

Мимо Коли, истово бившего поклоны, прошли в столовую, уже ярко освещённую утренним солнцем.

— Садись. Я приготовлю.

Тяжело опустилась на диван, спрятала лицо в ладони... На столе с лёгким стуком возникла дымящаяся чашка — потянулась к ней, стала пить маленькими быстрыми глотками.

— Привет честной компании!

В дверях стоял Семён в майке и шортах.

— Привет...

— Что случилось?

Повернула к нему серое лицо с запавшими глазами.

— То, что должно было случиться.

— Таак...

Прошёл к кухонному шкафчику, достал початую бутылку водки, обернулся к Володе, сидящему рядом с Линой.

— Будешь?

— Не хочу.

— Как хочешь...

Плеснул в стакан, залпом выпил. Не закусывая, поставил бутылку на место, сел на стул напротив Лины.

— Что делать будем?

— Надо позвонить начальству.

— А номер есть?

— Где-то был...

- Похоже, придется давать отсюда дёру.
- Если бы знать, куда... — сказал Володя.
- Я-то всегда найду себе место.
- Не сомневаюсь... Грузинские друзья помогут.

Склонив голову к плечу, Лина поправила растрепавшиеся волосы:

- Где мальчик?
- Спит ещё. Без задних ног, — Семён хохотнул, — Дело молодое!

Поднялась.

— Пойду позвоню. Телефон — в конторе наверху... Если ещё не развалился от старости.

— Да уж, местечко, что надо. За что ни возьмись, рассыпается в пыль.

— Погоди немного, — Володя поднял на Семёна глаза, — и ты пылью станешь!

— А я не тороплюсь!

— Дождитесь меня.

Вышла во двор.

Из-за закрытой двери пробивался голос: взывал — и падал, срывался на крик, тянулся вверх...

Семён снова достал из шкафчика бутылку, приложился к горлу.

— Пройдусь, пожалуй.

Володя не отвечал.

...Направился по выступу, огибающему двор, к маленькой двери в стене. Дернул. Закрыта... Тронул ладонью гладкую поверхность тяжёлой бронзовой ручки, нащупал едва заметный бугорок, надавил... Дверь приоткрылась. Проскользнул внутрь и оказался в длинной зале с пыльными пурпурными шторами на зарешеченных окнах. Свет едва пробивался сквозь них, окрашивая стены в тёмно-багровые тона.

В центре располагался стол с тяжёлыми толстыми ножками, вокруг него — кресла с резными спинками и вытертой обивкой. Со стен смотрели на пришельца бородатые лица в клубках.

Не раздумывая, Семен двинулся в дальний конец залы. Дверь, ведущая в кабинет, распахнута настежь... В полутьме у стола, заваленного книгами, едва различимый очерк женской фигуры. Обернулась на шорох. Ты?... Подошел, обнял, стал гладить плечи осторожными быстрыми пальцами. Почувствовал, как затряслось её тело. Она плакала, уткнувшись лицом в его грудь. Стихла... И тогда он приподнял ее, посадил на край стола, и она — раздвинула ноги...

В полдень, когда солнце стояло уже высоко, у ворот монастыря оставался пикап. Из него вышел высокий полный священник в сопровождении трёх монахов. Двое несли узкий гроб. За ними шел священник, шестие замыкал монах со свежеструганным крестом в руках. Молча проследовали мимо насельников, столпившихся во дворе, в спальню Юстина.

Через несколько минут священник появился снова. Глядя вверх гол, произнёс по-английски несколько фраз. Лина приблизилась к нему, что-то сказала... Брови священника удивлённо скакнули вверх — она говорила на его языке! Повторил тихо и веско — ответила быстро, словно уже

была готова к этому разговору. Помолчал, кивнул головой... Повернулся широкой спиной — скрылся в тёмном проеме двери. Обернулась к своим, молча стоящим поодаль.

— Нужно выкопать могилу. У задней стены монастыря. Есть лопаты?

— Найдутся... — Коля направился в дальний угол двора, на своих тощих негнущихся ногах похожий на журавля.

— Хочет, чтобы мы убрались отсюда... Завтра же. Но я уговорила его дать нам два дня.

— Так... — Володя потянулся за сигаретами. — И что же делать?

— Жить. Это я вам гарантирую!

— Ты, Сёма, всегда такой весёлый...

— Хватит, нажились, — сказал Андрей. — Пора уходить.

Вернулся Коля с двумя ржавыми лопатами.

— Пошли. Солнце уже высоко.

Семён перехватил лопату.

— Привет, приживалы!

Скрылись за углом.

— А ты куда?

Володя протянул Лине пачку. Вытянула сигарету — щёлкнул зажигалкой, затагнулась...

— Остаюсь.

— Таак... А знаешь, меня не удивляет твое решение.

— Какая пронизательность! До сегодняшнего утра я сама этого не знала.

— Смерть Юстина?..

Глубоко затагнулась, дымок поплыл от розовых губ.

— Не только.

— Вот оно что... Не зря по телефону звонила! Теперь можно стать и невестой Христовой?

— Перестань!

— Этот-то хоть знает?

Стряхнула пепел, едва заметно кивнула головой.

— Да что ему... Подтянул штаны и — гуляй Сёма!

Не отвечая, смотрела в сторону.

— Ладно... Справитесь без меня. Желая здравствовать.

— Зря ты так!

Торопливыми шагами пересёк двор. Звонко стукнула дверь.

— Что он так разволновался?

Печально улыбнулась.

— Глупый потому что...

— А ты умная? Умнее всех?

— Пойдём поедим, пока суд да дело... Очень хочется есть.

Через час вернулись Семен и Коля. Поставили лопаты у входа в кофейню, вошли. Из спальни доносились глухие голоса. Лина сидела одна, прислонившись к стене.

— Готово?

— Копать-то особо нечего. Он маленький.

— Пора! Надо помочь нести.

В душном полумраке спальни горели свечи. В гробу, сложив руки на груди, лежал Юстин в белом одеянии: жёлтое лицо, чёрные провалы вместо глаз. Монахи спереди, Семён и Коля сзади подхватили гроб.

Во дворе гроб вознесся вверх, лег на плечи и, мимо стоящего поодаль Андрея — к выходу.

Лина открыла дверь. Согнулись, протащили гроб по узкому проходу; за оградой снова подняли на плечи. Понесли вдоль стены. Скрытое кустами с их белыми и розовыми цветами, шумело шоссе.

Остановились возле свежевыкопанной неглубокой ямы, поставили гроб на землю. Стена с выпирающими контрфорсами не защищала от солнечных лучей. Священник в белом стихаре забормотал, помахая кадилом. Коля упал на колени, склонил голову. Лина и монахи закрестились. Приподняли гроб, опустили в яму. Семён и один из монахов взяли за лопаты, и вот уже тяжёлые комья посыпались на крышку гроба... Через минуту ямы не было, остался лишь холмик с кусками бурой, поросшей рыжей травой земли. Приподняв над головой, Коля с размаху воткнул в него крест. Священник снова забормотал. Было жарко, душно. Кончил читать. Постояли, глядя на холмик. Потянулись в обратный путь...

Юстина не было нигде. И никогда больше не будет. Тень его скользнула вдалеке, растворилась в бездонном небе.

— Что делать? Времени уже нет!

— Погоди... Не тарахти.

Они сидели в парке на траве, окружённые вечерней синевою.

— Но ведь тебе надо уходить оттуда!

— А тебе — уезжать...

— Да...

Тронул её ладошку.

— Есть план. Только не перебивай, ладно?

— Ага...

— Ты остаёшься.

— Но...

— Дай досказать! Это не такая уж авантюра! Я, между прочим, еврей!

— А я русская. Православная...

— Ну и что? Бог один!

Стемнело. Вокруг, по ветвящимся аллеям, вспыхнули фонари.

— Надо будет продержаться. Хотя бы месяц... Я получу документы и пособие.

— Это безумие! Что я скажу маме? Она решит, что я сошла с ума!

— Снимем квартиру. Будем работать. Здесь чёрной работы навалом.

Поженимся...

— То есть, ты предлагаешь мне... руку и сердце?

— Да! Как в старинных романах.

— Какой выгодный жених... Только у меня нет приданого.

— Знаешь, я понял... В этом месте всё реально. Только надо очень захотеть!

Обнял её за худенькие плечи.

— Не хочу потерять тебя.

На перекрёстке у перехода, разукрашенного граффити, был телефон-автомат, но он не работал. Болталась трубка, сорванная, должно быть, разбойниками школы, чьё приземистое здание виднелось на соседнем пригорке. Володя прошел по пахнущему прелью переходу на другую сторону шоссе. Отсюда монастырь виден весь — с его нелепо торчащей посреди двора колокольней. На другой стороне Азы, у входа в скверик — другой телефон. Неужели и он не работает?

Но трубка гудела... Сколько раз это уже было — торопливый вопрос, чей-то далекий безразличный голос, влажная от пота ладонь, безнадежность, сжимающая сердце...

Достал из сумки сигаретную обёртку, расправил, взгляделся в цифры...

Трубка долго не отзывалась. Хотел, было, уже повесить, но услышал голос Марка.

— Кен?

Разумеется, кен. Мы ведь говорим на иврите...

— Привет, Марк. Это Володя. Помните меня? Библиотека...

Мгновенная пауза.

— Да... Хорошо, что позвонили.

— Правда?..

— Дам вам адресок. Пойдите, поговорите. Его зовут Леонид. Он хозяин, деловой мужик.

— То есть, газета... будет?

— Да в общем-то она уже есть. Леонид насобирает рекламу. Нужно переводить. Можете?

— Конечно!

— Записывайте.

И продиктовал адрес.

Повесил трубку, вглядываясь в буквы... Это было бы слишком хорошо!.. Но почему? Неужели вот так, до скончания дней, отираться по чужим углам? Спокойней, спокойней!

Но он уже шел вверх по Азе, не замечая дороги... Там, где в пластмассовой будке мается солдат возле резиденции премьер-министра, свернул на Кинг Джордж, пересёк её, двинулся вниз по Гилель мимо серого здания министерства абсорбции. Маленькая площадь, домишки, налезавшие друг на друга. Где-то здесь... Вот он, переулок! Длинный безликий дом из бетона, с бесчисленными подъездами, уходящими куда-то вниз... Спустился на два этажа. На облупленной, с темными разводами двери — бумажка с надписью по-русски и на иврите: редакция газеты «Наш город». Тронул дверь, вошёл. Две маленькие комнаты. В ближней — столик с компьютером, полки с папками, на стене — постер с изображением какой-то рок-группы (должно быть, остался ещё от прежних жильцов); в соседней — сидит у окна: коренастый, в вязаной кипе на лысой голове.

— Здравствуйте. Я... Владимир.

— Ах, да... Проходите. Марк говорил о вас.

Пристальные изучающие глаза. Широким жестом указывая на заваленный бумагами стол.

— Видите, сколько рекламы?

— Да уж...

— И всё это нужно переводить. Ситуация вот такая... В городе уже более десяти тысяч русских. Мы врастаем в местную жизнь, начали работать, покупать, обзаводиться всем необходимым. Русские — уже реальная покупательная сила. Израильяне стали давать рекламу.

— Я понимаю...

— Нужна газета. Девяносто процентов рекламы с вкраплениями местных новостей.

— Да, я понимаю...

— Нужен профессиональный переводчик. Реклама не терпит приблизительности.

— Разумеется!

— Вы можете взяться за это?

— Да!

— Марк рекомендовал вас. Я ему доверяю. Он профессионал.

Пауза.

— Но я не могу платить больше двух тысяч.

— В месяц?..

— Да.

Раздраженно:

— Разумеется, это раз в пять меньше того, что платят в ивритских газетах! Но наши возможности несоизмеримы.

— Я понимаю!

...Господи, да неужели же? Наконец!?!..

— Если согласны, можете начинать уже завтра.

— Со... согласен...

— Прекрасно. Ваш компьютер — в соседней комнате. Приходите утром.

— Хорошо... Так я приду часов... в девять?

— Да. Я уже буду на месте.

— До свиданья...

Встал, направился к двери, оглянулся: столик с компьютером у окна, за ним — каменный двор и уступом — другая улица с вывеской мебельного магазина на углу. Мигающий семафор, шум машин, мелькающие тени прохожих...

Пройдут годы, а он будет по-прежнему сидеть за этим столом, подымая от экрана усталые глаза на постер, глядя в то же окно; уезжать в квартирку на окраине, в переполненном утреннем автобусе возвращаться сюда...

Будет другая жизнь. Но он о ней еще не знал.

Иерусалим, 2013



Константин К. КУЗЬМИНСКИЙ

/ Нью-Йорк /

ПАНСИОН БЕТТИНЫ

Журнальный вариант

ЧАСТЬ /УЗЕЛЬ/ 1-АЯ

Печальна повесть эмигранта. Миграция населения напоминает летнюю миграцию оленей (таковую описал Фарли Моуэт), гонимую оводами доводов, доведённых до отчаяния китайским чаем, рисовыми церемониями и мухой це-це — целенаправленную, но неуправляемую, миграцию управдомов и парикмахеров, живущих под хером, рехнувшихся или решившихся, обречённых равно общественному невниманию, разобщению, разочарованию, развращению идеалов — розовый куст иллюзий цветущий пустоцветом на радиаторе мерседеса-бенц. “Бенчик, подай мне розовую кофточку”, — кричала еврейская мама, запершись в туалете на втором этаже отеля цум Тюркен — индюк нерегулярно мигрирует, точно так же, как нерегулярно собирается в стаи. Когда случается, что корм в одной части страны урождается более, нежели в другой, индюки собираются и постепенно движутся по направлению к тому месту, пока одна часть страны не становится заброшенной, в то время, как другая, так сказать, совершенно переполненной индюками... Цум байшпиль бушевала глаукома — кажется, Бродский. (Иосифа Бродского спросили...) Черепичные крыши, облепленные ленточными червями — кажется, Кафка, пинии и глицинии, цирроз печени от поедания хайст вурстов, запиваемых чешским пивом “Старопрамен”, трофейным, полученным по культурному обмену СССР — Австрия, город фюр хунде унд русише эмигрантен, грант унд гратис, чаша святого Грааля во городе Граце, хранимая милым доктором Эгоном Капеллари, к которому у меня рекомендация, национальный вопрос и традиции немецкого языка — “Бенчик”, — кричала мама уже на идиш.

идущий по пути, Господом указанному, казни и мытарства претерпевающий, претворяющий кровь в вино, по Европе, по Европе, до Швеции и

дальше, в Канаду — что он ищет от жизни сей, не жня и не сея, серпом и молотом и красным полумесяцем — до отеля цум Тюркен — только ли турки собрались здесь, под тремя флагами (четвёртый потерян), в зелени и чере-пе, зашив золотую цепочку в резинку трусов — армяне из Бердичева, венгры из Балаклавы, ленинградцы с баночкой баклажанной икры — к ма-дам Беттине, по дорогам Треблинок и Коми, третий коммунистический ин-тернационал всех наций, национальная гордость, освободительное движе-ние, горстка людей горбоносых, курносых и просто с нормальным носом оставленных — остальное не в счёт, остальное в подвалах женевского бан-ка, в жёлтых досье конференций женевских, конфирмация над нонкон-формистом — на конфорку его, на конфорку! — рёв ликующих толп трупа-ми вдоль трибун — ибо свершается треба.

Надобно сказать, что у мадам Беттины, где остановился герой данного по-вествования, тараканов не было. По утрам в окно кричали птицы, то же самое они делали днём, к вечеру же замолкали. Но зато под абажуром ви-лись тихие мотыльки, моя собака ловила их и ела, тем и питалась. В парке Гуго Вольфа водились ежи, опасно было садиться. Философ и журналист, директор отеля Коля, посоветовал купить керогаз — на кухне водились жильцы, жарили коллективную яичницу, люди скучают по коллективу — будь то турки, венцы или евреи. Моя жена изучает иврит, говорят, это нужно. В воскресенье приехал Володя Марамзин.

...был уличён в том, что жарил свиную колбасу в еврейском отеле на араб-ской сковородке
однажды его поймали...

на помойку была выброшена енотовая шуба с рукавами до колен
"бардзо добже", — сказал пан Рогойский и посмотрел в окно за окном сви-сала линияя борода Льва Николаевича Толстого и стоял австрийский по-лицейский в каске с петушиными перьями

он хотел к утконосам. Эллочка Бриккер, в девичестве Вайнштейн, дочь Ио-сифа Вайнштейна джаз-оркестр, ругалась матерными словами по-фински и на иврит

въехав в Краков на чистокровной русской борзой герой возгордился окра-ска её была муруго-пегая

пежил девочку-австралийку в машине марки "Пежо" /ситроен, додж, рено, ЗИС-110, мерседес-бенц/ шведских граждан уговаривали выпить вино ци-нандали они же стойко держались за самогон

"а может быть я еврей?" — думал он. чело, изборождённое морщинами, выдавало человека умственного процесса. он способствовал прогрессу, объединению наций, быстрой ассимиляции. его звали коля. выйдя на ули-цу, он обнаружил на стоянке автомашин привязанную таксу. "данке шён", — сказала девушка. поцелуй был глубок. кроны дерев делились на шиллинги, пенсы и грошики. узенький лоб (лобик, лобок — см. у Шести-нского) шерстью поросший, вымя неандертальца, на пальцах — пять брильянтовых колец (одно из них — украденное у Элизабет Тэйлор, с кам-нем на пять каратов), ловким приемом карате она вывернула ему руку; в

стиле икэбана росли кусты на обочине. китайские бодигары стояли стойкими рядами у входа в посольство. “ищут израильских террористов”, — шепнула мне соседка-студентка, проделывая несложную физиотерапию на моей незащищённой спине, иглоукалывание, татуирование портрета Мао-Цзе-дуна, выполненное светящимися красками (акриловыми, 80 шиллингов тюбик в табачном киоске, по рисункам журнала “Плэйбой”).

У мадам Кортус открыли новый пансион. Подавали польские шпекачки, соус бешамель.

борзо бежали из Польши, Италии, Венгрии. на аэродроме кончалось. закатное светило медленно опускалось на запад. там Америка, инки-ацтеки, ацетат уксуса (оцет), ацетиленовые горелки, засунутые в факел Свободы, и Эйфелева башня, указующая перстом в Сибирь

был уличён...

...девушка отвернулась от него, друзья бросили, не выплатили зарплату (120 долларов), купил подержанную машину марки “Рено Гардини” и начал читать “Русскую мысль”. Могендовед на груди позеленел, спёкся, лямурные отношения с турками обходятся дорого. Саша Гидони посвятил стих (не ему, а Солженицыну), одним словом, начинался упадок духа. “Говорят, в Швеции дают мыло”, — прошёл слух и он подался в университет Упсала, там ждала Нинель Воронель, тройка вороных и воронёное дуло нагана

спутал мессианизм с миссионерством, обратился в министерство здравоохранения с просьбой помочь голодающим чукчам — нансеновский фонд отгрузил три вагона цемента закреплять им желудки, проблема пищевых ресурсов становилась всё острее, делали обрезание под корень в ряде стран, дабы покончить с проблемой перенаселения. конгресс парапсихологов призвал переселяться в потусторонний мир, но было дорого с телепортацией. телерепортажи отдавали гнильцой: сначала показывали голых женщин, потом выбритых обезьян, голос диктора подчёркивал вторичные половые признаки последних. последователи Мао-Цзе-дуна собирались кучками в Сорбонне и шопотом требовали выдворения Ефима Григорьевича Эткинды за пределы Шампс Елисее.

журналистика надоела ему: приходилось шупать Элизабет Тэйлор и брать интервью у Джейн Фонда, влезши на броневичок. С броневичка сняли, дали 15 суток, когда дыхнул в Рапопорта, добавили столько же. Подал документы в Израиль и стал ждать. На западе творилось непонятное. Сначала продали Хейфеца, потом выпустили Маразмину. Голландия заключала торговые контракты на сумму 30.000 евреев. Выпустили меньше половины и в Ленинграде не стало голландского сыра. Потом Голландия затребовала интернированных малых голландцев из залов Эрмитажа. Оставалась надежда на Швецию. Швеция запросила 10.000 сибирских мужиков в целях повышения рождаемости. Была надежда попасть в их число, но было трудно с пропиской.

*“Обмотаюсь крупчаткой вокруг груди,
в чулках, безусловно, сахарный песок...”
(Из прозы 20-х гг. Автор не установлен.)*

Во влагалище стучали алмазы. Заплатив 5 долларов 38 центов за чашечку кофе в аэропорту “Варшава”, архитектор ландшафтно-парковой архитектуры увидела восьмое чудо света — венскую телебашню. Черепичные крыши, черепа венцев, повреждённые бурными событиями 40-х годов и прикрытые мужскими париками салона “Ионель”, крысы у мусорных баков, восседающие в позе премьеры, премьеры учебных секс-фильмов — на западе с рождаемостью туго, забыто древнее искусство любви, в одном только индийском храме 128 поз, начиная с позы лотоса и вверх ногами, ранние браки в целях экономии денег, публичные дома с национальными флагами, под красным флагом — крупно — “ТАТЬЯНА” (вероятно, Шаповалова) и цифра — 2.000 — русские женщины дорожают. Герой из экономии сам ходил на панель, платили неплохо, те же проститутки: имея одного-двух клиентов в неделю, трудно удовлетворить собственные сексуальные запросы, заработанные деньги уходили на мужчин.

“А кто украл моё колечко”, — кричала еврейская мама, в этот раз на иврит, при этом произнося “б”, как “п” и наоборот. Ей предлагали свои, директор отеля срывал кольца со своих исхудавших рук (курятина, выращенная в инкубаторе, лишена питательных свойств бифштекса с кровью). Он плакал. Архитектор сидела в номере, затаившись. На кухне бывшие советские граждане били об еврейские головы друг друга глиняные арабские сковородки. Назревал скандал.

На таможене искали долго. Личный досмотр был затруднён вследствие менструации. В лифчике нашли булавку с фальшивой жемчужиной, конфисковали. Долго разбирали машинку “Ундервуд”, оказалось много лишних деталей. Колокольчик пробовали кислотой, потом под руки вывели таможенника лет 60-ти. Один глаз у него смотрел прямо, другой же, будучи обращён к носу, уходил зрачком за кадр. Подержав его некоторое время у стойки, увели обратно. Развинтили термос. Обратно собрать не смогли, отдали по частям. Пограничники долго изучали фотографии. На заднем плане был общественный сортир военного значения. Отобрали. Домик для лебедей в Приморском парке Победы не понравился: напоминал фабрику в Североморске, важный ориентир для подхода к базе. Безбородые физиономии проходили, бородатые нет. Карла Маркса путали с Солженицыным. Собаке дали слабительное. Убирать пришлось хозяйке — чистокровные борзые не выносят отечественных методов досмотра. Консервы вскрыли, огурцы забыли посолить. Чай высыпали в конверт и долго в нём искали. Запутались в крестах: их было три на двоих, количество же крестов, подлежащих вывозу на одну персону, не было оговорено. В записке упоминалось про починку зажигалки. Зажигалку осмотрели вторично. Таможенный досмотр закончился пением “Интернационала”. Пели все.

*"Чикита! Чикита!" — кричал италиано, узел живота на талии — прорва лохмотьев библейским младенцем кривя улыбку — у, рыло! — на три тыквы бутылочным горлом рапаны, ряпушка в масле, господин Лизоцим меркантильной лапой в кармане — у-тю-тю, монсиньор, тарантелла, испив тараканьей похлебки — по еб*лу его, по еб*лу! — лупоглаз на носу истекающий устрицей со-пли, соплеменник Кандида, дидактик, диктатор и кти-тор, клитор в рыло ему, Рапануи нувель а нудиста*

*чашечка кофе — 5.50
чашечка кофе — 14.00
пачка сигарет — 11.00
женщина — 300.00
две чашечки кофе — 11.00*
_____ 341.50

так начинался рабочий день. работать нужно было ежедневно, потому что проблема питания не разрешалась сама собой. утром приходили корреспонденты газет, их не пускали, они, потоптавшись, уходили. профессура ждала в передней. элизабет тэйлор принесла банку чёрной икры, но её отнял генри. пришлось написать продюсеру, попросить не пускать. коллектив синей птицы постепенно обрастал перьями, дочка Володи Алексаняна уже чирикала. сжав в зубах черенок ножа, профессор, голый, на четвереньках ходил по квартире: рекомендовали врачи. зарабатывать нужно было не менее 500.00 в день. писал статьи. сначала просто о русской живописи, потом о русской культуре в её новейшем аспекте. отсылал в русскую мысль. знаида шаховская ничего не платила и рукописей назад не отсылала. бумага стоила дорого: за сто листов и десять листов копирки пришлось уплатить сорок один шиллинг, писал сразу на двух сторонах. с теле-студии не пришли, пришлось идти самому, но туда не пустили. снимался фильм о русских эмигрантах. на сцене, декорированной под Большой Дом, две пожилые девушки делали стриптиз. левые художники обрастали бородами, в то время как правые окончательно теряли вторичные половые признаки. мёртвый игорь чиннов, лёжа в гробу, декламировал стихи с закрытыми глазами. все аплодировали. иваск с филипповым на двоих изучали одно творчество есенина. ассистировал профессор сидней монас. все ждали илью.

илья ехал на тройке, запряжённой двумя рысаками. на границе могилёва и гомеля его задержали. начался процесс.

судья: ... /многозначительно молчит/

обвиняемый: ... /говорит по-французски с испанским прононсом/

судья: ... /продолжает молчать/

обвиняемый просит для себя высшей меры. просьба не удовлетворена.

ирония? фарс? как сказала одна ворона, когда её ощипывали: "голенькая и я сойду за курицу". еврей я, или нет? кто может это понять? и нужно ли понимать, когда даже король дании нацепил жёлтый могодновид, а с ним 10.000 датчан — всё население дании.

...на мне теперь мешковато сидел мешок из джутовой ткани, ноги были босы, в волосах торчали птичьи косточки, я шёл по Парижу. Меня сопровождала моя борзая (кличка "Нега", окраска муруго-пегая), в зубах она несла ведёрчко с вишнями. Ажаны жеманно отдавали честь, председатель собрания Жаба открывал рот, но не квакал, в Куоккале передавали первенство мира по финскому телевидению. Ностальгия — болезнь века. Я заходил во все встречные магазины "Берёзка" и покупал палехские сувениры с изображением космонавта Титова. Навстречу вереницей двигались работники советского посольства с пачками незаполненных паспортов в руках, предлагая их желающим. Один купил Миша Барышников.

Боже, сколько Мандельштамов на свете. Я знаю двух.

От двух до пяти писчебумажный магазин был закрыт. Пришлось писать на папирусе. Слово становилось иероглифическим.

деятьегрубВАПП отельТель-Авив фюр унд зибцихь я воль унд белое тело катилось лежало лекалом на Запад на Запад запчасти запомни где молнии брызги борзая бежит догоняя растение растенье Лолита Набокова боком и раком карая рогам боль на Боге белеет свиное люмбаго

Самое иероглифическое слово — ". . .". По простоте написания, строгости первых двух и изысканности последней буквы клюквы тыквы саквы антиквы и миквы слово-ер-с, хер-с поросёнок с хреном-с (официант, отрезать!) с хренком-с, хамса, комсомолия (комсомольское собрание, хамса) на рупь сто голов, плешь лысоватая, херомантия ни дна ни покрышки, мухе крылышки оборвать по лиловой пустить ползать, впечатляет, щёкотно, за щекой подержала, взяла в белы рученьки — белоручка, мошенница, швейной иглой, белошвейка, почла ковырять, карим глазком посматривает, носиком пошмыргивает, шаромыжница, фармазонка, фальшивоминетчица!

Три великие поэтессы — Пиздюлия Вознесенская, Ольга Бешенковская-Матки и Алла Минетченко, не считая Марины Рачко (она же Рачко М.), три грации, три лесбиянки, в трёх соснах запутались, на веточку сели, ветошкой подтёрлись, закаркали раком:

гриф граф но параграф гриф три сотряся отрезок сосанья во сне сос на соснах висело и сохло сохою СОХНУТа распахано поле Синая лежала Даяная семь франков в грудях и нагрузка на тохес

охти, мои лапушки, пупырышки на ляжках измызганных, а на верхней губе пушок, лопушок сорвала, подтёрлась, песня у горла стоит а на бал королевою, павой, пугливую галкой на палку, блудливой козой мессалиной в полку, семи пядей в лобке а на холке диавол сидит, полежи в холодке, хохотушка, хотяшка, наклеила шпанскую мушку, шпана, но:

унд фирцих унд зибцих и цорес и цимес и талес Италии талии грации Греции гратис.

граф Ртищев казацкой станицы Каледин Панзо урождённый Хоткевич хитимчиком мучил мычала мясная тушонка спина Аргентина

*"и злая рыба аргентина
его в туман уволокла..."*

Аргентина Никифоровна Колесникова, кассирша из парикмахерской, гид интуриста, интрастед бай органы оф каджеби, привезла с Краснодара с базара аджики, судачков вяленых, сучка, солёной ноздрей заюлила, торговка, политкаторжанка, жена, блекочет:

Унд ЛЁВА Ловать переплавленный лапоть на Потьме

на всём возлегала прозрачная тень от рейхстага.

..... не худо не бедно — 15 марок, тьфу!, — 15 шиллингов — я вечно всё путаю в этой стране шиллеров и штраусов, клиника раухфуса, гринцвурстов и вундертагов. Говорю по-немецки — слышится польский акцент, судьба эмигранта в Австралии. Век затрудняет проблему коммуникации, с проституткой договариваешься на пальцах, при этом доллары приходится переводить в фунты, английские шиллинги — в австрийские. "Покупайте Алькор! Алькор прилипает ко всему!" Как следствие, в буэнос-айресском публичном доме томились русские девушки, комсомолки, вышедшие замуж за иностранцев. Цена на них была от 20-ти до 250-ти милрейсов, в зависимости от толщины, за килограмм. Берндту подсунили неграмотную польку, он очень возмущался. "Се не па элеган", — как сказал хулиган. "Не па, не па", — соглашались девушки. Одна приезжая из Львова показывала отдельно выпуклую грудь, размером со спелую дыню. Негры, метисы, мулаты балдели от восторга и плясали ча-ча-ча, запивая кашасой. Директор Коля обклеивал вновь прибывшую алькором в целях гигиены, чтобы не лапали. Невинность ценилась дороже.

В инкубаторе выращивали дефективных младенцев. Римский папа разразился энцикликой, призывая итальянцев не покупать презервативы. Не покупали. Проблема размножения у итальянцев стояла колом.

Бухарские евреи в номере у мадам Беттины устроили резню. Убиенные были занесены в золотую книгу.

..... меня розмарило, лихорадило. Кричал: "Роз-Мари!", хотел розмарину, розы расцветали на впалых щеках, Шемякин хотел ренессансу, с одного бока вертелся Боков, с другого плешивым чортом ошивался Чертков, пьяным бараном блял Бетаки, бекакал, воркотал, Виолетта Иверни у всех на глазах выворачивалась наизнанку, было много дерьма, дермантином обитые двери скрипели, пели отходную тухлым и дохлым графьям, все спешили в Париж на обедню.

..... в то время как

У мадам Беттины жилось не худо. Лук, перец, соль, лавровый лист, как на южном побережье Крыма, старенький отель постройки до девятисотых го-

дов, стены в метр толщиной, пологие лестницы — бывшее здание израильского посольства, отель цум Тюркен. Тюркские племена кочевников, начиная с бухарских евреев, скитальцы по Европе, в поисках утраченной родины, все селились здесь, на взлётной площадке аэропорта Тель-Авив, Сорренто, Канады. Иных опекал ХИАС, этих Толстовский фонд, комнаты были дороги, но опрятны и шли по безналичному. Льняное бельё на современных матрасах, подушки из пуха райских птиц — так сладко спалось на них. Мадам Беттина утверждала, что она не ангел, это было не так, мадам Беттина была акула. Акулы средние, мелкие, акулы капиталистические и черноморские акулы из Одессы торговали балалайками, скупали водку, икру, шампанское, всё, что удавалось эмигрантам вывезти с бывшей родины, пахские сувениры и отрезки сукна служили предметом купли-продажи. Студенческое общежитие напротив требовало за впускаемых евреев дополнительную плату шампанским, мадам Беттина ссылалась на Колю, расплачиваться приходилось Игорю. Торговали тут же, в номерах, божились и били себя в грудь, переводя советские рубли в астральные шиллинги. Один настырный одессит, тоскуя по фирме, свёл знакомство с американскими туристами. Ночью он прошёл по номерам, собирая бутылки, банки икры и фотоаппараты, обещая гешефт и двойную против Беттины цену. Доверчивые эмигранты ждали его два дня, на третий обнаружили его в номере у Майи, пьяного в драбадан, без каких-либо признаков совести. Евреи всех возрастов, еврейки, воспитанные в жестоких условиях социалистического реализма, приносили “их нравы” в сей мир. Коммунальная кухня, как форма общения, групповой гомеостат (Лён), есть начинали с пяти утра, засыпали рано. Люди менялись: на смену евреям из Бердичева приезжали матёрые одесситы, аристократией прогуливались рижане (они считали себя диссидентами, поскольку были с верхним образованием). Мукачевцы и львовцы говорили на мове, остальные тщетно пытались постигнуть иврит. Мальчик из Киева жил напротив Бабьего Яра — “всех бы вас свезти туда”, говорили ему. Мальчик комплексовал. Одесситы были напористей, их ничто не смущало. Нравы Дерibasовской держались за карман, двери приходилось запирать — русская система. Мадам Беттина приезжала каждый вечер. К вечеру страсти утихали, умиротворённые и поевшие еврейские мамы сидели внизу, в холле, и интересовались всем. Пудель Антон тщетно пытался соблазнить борзую, она была ему не по росту. В отеле жило много собак. У рижан была помесь овчарки с таксой, они её выдавали за колли. Что-то кривоногое и маленькое жило в 7-м номере. Оно кусалось. Мадам Беттина любила собак, особенно породистых: их было можно выгодно перепродать; мистер Беттина, с неизменной сигарой во рту и в голубом полотняном костюме — тоже.

На кухне ссорились жильцы. “Пахло жареным луком.” (Шигашов). В феврале намечался съезд компартии Советского Союза по вопросу куда ещё высылать евреев и как их отличать от русских. Паспортная система менялась, вместо национальности указывали имя-отчество родителей до седьмого колена. Советское еврейство в Вене (т.е. бывшее советское еврейство) вело себя соответственно. Законы Моисея не со-

блюдались, на кухне нагло жарили свинину и щёлкали семечки, мешками завезённые с бывшей родины. Этих отправляли в Канаду. Участились случаи людоедства. Всем хотелось домашненького. Насильно вели в синагогу. Прямо в отеле продавались пластмассовые мезузы для серёг. Христианин Кузьминский уговаривал директора Колю сделать обрезание. “На пег’вых это кг’асиво”, — как говаривала бабушка Хая своему внуку Жене Белодубровскому-Белоцерковскому. В газете “Наша страна” сообщалось, что таковое делается тайно, под общим наркозом для обезболивания. Советским евреям делалась скидка по причине крайней исхудалости крайней плоти. Израиль катастрофически терял в весе, судьба обрезков окутывалась тайной. “Кто это витерпит, и кому это нужно?” — сказал старый еврей, узнав о русском обычае красить яйца на Пасху. Еврейские обычаи не обсуждались. Женщины с негодованием отворачивались от цивилизованных европейских концов. Папуасы Берега Маклая задолго до появления государства Израиль научились вращивать в обрезанные члены шерстинки и волоски, предвосхитив на два тысячелетия появление японских презервативов с усиками. Советские евреи гордо доставали “из широких штангин” не дубликат, а оригинал. Русские грустили.

. не знаю, о чём писать. Ну просто катастрофически не знаю. Мадам Беттина обратила внимание на отсутствие Коли на посту (звонили из полиции, он гулял с собакой. Боюсь, попрут. И останется в целках прыщавая дочка Беттины — которого уже директора мадам за неё прочит, проку же не видно...). Говорят, что в нынешнем году снова вздорожает рыба. Филе макрели будет стоить 50 шиллингов кг, в то время, как треска — 40. Меня это мало волнует. Я рыбу не ем, не в пример Володе Марамзину. Чего-то он не приходит, мадам Беттина говорит, заперся в комнате и никого не пускает, боится корреспондентов, что ли — а чего их бояться, всё равно не напишут, я вот уже неделю тут живу, а ко мне никто не приходил, и не придут, надеюсь, скажем, которые со “Свободы”, так те ещё с грехом пополам по-русски, а остальным английский подавай, и на идеше никто не говорит — я зря учил, что ли — теперь он не в моде, теперь все по-шведски говорят, даже директор Коля, он, влюбившись в шведку, за 4 месяца язык выучил, это потому, что у них там в Швеции сексуальная свобода, и революции делать не надо, в отличие от вшивой Прибалтики, там процент русских свели к 80-ти, а в будущем ожидают больше. Вот и Глейзер плачет: хоть самому картины пиши, все покупают, скоро ничего не останется, а как же русский центр? Предложили в Западной Германии, в 40 км от Восточной, я отсоветовал: долго

ли на мотоциклах, тут и танков не надо, два раза проехал — и нет. Нет, я на такой центр не согласен, лучше уж в Канаду — развивающаяся страна, детские сады строят, опять же берёзки растут и небо синее, как в той песне. Там и еврейский центр можно основать, подальше от палестинцев и арабов, эти террористы тамошнего климата не выносят, а русские евреи ко всему привычны, потому что климат в России суров, но справедлив.

Что точно, то точно, — баб нам придется оставить в живых на июль месяц, доллары они не берут, валюту на зуб пробуют, особенно русские рубли, а венгерскими форинтами с ними не расплатишься. Подтираться придутся телефонными книгами, пипифакс дорог, Беттина не покупает, а книги входят в оплату телефона, эмигрантам звонить в Вене некому, и бумага там хорошая, не то что газета “Правда”, от неё только свинцовое отравление бывает, не говоря об идеологической стороне, но русские — народ привычный, 60 лет без пипифакса, и ничего — культура движется.

Пансион Беттины — преддверие Ближнего Востока и Дикого Запада. На восточном побережье Америки расположены университеты, в каждом работает по одному русскому профессору. С тех пор, как Белинков помер, не выдержав каторжных условий труда и звериной борьбы за существование, Йейльский университет временно обходится без профессора, его заменяет Гаррик Элинсон, художник по образованию, врач-логопед по призванию, недавно снявшийся на один фотоаппарат с усами Сальватора Дали. Кроме того, говорят (говорит), что к нему неплохо относится Наум Габо, вдова Ходасевича, племянница Айседоры Дункан и несколько сексуально антипатичных студенток Йейльского университета. По воскресеньям приезжает Курт Воннегут на белом мерседесе, но для поддержания существования приходится профессорскую должность совмещать с работой лифтьером, что отнимает время, необходимое для рисования фломастерами. Словом, русские процветают. Евреи тоже. Разобраться, ху из них ху, затруднительно — Иосифа Бродского еврейские издатели считают русским поэтом, в то время как Каплана, почему-то — еврейским художником, еврейские рассказы Бабеля — образчик русской прозы, мною любимый Давид Фридман — американский еврей — кто он? Пишет по-английски, в то время, как я — по-русски,

так и живём. Пока в Советском Союзе, каждому ясно, кто еврей, а по выезду в Европу имеет быть некоторая путаница. Яшу Виньковецкого произвели в русские, Марамзин-Каценельсон вообще полукровка, а в Глейзере, кроме жены и фамилии, так и вообще нет ничего еврейского. На этих основаниях прошу считать меня евреем, и довожу это до сведения ХИАСа, СОХНУта и прочих заинтересованных организаций. А то в Толстовском фонде еврей, католики, огнепоклонники, один людоед — и ничего, сходит, а кто я такой?

разум Господень ость костяная лестовка Рогожского погоста гостя смердящая в киках плясание бесовское нежить жилы на лбу усохни хоры ангельские на досках никонианских ан несть упадка уму человеческому ибо мир и благоволение и сладость во языцех — заглаголет Иаков (Яшенька Виньковецкий) по принятии христианства догмы магмы процессов геологических конец света исчислив купно с игуменом Геннадием (Эйкаловичем) в сферах астральных ко лику святых бысть причисленну кистью искусной творяще абстрактная образ Мадонны Кастанльской

тесно в теснинах дарьяла. “кавказ подо мною!”, кричал пушкин лёжа на грузинской княжне мэри. мерин и пэри. пэр франции сэр англии хер германии. гермафродитизм патриарха гермогена — научное сочинение колледжа для иезуитов. иезавель проклятая, называл он её, ущипывая за сосец. хотелось сцать. “о тятеньки!”, вскричал батюшков. упырь зрль повесил объявление: “продаётся маленький ручной отить. цена сходная. ест всё”. в волоколамске выли пятидесятники. сязками и усиками ракообразные мокрицы тщились ущекотать синюшный от грыжи пуп российского патриота. “о це розум! о це голова!”, кричал граф разумовский бия себя в темячко. графуня парвеню (пар авеню) лежала на банкетке. граф чугунов изучал добужинского на её животе.

о спермопродукции быков в условиях крайнего севера. докладывал олег охапкин, выкладывая аргументы и гениталии на демонстрационный стол. капал на плешь расплавленным оловом. подвывал. плакал. “я с детства не любил овал!”, — кричал коган, разыскивая квадратную пизду. пуззи-вуззи возникла и опадала кровавыми водянистыми пузырями, вставала заря. “спешите испробовать! штопор в жопу! масса острых ощущений!” опущение мошонки, игра в ромашку, кашка на ляжках. в селе суровый баянист играл на органе, как на органе. рыданья множись. лобзания цвели. на край земли влеклись нагие толпы

на холмах грузии лежит ночная мгла цветная хохлома в лоханке мокнет не молкнет птичий гай райком спешит в собес бес похоти увлѣк член блудного монаха монако люксембург унд разумовский брюкке на брюхе бродит вошь и песенку поѣт

спеши поэт испробовать свой сон вот села дама на фонтан самсон самсончики плодятся в её чреве в штанах кишат влагалищные черви возвышен стиль возвышен член зыбучий песок сыпучий протыкает тучи и очи очарованной вдовы исполнены небесной синевы стремясь сквозь слизь к слияню душ телесных на поприще груди ея атласных влекут с небес безумные соблазны и наслажденье обратится в бездну без дна без ног на коих холмы рдеют и коими архангелы владеют

вострубила труба Гавриила

идѣт дождь, едет додж, коля поехал за сто шиллингов отвозить кого-то на вокзал. снова включили свет, можно пользоваться кипятивником, это не дорого. моя жена исполняет обязанности консьержки, собака играет тряпичным медведем 41-го года, военное производство. сейчас ему 34 года, время бежит. после первой блокадной зимы я был в эвакуации в деревне Сулость Ростовского уезда Ярославской губернии. Ели шелуху от картошки, в Новый год приготовили пряники из сахарной свѣклы. Вместо ѣлки был можжевельник: леса вокруг были повырублены, реки мелели. Катались на ледянках с гор и на буерах. Ледянки делались так: дно плетёной корзинки обливалось водой и замораживалось, потом ещё и ещё раз. При спуске они вращались, как волчок.

. больше я ничего не помню. детство в Рождествено, подкоп песчанниковой пещеры в имении Рукавишниковых, местами Оредеж, местами Матахса, имение Ганнибалов в Суйде, паровоз с торчащей трубой — “овечка” или “кукушка”, а попозже “нас везёт теперь Иосиф Сталин, самый лучший в мире паровоз”, детство в Сиверском овраге, Карташевка и Гатчина, огород в Гатчине или в Александровской, Шоссейной, Прибыtkово — убытки понесёт Набоков: “цветной слух, уши цветного человека, нянюшкин сломанный петибер”, современное пятиборье, тренер Зверев на манеже, художник Илья Зверев — рёв трибун на стадионе, Онежское озеро зеро рулетка Монте-Карло Миша Генделев гениталии состязания по атлетике пресс тамары пресс аллочка манина супербандерша королева марго пятьдесят квкк на остальное три семёрки на закуску шоколадная конфета лёвка успенский шуваловское кладбище и — ша

сморщивается шагреновая кожаца воспоминаний воспалённая (воспенная) ямочка на левом плече аксиньи больше я ничего не помню

ещё я помню: помню, как в Неву входили английские авианосцы, помню американскую тушонку по лэндлизу, помню пленных в подвалах Сената и Синода. Декабрьское восстание я уже не помню, помню, как умер Сталин, умер Хрущов, да и что проку помнить? Помню, как я учился в первом классе и не желал учиться во втором. Немецкий язык я так и не выучил, остановился на “траген вир ди фане ди маппе ди карте”, теперь пишу по-французски. Ностальгия сродни агорафобии, ею страдает четвёртая жена Глеба Горбовского, Светлана, я же космополитичен по натуре. Пунктик: съезть яичницу из яиц утконоса, в России это деликатес. Дантесы повывелись, их функции выполняет по принципу массовости Литейный 4, так, недавно чуть не застрелили Володю Марамзина, но выяснили, что он еврей. Дали условно. Кроме того, выяснили, что он не Пушкин. И вообще не поэт. Но, движимый христианской любовью, Максимов взял его в “Континент”. Я же пишу (писал) для австрийского еженедельника “Ди Вурст”. Тоскую по старой Вене, венцы милый народ. Алекс и Хильда поили нас чаем, разговор шёл о ленивцах, долгопятах и Советском Союзе. Потом пришла мама, пришлось говорить по-немецки. В Вене много кафе и даже китайский ресторан, где едят палочками. Всё это удивляет бедного эмигранта, эскимоса, лопаря, вятича, пермяка и ульчу — чорт те чем приходилось есть на дальнем востоке, консервные банки топором открывать, одна ляминевая ложка за голенищем — а всё равно удивляет, томит, такие томные венцы и венские томцы — псков и гдыня, москва, верхотурск, магадан — есть пальцами (ножей не дают, а в больницах и вилоч) муку, макаронные рожки и чай. Но кому это нужно? Всё бешено развивается, телевидение отнимает массу времени, доллар падает, проблема отчуждения и шницель по-венски, группенсекс становится нормой общежития и детей делают в колбе. Русские борзые по-прежнему в моде, хуже русским поэтам, сидящим в венских кафе и рисующим шестиконечную звезду на салфетке — а вокруг мафиозо,

югославы, в России же даже столовые ножи запрещены, улицы асфальтом покрыли, чтоб лишить пролетарьят его законного оружия, не то, что булыжника — кирпича не найдёшь, весь налево, на экспорт — на площади Рима и в Штаты, контрабандой провозит на Запад сбежавшая Дэвис, девиз коммунистов, единственное орудие, которое способен держать пролетариат в развивающихся волосатых руках

первомайские лозунги:

WORKERS OF THE WORLD UNITE! YOU HAVE NOTHING TO LOOSE BUT YOUR BRAINS! FROM EACH ACCORDING TO HIS INSTABILITIES, TO EACH ACCORDING TO HIS GREEDS! PECCADILLOES ARE THE OPIUM OF THE PEOPLE! WE DO NOT AGREE WITH ANYONE'S OPINIONS . . . AND WE HAVE NONE OF OUR OWN. SORRY, ONE TENDS TO BECOME "CARRIED AWAY" BY ALL THE FERVOR AND THE THROBBING SURGE OF HEARTFELT PATRIOTISM. LIGH. GAG. BORE
Z*Z*Z*Z*Z*Z*Z*

в форме монолога гремят овации в резервации. резерпин разрешён к продаже, братья наркоманы вывесили красные флаги в честь приезда короля Бельгии — да здравствуют наркотики! Джимми Хендрикс встаёт из гроба, дабы почтить приветственной речью цветочки и травку им. св. Франциска Ассизского. А это близко, сказал Франциск, тиская Ассизска. Сосиска имени Франциска Ассизского. Католицизм и хиппи. Помнит ли меня Генрих Бёлль? Мы сошлись на Достоевском, при этом от меня пахло (разило, несло) "тремя звёздочками": в Павловске пили все, экскурсоводы и экскурсанты, коньяк тогда был ещё дешёв. Закусывали, как водится, килечкой. "А Вы что пишете?" — спросил Бёлль. Обоих не печатали.

Краны не текли не текли не текли. Тоесть, вода в них текла, но сами они не протекали. Ибо здесь всё совершенно. Двери не скрипят, ключи в замках поворачиваются без напряжения. Странно. После России, где всё течёт, но ничего не меняется, после жутких номеров с плешивыми плюшевыми коврами и неизменным графином (без содовой) на столике, как во время заседаний — и почему только стол не покрыт кумачом? После диких очередей и поголовного озверения, удивляешься тихой Вене с чашечкой кофе на улице: "Яволь, цвай коффе", и на собаку никто не лает — лежит себе рядом — Боже ж ты мой! — да разве это возможно, чтоб никто не рычал, чтоб никто тебя не обкладывал, и не ждать, необычно, захватывает. Так бы и жил. Неужели никогда очередей? В России это не можно. В России очередь — это первая ступень коллективизма, в России дети рождаются в очередях, и ещё не встав на ножки, тут же становятся.

Приходится переходить на две колонки, поскольку поток информации. раздвоение личности, в правой буду не я, и в левой, тоже, не очень

Но, как ни парадоксально, в России тоже живут люди. Впрочем, люди живут везде. И когда случается, что корм в одной части страны урождается более, нежели в другой, люди, а не индюки, собираются в стаи и постепенно движутся по направлению к тому месту, пока одна часть не является совершенно заброшенной... Худо в России. И с кормами там плохо, и свобод никаких, и вот движется хилый поток эмигрантов (больше не пускают, больше боятся), принявших иудаизм, или просто сочувствующих: по-ди разбери, кто из них кто? а Россия — ресурсы, а Россия неисчерпаема, и если даже все уедут, отыщется с десяток племен, про эмиграцию и слухом не слыхавший, равно как и про колхоз.

ОНИ НЕ ЕДУТ: ламуты, коряки, ительмены, нивхи, ульчи, удэге, селькупы, ханты, эвены и эвенки, хакасы, мордва, чукчи, онкилоны, саами, карачаровцы, адыге, шапсуги, бжедуги, бесленеи, темиргои, негидальцы, ненцы, нанайцы, народность ня
.....
.....
и несть им числа, НЕ ЕВРЕЕВ.

“КРИВОЙ ПЕНИС”

“Уважаемая редакция! У нас с женой недавно появилась возможность вступить в групповой брак. К несчастью, я имею физиологический ступор по поводу моего пениса. Дело не в размерах, а в форме. В состоянии эрекции мой пенис изгибается резко вправо от средней точки. Моя жена и я имеем страстное желание присоединиться к группенсексу, но я стыжусь своего физического

недостатка. Не можете ли Вы мне подсказать, как его выпрямить?

Д.Х. Мемфис,Тенесси

Мне бы Ваши заботы, господин учитель!

“И взял он острый лист тростника, и отсек себе тайный уд, и бросил в воду, а потом рыбасом проглотила его.”

(7.9 папирус Орбинэ)

“ИЗНАСИЛОВАНА СВИНОЙ КОЛБАСОЙ”

“Р е н о — 27-милетний житель Калифорнии обвинен в “отвратительном преступлении против природы”, изнасиловав женщину из Рено свиной колбасой. Брошенное орудие преступления было уничтожено собаками, и потому не могло быть представлено в суд, но следы его были обнаружены во внутреннем кармане пальто обвиняемого и на нижнем белье потерпевшей. Изнасилование имела место на улице в центре Рено.”

(“Плэйбой”, авг.76)

“НОВЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН”

“Т о р р е н с, Калифорния — Совет города Торренс принял закон, влекущий за собой 500 долларов штрафа или заключение сроком на 6 месяцев за мочеиспускание... в публичных местах. Закон был принят после того, как местная полиция отчаялась привлечь к суду человека, мочившегося на полицейскую машину”.

(Там же)

“ЖЕРТВА ОШИБКИ”

“Покушавшийся на насилие быстро ретировался, обнаружив, что его намеченная жертва оказалась мужчиной-трансвеститом.

Был замечен номер машины покушавшегося. Три часа спустя подозреваемый был арестован шерифом и обвинен в попытке изнасилования”.

(Там же)

“СЕКСУАЛЬНАЯ РЕФОРМА ТЮРЕМ”

“Монтгомери, Алабама — Районный федеральный суд нашел необходимым улучшение сексуальной жизни заключенных, мотивируя это тем, что радио— и телевизионные программы, а также кинофильмы, демонстрируемые в тюрьмах, не рассчитаны на людей, лишенных женского общества. Предполагается создать “летучую женскую бригаду” для обслуживания тюрем”.

(“Плэйгай”, март 76)

“Ну а если вообще выбросить этот вертел — основную фабулу и центральный персонаж?” — спрашивает Борис Филиппов.

Да выбрасывай, нужен он

лежат эмигранты на койках в отелях, волокут их поезда, самолёты и пароходы — кто в Австралию, кто в Канаду, кто и вправду в Израиль и вправду в Израиль (есть же идиоты!), иным и в Вене неплохо, обновляется род человеческий за счёт притока свежей крови, и лишь горстка шизоидов, вроде меня, мечтает о каких-то духовных свершениях, желает бить в колокол, пробуждать совесть, к массам взывать. Что из того, когда в России каждый десятый художник кончает самоубийством или сумасшедшим домом, что поэты

непризнаны и ненапечатаны, что актёрам негде играть, а музыкантам не на чем? Европа не обеднеет без русской культуры, Достоевского хватит ещё лет на 30 (на 300?) профессорам Чикагского университета, Йейля и Сорбонны, а ещё в запасе покойные Ахматова, Мандельштам, Пастернак. Что же печется о живых, когда ещё не все покойники съедены, а в России покойники — ой, как питательны, биография с географией, от Москвы до Магадана, ещё и Коми АССР, Северный Урал, Колыма и Карлаг, писатели и путешественники, а единицы в Штатах, в Европе, в Израиле.

бегут, бегут, каждый сотый бежит, прикидываясь евреем, чортом, дьяволом, получая приглашения от несуществующих дядюшек и бабушек, бегут не в Израиль, не в Соединённые Штаты, а на волю, из лагеря социализма в так называемый “свободный мир”, бегут диссиденты, досиденты и посиденты, бегут художники и сапожники (и сапожники тоже художники и сапожники (и сапожники тоже — в России частный сектор запрещён, все носят обувь “Скорород”), и бегут в этих сапогах-“скороходах” туда, где можно шить сапоги, рисовать картины, где не нужны они — Эдик Лимонов шьёт брюки в Нью-Йорке — кому нужен харьковский закройщик, сиречь московский поэт. Что из того, господа европейцы, уделите от щедрот своих сырим и убогим, у вас не было коллективизации, электрификации и

индустриализации, вас не заставляли — ножом к горлу — петь проблеме “бетонирования и лесоповала”, комсомольские стройки и Комсомольск-на-Амуре — см. Биробиджан. Тяжко евреям, русским не лучше, многомиллионный Союз Свободных Социалистических и иных республик — кавказцев, прибал

тов, коми, нивхов и удэге — строит трупопровод Москва — Аляска, трупы будут спихивать за кордон, иначе — и всякомыслящих, невоеннообязанных, нечленов, небывших-подсудомиследствием, неевреев, нерусских — поди разбери на просторах Сибири, европеец ты или арап.

Проблемы Ближнего Востока, Дальнего Востока, Среднего Востока, проблемы Юго-Востока и Северо-Запада, Восточного блока и Западного

“Наконец, когда мы съели на пароходе всю провизию, и питались только черным хлебом и консервами...” (С.Ф.Бельский), появилось слово

Волполитпросветорганнзатор

“ели кору и мышь, и древесину всякую ели — и ели человека: человек человека ел, и съели одного американца в году двадцать первом по тысяче девятьсот, одного американца из American Relief Administration.” (Вл.Лидин)

ели и пели:

“Что, милый Ганс, играешь
Коленями в танце, коленями?”

“Таковы, например, приятные работы Фалька и Любича.” (Б.П.)

Французы возражали: “Нечего сказать, большая жертва приехать со своей дрянной родины в нашу прекрасную страну, где на одно экую можно купить больше вещей, чем там на четыре!” (Дюма-отец)

“Граф кончил,” (Э.Габорио), в результате

“От одной, родившейся в 1820 г. алкоголички произошло потомство в числе которого были 17 убийц, 76 тяжких преступников, 142 нищих, 171 проститутка и 40 обитателей ночлежки.” (Др Лозбель-Францесбад)

Таковы уж графья.

“То, чем для Л.Толстого была водка, тем для беременной женщины является ее муж — “от него все качества”. (Он же)

“Да и мерин стар, бос и бородат, как Лев Толстой.” (А.Мариенгоф)

ДНЕВНИК ЭМИГРАНТА

“Отфрыштыкаль съ графомъ Бобринскимъ. Пиль водку у князя Раевского. Графини Разумовскія кормили зайцемъ, князь Чавчавадзе показываль карамультиукъ.”

"Поселили на Толстовской фърме. Графиня заподозрила въ футуризме. Быль изгнанъ изъ библиотеки и переведень возить навозь."

"Встретилъ политическихъ деятелей: Литвинова, Туммермана и жену Туммермана".

"Говориль съ о. Мартиномъ, священникомъ изъ сербской церкви."

"Встретилъ внучатую племянницу лейтенанта Шмидта. Смотрели рыбокъ въ аквариуме".

"Княгиня Волконская возила къ собачьему доктору. Заплатилъ 5 долларовъ".

"... и слушать о далекой, далекой стране, где люди другие и климат холодный, где дома (вот забавно) не больше б этажей. В одном (называется Кремль) находится Ленин и — СССР, и оттуда идут директивы..."
(Гиршгорн и Келлер)

Если какая-нибудь бл*дь сравнит меня с Толстым...

"В берлине пассажиры разместились по чинам". (Жаколио)

"Мы знали, что следующим этапом отныне будет Вена". (Гиббонс)

"Однажды я почти до смерти избил какого-то полицейского только потому, что его медные пуговицы привели меня в бешенство". (Голлендер)

— Чем занимались до эмиграции?

— Сук дрессировал-с.

"Полина Вендбольская не отличалась красотой". (Гр.Брейтман)

Полина Климовецкая тоже.

"Опротивела марксистская вонь. Хочу внепрограммно лущить московские семечки, катаясь в гондоле по каналам Венеции. О, Са d'Oro! О, Ponte Dei!" — жаловался Блок.

Но "Ведь под аркой, на Галерной

Наши тени навсегда" — возражала Ахматова.

Она не знала, что переулок Замятина на Галерной переименовали в Леонова.

Один хрен, Серапионы!

83 — 31 = 9171 (Г. Десбери)

"И вдруг — ни село, ни пало — задирает кверху ноги и начинает хохотать ими, как собака хвостом". (А. Мариенгоф)

"...В Мексике вор может быть относительно честным человеком". (Майн-Рид)

"В его оправдание можно сказать многое: высылка из отечества, ведущая за собой потерю имущества; разлука с друзьями, необходимость жить в чужой стране, среди мало симпатичных людей и, наконец, необходимость работать, чтобы зарабатывать насущный хлеб — сложите все это и войдите в его положениив во время пребывания его v..." (Он же)

Я что, как Пушкин живу?

Одно слово, дас ди Унтертассен фон интеллигентен Везен андерер Плянетен гештойте верден!

"Совсем одиноко сидел еврейчик на крыльце своего флигеля". (Арцыбашев)

Княгиня Голицына в Сумах занималась спиритизмом.
Князь Голицын не заплатил мне 100 долларов за 2 недели работы.

"В кабаке возле Стефановского рынка будущего главу ВЧК рабочие били бутылками". (Р.Гуль)

Охапкин — это "Leptospermum scobarium", манук.

"Представьте себе эти римусы и тотарасы..." (Барон де-Сегюр)
"Один услужливый тотарас..." (Он же)

Умслопогас
Выступление Пети де-Фекула

Пельмени донских институток

Автор, вслед за Ахматовой, получил доктора гонорреис кауза.

"Я смотрел также Ватиканский музей... И здесь — это был 1925 год — я нашел на одном из древнейших сводов свежую надпись: "ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЛЕНИН!" (Джиованни Джерманетто)

"Сообщалось и о более значительном факте — об уменьшении толщины ... яиц динозавров". (Т.Суэйн)

*Сюда у меня почему-то втямшивается глава 6-ая.
Как у Стерна. Но ничего.*

"Забегая вперед..."

...Сюда ничего не втямшивается. Паразиты из "22" — 6-ую главу пожелали выкинуть. Я соглашаюсь: я ж поэт, проститутка, печатная бл*дь. Нет, но

вы посмотрите, что они выкидывают! Они же выкидывают эти перлы — у них-таки, заранее говорю, нету вкуса. А когда у них он был? Или этот одесский бандит Перельман (вы только посмотрите на его мерзкие вусики), этот шаровоз с банки Джорджия — что он делает? Он берёт при живом авторе его монументальную поэму, он “Вавилонскую башню” берёт, которую оформляет сам Марк Пессэн, лучший художник, скажем, Гренобля и Южного берега, он берёт её, и без спросу печатает три видранных кусочка — так кому я должен быть благодарен? Кому морду бить? И что вы думаете, он извиняется? Он нет. Он продолжает нагло печатать хуёвую подборку Алика Мандельштама, хотя я, самолично, выдал ему — цимес. И после этого вы скажете, что у этих редакторов есть вкус? Или, скажем, какая-то сука о носорогах пишет. Бэлочку Ахмадулину кроет. За то, что не дала, полагаю. Да какая нормальная женщина даст этому вапловскому пахидермусу? Он же соцреалист! А что он мне говорит за Эдика? “Лимонов? Это же кагэбэшник!!!” “Володя, — говорю, — успокойтесь, Володя. Вы же не на работе. Ну чем вам Эдик не угодил? Он же поэт!” “Нет, вы их не знаете! Они всюду!” “И под шкапом, — спрашиваю, — и под столом?” “Нет, вы смеётесь, а за мной — напротив следят, а у меня — жена, дети!” У всех жена. Но не надо же так нервно. (Не говоря, что если б он им действительно мешал — я б сам согласился пришить его, шакала. За пару тысяч и билет до Парижа в оба конца. Делов-то!) А за Бэлочку я ему ещё начищу вонючий клюв. И за Лимончика. И после этого вы мне говорите, что у них есть вкус? Come on!

Ведь для чего журнал существует, или та же газета? Для культурного обкладывания своих литературных противников. Что Максимов и делает. И Олег Ефремов — сука, и Мессерер — кагэбист. Ну за этих я не знаю, мужики, сами разберутся, но за Бэлочку — буду бить еб*ло. Мне вот счёты с NN не дают свести. Да подавитесь вы со своим NN! Он у меня, можно сказать, литературную музу увёл. Правда, муза сама бл*дью порядочной оказалась, но так ему и надо. От дуэли же, паразит, отказывается. “Мне, — говорит, — много совершить нужно!” “NN, — говорю, — опомнись, неужели ж моя голова твоей волосатой бородавки не стоит, микроцефал сраный? Да за одно то, что ты Святую Деву “бл*дью” назвал (есть у него такие стихи, это я к сведению), тебя ж убить мало!” “Нет, — говорит, — у меня большие творческие планы!” Что ж вы, и обращение Пушкина к Дантесу не напечатали бы, из соображений цензурных? А Максиму можно Бэлочку оскорблять газетно и всячески? В двух газетах, козёл, не считая своего анти-про-“Континента”, напечатал! А мне тут не можно сказать пару тёплых об Эстер. Или об этом старом пердунчике (фамилий, как Максимов, не называю), который пишет мне об арапских попочках и о том, что они похожи на пэрсик. Да еб*л я в рот эти попочки! Вы мне лучше скажите, куда мой израильский архив подевался? Ведь до сих пор доброй четверти нет! Но это не входит в сферу компетенции публичного органа “22”. Уж если мои бумаги к литературе не относятся, то что у вас там относится? Ну, напечатали Милославского. За это хвалю. Ценю. Но ведь всё же остальное — макулатура! Слали бы лучше обратно в Союз. Читать совершенно нечего. Или носорог Максимов навалит литературную кучу, или Майя Каганская скажет не теми устами,

которыми говорят по-французски, что Ефремов... антисемит! Дискуссия! Наговорили бочку огурцов, и Нудельман, и Агурский, одна Галочка Келлерман говорила умные вещи, потому что молчала. За это я в неё влюбился. И за улыбку.

На это у них есть место печатать. А на мой гениальный роман — нету.

Ну, пусть напечатают этот кусочек, а остальное я отдам кому-либо другому. Но не "Ковчегу". Они там уже Эдику усекновение головки устроили: тоже кого-то поминает. А Максимову можно? Может, потому что он без ма-та? Так по-моему, куда приличнее назвать человека сухой и бл*дью, чем кагэбэшником! Вы не согласны? А вот я так думаю. И к тому же, бл*дь — вполне приличная профессия. Утешает человека, выслушивает. А не допрашивает. Насчёт же крепких и мягких слов — так почему все слова должны быть мягкими? Слова, наоборот, должны быть крепкими, как ... ну, ладно, подавитесь, — огурчик. Молодой, крепкий и в пупырышках.

И что, вернувшись к нашим баранам из "22-х", что они вынают?

"Невесту е*ли по очереди. Необрезанный Боря Куприянов топтал рюмку, Чейгин же, украв бутылку водки (а заодно прихватив и кошелек новобрачной), заперся в ванной и никого туда не пускал. Все думали, что он там с бабой и не очень настаивали. Писали в окна".

Так это что? Это же дословное описание свадьбы, скажем, поэта NN и дня рождения С.....о. Милославскому можно, а мне нельзя? Там много перлов ещё. Но я подожду до более приличного издателя, а тогда и опубликую. Здесь же это явно не в коня корм. К тому же редакция питает явно патологическую симпатию к самому хреновому поэту (из ленинградских, не знаю, в Бердичеве могут быть и похуже), благо он под боком, и не ценят своего контрибьютора в далёком Техасе.

А контрибьютор, можно сказать, в этот ху*вый роман всю душу вложил. Или, как после песен Клячкина ("...я прижмусь к тебе холодной ногой", это об бабе, которая с блядок вернулась), говорю я ему: "Женя, Вы что же, не понимаете, что Вы похабщину пишете?" "Нет, — говорит Женя, — я пишу к р о в ь ю с е р д ц а !" "Женя, — говорю, — проверьте свою кровь на бледную спирохету!"

Самое чистое, что за сейчас написано — это Эдик Лимонов. А сколько по-моему эти спирохеты и носороги выльют ему на голову! Пользуюсь случаем, чтоб полностью выразить мою любовь и обожание прозаику Лимонову.

После всей этой трехомудии (кстати, слово заимствовано из Юлиана Семёнова, "Пароль не нужен", так что вполне цензурно), после Симонова и Щипачёва во множественном числе — даже Евтушенко "революцию" учинил: постель в стихах помянул! И после этого что-то говорить?

А насчёт личностей — так о них не писать, по ним бить надо. Что я и сделаю, при случае.

Ладно, уступаю и возвращаюсь всё к моей же 1-ой главе (или "узлу"?). Стерна из меня не получилось.

ИТАК:

(А пророс, упомянутые “паразиты”, как-то: Сотникова, Нудельман и прочая шушера, ошивающаяся в помянутом журнале — запузырили рукопись сию в еврейский уже “самиздат”, читали её все, кому не положено, напечатать же — так и не напечатали — моральный ущерб, не говоря за денежный. Выёбу, при случае, и Рафу — бывшего спеца по сов. фантастике, и прочих членов этой “редколлегии”, а скорее — лавочки. Не говоря за гниду Генделева.)

Конец главы 6-ой (не состоявшейся из-за Рафы).

Возвращаясь к главе 1-ой:

Подумываю о вступлении в Вооруженные Силы Израиля...

...я жалуясь, Господи, жалуясь тебе, потому что не хочу убивать ни арабов, ни палестинцев, ни курдов, не хочу убивать чехов и венгров, и даже коммунистов не очень хочу убивать. Пусть их живут, пусть им будет хуже от собственного ничтожества, возомнившего себя величием, от собственной лжи — ничего, кроме жалости и презрения к этим нелюдям, управляющим людьми, к биороботам, запрограммированным программой какого-то съезда. Пусть их съезжаются и разъезжаются, строят светлое будущее в индивидуальном порядке — бриллиантовый рай Мжаванадзе, приватный бордель для Толстиковых и Сизовых — послами в Китай их, в Китай! Назначить Тяжельникова министром культуры где-нибудь в Гане, жаль только негров — у них ведь бенинская бронза была, сооружения в Зимбабве — всё это порушат, дабы настроить памятников вождю человечества, а которому из? Рушат Россию, Байкал превратили в отхожую яму, ловят треску и анчоусы у Золотого Берега, а залив Золотой Рог превратили в базу — ни пройти, ни проехать, стерлядь глушат электростанциями, воблу — и ту — всю подъели с комсом в гражданскую (из Чикаго, из книжного магазина Долгих, таковую выписывать приходится, а в России — не нюхал-с: у пивного ларька окушки солёные сушёные, в мизинец, полтинник пара цыганки торгуют) — так как же дальше? Сначала животноводство молочное, потом коров на мясо (на мыло), туда ж — тонкорунных овец, и по новой. Централизованное управление, всё для Центрального Комитета, в Смольном “Пэл-Мэлл” продают, а в магазинах паршивой “Авроры” днём с огнём... Сейчас вот новую валюту надыбали — евреев, и подписывают договора на определённое количество человекоголов, да ещё кочевряжатся: Австралия и Япония согласны советский лес принимать (между прочим, зэками валенный, а от икры лагерного тож производства — с гордостью и человеколюбием отказались: бойкот ярко-красной икре!), лес им нужнее — в Австралии пустыня и своих аборигенов за проволокой в резервациях хватает (не говоря за коренное население — сплошь из угольников!), а в Японии землетрясения, финансовый кризис, и уж очень евреи на японцев не схожи, хоть и утверждает какой-то жлоб в “22”, Исраэль Шамир вроде (ну конечно, мой приятель Изя, переводчик Джойса! — см. Ант., том 3А), что японцы — пропавшие какие-то там колена Израилевы — но подокосели на Востоке малость — так надо понимать?

Ах, японцы, японцы вам бы только транзисторами торговать, а Сахалин в аренду всё равно не отдадут, Ленинграду нужен салат из сахалинской капусты — деликатес, 33 копейки баночка, его даже у атташе Соединённых Штатов, Дональда Фрэнсиса Шиена (по прозвищу “Сукин сын”) на приёме подавали, я там ещё Элизабет Тэйлор за сиськи тискал — а они у неё, как две чарджуйские дыни: такие же большие и такие же твёрдые (парафином, что ли, надутые — как у всех кинопёзд?) — такая манера писания называется на Западе “поток сознания”, а по-русски — что в голову взбредёт, трёп, параша, что вспомнится, я же ж не виноват, что этот ёбаный сахалинский салат я на шемакинские жёлтые кожаные брюки вывернул, ножом пришлось соскребать, на глазах у ошеломлённых дипломатов, киношников и балерин, не выношу я дипломатических приёмов, и дипломатов тоже: обязательно надуют, сукины дети. Вот и новый, Боб Гюйс (или Гайс?) — тоже фармазона кинул. А ещё культурные атташе — цэрэушники они! Всё политика, политика... Вождь и учитель Владимир Ильич Ульянов-Ленин сказал, что аполитичность — это тоже политика. Не знаю. Я ещё никого не надувал. Меня — надували. Французы и евреи, культурные атташе и Сюзанна Масси. Надувал парижский художник Миша Шемякин и еврейский поэт Улуро Адо, alias Михаил Генделев. Миша Гробман меня ещё не надул, но боюсь, что надует.

Сидеть с надутыми губами, дуться как пузырь, как лягушка, вспоминая экипажи на дутиках, дутые браслеты и дутую советскую славу господ Максимовых, Марамзиных и Ко. Вспоминать надувшуюся манду Горбаневскую, героиню “Посева” и “Граней” (Наташа надулась на меня за Диму Бобышева, потом малость спустила, а сейчас уже и не знаю, за что), все дуются и надуют, мир воздушных шариков, бобиков, верных Русланов и Иванькиад. Кивни мне головой, Муза, позволь погладить пузо небывшему члену Союза, зараза! Раз за разом (и раз на раз не приходится), ум заходит за разум, разумею: графинь Разумовских люблю. Они меня не надули и, надеюсь, не дуются, что я заключил их — с любовью — в роман. Остальные меня не волнуют, пусть волнуются сами, лоеров нанимают, адвокатов которые — судите голь перекатную, перекати-поле, здесь — не Родина, здесь не пройдёт.

После чего должно следовать вступление, каковое и следует.

ВВЕДЕНИЕ

*Во всём романе нет ни слова лжи. Это самое правдивое произведение эпохи. Все характеры, равно и фамилии — не вымышлены, а реальные. Исключение составляет автор. Но у автора вымысел перемешался с фантазией, бред и реальность (ирреальность), реальность бреда и несусветная отсебятина. Монологи, вкладываемые в уста (е*альники) моих героев, принадлежат им, но в равной степени и автору, автору даже в более равной степени. Цитируемый же материал — принадлежит кому попало. Принцип по-*

бочной (излишной) информации возведён в принцип. И вообще это не мой роман: документален, фактологичен, перенасыщен цитатами, и все слова уже кем-то были использованы... Автор — лишь попугай.

Повторяя истины, повторю: все макулатура, кроме одной Книги. Но её здесь нет.

Возвращаясь к первой главе, жалуясь:

...опять куда-нибудь переселяться — это свыше моих сил.

Лежать в халате, на диване, в ногах — борзая собака и курить вместо кальяна болгарскую "Шипку". А где же танец живота (кроме объявлений в "Новом кондовом слове" Седыха — см. гл. 5), где все обещанные прелести "свободного мира" — девочки за 50 франков, порнографические фильмы на дому, гангстеры и киднаппинг, которым меня пугала американская студентка-палеоботаник, приехавшая на конгресс в Ленинград — та же рутина, пишущая машинка и тресковое филе за 30 шиллингов, на стенке картина некоего Саллера — гарбэдж-арт, наподобие русских базарных ковриков с лебедями, но только хуже — не столь наивно, в окне — стена какого-то офиса на расстоянии вытянутой руки, сохнет бельё, СОХНУТ оплатит (а мадам Беттина, торговка сучья, подождёт, не всё ей за тарелку супа картины у художников выманивать, борзых и пуделей по дешёвке скупать!), купили вот сырую курицу за 55 шиллингов и каких-то дефективных булочек — в магазине ЛЁВА (и что это за Лёва в Австрии приторговывает?), там всё уценённое, продукты дешевлеют на глазах — икра искусственная чёрная за 20 шиллингов, а марку на письмо отправить Андрею Донатовичу Сиявскому (зря я

ему писал, не стоит он того, член отставленный) — уже не хватило, марки дороги, как впрочем, доллары, рупии и франки. Чай очень дорог, это потому, что натуральный, растворимый кофе дешевле, но пить его нельзя. Придётся доедать колбасу, потому что курица, скородка-то — одна, арабская (её жена потом на Толстовской ферме кокнула, а так была ничего, хоть и глиняная — у арабов всё из глины, дикари, до металлов ещё не додумались, в каменном веке живут). Жена готовит курицу, директор Коля, фарцня с галереи, сидит и удивляется, что можно есть. Посвящу ему

ГЛАВУ О ДЕЛИКАТЕСАХ

...по части всеядности человек сравним только с одним животным, а именно — со свиньёй. О вегетарианцах или, допустим, мормонах я не говорю — те более смахивают на коров. Люди же едят много что, не сказать — всё: рольмопс и анчоусы, сыр рокфор и Capris des Deux, пахнущий конюшней. Но многого ещё не знают цивилизованные европейцы, утратившие в процессе умственного развития нехитрые радости примитивных племён. В Сибирь их, в Сибирь, голубчиков, кушать замороженных третичных рыб из романа Солженицына, мамонтовые кости и шкуру с самоедскими лайками делить. Самое невкусное, что я ел — сойка-кедровка. Когда варил её в котелке, пришлось отойти от лагеря километра на два с половиной — пахнет. В этом смысле квашеный тюлень — тоже блюдо, которое надо харчать в

противогазе. Приготавливают его так: забитого по весне тюленя потрошат, кладут в яму, заваливают камнями и оставляют на всё лето доходить. Бациллов на Севере нет, не Европа, поэтому мясо не гниёт, а киснет, квасится. Волокна чернеют, расползаются, а жир становится студенистым. Находят яму по запаху — километров за пять, за шесть уже слышно. Пястью берёшь пучок волокон, обмакиваешь в жир и ешь, другой рукой затыкая нос. Чрезвычайно остро и пикантно. Рыбу (красную) они тоже квасят в ямах, попадает земля, которая хрустит на зубах. Камешки тоже. Руки потом не моют, а обтирают об меховые штаны. Чтоб пахла. Бурундуки и белки тоже припахивают, но меньше. Бурундука мне пришлось есть сырым, промокли спички. Шкуру я, правда, снял. И выпотрошил. Пресловутый бифштек по-башкирски (не путать с tartar в американских супермаркетах — просто сырой и поперченный фарш) сходен с тюешкой по вкусу и способу приготовления: тонкий ломоть сырой конины кладётся под седло и под потник, ездят, не рассёдывая, целый день. К вечеру мясо доспевает, тухнет, пропитывается конским потом и отбивается до нежнейшего состояния (в кухонных условиях такая кондиция невозможна). Едят опять-таки, одной рукой, другую затыкая нос. Впрочем, нос можно и не затыкать, помогает мало. Мозг живой обезьянки (любимое кушанье миллионеров) — это уже гнилое порождение разлагающегося Запада (или Востока?) в ресторанах Малайзии и Гонконга, а вот плод дуриана, который пахнет чистейшим фекалиям, а по-русски — гавном, это уже совершенная экзотика. Едят в нём только зёрнышки, обросшие белой мякотью, о чём с восторгом сообщают советские журналисты, побывавшие в странах коммунистического Индокитая (своим, родным пахнет!). Не знаю, Шемякин меня чем-то другим в сайгонском ресторане в Париже кормил, тоже плодом каким-то, самолётом к тому же доставленным — это когда мы с ним вдвоём на 300 долларов пообедали, правда ещё жены и дети присутствовали (Доська, Ривка и Мышь) — но разве ж они едоки! Сырая рыба муксун, которую пластают ножом, так что жир течёт — тоже очень вкусно. Сибиряки понимают толк в деликатесах: спирт аптекарский (или питьевой, если чудом случится, а то больше тормозуху и антифриз) крошёным мухомором с голубикой закусывают, строганиной из нельмы мороженой, квашеной черемшой присоленной, сушёной сохатятиной. Соседствующие с ними китайцы — древней цивилизации народ: яйца трёхлетней выдержки, ласточкины гнезда, плавники акул, живые трепанги, гриб, который растёт на стволах поваленных дубов и приятно хрустывает (см. у Арсеньева), съедобные лишай — чего только не подают с соевым соусом к рису! Однако, больше всего меня привлекает кухонное искусство Меланезии: на одном из островов (если не ошибаюсь — Сан-Кристобале) приготавливают женщин нижеследующим способом: женщине (желательно, девушке) перебивают кости рук и ног, после чего по шею погружают в холодную проточную воду, голову привязывают к колышку, чтоб, часом, не захлебнулась. Вымачивается где-то неделю, отчего мясо приобретает приятный и нежный вкус и готовится обычным способом, на костре. Старухи для этого не годятся, равно и старики — тех едят в Австралии, но тамошние аборигены далеко не гурманы, поскольку кроме песка, укронов и эвкалиптов, там, практически, и есть нечего. Аналогичным

(проточным) способом можно приготавливать и американских феминисток-лесбиянок — какой с них прок (вычетом вреда), а так хоть питание. Впрочем, при американской диете — хамбургеры, пепси-кола и чипсы — женщины должны быть невкусны, что и наблюдается. А как ещё их можно использовать — я, право, не знаю, руку, и ту — целовать не дают (боятся, что отгрызут, что ли?) — Фрида Верден, поэтесса и бывшая моя агентша, и та не давала. Руку целовать. У них не принято. Всё остальное они дают — но кому охота? То ли дело — секретутка моя отставная, Наталья — очаровательная женщина — лёгкого характера (а сейчас и поведения, спуталась, сукина дочь, не то с Рыбаковым, не то с Волковым, не то сразу с двумя, но их посадили, за нецензурные надписи на стене Петропавловской крепости — а она, надо понимать, ведро с краской держала, и нынешнего мужа, независимого профсоюзника Лёву Волохонского — не путать с поэтом Непгу /Анри/ Волохонским! — посадили, традиции диссидентства) и, должен сказать, обширных форм. Обидно, что такое богатство пришлось оставить Советам (и антисоветчикам, по совместительству), беженцы ж ведь не выбирают, с кем ехать или, там, с чем. “Где Вы теперь, кто вам целует пальцы?” (да и пальцы ли? А может, что ещё...) Оставил, называется, на Юлию девушку. У, бл*дь! Обе бляди. А ведь надо было сняться всем табором, как Нуссберг, как в старые добрые времена, но — увы! — государственные границы, проблемы заполнения множественных документов (так и не научился), визы въездные и выездные и разъездные, доказательство еврейского происхождения — я вот цыган, поляк, еврей и русский, одновременно — а с секретаршей, с Натальей, было и того труднее, у неё папа чёрный полковник и патриот, арифметику в академии Можайского преподаёт, потомственный, кадровый — с дореволюции, я её и замуж за Гума выдавал (правда, тот не еврей, а китаец, по второму бабкинскому мужу — а первый был ПЕРВОЙ же жертвой трамвая российского! — во ответственность, — китайца этого, Ю-Дзин-Гума, надо полагать, в войну в армию потянули, а он говорит: “Моя солдатом не мозет, моя командовать мозет!”, Гума тоже нельзя на командные посты запускать), вызовы слал — не отелилась, голубушка. Платье свадебное пошила, бл*дь толстожопая, а чтоб справки какие собрать, папёнку потряхнуть за мудя генеральские (сейчас уж точно не дослужится, потс — дочь пошла круто /тёртым-траченным/ влагалищем — по диссидентам), разрешение выбить... Да впрочем, она ли виной?... Разрешения родителей до седьмого колена, всех бывших жён (и мужей тоже), характеристики с места работы, справка из жилконторы, что живёшь мол, а не подпоручик Кижэ какой, справка из Ленбытпроката, не брал ли холодильников и надувных лодок, свадебных сервизов и пылесосных машин, с телефонного узла — что по телефону ни о чём не разговаривал — боже, сколько препятствий, препон, да ещё отказ от подданства, который 500 рублей стоит — почему именно 500? из чего суки мидовцы (или эмвэдэшники) исходили? неужели кто платит 500 рублей, чтобы стать гражданином СССР, Дэвис там какая, Джон Рид или черножопый Поль Робсон — не говоря за советских шпионов, Филби там и отца Мелиндиного, подруги любви моей, Ксюхи Голубкиной-Голубковой (оставлюсь ей в грудь необъятныя, а она — “Размечтааался!...”, да ещё так по-московски, на “а”,

с протягом...) — ну эти, полагаю, почётных граждан-горожан получают, отработав своё за доллары — что ж с них неконвертируемые рубли драть, или это цена головы? Моя, положим, большего и не стоит, я вот скелет за 30 рублей продать пытался, оказалось, что лажа — но ведь едут же и математики-компьюторщики, учёные физики, лауреаты нобелевские, премии ВЛКСМ, ленинские и сталинские — почему же за всех одна цена? И даже те, кого под зад пинком, “выдворяют”, как Бродского — и тем приходится платить, этим-то за что? Кинуть бы мощный клич по техасским миллионерам, Дэвида Мосли того же тряхнуть — не всё мудаку-плэйбою ваковскому черепу из мелкашки в прудах стрелять, пьяных гостей на прицепе с сеном по землям своим возить, кокаин через свёрнутый доллар нюхать — хоть прок был какой-нибудь, выкупить дюжину-другую, полсотни друзей-приятелей — да только отпустят ли? Продадут ли?

Вот так и живём: эти в Вене, а те на Лене. Земля, хоть и круглая она, удивительно в последнее время неудобной к передвижению сделалась, это вам не Маяковский: “Сядь на собственные ягодицы, и катись!” — границы колючей проволокой за задницу задевают, меня, суки, в поезде — на свободе! — четыре раза за ночь будили, когда на неделю в Париж и Гренобль из Вены смотался, графини Разумовские и Кира Львовна Вольф, дай Бог им, на поездку снабдили — Лихтенштейны, Вадуцы, Андорры, Швейцарии (да ещё магнитофоном Наташки Горбаневской упорно интересовались: куда и зачем везу, мой ли — а я знаю? Меня Наташка кому-то передать попросила, подбросила — и получилась, таким образом, опять контрабанда), а по Сибири неделю ехал — кроме пидеров-проводников (попочкой Арика Лившица интересовались, отдался, друг, покойничек, когда с горючим у нас совсем захирело) никто не мешал и не приставал: просторы! А в Италию — не пускают с собаками, куда-то ещё — наркоманов (если в Союзе за это уже сидел), из Союза, напротив, вообще никого не выпускают. А какие-то финны и шведы мотаются по всей Европе в автобусах, пьяные, и даже на советской таможне их не очень досматривают: в проходе наблёвано и пять пассажиров лишних, живут же!

Мистер Иби, иби его мать, лэндлорд мой нынешний, закатил семейный скандал из-за лишнего холодильника: электричество, говорит, дорожает, надо биллы платить. Кинул я ему лишних 5 долларов, миллионеру вонючему, сраному, пусть бензину для самолёта прикупит, на Канарские острова летать. И Сюзанна тоже плачется: 40 000 иску издательству всадила, по коллекту желает звонить, за мой счёт, то есть. Ладно, поделимся с девушкой из моих трёхсот тридцати в месяц, пособие безработного профессора, поскольку обойдён есть советским дипломом. Им тут начхать, кем диплом выпущен, хоть с кафедры эстетики Герценовского пединститута, за что и Сорбонну или Нантер там дают. Членов писателей тоже весьма уважают. Переводят, печатают. Но об этом будет в 4-ой главе, про Пен-клуб,

а покамест глава всё ещё первая. Возвращаясь к баранам —

...у жены выкрали курицу из кастрюли. Придётся сегодня обойтись без ужина. Эмигранты привозят с собой советские порядки: кто-то съел чужое масло в холодильнике (общем), в яйцах проделывают дырочки и выпивают, однако стало тише — одесситы уехали в Остию. Муж Татьяны Шаповаловой (Блюмбаум), фарцовщик по кличке "Седой" — сидит уже там за покражу пиджака из магазина готового платья, трудно приспособиться к западным условиям, а жена, модель Шемякина — сама на кофточке попала, Беттина её из полиции выручала, ну, ей-то не привыкать, половина, если не все эмигранты в отеле — фарцня, спекулянты и чернорыночники. Новый, и тоже прошлый уже муж знаменитой Татьяны (по основной профессии — парикмахерши, и тоже херовой) — князь Скопин-Шуйский (см. фельетон в "Крокодиле", приложением отдельным), он же "Старичок", "Бакенбарды" — см., — фарцует в Нью-Йорке, с полицией дело имел уже, общаются. Эх, поставили бы австрийцы на границе пулемёты — торговое племя встречать, нельзя: нравы рынка свободного тут поощряются, отчего жизнь среди русских стало совсем невозможно. Мадам Беттина заходила, справлялась, как мы живём. Жена поблагодарила её за новую комнату, здесь я никому не мешаю своей машинкой. Беттина называет меня "профессором", улыбается гнусной улыбкой, а сама зыркает глазом: не включён ли какой электроприбор. На все девять десятков населения отеля — четыре газовые горелки, увёрнутые до предела. И ванная комната, в которой спит уборщица пани Ани, полячка бездомная. За это ей, Беттине, платят по гостиничным ценам благотворительные организации: Толстые и ХИАС, с которыми она, надо полагать, делится доходами — иначе, в той же России, ей бы давно — сидеть. Но здесь не Россия, а Запад. А мы на нём — дикари. Заходила жена профессора из Риги, занять нелегальный кипятильник. У них в семье они говорят только по-немецки, кроме того, Рига — это не совсем Советский Союз, хотя номинально и входит. Для одесских Рига — это почти что Вена.

Увы, Вена, 15 января, Хакенгассе.

Уважаемая Жаклин, увы (и ах!), случилось непредвиденное: австрийская полиция "не нашла возможным" выдать мне паспорт. Вся моя корреспонденция шла на Париж, получил её только сейчас. Поездка в Париж, Гренобль и Швейцарию отменяется. 5 февраля по этапу я еду в Америку (лечу). И соответственно, все мои парижские начинания и надежды остаются неосуществленными

Написал и задумался.

Жаклин, Париж, Гренобль — всё какие-то слова французские, всё какие-то иностранные, красивые, значат, зовут...

Герой распался. Герой распылся атомами сознания, молекулярной теорией осмоса проникал в этот мир, щупальцами и пароподиями втекал, вытекал, изолировался и отчуждался. Чуждость этого мира, чужеродным телом отторгающего кровь и плоть свою, нередко чужие земли, герой чужался и чурался. Жить изолированно, в тело втекают соки, сквозь плоть

проницают лучи, тычутся между атомами, путаясь в электронах, протонах, нейтринных оболочках, зааминазиненных нейронах и болезненных ганглиях, филиппинские пальцы сквозь плоть, плоть сквозь пальцы кишечной медузой плывёт

90% воды, кошенилью подкрашенной, уплотнённые эритроциты проедает жгутиконосец, лямблии в теле живут, кремнезём, слизью строится тело улитки, углеродом и меченым фосфором дышит душа

роговые чешуйки волос, сальные железы вылизут, смажут, мускус или укус, мускул набухнул, бродя кислотой молочной

выделит мочевина в плече лучевидный азот

плоть от плоти тепло тело лотоса дыня дитя прильни к моей груди она и есть подобье дыни подобье дыма дома тьма телес и

..... бывает, что сижу я на Красной площади всё это происходит, матушка моя чаи разносит, разливает, и человек сидит немало, и я посередине, а рядом со мной об левую руку, сидит Сталин, Иосиф Виссарионович, и я его чаем потчую. и очень хочется, самому противно, мне ему что-нибудь приятное сделать, услужить, подарить что-либо — вот, — говорю, — Иосиф Виссарионович, знаю, что Вы трубочки любите и даже у Фёдорова заказываете (а Фёдоров с голоду помирал: частник, с рук сбывал у комиссионного, брали, как антиквариат, знали, что его, Дар у него покупал, в месяц по трубке /с гонораров своих и Пановой/, а мастерской Фёдоров не имел, после Хрущёва дали уже, когда и работать по слепоте не мог, клейма на трубках учеников свои ставил, сейчас, наверно, уже помер, а какой мастер был)... — бывает, — говорит мне Иосиф Виссарионович, — у Фёдарова трубочки хорошие, вот с табакам плохо, куру толко “Залатое Руно”. — если хотите, — говорю, — Иосиф Виссарионович, я могу Вам трубочку от доктора Макса достать. — знаю доктора Макса. Хорошие трубочки. Я одну купил, заплатил пятьдесят, нэт, двэсти тысяч рублей, хороша била трубочка. — ну, столько я не могу платить, но трубочку Вам могу достать, мне нетрудно. и тут вижу, подходят к нему сзади двое, лица зелёные, руки висят и вроде бы, плесенью покрыты, и становятся по обе стороны, мёртвые, тленам от них как бы припахивает, и молчат. съёжился как-то Сталин, ещё меньше ростам стал (а когда сидел, незаметно было). — нада идты, — говорит, — вот, пришлы за мной, нада работать. а насчёт трубочки эта вы харашо придумали, я доктора Макса лублу, уважаю. И пошёл, мертвяками сопровождаемый, по направлению к Кремлю, медленно так, неохотно, и эти двое за ним. А я и чаем его не напоил. Доктору Максу рекламу, зачем-то, сделал, трубки у него и вправду, хороши, в рот взять можно, одну такую Сусанна “Рыжей Кошке” подарила, за янтарный гарнитур — она в нём на приёме у принца Поля и принцессы Ольги югославских жопой вертела, а трубку Кошка по пьяни в женском общежитии забыл, а в каком, не помнит.

Знаю я эти женские общежития, меня в одно Боря Тайгин к двум клячам затащил, чтоб я им стихи почитал — поэт ведь! — а они меня коньяком ублажили (коньяк тогда дешёв ещё был, доступен), общага эта была рядом с тем местом, где сейчас квадрат булыжника посреди мостовой, асфальта,

обозначен — мемориал, с которого стреляли по юнкерскому училищу, так там и написано на железной мрамориальной (или — мнимореальной?) доске, а пушечку, на всякий пожарный случай, убрали. В общежитии — комната на четыре станка, двух подруг куда-то в кино спровадили, мне Тоня досталась, тощая ...ща и грудь отвислая, а вторая, Нина — потолще, ну и салфеточки там вокруг, покрывальца вышитые, ложки мельхиоровые в синей коробочке под сафьян (приданое девичье), на столе там коньяк, закусь в томате, у кого рюмка, у кого стаканы, трамвай под окном дребезжит, проигрыватель “Мелодию” в соседней комнате одолжили — сколько их было, общаг этих, комнатки на 4, на 8 и 10 коров, а то и просто — барак, на одной койке пьют, на другой носки штопают или совокупляются (или просто ебутся), дети пищат. И стихов просят девушки, чтобы нежно, чтоб вроде Есенина — ну, почитал им Игоря Северянина, в девичестве Лотарёва, хоть и терпеть не могу — Асадова-то, который без глазиков, я наизусть больше полудюжины строф и не помню, а вот его бы — в самый бы раз... А потом на кровати — любовь, не любовь, а ноги на плечи, ещё и ещё... Тошно мне стало, вырвался я позвонить и обратно не вернулся, девушки, девушки, тут и трубку забыть недолго, и в сортир на цыпочках, а сортир женский, кабинки открытые — никто не смущается, ссы на здоровье! (“А в 14-ой опять мужики, во дают девушки!”), утром им опять на фабрику, прядильно-ткацкая, или синтетического волокна — эх, зачем вы, девушки, красивых любите, ху ли там коньяк, когда с портвейновым надо заваливаться, сделал дело своё чёрное, свершил, облегчился — и катись через мост с Петроградской пешочком — белые ночи, Нева, Петербург...

В Петербурге вдоль парапетов — парами, пароходик, речной трамвайчик, вдоль берега везёт, экскурсия к Смольному, легендарный крейсер “Авро-ра” — и обратно. Экскурсия на Кировские острова, вдоль прядильных фабрик, завода “Красная Бавария”, дач правительственных на Крестовском острове, музыка и буфет — коньяк “3 звёздочки” рупь восемьдесят сто грамм, шоколад и бутерброд с засохшей осетриной, на берегах сирень буйствует, липы и тополи цветут, пух тополиный в Адмиралтейском канале (сейчас он Круштейна, а был сколько-то там лет — Круштейна, полемика в “Смене” или “Вечорке” — героев не помним, а что мы помним, когда на Михайловском замке — доска в честь Карбышева — с ним Деникин, говорят, заморожен был, об этом ни слова, а что ещё Достоевский в Инженерном учился — об этом — ни-ни, хватит с того, что музей — года два — как открыли, у рынка Кузнечного). Бродят белые ночи, колдует Нева, возле мостов разведённых — группами — парочки, молодёжь, иностранцы, милиция. Небо плывёт, опрокинулись кроны деревьев на Лебяжьей канавке, посмотрел — ничего. Буксиры гудят, тащат баржи-сухогрузы Москва — Волго-Балт, и балдеешь, стоишь, над Невой — телевышка торчит, портит пейзаж Петропавловки, седые стены домов розоватым рассветом (закатом?) окрашены, Меншиковский дворец, “Нева-флус, паруса заморские” (А.Флит). Горят костры на Ростральных колоннах, страшно, огонь, вечный огонь на Марсовом поле, окна Мейлаха Миши глядят на него, пионеры, студенты поют, Марина Соснора ноги в Лебяжьей канавке моет — опять на такси прикатила, бурлачка, подстилка, любовь, шефу морду набьёт поутру,

триолёвой туфлём по плешивому черепу, неистребимая, монстр. На Кунст-камере — шарик, земля, в понимании — глобус, архитектор Земцов, перестройка, достройка, постройка. Биржа, Тома де-Томон, Италия, Франция, Запад. "Биржевая газета", бумага верже клозета для, ресторанич "Дельфин", поплавок, на плаву, не качает. Чайки спят, парапет ими испачкан. Булку кидают, уже не едят, плавают в масляных пятнах, розоватая зыбь, отражение рассвета, город распахнут и пахнет вода. Пахнет канатом, закатом, ржавчиной и мазутом, пахнет смолой, арбузом и корюшкой, сыро, воздух входит в грудь осязаемо и плотно, дышишь туманом, тоской, Петербургом, белая ночь, в голове распускаются розы, зори встают над Невой. Бредишь рассветом, идёшь в тишине, в тоске по каналам, мостами со львами, вдоль узких домов, в воздухе белом свист нарастает, плывёт, над водой, над домами, над городом — это туман, в тёмной воде теряются берегов очертанья. Решётки каналов, подвалы, парадные и подворотни. Улицы голы, логика, геометрия, камень. Таков Петербург в белые ночи, июнь месяц, столетие и год не важны. Блеют бараны, степь, марево, солёная вода на Арале, звон комаров ввечеру, камыши, чавкает топь. Чёрные ночи казахских степей полукуполом неба, навзничь лечь — раскрывается всё, в звёздах и в черноте, наощупь, мохнатой, катятся, катятся комки перекати-поля, живые, подпрыгивают, звёзды глядят, не мигая, как птицы, птицей парит чернокрылое небо, сон навевает, совы-сплюшки кричат, бесконечность, и дышишь воздухом редким, сухим, непонятным — ночь степная дышит тобой, слышит, шуршит.

Петербург, бред, каштаны отеля цум Тюркен. Турецкие бани, три часа ночи, павлинье перо, воткнутое в пейзаж. Жалуется живой труп, овальные клавиши. Кап на берёзе, на вишне, дубные грибы, вишне подобны глаза у эстонки, Маре, любовь моя, но опять Марамзин пьёт вишнёвку, цитирует Осю — тоска.

.....

Загрызут, загрызут, вонючки. Все протухлые дохляки из первой, второй и даже третьей эмиграции, вся гомосексуальная профессура объединится с уцелевшими монархистами, забыв разногласия по поводу жоп. Кинутся бить ногами все вонючие листки русско-язычные, проеврейские и черносо-тенные, бывшие сотрудники "Литературки" и хилый "Посев". Вижу гг. Отрадиных, Градобоевых и попросту С-ких. Гули-гули, Гуль-Гуль, но — ге-нуг трепаться, господа нехорошие!

Г-ну Седых посвящаю признание: это я поджёл редакцию "Нового Русского Слова" (телепатически, из Техаса, через канализацию, заканчивающуюся председательским местом в кабинете редактора, страдающего старческим недержанием). Сам Седых, правда, успел свалить, и куда-то пропали че-ки — но это уже не моя работа. Справляйтесь у бухгалтера. Г-ну Рафаль-скому советую подыскать уютную могилку: уже воняет. Её светлости (или сиятельству?) княгине Шаховской — целую ручки (гм...). Князю Г-ну сове-тую натирать усы оподельском, лучше стоять будут (остальное уже давно не стоит, но щится, бодрится).

Ещё Глеб Успенский жалился: "Не советую вам встречаться за границу с русскими... Хелиасты поганые!" А я вот встретился.

"Здесь мне припоминается следующее обстоятельство..." (Успенский): "После месяца службы в милиции, сержант Денисов вдруг понял, что стал относиться к людям дружелюбнее." (Л.Словин)

В Тригорском его называли Пуцкин. Он ел цорный хлеб, пил чай и хотел в Опоцку, как сообщает Паустовский в повести "Дым отечества". Сицкари, батенька, цто с них спросишь.

"На забудем и гадалку Дусю". (В.З-н)

Как приятно читать "Новое Русское Слово"! Какой безукоризненный вкус у редактора Седых! Чувствуется бунинская выучка. Глядишь, не нобелевскую и не мира — но премию хера дадут. Интересно, какого цвета чернилами пишет ученик? Бунин писал зелёными. Поутру и на подоконнике.

Выяснил заодно, что "бухарские еврейки паранджи не носят, но от мусульман закрываются халатом (одет на голову)..." (Л.Файнзильберг, он же Ильф). При этом зад, естественно, остается открытым. Но это их мало смущает. Главное — соблюсти приличия.

Знаете ли вы, что "чайки — самый страшный враг самолётов" (Новое Русское Слово). Я не знал. И Чехов — тоже.

Жена сообщила, что "участники герценовских чтений частично будут оплачиваться". Не податься ль?

Стояние repis'a монархической идеи Г-ря Императора, и состояние его тохеса на настоящий момент. (Бюллетень газеты "Красный монархист")

Сначала он научил растение вертеться...

Глава коптской церкви, папа Шенуда Третий...

Копты — это египетские христиане. Коптильня для коптов. "Не копти!" — копту. Парнокопитные копты.

"Бушмены более тщательно мастерят свои луки. Они берут древесную ветвь около 150 см длиной и равномерно обстругивают ее концы, добывая наибольшей упругости лука. Тетива изготавливается из скрученных сухожилий животных, стрелы — из тростника, с деревянными, железными или костяными наконечниками". (В.Зотов)

Зачем вам всё это знать? А мне зачем?..

Ах, эти русские проблемы! Французская миллионерша, надравшись столичной, виснет на Эйфелевой башне, цитируя Маяковского — её муж всту-

пил в комсомол. Американская журналистка (это про тебя, Сюзанн!), надравшись зубровки, плачет в жилетку сенатору Джексону: её опять не пустили в Союз. А не сманивай Пановых, Кузьминских и Барышниковых: танцевать будет некому! Я, правда, не танцую, но петь — могу. И голос у меня при этом негромкий, но противный. Молдавская господарша, княжна из бывших, от избытка чувств цитирует Антиоха. Все говорят о России. Россия, Россию, Россией. И никто ни хрена не понимает. Большинство волнуют размеры русских х*ёв...

...Запад волновали русские проблемы. Проблема нефти, газа, древесного сырья и нелимитных кредитов. Хлеб, купленный у Соединённых Штатов, тут же перепродавался по утроенным ценам за границу. На выручку запускали спутники, дабы с помощью неограниченных ресурсов подопытных майоров хоть в чём-то обогнать Америку. На остатки снабжали оружием яркокрасных кхмеров и эфиопских повстанцев в Эритрее, с целью заткнуть Персидский залив и лишить американских налогоплательщиков дешёвого газа. Кубинцев посылали кончать чернокопых в Анголу, японскую Красную Армию — дебоширить в Израиль. Америка просрала Кубу, Корею, Вьетнам и лихорадочно искала, что бы ещё просрать. Япония хотела сахалинской капусты и крабов. Но хотела тихо, не вздрагивая. Авансом предложила снабжать Советский Союз радиоаппаратурой для глушения "Голоса Америки" и техникой для подслушивания телефонных разговоров. "Голос Америки" молчал, детантируя. "Ля вив Кутузов!" — кричала Французов, главный редактор передач на Советский Союз. Посол Добрынин вежливо ему аплодировал.

Элизабет Тэйлор пустила с аукциона свой "Ролльс-Ройс" за 14 000 долларов, с гербом предыдущего мужа, что ж, я купил красный "Амбассадор" ("Посол") за 250, только он у меня не ходит. Подарю Элизабет, пусть катается.

Ах, Лиза, Лиза, Лизавета! Два поцелуя, а многих ли ты целовала? Я не говорю в кино, не считаю продюсеров-режиссёров, тех приходится: бизнес. Но меня-то ведь чмокнула ты пару раз добровольно? Не под пистолетом. И если б не Генри... Но и меня в твой отель не пустили бы, а дома — матушка, жена, секретарша, и все в одной комнате. Так и не по*блись.

Но кто мешает мне трахнуть тебя на страницах романа? Подумаю, если кого поаппетитней (и помоложе) не подвернётся — может, "займусь".

Положа руку на что там положено, клянусь: Лиз Тэйлор целовала меня 2 раза. Хозяйку — один. Больше — в тот вечер — февраль 1975, она никого не целовала. По крайней мере, при мне. И в сортир она ходила тоже, по-моему, в одиночестве. Поцелуй Мэри Пикфорд. Здесь же, сука, ответила мне через какую-то свою китайскую секретаршу, больше не писал. Эдик — тот меня поймет. В России все они, как оглашённые, бросаются на русские уи, а здесь — целок из себя строят. Да и здесь — где я с ней встречаюсь? В ирландском баре на Квинс бульваре? А в кино я тут не хожу.

Америка, страна эмигрантов. Даже индейцы — и те — приволоклись, вроде, из Сибири через Берингов пролив. “Индейцы в Саянах” — называлась статья в “Вокруг света” за 1928 год. Новгородцы — и те, говорят, от казней поголовных Грозного (“обложиша город и чтоб и птице не пролететь и гаду не проползти”) — казнил Иоганн Васильевич: один день — стариков и старух, в другой — молодые выи под секиру клал, жёнок беременных — чтоб не соскуцыцясь

музыку, наверно, играли

и бежали ушкуйники вольного Новгорода — морем, минуя Таймыр и Чукотку — в байдарах и шитиках — на остров Св. Лаврентия (но не Палыча) — и по сю кресты православные на Аляске находят, а потом — Беринг, Резанов-Хорошилов и Чириков

Гэри Снайдер рассказывал: 40 церквушек православных на Аляске, служба церковно-славянская, русскими лелетрами, кириллицей, а приход — 40 индейцев-тлингитов, сорок сороков, чёрные как сороки молятся, голоса

Америка, Русь

а в северных штатах — висконсине, орегоне, манитобе — староверы петровских времён (через Персию в 1920-м, а “до” — см. у Тынянова, “Смерть Вазир-Мухтара”, Самсон-хан! — за что и Грибоедова замочили: требовал выдачи русско-подданного... а они, как те же казаки-“некрасы” /которые омусульманившиеся, впрочем/ — валить, а куда им? — в Турцию, а потом — Аргентину в 20-х и, наконец, в 60-х сюда), говорят на наречии допетровском, детей добились в школах государственных не учить — рыбку ловят, лес валят, тихо живут съездить бы

“Язык так скоро не изменяется”, — сказал профессор Дик Сильвестр и заговорил языком капитана Сильвера. О Сильма, эт Сильма, я нейна роза ме (я нейне роза катейра, пульвейт сетсиль наме) — о Шах-Наме, распевал бюль-бюль бахши, бачка! секим голова ятаганом...

Тонкий ягель брудастых оленей Ягелло кормил, за кормилом стропа тополь стропаль Садко за кудыкину гору отряд берсекеров ведёт вендетт и насиль ради

И Иродиада к царю Ироду рылом ноздрей синеватой прильнула невырванной а Ананий всё занят грехом с грехом пополам рукосуй Суй суровую нитку в сырую ноздру драмадера Сергень-багатур тур буйливый князь Всеволод все володеют Валдаем — поп и Пушкин балда предлагают форелей солить И потом пармезаном присыпав потливые дети паха Пахнуть розой гюль-гюль и папахой промежность прикрыв провизжать на ноже жёлтой рожей китайской и лебедью белой Мариной Басмановой: “Дима!” Колокольчик динь-динь утверждает издатель Некрасов — некрасив его нос сон Насонова надсона боль

Ольга выжгла древлян, появился Выжигин Иван и за здоровье Мэри Стюарт
 узконосый пиита пьёт джин
 О лги мне полярный день на ошмётках сетей узких шитиков мир вам мирза
 Аль-рахман ибн Лукум кум Матвей поправляет подтяжку
 Это Гоголю тяжело дышать в лубенистом гробу
 Ах убог мой язык я не знаю другого завещание Кучкина я берегу
 Это Тер-Покасян показался проездом в Эль-Пасо Подразнил показал алли-
 гатору дал отсосать Вот и всё что могу и мычу на берегу Миссиссипи писи
 тети Аюси сисель кисловатых сосков Каковые дрожат ржа и лепра сосуд
 Магдалин разъедает едет полем дьячок по уставу копыта стучат

Ну а ты посучи синеватыми ножками дядя на усах вырастает стручок чок и
 левый бокфлинт у Аксакова справно торчат Чадо выросло в ночь на вторую
 в которой зачато В акмеистском чаду ей в саду показали дуду В зад засу-
 нули уд удовольствия для — Породила, сырая! Рай и блуд, слово "ай" и сы-
 рая айва Ай-акмэ, мусульманская древняя львица Ай-буй-яй и татарское
 семя Ох мать! На матёром колчане шатёр свой раскинула Ноги продолжая
 бежать утомлённо дрожат на мече Мечет стрелы журнал Аполлон в лысова-
 тое темя Ревматизма французского зреют на вые цветы Ах, акмэ мекум что-
 то в портках (опускаю) Опускаю глаза вижу ложе — жол!

Ай, люли, абрикот окотился Екатериной, что ни выну — вино Эвенкийская
 пальма в руках Тётя тальму надень, пообедаем мы у Тальони — в летний
 день, в жопу вставив серсо, закатиться в Донон

Давай, дыню режь, — обратился Гамзатов к Орлову — тот сидел горделиво
 орлом в ЦДЛ, поедая мацу. Цыцки всех поэтесс, вяловатые бледные нити
 Пити-мити плати за столичный столовский обед Бюст красавицы Б. Ахма-
 дулиной — спелая дуля Вялый фиговый лист между сдвинутых ног засыхал
 И какой-то нахал опахалом махал Лело, лело! Млело тело Барашек младой
 в груди пепла был пеплосом скрыт Скрып телег — то Атилла Волна накати-
 ла Оставляя венерины брызги на белых лобках Ах как пах этот пах — ре-
 зедою редисом анисовой водкой Закусить закусать за губу золотистым зуб-
 ком ущипнуть
 Щу! Шукшин Соллоухина тискает в сени заправив Задирает ему сарафан и
 народные песни поёт Разгулялась Рязань на заре там зарезали мальчика В
 зад засунув два пальца расстроенный цензор рыдал Задушили Рубцова
 Панкратову морду набили — Пантократор ликуй, куй в железо пока горячо
 На плечо! И ряды свои членские вздвоя Мерным шагом идут Миша Дудкин им
 дует в дуду Расплодилось жида Их немые тохесы пахнут Розой аиром бел-
 лым лавандой водой дой коров моя юнная Мориц Макс и Мориц унылое вымя
 сосут Сосуд греха отрыжка древа древесный ствол упал на стол На блюде
 том лежала дева И тамаринд у ей расцвёл — Тамара, — вослицает Мара У
 нас ещё остался ром И белым садом белым задом был окружён тенистый дом
 В дому котилась мышь Шуршали ресницы милых поэтесс Потом явился мент
 в фуражке и продовольствие унёс Усы товарища Будённый качал Аркадий
 Бубенцов Жара стояла в час полденный Товарищ захотел бабцов

И на вилку наколов грибочек От отбитых почек двух Галин Тихим люэсом
расцвёл цветочек Ирис, ирис лилия долин На Тверском бульваре тихий
Пушкин зеленеет в мраморном гробу и Марина плачет на опушке в присно-
памятном елабужском году

Но на дудках всё поют цветаетеведы особеоренины скопцы за концы их дер-
жат коневоды за уздечки потсы под уздцы

(Первоначально поименованное как "Альба лагуны Али", прим.)

(Июнь 1975 — апрель 1976, Австрия, Вена, пансион Беттины — Америка, Толстовская ферма.)

ЧАСТЬ /ГОЛОВА/ 5-АЯ ПЯТЬ ПИСЕМ ПОЭТАМ

*Вена, Хакенгассе, пансион Кортус,
под Новый 1976 год*

1. Виктору Гейдаровичу Шир-Али Задэ

Шир! Читаю тебя. В первую голову. Очень трудно читать тебя. Забываю интонацию. Она НЕ УКАЗАНА. Я тебе говорил. Поэзия последних двух тысячелетий зиждется на бумаге. Я читаю Есенина. Говорят, он хорошо читал. НЕ ЗНАЮ. Писал он плохо. За окном шумит австрийская метель. Без разницы. Такая же мятель в поэме "Томь". Дело не в языке. Томский или венский диалект равно прекрасны. И хрен австрийский русского хрена не слаще. Сейчас отведал с похмелья. Вопрос в интонировке. Вчера читал ТВОИ стихи графиням Разумовским. Доказывал, что ты аристократ. Эстет. А кто ж ещё? Твои стихи прекрасны. Но трудно их читать. "Цейтнотик, виражёр" — я помню, КАК ты произносишь, но где-то уж забыл. И ты мне не поможешь. Ибо пришёл ты к совершенству ИНДИВИДУАЛЬНОМУ. А передать его нельзя. Твои стихи молчат. Ты не смеешь останавливаться. Покамест не найдёшь фиксации своей гармонии. На бумаге. Иначе — жил и работал ты впустую. Прости мне менторский тон. Ибо — люблю. То ж говорил тебе при записи. Ведь ты умрёшь. И вместе со стихами. А я хочу, чтоб жил. Не во мне, а во вне. Ширушка, тебе лишь 30 лет. Что из того, что все они потрачены впустую? Ведь и у Миши не запишешься навечно. Пиши навечно на бумаге. Уже "Стансы к Августе", вещь компромиссная с Кри-Куприяновым, надёжней "Декабрей". А жалко. "Декабри" люблю. ХОЧУ, ЧТОБ БЫЛ БЕССМЕРТЕН НА БУМАГЕ. Ещё не поздно, Ширали. Учись. Я Боре говорил об конструктивистах. Чичерине, купно Сельвинском. Но Боря взял Сельвинского издания "Библиотеки", и радостно сказал: "Плохой поэт". Естественно. Из 600-от страниц там 50 страниц конструктивиста, и те печатаны не тем изыском, поиском, изяществом. Чичерина же "с тех пор не издают". Они искали способов фиксации интонировки. Пускай фонемами. Других пока не знаю. Кривулькин подарил. Совписовский трактат о звуке. С цитатами Чичерина. А мне довольно. Абы образцы бы были.

Съел огурец. Солёный. Их здесь есть. Лучшее свидетельство интернациональности поэзии. Закусывают тем же. Поэтов же здесь нет. Читать здесь не умеют. Один прозаик Иванчану, румын, но пишет по-немецки. Он мне понятен, невзирая на язык. Я тоже так пишу. Все прочие — морковка. Красивые, но есть нельзя. Невкусно. А вкусно — холодильник, огурец. Всё как в России. И пиво здесь дают.

Хотя в жестянках. И очень дорого. Дороже огурца. Здесь трудно. Здесь трудней. Поэтам — тоже. Никто не слушает. Но можно здесь писать. Особо — прозу. Можно и стихи. За них не платят, не читают, но не вяжут тож. Поэтому поэты ни к чему. А я — увы! — поэт. И друг поэтов. Об них и говорю. Читаю их. За пять месяцев — два раза. Кому читать? Поэты не нужны. Что из того, что и бессмертны мы? На Западе — пойми! — загробный мир. И там жить можно. Скорее, доживать. Будь я один, как ты, возможно бы, не выжил. Но у меня есть ты, Кривулин, Куприянов. Наталья есть, но только она там. Есть Гена Гум, пристанище надежды. Шемякин есть, который не даёт. Пишу стихом. Я отворяю вежды. Пою с тобой. Молчание. Дуэт. Пойми, мой Шир! Ширяется. Ширинка. И широка страна моя. Не тут. Пойми, что эмиграция — ошибка. Маслины лишь в Израиле цветут. Горит рефлектор, даденный графине. Вода в графине замерзает. Ночь. В соборе Богоматери грифоны похожи на. Воспоминанья прочь. Я прячу их. В слова свои. В шка-тулку. По щиколотку стоя — какое дерьмо почему оно везде пахнет одинаково почему солёный огурец ничем не отличается от российского диван халат эмилия готовит пишу пишу роман аврору не курю но австрию которая за десять вчера испил столичную графья весьма милы кирилла разумовский был гетьман позже сын его андрей уехал в австрию и там построил мост посередине вены здесь россия хотя течёт дунай нева москва течёт нью-йорк придётся туда ехать поскольку здесь не кормят только мышь поэты не нужны ни в австрии ни в вене на лене не нужны солёный огурец столичная никита на колени смирновская абсент хемингуэй мадам тиссо склоняется над тиссой не вырос тисс я тискаю жену роман не издан но уже написан я вглядываюсь тупо в глубину жены за неимением наталии которой муж теперь универсам я сам с усам сусанин мял сусанну о если б он поэмы не писал элита экстерьер спермопродукты охалкина сношался ширали в трамвае венском водится кондуктор и “муди мои вошью цацвели” здесь нет борделей тихий синевлядик цветок россия здесь он не растёт япония тургеневым балдеет юго писал за ним писал ростан обоих издают но в континенте володя марамзин меня там нет он член ревизионной комиссии как я тоскую по российскому минету здесь его не умеют это не модно это не секс секс дают по телевидению для детей старших классов способности в основном один во всех кинофильмах поза сверху сзади не дают в россия разнообразней россия страна почвенная поэтому рожь не растёт покупают в канаде продают газ тоннами мегатоннами так и живём вы нам газ мы вам глаз одноглазый запад тупо тарашится ничего не видно китайская стена на сенатской площади юлия вознесенская родила у памятника петра радовалась милиция венская полиция глеб струве и никита оболенский в передаче по свободному телевидению свободная россия радиостан-

ция свободная европа в париж не пускают нет документа советская виза розовая австрийский паспорт коричневый французский паспорт синий разницы никакой никуда не пускают так и сию и буду сидеть никуда не ехать ехать некуда в америке язык английский в австрии немецкий в швейцарии два языка многонациональная европа у всех свои заботы никому не нужен ширали кузьминский тоже не нужен так и живём то на западе то на востоке земля круглая где что непонятно границы нет между севером и югом безграничное пространство поэзия но её не продают не покупают ждут пока пастернак ахматову ещё лет через 50 ширали изучать не будут нет ширали не будет ширали ширали ширали ширали ширали один я знаю никому не нужно разумовским не нужно оболенским не нужно шаховским и шихматовым струве иваскам филипповым елисеевым булочникам гастрономам полковникам ничего не нужно колокольный звон протестантская церковь поэзия протеста головная боль ничего не нужно никому не нужно а ты пиши пиши напечатать издадут денюжку получишь молодая гвардия имкапресс платят в долларах рублях и рупиях в новой гвинее своя валюта миклухи-маклаки на западе не котируется на доллары не меняют лиры пенго и форинты леи стотинки гроши это всё не валюта ракушки деньги из перьев мельничные жернова медные китайские чохи иены из вены дукаты золотые и пиастры чего нет того нет новогвинейские миклухи тасманийские кенгуру так и платят двести семьдесят пять кенгуру и тридцать утконосов в месяц вшиллингами и клопами за радиопередачи на верхненемецком хойдойче сарском диалекте так и пишешь на чём попало всё одно не печатают проблема акклиматизации ассимиляции пришельцев и аборигенов украинской колонии в конго манго и авокадо киви кокосы всё это на австрийском рынке а рыбы нет ем зайца у графини разумовской утку и тетерева австрийцы же едят кур и несут яйца это очень популярно цесарок нет дупелей и перепелов тоже вальдшнепов бекасов и дятлов не дают не водятся седло козули с диким чесноком тирольские шляпы шорты до колен юбки гораздо ниже у секты божьих детей есть мать мария полночь в которую я влюблён больше не в кого обезбавило в зоопарке дают бабуина разврат бабушки и дедушки в шортах и шуршунчиках поголовный онанизм сплошная сублимация фрейд и розанов свобода мнений больше ничего ничего ничего стотинки так вот и живём

2. Петру Чейгину

Пётр, камень ты мой, но церкви на тебе не построишь, разве так, часовенку — Часова для... Всё больше люблю тебя. Пришло твоё “Полнолуние” (первый вариант), читаю, сладко на душе. Надо уже думать о прошлом, о пройденном — здесь ли, или где. Мало ценил я тебя. Ты — больше, а за что? Мало ругал, бить нужно было. Здесь вот — желею. Читаю тебя — до чего хорошо! Что там Есенин — ты ведь в жизни есениным только, а так ведь — живи, не бойсь. Вот и я не боюсь за тебя, за поэта. Эллы Липпы и ихние липкие жоппы — поставь ей фонарь! Только вены не режь, потерпи, подожди. Ждать здесь подолгу приходится. Тихо дыши листом смородино-вым, “черёмухой алжирского вина”, пойми, жизнь не в жизнь, но останутся

строчки. Мне ли это тебе говорить! А подборку я сделал плохую. Ты бы сам лучше смог... Тихо, ласково мне.

В этой взрезанной Вене, где дунайская тухлая кровь и крутые турецкие ядра — рядом ты со смородой, с черёмухой — это не то, ностальгия не больше, чем блеф, абы фабула, фистула горького горла, но не нем — не споёшь.

Я люблю тебя, Пётр. Кремень, камушек, искры сечёшь — и серчаю, горжусь, жуть берёт — только камни, круги...

Друг для друга — цветущая липа, в лапу — рубль, где-то дальше — Рамбов, тихий рубленый дом, птицы в Сойкино шиплют цветы, кабаном, кабаном по базару без каторжных ядер, задремать на одре, где-то брошенный одер течёт

граница над вислой повисла

повисит повисит свистнет отетень — потьма таймыр тут таймень мырнул
глубина глубоко и поёт голубок не поет не накормлен в клетке квохчет ку-
дахчет и яйца несёт

гордо австриец в тирольских трусах

яйца несёт

несессер педикю

педиатр еб*т педераста

па-де-катр танцуют вдвоём

в пойме /пой мне!/ олень

линь линяет и видит луну

лань и лунь

декабристом спешить на мороз

поспешить насмешить пересемешник парижский кукуй

Петя мальчик куркуль куль твоих огорчений еленой грачёвой грачит

прилетели торчат

иван-чай завари помяни

горькой веткой сирени яичко сырое испей

там париж нувориш рикша ришту тягает взасос

алексеев рисует свой нос

там шемякин тоска в монжероне жируют глисты

глейзер унд глейзерица на каждом четыре яйца

нет лица

марамзин там поёт как синица

тщится море поджечь

но заморской свободой горя

жить нам до ноября

где и птица мишель не гнездится

спой мне песню петух

пробуди от запойного сна

в этих соснах весна

не ночует калмык не кочует

но почует поэт как штанина европа тесна

и свобода

попрежнему пахнет печалью

3. Виктору Кривулину

Пью вино афоризмов. “Фортуна — женщина” (Маккиавели). А здесь их нет, плюгавые австрийки, профессорши и профферши, ма’ам Поплюйко-Натов — на том стоим, на этих не **стоит**. Витюша, как же быть? Вино пью архаизмов, архаика, тоска, тоскливый архалук, не вышел арнаут, архаравьют арканом, аражна нить прядёт длиной в один арпан

Перепутались архаики, вохры и аххры, авангард ракообразных — куда идёшь? В “Русской мысли” — опечатка (на “Пять поэтов”): Александр... Пушнер, что же дальше, куда же ещё? Мало тебе Ширали говорил? Про “прокатный скелет акмеизма”? Ух, как душит он тут, с задержанием **мочи** и **мочи** — на сто с лишним лет! Бабы, бабы, бутоны, бобы — “Я — бобовый король”, а корове неужто бобо, когда бык — рогом прыг (Дима Пригоф и Мариенгоф).

Витя, не могу — обклали акмеисты, который футурист — один Галецкий сплошь: музей, “XX век”, а там — Эрлюша, а полуПригоф — ша! Кузьминский не **стоит**.

Плохо пишу, ненужно пишу, неумно пишу, но пойми: то же самое, тот же настрой — на струне, стручок, а из онаго — боб Где же истина, если не здесь? Коммунисты левеют, франкисты танцуют фанданго, танго с лысой фалангой — архаисты привычно вино архаизмов жуют

Жизнь коровья и вымя коровье

и сосут и сосут

не сосуды — а **сутры** с **утра**

невозможно жить невозможно думать: иваск филиппов глеб струве струя сутральяна ах ахматова, цвет мой — цветаева, цур!

игорь шур под шурдинку закусит сардинку (он лакомка, интеллигент, бля, недотыкомка, урков недолюбливает, бля, с кем ещё говорить?)

некому не с кем — пусти постояльца — весь угол загадит

а, витя, люблю

обвиняют меня в русской мысли за отсутствие знаков а сами со чем их ядят? сколько штук на страницу?

Но нам Голофастан завещал

сумбурно — тамбуром в шлямбур, тамбурмажором в жидовский Тамбов — кто там был кто в Воронеже жоржиком пел? мандельштам, не обманешь он рюрика с иваском в рот футу — в фут глубиной, на два фунта солёных дают. рыжик? жоржик? гузном на рожон — восемь жён, макс волошин есть кекс (а орешком волошским — фундук?) заседает ДУРАК в академии платят с души Есть душа? нет души? Гоголь дюжинку нам опиши

Отпишет, отпишет, Гюго, душка твой, тёзка твой — вой и весь сединою — Седых. Дух тут дох, но Бердяев упорно пердит, импредикт, предикат кат и катышек — Кушкин, ку-ку!

сумбурно пишу, невнятно, непонятно — что и зачем поминать? мать и Горького мать мать навыворот — бл*дь или тать На Таити — тю-тю — то ли курят канаки тютюн то ли бетель жуют мыла для и верёвок кокосовых для (петель? петел?) пропел

вспоминаю тебя питер катер невы парапет зрею корнфельдом рисовым полем (поллюция? сублимация? машка-мордашка? людви́г ашкенази зрит борзая и зрею прыщом. в неимании баб (утекла ведь Полина в Нью-Йорк! Бедный Йорик, твой череп смердит, как хорёк (как хорей, коим чукчей оленей гонять — но пришёл ледакол, и каяку — каюк: в магазине дают дырокол...

витя, витя, ты прости меня, это бред или брод, я куда-то /наверно/ берды /сэр Алим Кербабаяев не платит байрам в буерак — раком Байроны ползают, рядом — есть биир и Бейрут/ Корни /руты/ пускают побегии в слова. Слева — лев, в нём растёт голова.

Ангел мой! Оттакрингер унд Швехатер биир — сколь обширян и радостен мир. На миру смерть красна, для кого-то сосна, а осина — Сусанин ведёт.

Меня — уже! — светик мой, обвиняют, что я “вторю моде пятидесятилетней давности”, и “пишу стихи без единого знака препинания” /сколько их там положено на страницу, ты, корректор?/, а “иногда повторяю зады модернизма десятих годов”, слава Богу, хоть “талант поэта пробивается”... Витенька! Чии азы ты повторяешь? Боратынского? Тютчева? Или? А то и пораньше? Чьи азы, ёб твою мать, повторяют акмеисты? Мои, что ли? Кручёныха, коего ни одна сволочь не читала? Жизни нет. Протухшие графья диктуют моду. И по сю футуризм здесь “бьяка”, согласно мнению свежепокройного Терапиано /ещё смердит, и всё во “Русской мысли”/.

“Новый” год. Лежу, голый, в ногах — борзая /русская, чистокровная псовая, окраска — муруго-пегая/. Пришла графиня Р. /милейшее создание/, подарки в клюве принесла, иду встречать который к фрау Вольф /издательства уж нет, но есть библиотека/. Меня здесь ценят. В Париже ихних нет. И в “Русской мысли”.

“В бытность мою в Вене я был влюблён сразу в двух графинь Р***.” Так начинается глава романа /и соответствует действительности/. Познакомил Машеньку Р. с живым монархистом /натурально, из Москвы/. Очень смеялась. Лежу и принимаю подарки: то от Корделии, то от антропософов, к католическому Рождеству, к Новому году, а впереди ещё старый, православное Рождество, еврейская Пасха...

Жить здесь можно, Витя, но — одиноко. Пишу роман. Который не спасает. Поскольку есть промежности и нет промежутков /наоборот/. Ах, Венский лес! Шварвальд и дамская капелла! То Скорцени хоронят, то Крайского избирают — крайности промежности. Живём, но тужим. Ты сюда не едь. Живи пока /?/ в России.

Люблю тебя. Поэтому пишу. Что было — того нет. А помнишь, Витя?... Резвую. Всегда резвун. Сейчас жаловался графине Р. что девушка Полина К. меня не любит. А я ей, бляди, сто страничек написал /романа, разумею/. Лежу, диван, халат, не ходят бабы. Но бабы ходят /под/ себя. Лев Квачевский /жена поехала переезжать и помогать/, Наталья ГробоНевская /ещё не видел, не дают/, вокруг одни евреи. Ассимилируются со скоростью пука. Приехал — и уже сионист. Штерны и прочие штервы. А вот Стерна — нема.

Не моя здесь струя, потому и пою, потону в Потомаке, мабудь. Игорь Шур есть шуршунчик, люблю его, он меня — нет /ибо он не поэт/, я же — ближе /телесно/ к тебе. Было тесно втроём, а теперь мы поём, только каждый на своём — языке.

Везут меня в Америку /этап, не уйдёшь!/, в Европе здесь живёшь без паспортов: австрийцы не дают, французы не дают, швейцарцы — Боже! на немцев тоже не скажи — еврей. Закрытых дверь, Ефим Григорьич Эткинд — меня на своей лекции призрел. Прозрел ли он? В Лион, в Гренобль, в Тулузу — повсюду ждут, но визы не дают.

на новый континент! в котором не ни мини ни макси ни марам ни даниэль-синявских. Шемякин не спешит. Я тоже не спешу. Куда же нам спешить? на площадь не ходи. ещё не время. поистине молчат все голоса. которые здесь лавры жнут — назавтрева увянут: на плечи не цветёт Господняя роса

кошмар. молчание. глухая провинция. но кормят — на убой /пока не убиёшься/. в нью-йорке — джунгли, стонет бахчанян: на нём, на ровнере растут лимоны. жив волохонский. с ним хамелеон. жена его, скоринкина, пропала. здесь пропадают все. не езди ты сюда. и людям не веди: а то поедут!

лежу, жена опять бежит за пивом: его здесь пьют, я не из их числа. пиши, Витюша, дай Господь тебе крепленья! Люблю тебя /хотя и чужд ты мне/. тем крепче я люблю. Целую. Надо.

4. Олегу Охапкину

Ну, что ж, князь Трубецкой? На площади прохладно? А здесь чека дают за площадь /за поляны — нет/. Наташу Горбаневскую встречали — фанфарами, подъятыми херами, возрос "Посев", заговорили "Грани", мычала "Мысль" — молчал один лишь я. Политика, тоска, поллитра — лучше. Особенно, когда его дают. Здесь всё дают. Здесь всем дают — задаром. Затарились поэтами, молчат. Мычат Терапианы — терапия, молчит Иосиф, осю потеряв. Вращается на собственном /опустим/, поелику опущен оный есть. Молчит Коржавин, ржавчиной подёрнут, Максимов максимум стреляет дичь, а Марамзин с российского мороза желает Проффера в опричники запрячь. Некрасов — некрасив, Синявский — голубков пускает, Олег, едят они единый "Континент", в которого /формально/ не пушают щенят /борзых/ и прочий контингент. Шемякин начал чьё-то "Возрождение", но Оболенский возразил ему. в ответ чему назрело возражение, которое ни сердцу, ни уму. "Умучен бывши страстию презлею", и "ввергнут будучи" в какую-то напасть, раскрыл я пасть — но зев передо мною, в котором неминуемо пропасть. Здесь пропасть. Я её не понимаю. Метафизическая Оси пустота. Простата Дара. Оный поднимаю, но где-то — в направлении хвоста. Олег, прости! Пишу не Трубецкому, но где-то я трублю в протухший рог. Есть Бог. И я, со всюю требухю — ищу тебя /промежду твоих ног/. Су-

санну в лес увёл Иван Сусанин /что сделал он — писать не оберусь/. На обе руки — Русь, но сом с усами — я оборотнем лучше обернусь. Чтоб в зад глядеть /а что ещё осталось? усталость если? было и её/. Какая-то поганая усатость твоё-моё сокрыла бытиё. Теперь я понимаю: М.Шемкин /читай "Ивана III" — уволь!/ какую-то поганую шумиху — от глейзера услышавши, увял. Теперь я понимаю: эмигранты /нужны гаранты, у меня их нет/, на россиянах ценятся караты, профессорши нам делают минет /спроси у Белкина, у Палкина, у эго/ — его здесь нет /австрийки не умеют/ — имеют в зад и в рот /наоборот/ — от этого здесь женщины немеют, и протестантством запрещён аборт. Меня волнуют (г)разные проблемы: гризетки дороги, дороги хороши, меня волгуют разные пробелы — прости, мой князь, пишу не от души. Прости, мой князь, пишу не Трубецкому: на коновязь холопа привяжи — зачем поёт, в России трепыхаясь? Над оным вырастают этажи. Прости, Олег, я лягу — ты растаешь, ристаешь ты — я рыцарем ищу. Покуда в Диме кости сосчитаешь — тебя я за собою не тащу. Не тешу плешь — тебя перед собою поставлю я — но ужли устоишь? Махнёмся, друг мой, девушка, судьбою: я — в Петербург, ты на аборт в Париж /в Париже его делают бесплатно, поскольку дамы там перевелись/. Олег, пойми, я за тебя — расплата, а ты, борец, по-прежнему борись. Ты не боись, Кастор, Поллукс, полушка — подушка сохнет, сосны расцветут, я — там, ты — тут, в кострах горит полешко, усы же у кастратов не растут. Пой, пой, мой те-нором /хотя и басом/ — я кенарем желаю жизнь пропеть! Перди, мой друг, струною, контрабасом — во мне звучит немолкнущая медь.

Прости, Олег! Я лягу — ты не встанешь, не выстоишь, не выступишь — ступи! Я в ступе пест, я вас толку перстами — мой мак, мой друг — по-прежнему терпи.

Люблю тебя, мой друг, гормональный гений, я все гормоны на тебя извёл. Мы сведены судьбою поколений. Теперь ты бык. Прости меня, я — вол.

5. Сергею Стратановскому

Тихий, тихий Стратон — стратегичность твоя, страхотища — рыщут хищные волки и мальчика скушать хотят. Волчец возрос, над ним взросло молчанье, мычание под ним, тернии, шипы, иглы белой акации — кроткий цвет эмиграции, грани груни грудистой — подумай, задавят зады. Робко: Родина, родинка тонкого тела — на груди, на боку — переполнен быками Париж. Съест телёночка чиж, рыжик в миске солёной, груздок, за грудок, за пупок, грыжу /крыж осьмигранный/ — а в гранях — тоска и стакан.

За ставнями зареченской заставы, там, за рекой, в тени деревьев, тут, набрали гранки грязными перстами, из коих колокольчики растут. А как же мальчик, тихий колокольчик, укольчатый пятиугольный кайф: берёт пинцет военврача за кончик — занозу вынуть, обеспечить лайф. В Вене — вены, ты на Лене, я на Оле — о-ла-ла! Плыл на ладожском тюлене без ветрил и без руля. Тихий мальчик колокольчик, затонувший хер меж шхер, в сферах светлых и спокойных — Бог стоит — милиционер. Число есть Апокалипсиса — кися, пушистый звер, в ночи который сер. Мадам, амназин сначала кислый, потом от онаго не встанет хер. Очнись, мыслитель, учись,

мыслитель: внизу числитель, в носу чесатель — читай, читатель, копти, чадитель: на знаменатель кладь числитель — тремя перстами /ах, Никон, Никон!/ сжимай простату герой Аника а грех Онанов простится веку понеже надо се человеку. Гранёный, в гранях, в прыщах и язвах, цветёт геранью, дубом и вязом, могучим клёном над тихой рощей головку клонит и что-то ропщет. Стоит вопросом у Геродота, им затыкает Матросов доты, в матрас полплавав, на член — ипритом: идёт прополка иных и прочих. В анкете — прочерк, что в лоб, что по лбу: берут на пробу мочу и почерк. Черкани мне пару строчек, мой друг, — черемис, кинжал наточит черкес; тьма как в Потье, и полярный тут круг, но надбавки — обойдётся и без без. Не надбавит на двоих прокурор /прокуратор Иудеи, ты тут?/ — и затыжка на троих — перекур, нынче больше пятака не дают. Не поют в твоих лесах соловьи, я верёвочку совью /для себя/ — много в гнёздышке полярной совы голошеих босоногих ребят. Но берёт меня одышка — и ша! Я не пёрышком тебе напишу: в заполярья обитает душа я которую по свету ищу. Встану до свету, мой светик, мой сын, по иголкам, по снежку, до седин — добреду я до высокой сосны, где наколотый Никола сидит. Топором не руби — не баран, погадаю я тебе по руке: нынче бардов загоняют в барак, лучше в Вене посидеть в бардаке, лучше вены полоснуть в Новый год, — там тюрьма и тут, товарищ, тюрьма, а в Париже издаёт тебя, гад, — на готовые приходит корма. За кормою — пузыри, пузыри, впереди пять рокочет прибор, если нужно — ты меня позови, потому что я остался с тобой. А в Париже — всё чижи, да чижи, всё чирикают, да с веточки срут, — если б знал ты, сколько в мире чужих, то, наверное, остался бы тут. Я пишу тебе: ты слышишь меня, если дышишь — отзовись, отзовись! Не для нас в Нью-Йорке светит маяк, от свободы ты меня отзови! Запоют в твоих садах соловьи /или совы — на один голосок/, а в Париже говорят: — се ля ви, разделяет нас один волосок. Не отымет вертухай поясок, можно ложкой по руке полоснуть, можно пулю заработать в висок, и на Родине спокойно заснуть.

/ Закончено вчерне и полностью в Вене, зима 1975–76 /

Илана РОМАНОВСКАЯ

/ Иерусалим /



ПРЫЖОК В НЕИЗВЕСТНОСТЬ

«Лечение будет нелёгким, но достаточно эффективным, и обеспечит вам несколько лет почти полноценной жизни. — А что будет потом, когда эти несколько лет пройдут? — Потом... Медицина не стоит на месте, и сегодня ко мне приходят пациенты, о которых пятнадцать лет назад я думал, что мои встречи с ними больше семи лет не продлятся. Сейчас вам надо отдохнуть перед началом лечения, съездить в отпуск, набраться сил и не думать о том, что будет потом».

Конечно, правды он не скажет, но Мейла и так знала — кончится всё, как у папы, на отделении поддерживающей терапии (это чтобы не пугать людей страшным словом «хоспис») в иерусалимской больнице «Хадасса» на горе Скопус. Лежать, ждать, когда придут медсестра с санитаркой, дадут обезболивающее, поменяют памперс и повернут на другой бок. Этого Мейла хотела избежать любой ценой. Она уже почти поверила, что эта длительная ремиссия означает выздоровление, и вот опять, как в тот день, когда ей сообщили этот страшный диагноз, полезли вопросы: за что, почему я, что я такого сделала? Не пила, не курила, людям вроде гадостей не делала, вела здоровый образ жизни, что ни выходной — то в горы, и вот такое... Нет, не согласна она на такую смерть, разве нет у неё права выбора? Люди гибнут в авариях, падают с гор, не успев почувствовать, что с ними случилось, ведь это лучше, чем мучиться в больнице. Да, поехать в отпуск — в Исландию, взять билет в один конец, на это у неё хватит денег. Там лёд, нет жизни, вечный холод и нет соблазна пожить ещё чуть-чуть. Это даже хорошо, что они с Эраном расстались, не успев завести детей — она одна, ни за кого не отвечает. Сестра всё поймёт, брат далеко, а мама... это для неё лучше, чем сидеть у постели больной дочери, она и так на таблетках после папиной смерти.

Только хватит ли у неё решимости на это? Ведь это прыжок в неизвестность не только потому, что оттуда ещё никто не возвращался, тут есть ещё одно — а вдруг не сразу смерть? Травма головы, перелом позвоночника, паралич, потеря разума? Тогда всё будет, как у папы, только ещё хуже.

Хотя долгие часы, проведённые в больнице, снова сблизили её с отцом, Мейла не любила вспоминать о них — ей хотелось помнить папу таким, каким он был до болезни. У Хези Матара был поражён мозг, и не всегда он вёл себя адекватно. Иногда вроде разговаривал разумно и всё помнил, а иногда вдруг впадал в нехарактерную для него сентиментальность, кричал: «Мейла, девочка моя! Я тебя люблю!» В такие моменты Мейла не могла сдерживать слёз и думала: «Ах, папа, папа! Почему только сейчас ты мне это говоришь, когда нам осталось так мало времени быть вместе! Я ведь всё время переживала, что не оправдала твоих ожиданий — в тридцать лет ещё не сделала академической карьеры, не создала семьи — и ты разлюбил меня. Почему ты мне не говорил этого раньше, нам было бы так хорошо вместе!»

Иногда лицо Хези менялось, он смотрел на Мейлу невидящими глазами и старался оцарапать или укусить. Мейла не говорила об этом ни с мамой, ни с братом и сестрой — каждый из них хранил всё внутри себя, но однажды мама увидела царапину у неё на руке, спросила: «Папа?» Мейла кивнула. «А ты в такие моменты держись от него подальше и не подставляй ему руки. В эти минуты он не видит тебя и думает, что сражается со своей болезнью, ведь папа у нас боец. Но ты всё же старайся возвращать его к реальности».

Иногда Мейла вытаскивала отца в садик — подышать свежим воздухом, отвлечься. Однажды во время такой «прогулки» Хези вдруг спросил: «Вот эти красивые деревья — как ты думаешь, как они к тебе относятся?» Мейла вздрогнула — что с ним? Помня, что отца надо возвращать к реальности, сказала: «Я думаю, папа, что природа к нам равнодушна». — «А ты — ты можешь достучаться до своей природы?» Что это было — бред больного мозга или мудрость умирающего, которому открыто что-то, что скрыто от других? Этого Мейла понять не могла.

«Будешь ты деревом, папа, когда умрёшь», — думала Мейла. Я это дерево посажу. Только где и какое?

Посадила она в конце концов благородный лавр в садике у Лиды, их с Тилли общей подруги. Лида довольна — срывает с дерева листочки и кладёт в свои знаменитые кушанья из русской кухни. Недоволен только Ури, маленький сын Тилли: «Ведь в этом дереве теперь дедушкина душа, как же её можно в суп класть!» — «А готовить всегда нужно с душой!», — весело ответила Лида, и Ури замолчал, поражённый этой мыслью.

Хези Матар был биологом, и деревья были его особой страстью. По его плану, у них с Мартой должно было быть четверо детей, и они должны были носить имена самых красивых деревьев в стране: Клиль а-Хореш — багряник, или Иудино дерево, Цэелон Наэ — королевский делоникс, Баухиния — орхидейное дерево и Робиния — белая акация, но более рассудительная Марта уговорила его, что деревья могут быть и поскромнее, зато имена у детей должны быть похожи на человеческие. Так появились на свет Тилия — липа, Эдер — клён и Мейла — ясень. Марта называла Мейлу Майле — по-литовски это значит «любовь». Друзья смеялись — это хорошо, что папа у вас не микробиолог, а то быть бы вам Клебсиеллой, Шигеллой и Псевдомонусом.

Стать бы ясенем прямо сейчас, не испытав мук беспомощности и зависимости от других. Ни с кем ведь о таком и не посоветуешься. Есть ещё где-то в других странах эвтаназия, но не на такой стадии болезни, хотя и это надо обдумать.

Посоветовавшись сама с собой, Мейла приняла промежуточное решение — ехать в Норвегию, взять билет в оба конца. Там тоже есть ледники, и может быть, решение придёт к ней само собой.

Норвегия была хороша, но Мейлу не оставляла грусть. Со всем, что она видела, она мысленно прощалась: прощай, чудный фьорд, я тебя больше никогда не увижу. Прощай, водопад с вечной радугой, мы больше не встретимся никогда.

На ледник надо было подниматься в группе с инструктором, и Мейла записалась на самый длинный маршрут. Пошла последней, считая, что так у неё больше шансов незаметно отделиться от группы. Если она на это решится.

Голубой лёд поразил её, таких красок она не ожидала увидеть. Но вот они поднялись ещё выше, не стало видно ни деревьев, ни фьорда внизу — ничего, что связывает человека с жизнью. Мейла знала, что лёд всё время подтаивает и питает водой и деревья, и фьорд, но тут видна была только вечная мерзлота и отсутствие жизни. Смерть.

Инструктор, похоже, направлял группу вправо, к спуску. Сейчас или никогда. В голове стучало. Дрожжаниями пальцами Мейла отстегнула карабин, который связывал её с остальными членами группы, и пошла наверх и влево, где ледяная глыба нависала над пропастью. — «Back! I told you not to untie the rope! We are going down!»¹ — В три прыжка инструктор был уже около неё, карабин был заново пристёгнут. Порыв прошёл, оставив после себя гнетущую пустоту. Мейла робко извинилась под гневным взглядом инструктора и послушно пошла вниз, не видя ничего, кроме спины идущего впереди. Внизу сдала снаряжение, как-то вернулась в деревню, где снимала комнату у старушки, залезла под одеяло и до утра из-под него не вылезала.

Утром на полянку перед старушкиным домом пришёл заяц, и Мейла смогла отодвинуть происшествие на леднике куда-то на задний план. Такого зайца она не видела со времён детских книжек с картинками и походов в зоопарк с семейством.

В следующей деревне обещали какой-то обалденный вид на фьорд со смотровой площадки на горе. Подъём был нелёгким, но физическое усилие как-то взбудило Мейлу, она почувствовала себя в своей стихии и быстро обогнала немолодую пару, которую встретила по дороге.

Вид с горы был действительно изумительным. Первозданные краски — зелёный лес, синяя вода. Воды фьорда были спокойны и невозмутимы, как жители этих мест, и отражение горы и леса ничем не отличалось от их оригинала, только вверх ногами. Снизу доносились щебетание птиц и запах разогретой редким северным солнцем хвои. Щёки радовались прикосновениям ветерка. Все чувства как-то разом обострились с неиспытанной ранее силой, словно кто-то нажал на невидимую кнопку усиления. Где-

¹ Назад! Я же говорил вам не отвязывать веревку! Мы спускаемся! (англ.)

то внутри вдруг быстро-быстро заработала суперточная машинка, которая стала копировать этот вид, вместе со звуками и запахами. Потом в её голове открылся какой-то ящичек, вроде шкатулки с драгоценностями, и трёхмерная картинка, уменьшившись до нужных размеров, юркнула туда, и крышка захлопнулась.

У Мейлы были сложные отношения с Богом, но тут она мысленно воздала хвалу Создателю за столь дивное творенье. Она сидела на камне зачарованная. «Вот, папа, достучалась я до своей природы, и не готова я сейчас к прыжку в неизвестность. Да, природа равнодушна к нам, но человек может восторгаться ею и черпать силы из неё. И может быть, где-то бродят родственные души, с которыми можно эту радость разделить».

А вот для них-то надо это чудо сфотографировать — ведь ключик от той шкатулки с драгоценностями есть только у неё.

Фьорд не влезал в кадр, и Мейла отступила на шаг назад. Смотровая площадка была огорожена перилами, но как раз позади неё в перилах был пролом. Щёлк! Отличный кадр, теперь ещё один, ещё шаг назад и...

Сердце у Мейлы было крепкое, но этого полёта в неизвестность оно не выдержало, и Мейла не успела почувствовать боль от переломов. А вот фотоаппарат оказался крепче хозяйки, и на последнем кадре навсегда запечатлелся тот самый фьорд.

ЧЕТЫРЕСТА ПЯТЬДЕСЯТ ШАГОВ

От дома до чудесного садика с качелями было четыреста пятьдесят шагов — иногда чуть больше или меньше, смотря как пойдёшь, но всё было точно промерено множество раз. От дома до первого пешеходного перехода — девяносто, там перед переходом есть скамейка, но на неё садиться нужно только на обратном пути, когда больше устанешь, тем более что путь обратно идёт вверх, а пока что это спуск. Потом сто десять шагов до автобусной остановки, там тоже есть скамейка, и на ней обязательно надо посидеть перед самым длинным участком похода — между автобусной остановкой и следующим пешеходным переходом, до которого двести шагов. Скамейки там нет, но можно присесть на каменную кладку, отделяющую тротуар от жилого массива, она в этом месте низенькая. А там уже всего пятьдесят шагов остаётся до садика, где и скамейки есть, и деревья, и навесы над качелями.

От этих прогулок Бриджит отказывалась только в дождь или хамсин — они связывали её с жизнью не меньше, чем редкие визиты внуков и правнуков, и уж безусловно больше, чем программы новостей по телевизору. Там, в телевизоре, показывают всякие страшные вещи, от которых хочется закрыть глаза и спрятать голову под одеяло: то землетрясение, то захват заложников. А тут, на окраине города, всё куда понятней, ближе, более устойчиво и предсказуемо: беременные женщины в свой срок появляются с колясками, а тётки постарше начинают хвастаться внуками у входа в магазин, ломаные зонтики, как грибы, появляются после дождя, запах влажной земли сменяет запах цветов акации, потом жимолости, потом сухой травы, всему своё время.

Вот и теперь из мокрой земли вылезла тысяченожка, ползёт куда-то. Рядом на кусте какое-то чёрное чудище машет лапами, качает головой. Ящерица? Как-то не похоже...

Через пару шагов чудище оказалось рваным куском чёрного пластика, и увидев у следующего куста чёрный силуэт кошки, Бриджит решила не поддаваться этому обману зрения — опять пластик. Но тут «пластик» поднял хвост, выгнул спину и помчался куда-то вниз, на встречу с приятелями.

Что-то глаза барахлят, видят то, чего нет. Или это мозг барахлит, неправильно расшифровывает сигналы?

Девяносто плюс сто десять. Можно сесть на скамейку. Ноги устали, особенно правая. Мухи сразу почуяли незаживающую рану на большом пальце правой ноги, собрались на носке туфли. Куда торопитесь, нахалки, скоро всё это будет вашим! Пожиратели плоти. Саркофаги. Да, пришла пора расставаться с этим телом — никуда оно не годится, что глаза, что ноги. Только сердце у неё в порядке, оно на батарейках — то есть это «пейсмейкер», водитель ритма, на батарейках, поэтому сердце всегда бьётся с постоянной частотой — семьдесят ударов в минуту. А то ещё можно было бы поменяться с кем-нибудь телами. Да только кто захочет меняться с такой ветхой древностью, разве что какая-нибудь драная кошка, которая шастает по помойкам и думает: хорошо этой старушке, ей небось еду дети из магазина на машине привозят. А было бы неплохо вот так, одним лёгким движением, вскочить на помойку и с гордостью посмотреть на старушек на лавочках, которым такое и во сне не сделать.

Но пока что надо согнать мух с ноги — не вставать же из-за них раньше времени, ей же потом двести шагов идти, не присаживаясь. Она помахала палкой, и мухи улетели. А вот давно надо было бы такой вид мух вывести, чтобы они эти раны лечили, выпускали бы на них какой-нибудь целебный клей. Куда только генная инженерия смотрит, непонятно. Ладно, Бриджит, не твоё это дело — учёных критиковать, сейчас твоё дело — дойти до садика с качелями, а иначе грош тебе цена, спета твоя песенка.

Встала, пошла. Смотреть по сторонам на ходу было опасно, поэтому она прислушивалась к звукам. Вот в вади¹ какая-то птица кричит, крыльями машет, вокруг дерева вьётся. Ага, у неё на этом дереве гнездо, а к дереву лисица крадёт. Что кричишь, глупая птица — не залезет лисица на дерево, в безопасности твоё гнездо, не паникуй. Сама ты, Бриджит, глупая — ведь отсюда не видно, что в вади делается, ни птицы, ни гнезда, ни лисицы не видно, и откуда ты всё это взяла?

Но птичий крик и хлопанье крыльев точно были слышны и даже усиливались. Стая летит! Бриджит остановилась, крепко опёрлась на палку и посмотрела вверх. Никакой стаи не было видно, а шум крыльев и какое-то пение, вроде бы птичье, а может, и ангельское, не смолкали.

Так, кто-то из вас врёт — либо глаза, либо уши. Это же не гром и молния, и если стая слышна, то должна быть и видна.

¹ Вади — сухие долины рек, которые заполняются водой только в период сильных ливней.

Но всерьёз размышлять о соотношении скорости звука и скорости полёта стаи Бриджит не стала, потому что отрезок в двести шагов закончился на удивление быстро, и была возможность сесть на каменную кладку и передохнуть перед последним участком пути. Теперь можно было без опасений потерять равновесие разглядеть молодую женщину с большим животом, которая приближалась к ней с противоположной стороны и, похоже, шла в тот же садик с качелями.

Ребёнок в животе упёрся ногами в то, что, по-видимому, было для него потолком — или полом? — продвинулся ещё немного вперёд, к выходу. Женщина с удивлением посмотрела на свой живот.

Кажется, мальчишка, — с удовлетворением подумала Бриджит и улыбнулась будущей маме, которая как раз повернулась в сторону чудесного садика.

Осталось пятьдесят шагов, пустяки. Беременная уже сидела напротив любимой скамейки Бриджит. Она приготовилась сесть, но тут вдруг ручка палки зловеще ухмыльнулась. Так и есть! Изогнулась змеей, предательница, а ведь притворялась всегда верным другом! Бриджит отбросила палку в сторону и успела сесть на скамейку, не потеряв равновесия. Думать о том, как она будет возвращаться, ей не хотелось — сейчас время отдыха, можно даже закрыть глаза и подремать, подставив лицо ещё не жаркому солнцу.

«Водитель ритма» продолжал подавать свои сигналы с заданной скоростью: семьдесят в минуту, но усталое сердце перестало отвечать на них послушным сокращением. Женщина на скамейке напротив охнула и схватилась руками за живот.

А. НИК

/ 1945–2011 /



НЕСКОЛЬКО СЛОВ О СНОВИДЧЕСКОЙ ПЕНТАЛОГИИ А. НИКА

...Дело ведь не только в мастерстве, с которым ты описываешь неопишуемое, но и в том, как в этой ментальной одиссее, от сна ко сну, вырастает твоё искусство навигатора...

Б. Ванталов. «Письма в никуда»

Читателям «Крещатика» должно быть известно имя автора публикуемых ниже текстов: в журнале были напечатаны «Летний текст» (2003, № 20; подготовка Б. Ванталова), «Пустые предметы» (2011, № 4; подготовка Б. Ванталова и П. Казарновского).

А. Ник (Николай Аксельрод) родился в Ленинграде в 1945 г. и умер в Праге в 2011 г. Принадлежа с начала своего странного творческого пути к «литературе абсурда», входя в странное сообщество поэтов, писателей, художников Малой Садовой улицы в советском Ленинграде, А. Ник обнаруживает в своем творчестве тягу к записыванию снов — другими словами, играет (всерьёз!) стиранием границ между явью и сном или путаницей между ними. Это видно еще в ленинградскую бытность молодого неофициального литератора. С попаданием в Прагу (женившись на чешке, А. Ник в 1973 г. навсегда поселился в тогдашней Чехословакии и лишь несколько раз посетил родной Ленинград) не утрачивая связей с друзьями по Малой Садовой, он пользуется своим даром сновидца и время от времени в снах посещает знакомые места детства и юности. Разумеется, это преподносится как авангардистский (сюрреалистический) эксперимент с так называемой реальностью: последняя то оттеняется, то дискредитируется, обнаруживая в себе пустоту или бессмыслицу, или незаметный бодрствующему смысл («Явь — антисон с зубною болью глаз...» — сказал А. Ник в одном из своих стихотворений). Эпиграф из В. Хлебникова, предпосланный к «Книге номер один», вполне позволяет воспринимать представляемую ипостась дарования А. Ника в определен-

— Он падает! — в ужасе закричал мой спутник.

Вероятно, из-за проехавшего мимо трамвая ноги у осла подкосились, и он медленно оседал на землю. Спутник мой, скульптор, пытался подпереть ноги осла, но тот продолжал оседать.

— Будем ждать, — сказал я, — ничего другого нам не остаётся.

Мы улеглись рядом на тротуаре и ждали. Спутник мой всё сокрушался и ругал жену за неосторожность.

Наконец осёл совсем осел, встав на колени, но чудо! Скульптура приобрела совсем другой вид, более символический и глубокий. Осёл на коленях, а на нём путник в даль устремил взгляд аскета.

— Ведь так гораздо лучше, — восхищался я.

— Да, лучше, — соглашался скульптор.

Мы быстро нарвали травы вокруг роддома и дали её ослу, а потом снова улеглись на тротуар в ожидании прихода жены с обедом.

1974

Сон о королеве

Мы ходим с королевой по городу. Она впереди, я сзади. Мне очень хочется укусить её в шею, и я даже говорю ей об этом:

— Так бы и укусил тебя, плавленный сырок!

Её мамаша потеет где-то поблизости. Но вот, найдя вдоволь, налюбовавшись видами Праги, захотелось королеве в туалет. Заперся с ней и я. Не уйдёшь от меня, плавленный сырок.

— Мамаша! — кричит она из туалета, — этот человек хочет меня опозорить. Меня, королеву и мать троих детей!

Мамаша ползала вокруг туалета, держась головой за живот¹.

— Не знаю, что и сказать тебе, дочка, — стонала она. — Это позор, если ты выйдешь оттуда с мужчиной.

— Я выйду или опозоренная, или замужняя, — заявила королева.

— Он-то кто? — корчилась мамаша. — Какой крови? Откуда взялся?

Я же, прижимая королеву к скользкой кафельной стене и ощупывая её великолепную королевскую шею, смеялся:

— Я король! Настоящий король. Из Белоруссии я, белорусский король, значит². — Эх, куда ни шло. Только выматывайтесь оттуда быстрее, я уже больше не могу, — это мамаша полудохлая соглашается так.

Мы торжественно выходим под ручку. Подождали мамашу и в том же порядке продолжали осматривать Прагу. Королева впереди, я сзади и где-то рядом потная тётка.

28.09.1974

Сон о Полтавской битве

Сон, длившийся не более секунды, в подробностях и со всеми деталями показал мне, как в многосерийном кинофильме, весь ход Полтавской

¹ Так у автора.

² Бабушка А. Ника называла его жену Зденку королевой. Тут же обозначено происхождение А. Ника: по отцовской линии он из Белоруссии (Сурож).

битвы от начала и до конца. Был этот сон цветной, со всеми звуками, не исключая и криков Мазепы, просьбы о пощаде Марии и суровой непреклонности русского человека, царя Петра I.

В перерывах между рядов ходил Меньшиков и торговал пирожками. Все зрители их покупали и с удовольствием поедали.

30.10.1974

Сон о гитаре

Она мне пела под гитару:

Я ненавижу город

С его многоэтажными домами...

Эта песня отзывалась в моём сердце сочувствием к этой гитаристке, и я с заплаканными глазами пытался её изнасиловать. Она сопротивлялась песней, гитарой и умоляющими синими глазами. Но что я мог поделаться, из песни слов не выкинешь.

Порваны струны и узы, испорчен лифт и капает вода из крана. Всё так уныло вдруг стало, обычно, и я сказал:

— Спой мне что-нибудь, просто так.

Сквозь слёзы она мне пела под гитару:

Я ненавижу город

В котором зло живёт

Порвавшее мне струны

И жизни хоровод

Вот такую песенку она мне пела и одевалась. Уже в дверях попросила:

— Дай рубль, на струны.

Я не дал.

2.11.1974

Сон о мужиках из 18-ого века

— Пока не поздно закопайте эти чёрные шарики в землю.

Пришло трое мужиков, по всей видимости, из 18-ого века. Волосы на пробор, длинные белые рубахи и бороды. Поплевали на руки:

— Мы закопаем.

Чёрные асфальтовые шарики с высунутыми чёрненькими язычками крутятся, толкутся, веселятся. Их надо скорее закопать, это пища дьявола. Мужики крестятся и принимают за работу. Им бы помог кто-нибудь, они ведь пришли из 18-ого века, а их в штыки — что да почему. У начальника граната в руке, у остальных дубины.

— Кто вас звал? — гранатодержатель спрашивает.

Они ему отвечают:

— Мы сами пришли, помочь.

Если бы им кто-нибудь помог! Они руют землю, закапывают шарики, а те ещё шуршат недовольно. Закопаем пищу дьявола!

Если конь и собака привязаны, это неестественно, естественно и целесообразно, когда собака и конь не привязанные несутся вольно. В этом и смысл всей жизни.

28.12.1974

Не сон, а мечта

Он мне очень нравится. Я его даже люблю. У него борода. Волосики не колечками, а густые и колкие. Место имеет хорошее, он офицер. Я за него наверное выйду, когда приснится в следующий раз.

1975

Сон о Григории

Григорий уходит ночью и приходит каждое утро к нам, чтобы говорить с нами, петь с нами, смеяться над нами. Так целый день ходит Григорий около нас, а ночью уходит, чтобы снова утром начать шуршать бумагами и кидаться нехорошими словами.

Григорий! Зачем ты это делаешь?

Лиза приехала в село и сразу же бросилась в сад. Бегала между деревьями и безудержно смеялась от наполнившей её радости.

Лизок, Лизок, — думали господа в доме.

Лиза устала и села на лавку.

Светила луна.

Мужчины вышли в сад подышать свежим воздухом перед сном.

Хватились поздно.

Послали за урядником, тот приехал недовольный, собирался уже было спать ложиться.

Ему показали. Урядник почесал в голове и ... спросил ... водки. Выпил, перекрестился, от закуски отказался. «Кто же?» — думал урядник, разогнав свою мысль водкой.

Парк: 10 грушевых деревьев

12 яблонь

14 кустов жасмина

Родственники: Отец, мать, брат (последний в городе)

Гости: помещик (сосед), доктор (сосед), Ермаков (управляющий)

(Если бы она сама встала и сказала, кто бы потом сел?)

Ермаков отпадает. У него уже целую неделю зубы болят.

Отец и мать тоже отпадают.

В усадьбе 10 комнат. В каждой из них фортепьяно.

Кто на нём? — думал урядник.

Лиза лежала лицом вниз. Её унесли в дом. На отца и мать нельзя было посмотреть, не то чтобы...

Приехала и сразу в сад. Пачему??? Любимое дерево? Следы? Все успели затоптать, зевнул урядник.

Кто обладает?
Фельдшер,
но почему?

— Господин Д., — обратился урядник к доктору, — не сыграете мне на фортепьяне

“на заре ты её
не буди!”

— Я, почему я? — удивился доктор. — Я не умею, у меня слуха нет.

Следствие по делу об убийстве Елизаветы Р. было закрыто. Доктора посадили в сумасшедший дом. По рассказам очевидцев, он ходил по коридору и изображал играющего на фортепьяно музыканта.

“На заре ты ее.....
На заре она сладко так...”

Григорий! Зачем ты это делаешь?

1.08.1975

Сон о сестрах-близнецах

Две сестры-близнецы. Только одна блондинка, а другая рыжая.

Однажды одна другой и говорит:

— Я тебя люблю.

Вторая сестра отвечает:

— И я тебя люблю.

— Давай поженимся, — говорит первая.

Они поцеловались и с тех пор жили вместе.

Появляется мужик. Размышляет о том, что Нюра и Настя вчера опять за стеной сопели и что диван скрипел и хлопало что-то, неприятно очень. Походи, войдётся в комнату, думаешь, что там мужик с бабой, а там две бабы лежат на диване, да ещё и в одежде, не понятно. Всё не как у людей, они, походи, только и умеют что есть по-человечески. А всё-таки интересно, надо бы посмотреть.

Приходит в избу, а там старик, местный придурок. На стенах непонятные и огромные плетеные изделия висят. Приходят Нюра и Настя. Мужик их спрашивает:

— Что это у вас там вчера хлопало?

— А для чего тебе это надо знать? — зарделись обе.

— Хочу посмотреть, что это вы там делаете, любопытно.

— Это мы обедаем, — отвечают сестры.

— Тьфу ты! — выругался мужик, но подумал: «Всё равно интересно».

15.05.1975

Сон о Василии Захаровиче

Во сне я увидел книгу, в которой на цветной репродукции был изображён седовласый старец. Книга эта была религиозная, а под репродукцией было написано: «ВАСИЛИЙ ЗАХАРОВИЧ — дьявол».

«Так вот он какой, дьявол, — подумал я. — Василием Захаровичем стареньким прикидывается».

1 апреля 1975

Спи спокойно, дорогой товарищ

Было нас трое друзей, и в плену познакомились. Вот от одного из них и получил я письмо. Предлагал в нём снова встретиться втроём. Фамилия его была Никифоров, второго Черепанов. Я, между прочим, догадывался, что Никифоров хочет убить Черепанова, а быть может, и меня. Когда мы вернулись из плена, то поссорились. Никифоров в красные ушёл, Черепанова к белым потянуло, ну а я куда-то не пошёл, домой поехал. Так они меня за это жёлтым назвали, а Никифоров ещё пообещал убить Черепанова.

И всё-таки пошёл я на встречу в твёрдой уверенности, что найду труп Черепанова и злорадствующего убийцу Никифорова.

Так оно и было. Черепанов лежал на полу с раной в животе. Посмотрел я на него, и такая меня жалость и тоска охватила, я ведь его больше любил, чем того. Оглянулся я. Только одна свеча горела в комнате, а в тёмном углу виднелась чья-то тень. Вот она пошевелинулась и вышла на середину комнаты. Похудел, осунулся Никифоров. Глаза безумно блестя, в руках что-то острое держит.

— Ну что, — говорю к ему, — добился своего?

— Нет, к сожалению, — отвечает он. — Опередил меня кто-то. Не довелось нам больше свидеться. Я-то вот тебя поджидаю. Не его, так тебя порешу и не пожалею.

— Выходит, — говорю я ему, — тебе всё равно кого убивать?

— Всё равно, — соглашается Никифоров.

— В таком случае ты маоист, — я ему заявляю, что мне оставалось?

И тогда, после этих моих слов, схватился он за живот и закричал как раненый зверь. И стал падать на пол, рядом с Черепановым свалился, а между сцепленных пальцев его кровь просочилась. Страшное зрелище, нечего сказать.

Вот оно, как всё получилось. Партийная правда, она ведь острее ножа! Да...

8.XI.1974

Сон о Гале

Они говорят между собой, и это доходит до наших ушей:

— У неё есть любовник, он артист. Приезжает из Москвы на гастроли и к ней сразу. У него есть шуба. Ей нравятся хорошо одетые люди.

Можно предполагать, что они там в Москве говорят о ней между собой:

— У него в Ленинграде есть баба. Когда он ездит туда на гастроли, ему есть, ГДЕ остановиться.

Мы, то есть я и она, познакомились, но о существовании шубы я узнал гораздо позднее. Кому же она достанется? Ей, у него ли останется, или мо-

ей будет? Что же мне оставалось делать: необходимо было достать ключ от её квартиры. Достав его, можно было спокойно выждать да афиши почи- тывать — когда на гастроли театр приедет. Завладей я шубой, так ведь я не только ею завладею, а ещё и душой человеческой, девичьей. Во как! Он с ней расположится, шубу на вешалку. Я прихожу, шубу на себя и был та- ков. Он встаёт, отряхивается, и что же...

Он: Где моя шуба?

Она: Где твоя шуба?

Одним словом, скандал, любви конец, но не мне и шубе. Театр уехал, а я тут как тут. При параде, хорошо пахнувший, и, не снимая шубы (мало ли у кого ещё ключ имеется), на неё, как зверь голодный. Она же в улыбку, лыбится.

И идём мы с ней потом в кино. Уже не помню, что давали. Только при- хожу я к ней домой, а мне говорят:

— Спит она, подождите, — и в комнату дедушки приглашают.

Иду, что же делать? А там пацан смыслённый, показывает, как прово- да электрические к их дому натянута. То да сё, встала она и в крик:

— Почему не разбудили?!

— Уж больно вы сладко спали-с, — ей прачка говорит.

Она снимает с себя брюки и приказывает бабе:

— Немедленно выстирать и высушить!

Губы покрашены, идём в общество. В комнате общества диван. Я за- нял место. Но ко мне человек:

— Занято для Н.

Я ему резко:

— Не будь снобом, погань!

Он отошёл пристыженный и в угол забился эпилепсией.

Ох, и любил же я её на диване этом! — Галю свою.

6.12.1974

Сон о Форде

— Иди же скорей! — говорит жена.

Но я не спешу выходить из комнаты. Но в последний момент всё-таки выбегаю в залу. Она полутёмная, и в ней приятно пахнет. Толпа людей, репортёры. Пожилой министр мне доверительно улыбается, а навстречу с протянутой рукой президент Форд. Он обнимает меня, мы целуемся. Он обни- мает меня ещё крепче и целует ещё горячее. Я в испуге отшатываюсь, а пожилой министр доверительно мне улыбается. Значит, всё в порядке, зна- чит, так и должно быть.

4.12.1974

Сон о спичке с большой буквы

В спичечной коробке родилась Спичка. Сначала появился кончик, а уж потом головка. Спичка росла не по дням, а по часам, и вскоре ей было уже тесно в коробке. Делать нечего, вытащили Спичку на свет. А что дальше? Думали, думали и завернули Спичку в газету. Там ей теплее бу-

дет, сказали, и культурнее. Пусть с детства просвещается. Однако пришли утром с проверкой, как там нашей Спичке живётся, не холодно ли, удобно ли. Спрашивают её: пу, пу, пу? В ответ тихо. Снова спрашивают: тю, тю, тю? И снова тихо. Тогда набросились на газету, развернули её и закричали в неопишущем ужасе. Спичка была холодна как лёд. Посиневшая, она лежала мёртвая. Газета её во сне задушила, задавила.

18.12.1975

Сон о Белинском

Решил я себе завести дамочку, чтобы была из окололитературных. Нашлась и такая. Мы с ней обо всем договорились по телефону.

— Буду ждать, — сказала она. — Деньги неси.

Организовал я кой-какие деньги и послал Белинского с ними наперед, чтобы он всё приготовил. Через некоторое время отправился и я к ней. Прихожу, звонюсь. Дверь мне открывает неряшливый Белинский, на ходу запахивающий полы своего домашнего халата. Я этому всему, конечно, очень удивился и спрашиваю:

— Ты чего это, братец, в халате тут разгуливаешь?

— А чего? — отвечает Белинский, нисколько не смутившись. — Поигрались немножко, — зевнул он.

— Как так поигрались? — чуть не плачу я. — Ведь она меня ждала!

— Верно, — соглашается Белинский, — тебя. Но первым-то пришёл я.

— Так ведь я тебя не за этим посылал!

— Ну и что, что не за этим. Ты это не мне, ты ей это лучше скажи. Я пришёл, она лежит, ждёт. Ну, а я что? Лежит, и я лёг рядышком.

— Ну, а халат? — ухватился я за халат. — Ты что, его нечаянно с собой захватил? Белинский только кисло мне улыбнулся:

— Что халат, ты вот лучше пощупай, какое под ним сердце бьётся.

Я пощупал. И действительно, под халатом Белинского билось сердце неистового Виссариона.

6.XI.1974

Сон о том, как барин мужика спас

Как-то утром объезжал барин свой лес и камень увидел: огромный, серый, поблекший валун туманным утром увидел он и мимо проехал, подумав: серый камень — серая жизнь.

Приехав в деревню, узнаёт, что одному из его мужиков паяют десять лет за хранение холодного оружия.

— И чего я его в холодильник за масло не спрятал, — жаловался мужик в сарае под запором самому себе.

На террасе барина ждал урядник. Наш барин урядников не любил и поэтому не слез с коня. Позвал он трех крепких, здоровых, кровь с молоком мужиков и приказал им взять зубила, молотки и следовать за ним.

Снова в лесу. Туман рассеялся, и лес чёрным стал, конкретным. Вот и камень. И уже не серый валун, а черная глыба камня, черная как бровь Емельяна Пугачёва.

— Руби его братцы! Чтобы камня на камне не осталось, — приказал барин мужикам.

И принялись мужички за дело, на руки поплевав сухою крестьянскою слюною. И не осталось камня на камне, только искры под зубилами летали, готовые зажечь этот тёмный непролазный лес, будь он сухим.

Урядник допрашивал мужика:

— Ты это что, скобарь, ножик господский точить в господском лесу о господский камень вздумал?

А камня-то уже и нет, значит, и вины нет.

— Не имею представленной начальник, о каком таком кирпиче дело идёт. Я что, мне бы его за масло при обыске, а так, я им никого ещё.

В то время ещё не знали, что такое отпечатки пальцев, и мужика отпустили на все четыре деревенские стороны.

Барин пил на веранде чай с вареньем и видел, как пылила по дороге кибитка урядника. Барин пил и шурился от удовольствия.

26.XI.1974

Сон о кролике

Кошка была голодна и хотела сожрать кролика. Но кролик не хотел стать хрустящей жертвой и спрятался под оттоманку. Кошке было запрещено залезать под оттоманку, и она, усевшись рядом, принялась мыться. Пришёл хозяин, лёг на оттоманку и закурил папиросу. Пришла хозяйка, легла рядом с хозяином и тоже закурила папиросу. Прибежали малые детки и закричали:

— Папка, мамка! Дайте и нам папироску, только маленькую, нам еще нельзя большую курить, мы ещё малые дети.

Хозяин и хозяйка дали им свои недокурные папиросы. Но тут пришла бабка и говорит:

— Дышать нечем, так накурили! Надо открыть форточку.

Хозяин с хозяйкой встали и открыли оттоманку, а там клопы.

14.12.1975

Окно в сон

Я спал и видел сон. В это время какой-то человек вошёл в комнату и начал рассказывать анекдот.

В моём теле внезапно открылось окно, и в нем показалась голова человека. Девушка, с которой я лежал в постели, попросила голову ещё раз повторить анекдот. Голова анекдот повторила, и я проснулся от смеха, который носился по комнате, как маленький ребёнок.

— Хочу пись-пись, — сказала девушка и уселась на ночной горшок.

И Луна целовала мои мертвые губы.

15.XI.1975

Сон о машине¹

В Новом законе говорилось уже о том, что люди не имеют права убивать животных и что Старый закон в данном случае — око за око — входит в силу: одно убитое животное, один убитый человек.

Мне дали Машину, чтобы я находился при ней со всеми вытекающими из этого закона правами. Очень хорошо. Иду по пыльной дороге. Вижу ободранного мальчишку — беспризорник. Ещё вижу пруд. Даже и не пруд, а какую-то круглую канавку. Около этой канавки стоят две старухи и рыбу удят. Беспризорник вертится около старух, но одна из них его прогоняет.

— Пошёл вон отсюда, на всех рыб не хватит, — кричит старушенция.

— Как вам не стыдно, — обращаюсь я к ней. — Он, может, и не хочет рыбы, дайте пацану поудить. Для него ведь это забава.

Но пенсионерки оказались очень злыми, и я говорю беспризорнику:

— Пойдём со мной, парень.

Мы идём в мой дом. Это хижина, слатанная довольно примитивно.

— Что на это скажешь, — не без гордости спрашиваю я беспризорника.

— Довольно бедно, — отвечает он и смотрит внимательно на меня, на мою поношенную одежду. — Дом бедного корреспондента.

— Так оно и есть, — соглашаюсь с ним, — но ты по крайней мере можешь тут ночевать.

Вечером мальчишке сделалось плохо, а мне как назло надо было отправляться к Машине.

Пришёл старик.

— Старик, — говорю я, — присмотри за мальчишкой, а то я и без того уже опаздываю. Меня за это могут с работы уволить.

Ухожу, но долго у Машины не задерживаюсь, меня все-таки уже успели уволить. Смахая с лица пыль, негодующий и расстроенный, возвращаюсь домой. Дома никого, пусто, ни мальчишка, ни старика. «Куда они ушли, — думаю я, — да ещё ночью?» Ложусь спать и вижу их во сне.

Они сидят в креслах на самом конце Белой дороги.

— Белая дорога это — линия жизни, — объясняет мне старик.

Просыпаюсь и с тревогой думаю: «Уж не погибли ли они?»

Действительно, они погибли, и вскоре я узнаю об этом. Они ушли из дома, не желая жить со мной под одной крышей, и по пути увидели горящий дом. Стали его тушить, надеясь, что я приду к ним на помощь со своей Машиной. Но я не пришёл, меня ведь уволили, и они оба сгорели в этом доме.

11.04.75.

Девичий сон

«Я пишу тебе, хотя и не знаю зачем. Почему ты первый не сказал мне слово, не остановил меня на улице, почему я первой должна писать тебе

¹ Живя в Праге, А. Ник работал в некоем ведомстве, где использовались ЭВМ.

это письмо? Ты меня, наверное, не помнишь, я была маленькой ещё тогда и жила напротив твоего дома. Видела, как к тебе ходила сначала маленькая девушка, потом ты водил разных баб, потом женился. Я не хочу разрушать твоё счастье, я хочу лишь изредка встречаться с тобой и надеяться, что, быть может, когда-нибудь, да, когда-нибудь ты решишься. Нет. Не буду теперь об этом. Ты злой. Раньше ты был добрее, но и теперь ты добрый, только мало когда улыбаешься. Я знаю, ты долго жил за границей, и поэтому ты такой. Если хочешь со мной встретиться, жди меня около моего дома. Твоя»

Вот такое девичье письмо приснилось.

20.09.1975

Сон о коте

В цветном сне кот, сидя на задних лапах, перебирал передними по животику, словно бы играл на гитаре (музыку я слышал) и пел на грузинском весёлую песню.

— На итальянском, — поправил меня чей-то голос.

20.09.1975

Сон об ушах

Приходит ко мне знакомый, не из лучших, и спрашивает:

— Хочешь заработать?

— Почему бы нет, — отвечаю. — А что надо делать?

— Есть у меня, — говорит, — один дружок. Надо ему помочь. Он учится в вечерней школе, восьмой класс кончает. До экзаменов осталось две недели, а он ещё книги не открывал. Ты ему помоги, читать ему лень самому-то, но, если ты ему объяснишь, он всё поймёт. Ты миллионером станешь, он очень богатый. Вот послушай, как он из простых людей понимающим стал! Однажды у моей жены упало одеяло на пол. Он этого не заметил, ему кто-то подсказал. И увидел он, лежит моя жена голая, и говорит ей: "Я. тебя хочу!" Она лежит и говорит: "Не пушу". Он ближе к постели, а она лежит и всё своё: не пушу, да и только. Он на нее навалился, а она: "Не пушу!" Вот только тогда, когда обнял он её, стиснул грубо и нежно, любовью своей в неё запустил и закричал потом, говорит: "Говорил тебе, будешь моя". А она ему: "Не буду". Он её за уши схватил страстно. Потом встал, а уши у него в руках остались. "Что я тебе говорил?!" — говорит моей жене. "Вышло по-твоему, — она отвечает. — Только уши-то обратно на место присади". "Не присажу, — не соглашается он. — Оставлю себе на память о первой женщине как сувенир". Потом он надумал эти уши посадить в землю, парник разбил. Уши выросли, только не ушами, а вставными зубами. Ну, и началось: соберёт урожай зубных протезов, новые посадит, так и разбогател. Так что, соглашаешься ему помочь?

— Помогу, почему бы не помочь, мне деньги нужны, — без колебаний согласился я.

8 сент. 1975

Сон о моих знакомых

Трое знакомых друг с другом молодых людей стояли на дворе замка и разговаривали. Потом двое из них, Е.В. и В.К. стали на колени, а третий, А.П.¹, поклонил свой указательный палец и перекрестил им тех двоих, на коленях стоящих, крестным знамением. Причём, при этом, приложился своим поклонённым пальцем к их лбам, потом сказал торжественно:

— Я вас заранее прощаю во всех ваших прегрешениях!

После этих слов оба молодца встали и жестоко избили только что их перекрестившего А.П.

Как я их ненавидел, когда проснулся утром с сухим, без какой-либо слюны, ртом.

27.XI.1975

Сказочный сон

Жил-был рядовой служивый. Пустили его домой. Потом приезжает он домой, а дома шум.

— Что такое? — спрашивает, — шум невообразимый.

Ему отвечают:

— Служивый рядовой возвращается, вот и гудим, а ты кто таков будешь, иди и ты с нами гудеть.

Ну, пошёл он с ними гудеть да загудел на десять лет. Через десять лет его пустили, домой приезжает, слышит и не понимает: в доме шум невообразимый, ужасный.

— Что такое, — спрашивает у бабы.

Баба та сидела на крыльце и через плечо плевалась в сени. Ещё потом плюнула и говорит:

— Рядовой служивый должен вернуться, вот и гудим. Ну, и ты проходи с нами — гудеть.

Он и пошёл. Сел на лавку. Все гудят, а он нет, тут его и спрашивают:

— Ты кто таков, что не гудишь?

А он объясняет:

— Голос потерял.

А они ему:

— Да ты выпей-ка нашего, заговоришь.

Он и выпил, все гудят, а он снова нет.

И снова его пытаются:

— Чего ты не гудишь?

А он им отвечает:

— Не берёт ваше, и голоса нет.

Они тогда одну в соседнюю деревню послали: мол, пришёл один и наше не берёт. Оттуда шлют, да и сами идут — посмотреть, кого это не берёт ихнее, может, наше возьмёт.

¹ Судя по всему, в этом сне фигурируют Евгений Вензель, Виктор Кривулин и Александр Прокофьев.

Взял ихнее, всё выпил, усы вытер, бороду расчесал пальцами и говорит так тихо: — Аль не poznали меня?

Тут все его и poznали, что, мол, это и есть тот самый рядовой служивый.

— Что ж, — сказали ему, — што теперь загудим, — и все загудели, а он нет. — Неужели и нашенское не берёт? — соседские удивляются.

— Не берёт и ваше, — он им растолковывает.

Они сложились тогда, в город послали. Из города купец едет посмотреть. Тот служивый всё выпил, уши прочистил, слёзы с глаз смахнул и умер. Тут все снова загудели, давай поминки справлять, веселиться. Весело там было, шумно, когда проснулся — грустно, тихо.

4.10.1975

Сон о ключике

Еду с работы, конечно, в трамвае. На одной из остановок входит в вагон придурковатая баба. Увидев меня, конечно, ко мне подлетает. В руках держит. Из нее достаёт черную лакированную сумку. Открыв её, вытаскивает сумочку поменьше. Открыв вторую, вынимает третью, а третью открыв, достаёт совсем маленькую, четвёртую. И ту маленькую открывает, ключик из неё вылавливает и, подержав его на ладони, проглатывает, как обыкновенную таблетку аспирина. «Что это вы делаете?» — не говорю я ей, но этот вопрос можно прочесть в моих глазах. Баба ко мне наклоняется и, брызгая слюной, шепчет мне на ухо:

— Вы ничего не видели. И не слышали. Понятно?!

21.XI.75.

Сон о медсестре

Ночью я очутился на улице. Шёл, шёл, пока не надоело. У одной из дверей остановился и позвонил. Дверь мне открыла медсестра, красивая молодая девушка с испуганными глазами. Она не хотела меня пустить, и я понял почему: за её спиной стоял мужчина, который, увидев меня, тут же скрылся. Сестричка махнула рукой, как бы говоря: теперь всё равно, и пригласила меня. Я очутился в ярко освещённом операционном зале. На операционном столе лежал окровавленный ватник.

— Ах, простите! — смутилась сестра и ухватилась за него.

Когда она повернулась ко мне спиной, я увидел в её белом халате удивительный вырез от поясницы... Спереди — халат как халат, запахнут, застегнут, а сзади только наполовину, и ужасно кругленькая голеньяя попка оказалась у сестрички в поле моего зрения. Не выдерживаю, подбегаю к сестричке, обнимаю её и глажу рукой от поясницы и ниже. Близко, близко притискиваю сестричку к себе, так, что мы почти касаемся друг друга своими глазами.

— Как вам не стыдно! — возмущается она.

Я её тут же пустил и говорю нахально:

— Я собственно не за этим пришёл. Мне никак не уснуть, а таблеток от бессонницы у меня не оказалось. Не могли бы вы мне их дать, сестричка?

— Хорошо спать — хорошо, — улыбнулась она мне неровными зубами.
20–21.09.1975

Сон о шахте

Сорокалетняя женщина, русская эмигрантка, рассказывает:

— До войны я работала на шахте. Среди горняков только я одна была женщиной, вернее, совсем ещё девчонкой. Конечно, со мною все спали. В шахте низко, поставят к стене, руками упрусь, темно, не видно, ноги широко расставлю, ну а они там сами фонариком посветят. И, конечно, кому не лень целоваться лезли. Да и что говорить-то, время послереволюционное было, свободное, и никто на такие пустяки внимания не обращал, не стыдился. Однажды у многих мужчин кожа покрылась красными пупырышками, словно бы такой сеточкой покрылась. Конечно, ко мне все идут, ты что, баба, болеешь чем, спрашивают. Нет, конечно, удивилась я очень. Они же меня потом всё равно избили, крепко избили. Потом кто-то сказал, что на соседней шахте то же самое началось, и они снова меня спрашивают: ты что, и на соседней побывала? Через некоторое время всё разъяснялось: эта пупырышки от угольной пыли появились. Но мне от этого не было легче, ведь побили меня крепко, а не за что.

25–26.09.1975

Сон о поле

Поле, словно ромашками, было усеяно белыми платками старух в чёрном. Старухи шли от горизонта к горизонту, и белое море их платков колыхалось. Спуститься в поле было можно по каменной лестнице в левом углу экрана моего сна. По ней спускался вниз мой покойный отец, за ним шла мать, мой приятель В. Я не мог за и ними угнаться, как ни старался, и поэтому остановился. Остановилась и мать.

— Подожди его, — закричала она В., и тот тоже остановился, поджидая меня. Но я не мог тронуться с места и как замороженный смотрел на поле.

Старухи всё шли и шли под лучами яркого солнца. Их лиц я не видел.
27–28.09.1975

Сон о гладильной доске

Лечу над землёй, сидя на гладильной доске. Внизу копошатся в своём муравейнике люди. Если кто-нибудь из них и поднимает голову и замечает меня, то от испуга вытаскивает ключи и начинает их пересчитывать. Я лечу в Санкт-Петербург, но и там эта история с ключами повторяется. Губернатор города, г. Бесстыжий, от испуга ключ от СПБ проглотил, а мне из-за такой губернаторской глупости не удалось при-

землиться и пришлось разворачиваться на 180° и обратно домой лететь. Хорошо ещё, что таким людям, как я, не надо ключей, чтобы ночью домой попасть.

21.XI.1975

Сон о пруде

По колено в воде, мужики поймали мальчонку. Он ловил рыбу руками в их пруду.

Пожилой мужик: А, попался!

Я: Не бейте его.

Пожилой мужик: И не собираемся, бери рыбы, сколько тебе ее наловится. Этот пруд наш. Раньше он был государственный, а теперь наш.

Я (думаю): Вот ведь зелёные люди, зелёный наш народишко. Был у него свой пруд, а он его по своей зелёности государству отдал. Государство этот пруд эксплуатировало, а народишко всё в зелёных ходил. Но потом пруд снова себе забрал, однако ж зеленым остался.

Пожилой мужик: Нам не жалко. Это наш пруд, не государственный. Бери себе на здоровье, мы что, мы люди зелёные, а хитрые однако ж (глаза у мужика заблестели, и из них посыпались весёлые яркие искорки и озарили всё вокруг, а мне внутри тепло стало и радостно).

12.12.1975

Сон 30.12.74

Нас трое. Это я, я и я. Для того, чтобы не было лишних расходов, три одинаковых субъекта появляются на земле в одно и то же время. Один из них видимый, двое других невидимы. Ночь темна. Один из них, скажем я, ходит, работает, пьёт, ест, спит. Двое других всё время около, но с целью. Предположим, что видимый я спит. И снится ему, что он в постели лежит рядом с прекрасной девушкой в бархатном платье. Она ему шепчет: «Когда же Достоевский напишет для меня что-нибудь?» Вопрос её совершенно не понятен, но ответ таков: «Напишет, обязательно напишет. А теперь он /Достоевский/ приказывает нам делать это». И руки его, мои руки, гладят её грудь под бархатным платьем. Гладок бархат, и кожа гладка. Белая ночь вроде, она голая и я. Я её очень хочу. Не вижу лица её, но вижу тело её, удивительно нежное. На шее ожерелье из драгоценных камней длинное. Я живой и невредимый сплю. Тот, другой, в это время с этой, не знаю, как её назвать, разыгрывает передо мной спектакль. Где же третий? В том-то и дело, что это тайна. Через некоторое время я узнаю, что у меня будет ребёнок. От кого? Конечно, не от этой с ожерельем. Так от кого же? Я женат, значит, у жены будет ребёнок, но я спал и такой сон великолепный видел. Третий... Вот, значит, чем занимался в это время третий. Лица я её не видел, так что это могло быть лицо моей жены. Я видел тело — мне хотелось, я спал — духи. Духи рядом с нами, не отходят от нас ни на шаг. Они не едят, не спят, не пьют и не курят. Но это они разыгрывают перед нами сонными спектакли, принимая при этом знакомые или милые нам образы. Это им мы обязаны продолжением своего рода, своей славы или своей

бедности. Отчёт же держать троим. Перейдя в иную область, мы воссоединимся — я и они. Будем держать ответ. Они мне подскажут, как и на что отвечать. Ко всему этому хочу ещё добавить, что точно не знаю, кто из этих троих собственно я и какую функцию несу. Иногда мне даже кажется, что моя жена это и есть я.

Сон о Муромце

Бог в помощь! Здравствуйте!

В углу стояла лавка. На ней сидел слепой Илья Муромец и шевелил тяжёлыми ногами, искал в голове.

А, Алёша! Нет. Не Алёша Макринов и не Димочка, убиенный ножичком-финкой. Баба вошла, весталка, в избу.

— Ошибся я, — бормочет Муромец. — По запаху тебя, старая, не познал. Чего тебе?

— Беда! Татары, вечные склочники, разночинцы-насилыники лезут на нашу область. Жён, детей, яиц, пирогов, коней требуют.

Вздыхнул Муромец и для начала прозрел. Вздыхнул второй раз И снова ослеп. Третий раз с натугой выдул и стал на колени. Видит левым, видит правым глазом: баба стоит странная, весталкой от неё воняет — словом, баба из области.

— Татары? Да я им! Давай на стол.

Баба туда-сюда и тащит: самогонку, картошку отварную, огурцы солёные, грибочки двухсортные и хлеб ржаной. Сели ужинать.

В окно стучатся. Баба рот заткнула, ушами заговорила от страху.

— Кто? — громовым голосом Ильюша.

Татары. Это были они. С кониной, с раскосыми глазами, в тубетейках и в кепках. Тут как тут. Главный кричит: — Отворяй!

Помощник кричит: — Окна и двери!

Илья Муромец берёт саблю-ушанку и им навстречу, огурец в зубах держа недождёванный.

— Дожуёшь потом, Ильюша, — шепчет бабье ухо.

Ногой, некогда парализованной, левой, дверь вышиб:

— Милости просим, косоглазые.

Те с криком:

— А, попался шалтан-болтан, урусука ушупуна, что в переводе русская шпана.

Он им, то есть Ильюша наш, богатырь:

— Я вовсе не хулиган, я-то! — злостью полон Ильюша. Глаза драконы, пламень в них, уши дыбом, волосья трещат, руки чешутся. Меч в сторону: — Не буду тупить о поганцев. Вы это понюхайте! — Огурец достал из-за пазухи, остренький, маринованный, и главному им в глаз. У главного глаз на пол вытек. Илья его каблуком по зрачку.

— У-у-у! — завыл обиженный начальник. Но Муромец не угомонился, не разрядился ещё, да и Орда за избой топчется, ждёт своей очереди силами помериться.

Нет, — думает И.М., — у меня на всех огурчиков не хватит да и жалко. Чем хрустеть буду в длинные зимние вечера?

Схватил тогда весталку со стола и давай ею размахивать-помахивать, мускулы свои показывать. Было любо-диво на него посмотреть, загляденнице.

— Лучше убей меня, Муромец, — кричит падчерица. — А так перед чужим племенем не выставляй.

30.12.1974

Сон о демократических кругах

Перед этим меня так им пугали, говорили, что он страшный человек и что, попав в кремль, я оттуда не выберусь. Но ничего подобного. Вижу такую сценку: сцена изображает комнату. В комнате стоит стол, а за ним сидит молодой человек, высокого роста и с усами и.в.с¹. Он сидит за столом и играет с пишущей машинкой. Напротив него сидит Переводчик.. По сцене бегают Секретарь и.в.с. Все трое одеты в одинаковые одежды: серые брюки, серые рубашки с засученными рукавами, на шеях белые галстуки.

Появляюсь я. Я — Иностранец. Секретарь говорит Переводчику:

— Будешь переводить, Вася!

У Переводчика лицо глупого деревенского парня. Он берёт лист бумаги, карандаш и прислушивается. Мой первый вопрос: «Каковы ваши демократические круги?» Вместо ответа переводчик внезапно вскакивает и подбегает к табуретке. Секретарь тоже к ней подходит с лабораторной колбой в руках. Ставит её на табуретку. Переводчик насыпает в неё какой-то серый порошок. Через некоторое время из колбы начинает валить пар, а Переводчик кончиками пальцев достаёт глянцевою фотографию и протягивает её Секретарю. Секретарь идёт с нею ко мне. На фотографии изображён и.в.с. с трубкой во рту и с синими кругами под глазами.

25.10.1975

Сон о том, как меня мужик убил

Шёл это я по улице. Ночью шёл и повстречал одинокого пешехода. Я бы мимо него прошёл, да он меня остановил, схватил за карман (?) моего пальто, к себе подтащил, ну и давай меня бить. Я было сопротивляться начал, да куда там. Он вдвое сильнее меня был, рослее, вообще мужик что надо. Избил он меня до такой степени, что я от побоев этих умер. Умер и отделился от своего тела. Стою на тротуаре и вижу, как мужик продолжает мое мертвое тело топтать ногами. Тут как раз три паренька мимо проходило. Я к ним: так, мол, и так — помогите, видите, человека убивают. Пареньки, конечно, не обратили на меня ни малейшего внимания, но к телу подошли. Мужик их увидел и убежал, скрылся, гад. Пареньки нагнулись, посмотрели на мое лицо и, поняв, что имеют дело с известным человеком, достали носовые платки и намочили их в моей крови. Намочили свои платочки и ушли, довольные. Потом из магазина (а я лежал у магазинных дверей) вышла старуха с раскладным стульчиком и уселась на него молча рядом с моим трупом. Я подошёл к телу ближе, дотронулся до обнажившейся чёрной от крови но-

¹ Иосиф Виссарионович Сталин

ги. Была она холодная и такая страшная, что меня в первый раз за всё это время охватил ужас и вместе с тем жалость к своему мёртвому (кому я помещал жить, что?) телу. Этот мужик меня так избил, словно бы меня трактор переехал. Я, конечно, ничего не сказал старухе и проснулся.

7–8.10.1975

Сон о горбуше

Я горбун, но мне это не мешает радоваться. У меня даже девушка есть, любовница моя. Очень просто всё, простая такая жизнь. Лицо мое белое, без кровинки. Мне даже самому иногда страшно на себя посмотреть. Глаза блестят, губы слова шептывают постоянно, и горб чешется. Мне его моя чешет. Мне, говорит она мне, Горбуша, это не противно, а даже наоборот, приятно очень. Ну да дело прошлое, я с ней сплю, и это ей подходит. Она вообще у меня со странностями: главное, у тебя волосы на голове пышные, мне и этого хватит, сказала она мне в первый раз. Я, конечно, ничего не понял, но горбом почувствовал: бя буду, что тут что-то не так. У тебя пальцы худые и длинные, стала она меня учить. Намотай же мой локон на указательный и тащи меня за него по комнате. Послушался я её, намотал на палец локон, натянул его как леску и давай за него по комнате мою водить бабу. Что тут было! Она и плакать, и смеяться, и визжать, и просить о пощаде. Даже за нос меня кусила. Если у меня горб и чешется, то мне это тоже приятно бывает, когда мне его она скребёт. Вот так и живём. Только говорит она мне, что я не жилец, уж больно блед-лицо у меня и глаза воспалённые — не жилец. А я так думаю — чего там...

30 сент. 1975

Сон о конуре

Проваливаясь по колени в снегу, подхожу к собачьей конуре, из неё раздаётся ворчание и гроыхание цепи. Стучу ногой о конуру, снег прилипший с подошв сбиваю. Из конуры вылезает Ефим Соловей и говорит:

— Опять вы опоздали, Олег!

Моя фамилия тоже Соловей, только я не Ефим, а Олег.

— Ладно, — говорю я Ефиму, — лаять-то.

Ефим снова залезает в конуру, а я огибаю её три раза и снова околачиваю снег. Вылезает Ефим и бормочет:

— Кругом воры и диверсанты. Луна сегодня ночью была очень яркая. Лаяла на неё, чтобы спряталась. В такие полнолуния больше всего воровства и бывает.

— Удивляюсь я вам, — удивляюсь я Ефиму. — Вы как наш Зайцев.

— Зайцев! — облизнулся однофамилец и сплюнул коричневой слюной. — Я вчера Сонечку Мармеладову слопал. Кости за конурой найдёте, под снегом лежат.

Соловей зевнул, потянулся, снял с шеи цепь, завернул её в промасленную газету и спрятал в портфель.

— Ну, я, пожалуй, пойду помаленьку.

Он ушёл, а я накинусь на сонечкины кости. Кости как кости оказались, только дореволюционные.

29 сент. 1975

Сон-фантом

Летающие тарелки не такая уж фантазия. Вчера я летел над рекой, удобно усевшись на ржавом металлическом листе. Вдоль реки были горы и деревья, так что мне приходилось мысленно приказывать листу огибать эти препятствия. Внизу, на бережку, загорали люди, и мне захотелось поближе их рассмотреть. Меня они не видели, но то, что увидел я, меня испугало. В глине, замазанные с ног до головы, валялись голые старики. Глаза их были закрыты, они медленно переваливались с боку на бок, словно бы в любовном акте. Некоторые из них пытались огулять своего соседа, но с закрытыми глазами у них этого не получалось. Открыть их они не могли, так как, открой они их, они увидели бы меня и испугались бы. Я тоже был напуган и поэтому проснулся. Что стало со ржавым листом, я не знаю. Летает, наверное, теперь сам, меня поджидает.

6.XI.1975

Сон об очень чистом человеке

— Я чистый, — говорит он мне. — Чистый на работе и дома. У меня дома очень чисто, и я стараюсь, чтобы и на работе было так же. Всё вокруг грязно. Вот и ты грязный, хотя я тебе этого вслух не скажу, а то обидишься, в драку полезешь, кровью своей меня испачкаешь. Всё вокруг очень грязно и люди тоже. В 1945 году я первый боролся за чистоту нашего помещения, занавески повесил. И потом боролся, когда все верхивостки улетели на болото. Я хоронил, организовывал похороны самых наших известных муравьёв. Я на всех плюю, что мне, я чистый, могу плевать на грязных. Три раза инфаркт, и ничего, видишь, живу, борюсь. Вот завтра обещали новый стул принести. Думаешь, это так просто, стул? Нет. На стуле сидишь. Да! Тебе это всё равно, я по твоим глазам вижу. Ты меня боишься, у тебя от страха жопа в душу ушла. А я вот никого не боюсь, я чистый перед всеми. Я ещё поживу, меня ещё многие муравьи помнят, помогут.

Он сел на старый стул передохнуть. Я сел на старый стул и газанул. Чтобы духу твоего, снилось мне.

2.10.1975

Сон о тётушке Руже

Вдоль забора шла тетушка Ружа, рот свой рукой закрывая, другую руку к сердцу прижимала. Страшно было смотреть на неё, было ей плохо. Шла вдоль забора, рукой хватаясь за него, чтобы не упасть, и кричать не могла, рукой свой рот закрыв. Плохо ей было или увидела она нечто страшное? Нечто страшное, оно подстерегает нас на каждом шагу, только не всегда мы можем увидеть это. Оно невидимо, пока оно этого хочет.

Я лежу, а сзади надо мной склонился чёрный человек. Я пытаюсь его отогнать словно муху, но это не так-то просто. У чёрного человека чёрные крылья, и ими он мои глаза закрывает. Я кричу, хочу проснуться, а он мне говорит, что я вовсе не сплю, что вижу его наяву.

— Как же, наяву, — кричу я, — наяву у людей нет чёрных крыльев!

— Это не крылья, это полы фрака, — смеётся он и, взмахнув ими, улетает.

Теперь я могу спокойно досмотреть свой сон. Тётушка всё ещё идёт вдоль забора. Идёт, спотыкается и, наконец, падает на землю. От стука её падающего тела я проснулся. Тётушка сидела в комнате за столом и играла с моей дочерью в кубики.

10.10.1975

Сон о кавказцах

Чей-то голос рассказывает мне следующую историю:

— Знал я одного кавказца («ты случайно не с Кавказа?» — спросил он меня и, не дожидаясь ответа, продолжал), мы с ним работали в одном цирке. Однажды этому кавказцу стало скучно, и он принялся на кончиках пальцев ходить по стенам, по потолку. Находившись вдоволь, он пошёл в конюшню, чтобы, как он мне сказал, размяться. Через некоторое время вернулся злющий-презлющий и не сказал, какой причиной вызвана эта злость. И только спустя некоторое время мы узнали об этом. В то время, как он входил в конюшню с одного входа, с другого в конюшню вошёл ещё один кавказец и с той же самой целью — размяться. Встретившись там, они обрадовались тому, что их желания совпали и что они так одинаково мыслят. Вскочили они на коней и принялись по ним бегать, танцевать на них и вообще делать всякие выкрутасы. Это был их старый номер, и исполняли они его легко и непринужденно. Но вот при одном прыжке наш кавказец подскользнулся и упал на опилки. Неизвестно почему, но он подумал, что напарник подставил ему ножку. Разозлился на него и тут же ушёл из конюшни. Только потом выяснилось, что лошадь, с которой он свалился, была старой, порывевшей кобылой с потёртой гладкой кожей. Кавказец приказал её застрелить, но в дело вмешались страхагенты, показав документ, в котором было написано: «Не убий!» Кавказец сел с кобылой на поезд и отправился в Голливуд. Там продал рыжюю за 30 000 долларов. За пять лет обучения в Голливуде лошадь окрепла и приняла участие во многих ковбойских фильмах. Наш кавказец, а звали его Сулико Орджоникидзе, в кино не ходил и помолодевшую лошадку не видел. Но что странно: с той поры он так и не помирился со своим напарником и земляком, никак не мог ему простить той подставленной ножки.

26.10.1975

Свежий сон о стороже

Ночь. Я сторож. Охраняю застеклённое здание. Сижу в первом этаже впотьмах и не сплю. Хотя все двери и закрыты, одна из них открывается и убегает молодой матрос. Пробегает мимо меня и говорит на ходу: «Было то-

го много, но всё равно мало, никак не кончить». Матрос подмигивает и поднимается по лестнице наверх. Я выхожу в вестибюль и сквозь стеклянную дверь вижу стоящую перед зданием девушку. Маню её пальцем, указывая на двери. За девушкой показывается женщина с испуганным лицом. Открываю дверь и впускаю девушку внутрь. «Идите сюда, погрейтесь, тут тепло», — говорю ей любезно. «Это тетя моряка, — поясняет мне девушка появление женщины с испуганным лицом. — «Она скоро придёт за ним», — девушка усаживается рядом со мной к письменному столу. Оказывается, что я плохо разглядел эту девушку, сначала она мне показалась куда более симпатичной. На самом же деле она оказалась гораздо старше морячка. Вот он, как раз, появляется со своим приятелем, тоже морячком. Присаживаются к нам. Для поддержания разговора спрашиваю их о погоде: «Холодно на улице ребята?» «Вчера было холодно, а сегодня снова тепло», — почему-то очень радостно сообщает мне баба. «Это хорошо, что тепло», — соглашаюсь я и чувствую неловкость: пригласил бабу, думал Бог знает что, а вместо этого четыре ленточки наглые тут как тут. «Хотите, я вам расскажу сон?» — спрашиваю я их. «Хотим», — отвечают морды. Матрос без спроса берёт мою бутылку пива и выливает её в себя. «Я живу в отдельной квартире, — начинаю я рассказывать. — В однокомнатной. У меня есть приятель, бывший лётчик. Он человек уже старый. Я его в гости позвал. Мы с ним сидели от четырёх часов дня до двух часов ночи и разговаривали. Когда в два часа ночи он посмотрел на часы, то очень удивился: ничего себе, сказал, вот так заговорились! Мы с ним сидели без света, и только потом я это заметил, встал и пытался найти выключатель, но никак не мог. Только когда спичкой чиркнул, нашел его. Пытался рассветить, но света не было. Снова чиркнул спичкой и увидел рядом с выключателем чью-то руку. Нет уж, сказал я испуганно лётчику, рассвети сам. Мы с ним сидели в кухне всё это время, но потом перебрались в комнату. В комнате было светло, было уже утро. Из окна я увидел, как внизу, в густой траве, запутался грузовик, а сильный ветер, раскачивая траву, раскачивал и грузовик, который с шумом ударялся о стену дома. Я пошёл вниз и очутился сразу в Зеленинском саду. Ещё изда-лека я увидел своих приятелей и брата. Боря, Боря, закричал я. Приятели перелезли через низенький барьерчик. Услышав меня, они остановились и в недоумении уставились на меня. Вокруг Кудрякова порхала огромная яркая бабочка. Увидев её, Кудряков принялся кричать:

— Кузьминский, Кузьминский! Где ты?

Это был очень страшный крик, и я понял его значение: если бы тут был Кузьминский, то получилась бы великолепная фотография. Осенний парк, курчавый Кузьминский и яркая бабочка на его плече — великолепная картина. Вторую бабочку поменьше я уже поймал и несу ее в руках, трепещущую.

— Какая гадость, — сказал Кудряков.

Виктор ничего не сказал.

«Это так, подумал я, они уже могут обойтись я без меня. У них свои, новые знакомые, а я всё по старинке живу: морячки, старые бляди».

Уже девка схватила мою бутылку, и щёлочки её глаз блестели, сладко на меня поглядывали. Кожа на её лице не была чистой, словно бы это была не кожа, а кожура от лимона. Нет, не жёлтая, а такая какая-то не гладкая,

как слоёное тесто. «Хороший сон», — зарадовались простодушно они и встали. Первой удалилась баба, потом моряк. Второй пошёл спать наверх. Я понял манёвр девицы, я ей, конечно, понравился, моряк её проводит и тоже пойдёт спать, а она вернётся. Я улёгся на стулья и блаженно зевнул. Было темно. Кажется, я уснул. Потом в комнату кто-то вошёл. Я приподнялся на локте: — Ты? Это ты? — спросил я в полной уверенности, что это морячок вернулся, но, присмотревшись внимательней, увидел силуэт высокого и очень худого человека.

Силуэт склонился над столом и что-то там рассматривал.

— Это ты? — еще раз спросил я, но уже со страхом в голосе.

Силуэт повернулся, подошел ближе ко мне и, размахнувшись, вонзил мне в спину длинный узкий кинжал. Я закричал от боли и проснулся. Если спать на двух стульях, то еще не такое приснится.

6.10.1975

Сон о Фелмори

Фелмори был великан и жил в лесу. Лес этот тоже был великанский и густой. Но Фелмори не любил почему-то леса и отправился в ближайший город. Вероятнее всего, ему хотелось найти в городе невесту. Как известно, городские невесты лучше всех невест на свете. Лучше деревенских, лесных и морских. Они опрятны, чисты, милы, даже красивы и знают слово "минет".

«Это очень хорошо, — думал Фелмори, уходя из леса, — что у меня появится городская подружка. Мы с ней гору Бич свернуть можем и достать из-под неё кружевной платочек с заветными словами».

Так думал Фелмори, так он мечтал, одной ногой вступая в город, не заметив, что другой растоптал весь пригород. Сколько крепко спящих, нежных, чистых и даже милых невест, шепчущих во сне алыми губками слово "минет", растоптал Фелмори и даже не заметил.

В городе он поселился у двух тёток. Собственно тётка была одна, а другая особа была её дочерью. И мать, и дочь ходили во всём чёрном по дорожкам парка и отдавались мужчинам с плохой репутацией. Тётка Фелмори, Изабелла, даже влюбилась в мальчика, но так как он был ещё невинный, она решила привязать его к себе тем, что однажды ночью встала с постели и, сжимая в руках топор, бесшумно подошла к спящему Фелмори с намерением отрубить ему ноги. Вот каким способом она хотела привязать к себе невинного ребёнка. Фелмори пошевелился, и из-под одеяла показалась его худенькая ножка. Жалко стало тетке рубить такую беззащитную ножку, и она ушла продолжать спать сном праведных, ходящих изредка по дорожкам парка в поисках прихода.

На следующий день Фелмори проснулся и вспомнил сон с тёткой, стоящей с топором в руке у его изголовья, побежал на вокзал. Денег у него не было, но он мчался, полагаясь на провидение. По пути его схватили два очень неприятных и даже противных на вид человека.

— А, попался! — радостно закричала они пьяными голосами, — Щенок! Что твои тетушки, всё в парке околачиваются? Ты, поди, сосунок, глаз

с них не сводишь, когда они раздеваются. Да знаешь ли ты вообще, чем они занимаются? Они... — и два очень несправедливых человека сказали Фелмори плохое слово ("бл*ди") про его тётушек, — бл*ди.

— Знаю, — гордо ответил Фелмори. — Я за ними следил, только не до конца.

— А это правда, что ты раньше был великаном? — спросили хохоча эти люди Фелмори, но он вырвался и убежал на вокзал. Пожилой дядька машинист

(Фелмори, любовь моя, причитала тётушка, прижимая к груди свой топор, к своей груди прижимая. Её дочь Клара, в это время гуляя по парку, подмигивала нехорошим прохожим мужчинам и женщинам. Нехорошие и даже очень плохие прохожие хватали Клару за грудь и прижимали её к дереву. Клара стонала в продолжение нескольких секунд, а все стволы деревьев в парке на уровне клариной попки были гладкими, отполированными. Прохожий сжимал Клару в клещах натруженных рук и между вздохами бубнил: «А пацан-то ваш сбегал». И Клара ещё больше стонала, вспоминая, как раздевалась перед горящими глазами Фелмори: «ох... оох... ааа... а... аааа... о... ой. ой. ой. аааааааа.....уф» Фелмори, любовь моя. Куда ты сбегал от своей тётушки, рыдала старая Изабелла. И даже у чёрной кошки от Таких нечеловеческих хозьяйских мук потекли не солёные кошачьи слёзы)

взял Фелмори к себе на паровоз. Они ехали и перед их глазами мелькали города, деревья и случайные коровы. Фелмори радовался, машинист был стар, и на одной станции ему надоело, что кто-то ещё может радоваться, прогнал Фелмори.. Одинокий мальчик пошёл искать свое счастье вдоль платформы.

В этом городишке некоторое время спустя я и познакомился с Фелмори. Он был маленький, грязный горбун. Не знаю, как он жил эти годы, чем питался, только мы с ним подружились.

— Знаешь что, — сказал я ему, — я пойду работать, и нам хватит денег на двоих! Но Фелмори запротестовал и потащил меня на вокзал, в буфет.

— Вот посмотри, — зашептал он мне.

Ничего особенного я не увидел. В буфете продавал пиво лысый мужик, ему помогала шестидесятилетняя бабка.

— Это Нэлли, — шептал мне Фелмори горячо и на ухо. — О, как я в неё влюблён! А этот... — он ткнул в сторону лысого зонтиком, — её помощник. Ты лучше не работай, ты женись на ней. Она теперь ищет мужа, я знаю. Лысого мы прогоним. Во заживём! — и Фелмори радостно засмеялся.

— А как же носовой платочек с заветными кружевными словами? — спросил я его. — Не хочешь, не надо! Я сам к ней посватаюсь.

Мне стало очень жалко старика Фелмори. Больше я его в нашем городе не встречал.

ноябрь 1974

Ирина БАСОВА

/ Париж /



О ЖИЗНИ, О ЛИТЕРАТУРЕ

Из Дневника

5 марта — 10 августа 2006 года

Есть в жизни человека пишущего периоды молчания. Так возникает Дневник. В какой-то мере он спасает от немоты. Но главное заключается в том, что автор дневника свободен от страха перед гипотетическим читателем: дневник, как правило, пишется не для печати.

Что же подвигло меня публиковать эти отрывки, с которых почти десять лет тому назад начинался мой Дневник? Вероятно, не только интерес к уже далекому времени, но и подтверждение тому, что Времена меняются, а Человек остается самим собой.

* * *

«Сегодня», т.е. 5-го марта, умерла Ахматова. Последнее время перечитывала литературу о ней. (Как и прежде отдаю предпочтение Чуковской.) Из всех поэтов она мне ближе всех по устройству гортани, по просодии. Кто-то сказал, что я ей подражаю. Никогда. Просто голоса похожи, вот и все. Она, Бродский, Мандельштам. Вот, собственно, моя «компания». Неплохо, да?

Цветаева? Это — только боль...

* * *

Вчера перед сном взяла с полки Паустовского. Еще одна жертва советской власти. Все время одергивал себя, оглядывался, а рожден был, как мы все, смелым. И это одергивание создало тональность его речи, ее фактуру. «Патриотизм» родил сусальность, а тяга была к «Европе», к «всечеловеческим холмам», к безнациональности красоты и жизни.

Но мил мне как современник по Крыму, по Черному морю; Ялта, Чехов... По воспоминаниям о *моей* молодости. Вспоминаю, как «вышла с ним в море» на рыбную ловлю — по его приглашению. Я — студентка, учусь на ихтиолога. Мне 18 лет. (Никакого интереса к науке, только к морю, «листригонка».) Паустовский кажется старичком. Мы с ним вдвоем в лодочке, спокойное море (рыба, по-моему, не ловилась). Не знаю, о чем с ним говорить...

Он живет рядом с нами, мама сняла для них домик у наших алупкинских соседей, Бобовых. В их саду под огромной сливой стоит стол, он пишет-пишет, а Лида, его большая жена, печатает на машинке. Их рыжий семилетний сын, «вождь краснокожих»...

Мое полное отсутствие интереса к взрослой жизни. А у них с родителями какие-то разговоры — 1956 год, есть о чем поговорить...

Вообще-то это «отсутствие интереса к жизни взрослых лишило меня многих знаний, в том числе о себе самой, многих встреч. Помню, я обедаю у Западовых, у Гани, Гаяне Христофоровны, маминной подруги юности, которой мама «поручила» попечительство надо мной и для которой я — дочь убитого друга. То есть, она знает обо мне то, чего я сама не знаю. То, что скрывалось от меня сначала от страха перед людоедом, а потом — из-за другого страха. (Уж чего-чего, а страхов в нашей жизни было предостаточно.) Происходит это году в 60-м, мама еще жива, а я уже замужем, учусь в Москве, мне целых 23 года, и у меня дочь Марина. Я тороплюсь, но не к Марине, это я помню, она с няней. Тороплюсь куда-то, к таким же юным оборотам, как я сама, и, вероятно, главное — меня ждет Борис. Уже тогда я зависела от его нетерпения — и вот тороплюсь. А Ганя мне говорит: «Подожди, сейчас придет Анна Андреевна, я хочу вас познакомить». А мне это кажется совсем не интересным, хотя я знаю прекрасно, кто такая Анна Андреевна. Но что я знаю? «Перчатку с левой руки», «Сероглазого короля»... Что я знаю о ней, когда и о себе ничего не знаю?.. А вот сейчас думаю, что и хорошо, что не дождалась. Зачем это ей было видеть меня? О чем бы мы говорили? Что она могла видеть интересного во мне?

Только со Светловым получилось общение, дружба. Но это было позже, и тут работали иные «механизмы»...

* * *

Сегодня с утра навязчиво звучит в голове мелодия Окуджавы: «Вы пропойте, вы пропойте...». Бывает такое — привяжется или мелодия, или строчка, причем, совершенно чужая, как дразнилка. И, как правило, в те моменты, когда собственная душа молчит.

Вот прослушиваю это «пропойте» и думаю: какая инфантильность... С какой это стати кто-то должен петь славу *его женщине?*.. Какие же мы были бедные, творили и творили себе кумиров... (Впрочем, *моими* кумирами они не были. Иногда — друзьями...)

* * *

В гостях были Миша Г. с Наташей. Милые люди, но несмотря на, казалось бы, общее понимание каких-то фундаментальных вещей — какое все-таки «непонимание», иной мир, иные заботы, иные критерии. И мы были бы такими же — останься в России?..

* * *

Вот уже столько времени ни одной «первой строчки». Поясню эту мою «теорию»: первую строчку поэту дарит небо. Но вторую он должен найти сам, и скорее угадать, чем придумать. Потому что когда *дарит* тебе первую, то оно *знает* и вторую... Надо сказать, что это серьезная и важная работа. И если вторая строчка угадана — все в порядке, дальше в виде поощрения уже «диктуется» все стихотворение. Если же не угадал — стихотворение не удалось, неудача...

Я это проверяла многократно и на собственном опыте, и на опыте других. Другой раз откроешь книжку — какая замечательная первая строчка, а потом — провал, завал, катастрофа. Стрелочник ошибся, и поезд катит на полных парах по чужому пути в совершенно противоположную сторону.

А иногда — бывает такое счастье, что тебе диктуют и вторую строчку вместе с первой, а то и целую строфу, а то и целое стихотворение. Но это редкое чудо. (Так мне было продиктовано стихотворение «Крым», одно из самых моих любимых — не помню ни одной правки.)

Итак, надо настроить свои радары и ждать. Желательно, чтобы в атмосфере не было помех. Даже таких детских, игрушечных помех как: почта, которую приносит консьержка — как только ты готов прислушаться к небесам. Или телефонные звонки, уверенные в своем полном праве врваться в твою жизнь когда им заблагорассудится. Е-мейлы, которые требуют немедленного ответа...

* * *

...Но не только вышеназванное отсутствие интереса к жизни взрослых лишило меня многих знаний о жизни и о истории моей семьи. Самым сильным чувством, которое объединяло «советских людей», думаю, был страх. И в общении с нами, детьми, страх рождал в лучшем случае — осторожность. От нас скрывали всё, но что-то проговаривалось, что-то,

произнесенное шепотом, угадывалось. И, в конечном счете, в нашем детском сознании создавалась довольно странная картина жизни — как я сейчас понимаю. Это умалчивание заставляло нас самих додумывать что-то, сочинять, сопоставлять... Я, например, рано начала доверять своей интуиции. И ощущение, что мы живем в *большом* обществе, которое по какому-то праву присвоило себе этот *здоровый* мир, сформировалось именно тогда...

...Похоже, что для моей ленивой природы жанр «дневника» может быть более продуктивным, чем все иные: во-первых, не надо ничего сочинять (и этим этот «жанр» похож на поэзию, ибо поэзия — не сочинительство, во всяком случае лирическая поэзия), а во-вторых, при моем образе жизни я могу в каждую свободную минуту «войти» в текст. (Неплохое сочетание: и лень и отсутствие свободных минут.)

* * *

Замахнувшись в очередной раз на тему поэзии, перелистываю множество сборников и антологий. Четко различаю разницу между поэзией «написанной» и «возникшей». Но и та и другая требуют врожденного «профессионализма», то есть поэт, как минимум, должен обладать: музыкальным слухом, чувством ритма и наличием эстетического вкуса. Как минимум.

Но вообще-то стихи пишутся всей личностью...

Зачем советская власть придумала «Литературный институт»? Еще одна загадка нашей эпохи...

* * *

В поезде начала читать Миллера, и еще раз подумала, что хорошо угадала эту книгу. Много общих мыслей, размышлений, а родился он в 1891 году!

...Что мне еще нравится у Миллера? Отсутствие сюжета, если под сюжетом подразумевать рамку, в которую загоняют героев в определенном порядке, и с ролью, заранее для них приготовленной. У Миллера нет «рамки», и нет ни начала, ни конца (можно добавить — как и в жизни). Допустим, появляется какой-то герой, и он претендует на главную роль. И по всему видно, что он ее заслуживает. И в этот же миг исчезает со страниц с тем, чтобы больше никогда на них не появиться...

И напрасны ваши поиски, читатель. Он был, но вот его нет и не будет. И точка. (Тоже как в жизни...)

* * *

Есть вещи, о которых я писать не в состоянии. То ли из суеверного страха сдернуть некую защитную пленку, которой как коконом окутана всякая жизнь? В основном — да, из-за этого страха. Но существуют и иные запреты — этические, моральные... И, наконец, просто техническая несостоятельность, невозможность облечь в форму речи множество нюансов нашего состояния.

* * *

Проснулась с ощущением, что N ставит какой-то свой эксперимент, и что я являюсь одним из «участников» этого эксперимента. Иногда это вызывает мой гнев, иногда — любопытство. А порой думаю: а не вся ли наша жизнь — только эксперимент, результаты которого в большей или меньшей мере зависят от нас самих? Здесь можно, конечно, запутаться, ведь эксперимент — перманентный; и каждая последующая фаза связана с предыдущей. И получается этакая цепочка, на которой в конечном счете «болтается» наша жизнь.

Надеюсь, что вот так, блуждая в потемках, я выйду, наконец, на освещенную дорожку. Чтобы потом опять погрузиться в чашу незнакомого леса...

* * *

Миллер в своих рассуждениях мне нравится все больше и больше. Его эссе «Мудрость сердца» посвящено И. Грэм Хоу, о котором я прежде ничего не слышала. (Надо найти его и проштудировать.) Цитирую Миллера: «Дисциплину Хоу определяет как искусство *приятия негативного*»...

Я обучаюсь этому искусству с давних пор, с моих первых «озарений», связанных с нашей совместной жизнью, т.е. с соседством человека, устроенного иначе, чем я. Может быть, продвижение по этому пути и допустило нашу полувекую «супружескую связь».

* * *

...Есть разница между *писать* и *описывать*. Надо заметить, что в поэзии не существует «описания». Но вот проза — иное дело: здесь литератор должен все время либо выбирать, либо колебаться между этими двумя столь непохожими полюсами... Когда говорят о «прозе поэта», весь шарм которой сводится, как правило, к отсутствию описания, то тем самым отдают предпочтение бесконечному разнообразию жизни, ее непредсказуемости, ее многополюсности, отсутствию какой-либо четкой принадлежности кому-то или чему-то, т.е. принадлежащей всему всей своей полнотой...

А как же Лев Толстой — возразит читатель. И будет прав.

* * *

Море в двух шагах от меня, над головой — голубое небо, с утра, наконец, освободившееся от холодных серых облаков, слева — такие знакомые очертания горной гряды Мор, а справа — совершенно незнакомые туманные острова... Мелкие детали: эмалированный чайничек, желтая чашка, кружок лимона дополняют картину, ибо что как не детали отличаются вчера от сегодня и сегодня от завтра.

В зале, где я расплачиваюсь у кассы, царит полумрак. Стены скупо украшены «обломками кораблекрушения» — рында, штурвал, астролябия; корабельные часы в надраенной медной оправе...

Стоило выпасть из ежедневной городской суеты, как жизнь потеряла свои четкие очертания. И вот тебя начинает носить и болтать «как щепку в океане» — так сказал бы сухопутный человек. Но я, выросшая на берегу моря и отчасти — или по большей части — воспитанная им, не удовлетворяюсь этим безличным общим образом. Я с резкой отчетливостью вспоминаю свое единоборство с морем; и даже воспоминание о его одухотворенности наделяет эту беснующуюся плоть яркими чертами Божества... Здесь оно притихшее, распростертое у моих ног... И я с лаской гляжу на это пространство, которое задает вопросы — это как игра. И я пытаюсь честно ответить на них...

— Да, я маленькая щепка, выброшенная на берег...

— Да, я целая вселенная; и не только все моря, и горы, и реки — во мне, но и весь космос... я — больше космоса; я больше того, что мы знаем о нем...

Что я знаю о себе?

* * *

По меньшей мере, есть два знания (и тут же всплыли строчки «есть две эпохи у воспоминаний» и перебили мою собственную мысль... вот так...): фактологическое, которое ты сам располагаешь или в хронологическом порядке или в полном беспорядке, и спонтанное, ассоциативное. Надо сказать, что и то и другое искажено и толстым слоем времени, и флером сиюминутного настроения. Впрочем, «сиюминутное настроение» и совершает тот стремительный отбор какой-то одной нити из запутанного клубка памяти.

Разбор фактологической памяти требует дисциплины; спонтанной — вдохновения. Спонтанная память рождает стихи; фактологическая — автобиографию...

Я кручусь и так, и этак, чтобы только уйти от необходимости «рассказа». Рассказ — не мой жанр, и только сильная мотивация может заставить меня двинуться по этому пути...

* * *

Проснулась с мыслью о том, что стихи пишутся «просто»: в голове возникает более или менее отчетливый образ, а потом пытаешься — тоже с большим или меньшим успехом — передать этот образ словами. Ищешь точные слова, все более и более точные, пока, наконец, слова не совпадут полностью с образом. В этом случае можно говорить об удаче. Но это бывает редко. Как правило, то «образ» торчит из-под слов, как нижняя юбка, то слова начинают свой собственный полет. И т.д. «Гул» и все прочее, конечно, присутствуют при этом, но, думаю, что первой посылкой является все-таки образ, часто даже не вполне осознанный. Подсознательный, но именно он волнует, и заставляет найти для него выход — в словах. Иного выхода нет.

* * *

Несколько дней не бралась за дневник, но возвращалась к нему мыслями. В голове вертятся стихи — то свои, то чужие. Тут вот Блок вспомнился, вернее, как это часто бывает, откуда-то пришла строчка. «И перья страуса склоненные в моем качаются мозгу...». Ужаснулась тому, как это плохо. Страус, и, особенно, «мозгу»... Ей-богу, к «берегу» он мог найти другую рифму. Мог, но не хотел, не считал нужным?.. Каприз гения? Ведь нельзя же его упрекнуть в отсутствии вкуса (его выступление на юбилее Пушкина!)... Но часто думаю о том, что *они*, жившие в начале уже прошлого века, были иными, их критерии — это не наши критерии; и наше отношение к Блоку не должно быть похожим на отношение к нему его же современников. Мы как бы многое о *них* знаем, но, в конечном счете — не знаем ничего, потому что время — это такой хитрый фильтр, который категорически меняет окраску восприятия...

(Люблю весь его образ, облик; весь монолит его поэзии. Русская поэзия — и Блок в ее первом ряду.)

* * *

Сегодня День победы. Более полувека тому назад мы встречали этот день в Костроме (там в Инженерном училище, эвакуированном из Ленинграда, служил отец). Кострома в моей памяти отмечена семейным уютом, открытой печной дверцей, за которой бушует огонь, и городскими пожарами тоже, деревянной каланчой на базарной площади...

Вьется в тесной печурке огонь,
На поленьях смола как слеза,
И поет мне в землянке гармонь
Про улыбку твою и глаза...

(Эта песня, любимая мамой, всегда возвращает меня в Кострому...)

В Костроме я пошла в первый класс, и помню круглое доброе лицо и забранные назад волосы моей учительницы. Я засыпала на уроках — и она говорила маме — «Уж больно мала», с ударением на *О*. Не знаю, чему я научилась в первом классе, но на следующий учебный год *оканье* привезла с собой в Ленинград, и в школе надо мной смеялись...

С Костромы началась моя дружба с братом.

И в Костроме родилась моя любовь к среднерусской природе, к ее прозрачным «нестрашным лесам» (страшные пущи были потом, в Белоруссии), кудрявым березам, полянам, покрытым шелковой ласковой зеленью.

Светлое песчаное дно мелкой лесной речушки. Желтые пескари. Черные запятые головастика. Зной. Стрекозы, шуршащие над водой. Сильный водяной запах кувшинок. Сами кувшинки. Вдоль берега — кусты красной смородины...

И веселый смеющийся отец. Этот залиvistый смех унаследовал от него Саня.

Летом мы жили в деревне, неподалеку от военных лагерей, в крестьянской избе. Мы, дети, часто за хозяйским столом хлебали к вящему ужасу мамы из общей миски то тюрю, то молоко, с накрошенным в него ржаным хлебом, только-только вынутым из печи. К вечеру с деревенскими ребятами с хворостинками в руках встречали стадо. Со страхом, от которого замирало сердце, прятались за изгородью от свирепого взгляда быка. В какое-то лето с нами жила моя «родная двоюродная сестра» Люся, которая бегала за табунком, картавя — «жереб, жереб», и мы долго ее так и дразнили — «жереб». Да она и была похожа на жеребенка, длинноногая, голенастая...

Долгие беседы отца с нашим «хозяином», их разговоры на завалинке; и папины пересказы маме, в которых он восхищался зрелым крестьянским умом, «смелым», «личным» мнением «старика»...

(Напрасно родители думают, что маленькие дети ничего не слышат и не видят. Конечно же, я не понимала многое из того, о чем они говорили, но вот запало же в сознание, что имя Сталина «старик» произносил без привычного придыхания... Нам, крошечным детям, это имя уже знакомо... Вот мы с Саней в Костроме в детском саду под его портретом, украшенным гирляндой из еловых веток, жуем овсяную кашу, и никак не можем ее проглотить. Мы одни в столовой — все дети уже поели и где-то там играют... А мы как бы наказаны за медлительность; и нам велено все до есть — под строгим взглядом вождя...

Вот так и связалось на всю жизнь отвращение к овсянке с этим портретом и страхом перед наказанием...)

* * *

От воспоминаний устаешь. Этот взгляд назад требует больших усилий... Этаким психоанализ. И потом надо все это облечь в адекватную литературную форму, с тем, чтобы события и люди ожили. Каждое слово должно соответствовать правде. Можно писать как угодно: «красиво» или «некрасиво», но ставя перед собой только одну цель: прошлое должно быть живым. Во всяком случае, такая задача стоит передо мной.

* * *

Есть ли разница между *желанием* и *хотением*? А если есть — то какая? Мой ответ: Желание спроецировано в будущее. Хотение — сиюминутно... Есть люди, которые одержимы *хотением*; другие живут *желанием*...

* * *

Оказывается, я выбрала себе на редкость облегченный стиль работы. Почти что как акын — что вижу, то пою, только что модуляций несколько больше... Никаких мук творчества — если что-то «не идет», перехожу на другую тему, если вообще нет никаких тем, пишу «о погоде»... (Кстати, о погоде: на редкость холодный май... И как несколькими страницами выше я мечтала — Йер, Йер, так теперь я мысленно собираюсь в Сан-Тропез, и, можно сказать, мысленно уже собралась...)

Связано это, вероятно, с тем, что я всю жизнь бегу от ее сложностей, от конфликтов, а она только ими и наполнена, только ими и живет... Выбор невелик: или ты принимаешь бой, или становишься конформистом. Или? Я хочу жить вне боя и не быть конформистом. Кто это прозвизгнет — над битвой?..

Я помню, как я сказала папе: «Я созерцатель...». Он уточнять ничего не стал, а только посмотрел на меня даже с какой-то жалостью...

Было это в апреле 1994 года — в мой первый приезд в Крым после эмиграции — спустя 15 лет...

* * *

Итак, мой первый приезд в Крым, после «перестройки» и формального разрешения «посетить»...

Предшествовали этому волнения и раздумья, пресеченные N — «надо ехать»...

И вот, «Я вернулся в свой город, знакомый до слез» в состоянии радостной эйфории. Все складывалось замечательно — и пересадка в Моск-

ве (там меня встречал Т.З.), и попутчик «от двери до двери» (Володя Коваленко). И даже поезд, который вез нас в Симферополь, был чистый и гостеприимный...

И над всем этим витало ощущение, что меня перевозит Харон в «обратном направлении»...

Ощущение чуда длилось и длилось: я вернулась в ту же обстановку, которую оставила когда-то. Вероятно, этот подарок был задуман небом — ужать, сплющить до невидимого размера 15 лет жизни. Мои камни были на месте, трещина на асфальте не стала ни уже, ни шире, пятна на полке не поменяли своей конфигурации... Но, самое удивительное — ничуть не изменился отец: глаза блестели, белая шевелюра отливала чистым серебром, смех был так же заразителен...

Это потом, на следующий год, я вдруг увидела, что отец постарел, что стены дома осели, что берег размыло. А дорога не заасфальтирована, потому что Крым брошен и заброшен — как и все остальные провинции империи... Нищета и разруха, и растерянность — вот что я увидела в следующий свой приезд, на следующий год...

А пока что... Я ходила по городу, не веря в его реальность, и все-таки верила — и благодарила машину времени, в которую мне посчастливилось попасть... Я узнавала каждый дом, каждый спуск, каждую лестницу, каждую дорожку Воронцовского парка...

Поднялась на кладбище, убрала с могилы старые листья, сухие ветки. Спустилась на пустой пляж, сидела, обхватив руками колени...

Перекусили на нашей кухне — хлеб, лук, какие-то консервы. «Как все-таки мало надо человеку...», — сказал отец, и я согласилась с ним... И тут же подумала: «Нет, надо много, надо всё»), но ничего не сказала, потому что это всё было тоже здесь, а не «из другой оперы»... В общем-то, мы оба были правы...

* * *

...Сегодня прокрутила на своем компьютере фильм Киры Муратовой «Настройщик», который случайно у меня оказался и месяца два пролежал на столе. Но вот пришло время вернуть его владельцу, и я решила посмотреть... Фильм не понравился, но «произвел впечатление». «Новая» Россия, «новые» проблемы, «новые» способы выражения, и не мне, казалось бы, судить. Но если судить — *больная эстетика, дурной вкус, дурное представление о жизни как таковой*... И чем талантливее художник, тем ужаснее его корчи — и корчи эти ложатся на экран... Когда я «сталкиваюсь» с «новорусскими» (и не только с новорусскими) произведениями

искусства — будь то живопись, литература, кино — впечатление такое, что «нравственные ориентиры» утеряны (а может быть, просто меняются, но нам уже не успеть за этим «поездом»).

Впрочем, кино уберем из этого списка: это нечто отдельное... Хотя и его основной темой стала «патология»... А главной «художественной задачей» — Каннский фестиваль и кастинг звезд... Кто в каком платье... (Причем, только недавно узнала, что платья и украшения выдаются на прокат крупными фирмами, для *рекламы* — а мы еще говорим об «искусстве кино»...) «Люди гибнут за металл...» (И искусство — тоже. «Выживают самые сильные...»)

Исключения только подтверждают правило — и сказала это не я...

* * *

Интересно, что будут говорить обо мне после моей смерти? По моему, я слишком «правильная», то есть, немножко «пресная»... А вспоминают только эксцентрику, экстравагантность... Я помню, как N произнес с улыбкой: «Женщина, которая всегда права...» Комплимент, но сомнительный...

* * *

Вчера взяла с полки «Дневники» Кафки... Сплошная боль...

В Интернете нашла (по подсказке Рема) несколько страничек дневника Наума. Его голос, его стиль, его отношение к жизни — все мне близкое... Кроме: он «поначалу» поверил в «дело врачей». Вот этого-то я не могу понять... И это как бы отменяет все иное, то, с чем я согласна?.. Или означает, что он не совсем *тот* человек, каким я себе его представляю?.. Но ведь он сам в этом сокрушенно признается... Значит, даже самые лучшие были *оболванены*... Но ведь были, были же и *необолваненные*... Видимо, масштаб личности и определяется тем интуитивным *знанием*, которое Кафка называет *истиной*. И не могу отказать себе в удовольствии процитировать его здесь — самой себе на память: «Истина — то, что нужно каждому человеку для жизни и что, тем не менее, он не может ни у кого получить или приобрести. Каждый человек должен непрерывно рождать ее из самого себя, иначе он погибнет. Жизнь без истины невозможна. Может быть, истина и есть сама жизнь». (Из «Разговоров Густава Януха с Францем Кафкой».)

Вчера вечером позвонил Саня — мой «стойкий оловянный солдатик»... Его действенная любовь к папе — не чета моей, «созерцательной»...

«Погрузилась» в Кафку... Чудо-чудо-чудо — но еще и *братство*...

* * *

Может быть, от усталости плохо спала, но помню какие-то обрывки снов: помещение «Русской мысли»... Иосиф Бродский, который приглашает меня куда-то... Наташа Горбаневская, голова обвязана то ли платком, то ли полотенцем (здоровается очень холодно)... Александра Милорадович... еще кто-то из «своих»... А я брожу из комнаты в комнату и ищу свою черную сумку, и никак не могу ее найти... И как будто там же — Борин отец, в постели, уставший. Душно, я предлагаю ему открыть окно, он, повернувшись к стене, просит «оставить его в покое...». Комната большая, светлая — но свет электрический, холодный, белые простыни...

* * *

Вчера был концерт, на котором я впервые услышала музыку Кирилла в исполнении струнного оркестра (исполнялись аранжировки его «Variations éphémères», написанных для фортепьяно). Программа была составлена так, что до него исполнялась музыка Моцарта, а после него — Грига. Боялась, что в таком окружении Кирилл «пропадет». Но, как ни странно, не пропал, напротив, вдруг слова «современная музыка» приобрели для меня новый смысл... Это было совсем иное, я узнавала «наше время», которое стерло четкие ориентиры — и надо обладать особым чутьем, чтобы «не заблудиться». И я узнавала Кирилла — с его ранимостью, уязвимостью, с его погруженностью в самого себя. И его «абсолютный вкус» — (как определил один композитор, когда 18-летний Кирилл играл ему свои первые вещи... Я, помню, еще переспросила: «Абсолютный слух?» И он повторил — вкус...).

* * *

Странное чувство, что человечество нравственно возвращается к доисторическим временам, в первый класс цивилизации. Кумирами публики становятся толкователи христианства на свой манер, писатели, взявшие на себя роль учителей: Паоло Коэльо, например (его «Алхимик» был еще куда ни шло, но внимание средней публики его «развратило», и пошла средняя продукция...). А вот теперь новый кумир, новый бестселлер; и уже фильм и деньги-деньги-деньги... (Дэн Браун, «Код да Винчи»). Бедная «Мона Лиза» — сколько спекуляций вокруг нее, сколько маек, чайников, кружек, подтяжек... Это надо было бы запретить законом...

* * *

Слушаю Сонату Кирилла в исполнении Нино — очень хорошо. Только надо попробовать отстраниться и забыть, что это музыка *моего сына*...

* * *

Сегодня получила по почте «Дневники» о. Александра Шмемана. Даже с первых страниц стало ясно — *единомышленник*. Теперь, я знаю, эта книга будет меня тянуть как магнит; и будет это в ущерб моему собственному писанию...

(Почти всегда, когда беру в руки новую книгу, начинаю ее листать с конца к началу. Иногда на этом знакомство и заканчивается. И вот «Дневники», и указатель имен: Мандельштам, Кафка, Ахматова, Бродский, Соловьев, Тютчев... Так что и с последних страниц ясно — *единомышленник*...)

* * *

На тему о браке: поженились по молодости, жили по глупости, а стареют по расчету... Вот такой придумала афоризм...

* * *

Вчера вечером погрузилась в «Дневники» о. Шмемана, искала знакомые имена, находила, останавливалась на какой-нибудь случайной фразе и не могла оторваться... — все мило сердцу; и особенно эта спокойная тональность, о чем бы он не писал. И дневник — по определению разрозненные записи — в этом случае читается как цельная книга, в которой есть идея, язык и личность автора. Сразу становится ясно, что этот человек любил жизнь и мир, любил людей. Влюблялся в человека — и не его вина, что зачастую потом приходило разочарование. Но как деликатно и спокойно анализирует он и свою влюбленность, и свои разочарования.

Пресекаю в себе желание цитировать о. Шмемана, боюсь, что иначе мой дневник превратится в сборник цитат. Но все-таки не откажу себе в удовольствии поделиться маленькой находкой — уже на границе сна. На странице 487:

«Четверг, 1 ноября 1979

Ноябрь. С детства один из любимых месяцев. И потому, должно быть, чаще, чем другие, подстрекающий меня к воспоминаниям о детстве».

И тут же выплыло мое, написанное в 1978 году:

Ноябрь. Знаю только, что он одинок,
Он — сам по себе, ни тепло и ни холод,
Но именно он утоляет мой голод
По детству — так царствует школьный звонок.

И его любовь к поэзии, знание поэзии: легко цитирует Пушкина, Фета, Тютчева, Аннинского, Комаровского... Мандельштама, Соловьева, Ходасевича, Ахматову, Блока... Георгия Иванова, Гиппиус... И всегда «точ-

ное попадание», и всегда с почтением... Создается впечатление, что через поэзию проверял самого себя. Какой почет — и какое немислимое признание силы за *словом*...

Это как друга потерянного найти...

* * *

О самом сокровенном говорить трудно, нельзя, невозможно — как невозможно говорить о Боге. О Церкви — можно, о религии — можно... (Это все в связи с «Дневниками» о. Шмемана.)

Только поэзии все «разрешено»...

* * *

Вчера допоздна читала о. Шмемана. Еще раз подивилась его готовности, способности *любить* людей, *влюбляться* в них. На сей раз речь шла о Солженицине — говорит о нем *пока что* в превосходной степени (выход «Архипелага Гулаг», его высылка, «начало»). И тут же приводит целиком текст письма А.С. — как заносчиво, как искусственно оно прозвучало, вкрапленное в речь самого о. Шмемана. Какое самолюбование, какая гордыня. И как охотно и радостно о. Шмеман ставит его *выше* себя...

Упоминает о встречах с Бродским — готов любить его всем сердцем... Говорит о его растерянности (только-только появился в Америке), о людях, которые окружают его (вижу и их — слависточки в «брючках»). Вижу «как наяву»: о. Шмеман, Иосиф Б., «затесавшийся» Купер... Нет и нет — они ему не *единомышленники*... Но какое желание принять, понять, простить... И как трудно быть достойным его любви...

* * *

Читая о. Шмемана, все время думаю о папе, о их похожести: светосносы, певцы небес... О. Шмеман часто, почти всякий раз, пишет о закатах, о голубизне, высоте, покое или беспокойстве неба... И почти всякий его выход из дома — это в первую очередь свидание с небом.

И папа в шутку называл себя «небист» — по аналогии с маринистами, анималистами, пейзажистами... Нет у него ни одного пейзажа, где бы небо не играло «главную роль».

Я живу с его акварелями, которые висят в моей спальне, и первое, что вижу, просыпаясь, это весеннее безмятежное небо над Оползневым и предгрозовое, суровое — над розовым февральским безумием цветущего миндаля...

* * *

...Его любви все достойны, а мы, человеки, выбираем, «крутим носом»...

* * *

...«Теоретически» мне нравится, как о. Шмеман говорит о *богатстве* и *бедности*... Он против «нищеты», но «за бедность», которую понимает не как отсутствие чего-то, а как достаточность того, что есть... С другой стороны так может писать только человек, которого самого нищета, бедность *в нашем понимании* не коснулись. И это не в упрек ему — слава Богу, что не коснулись...

Я как-то сказала Майе: «Твое богатство иногда *мешает* мне; и в какой-то мере нашим отношениям...» И она ответила: «Оно и мне иногда *мешает*...»

* * *

...Вечер, поздний вечер. Посмотрели по телевизору фильм о Моцарте Милоша Формана. Взволнована «напоминанием»: «гений и злодейство несовместимы», а гений и нищета, поругание и смерть — очень даже совместимы. И в наше время и всегда...

* * *

...Заметила, что когда пишу о чем-то «сегодняшнем», как бы плаваю на поверхности, а подо мной глубина, которая и есть моя жизнь — и всю ее так живо, отчетливо «вижу»...

В этой глубине самое яркое — детство, и именно Крым, Саня, дом, отец... И, конечно, мама, очень ясно, но в некотором отдалении: все-таки с ней я так давно рассталась... Но вот что интересно: вдруг в каком-то своем повороте, жесте, движении руки, пальцев вижу ее, узнаю ее в себе, хотя *как бы* внешне мы не похожи... И тогда понимаю, что никакого отдаления нет...

* * *

По поводу глубины... «Наше» море было для нас не только гладью, поверхностью, но и подводным миром, который мы так же хорошо знали, как и надводный: всю «топографию» дна, все эти камни, подножия скал, заросли водорослей... Мир, в котором то стремительно, то лениво проплывали рыбы, сновали крабы, парили медузы (это оттуда выбор профессии: гидробиология, ихтиология)...

Одной из любимых забав было смотреть из-под воды на Солнце... И тогда этот «иной мир» становился и вовсе уютным...

Где-то между двумя «Солдатами» слева от «Пианинки» лежал на дне мой любимый камень с углублением в форме «кресла», светлый, отполированный морем. Как мне не хотелось из него вылезать — только когда уже совсем не хватало воздуха... (И, конечно, никаких масок, ласт, темных очков, кремов от или для загара, ничего этого в нашем детстве не было...)

Мы жили в море не как рыбы, а как «водные млекопитающие»...

* * *

Вообще-то, понятие «наше море», возникло с переездом на Приморскую (на самом деле приморская, в 20 метрах от моря), состоящую из шести домов. Был это, вероятно, 49-й год — я перешла в пятый класс... Перед этим мы какое-то время «снимали комнату» на Черном бугре, рядом с «Араминтой», в которой потом жили Ира Филиппенко и Галя Егорова, мои подруги и одноклассницы...

«Араминта» интриговала нас и пришедшим откуда-то именем своим, и своей архитектурой — фасад в псевдогреческом стиле, колонны. Я помню, как ее начали подкрашивать и заселять — превратив таким образом в большую коммунальную квартиру...

А до этого времени она вся принадлежала нам, детям — для наших игр... Но было что-то жуткое в этом контрасте между «красивой» архитектурой и ее заброшенностью, захламленностью, запахом погубленного жилья...

Построена она была в прежние времена вероятнее всего под пансионат...

* * *

Сегодня День летнего солнцестояния. И день объявления войны, 22 июня...

* * *

Вчера днем пыталась в словарях и по интернету найти значение слова «Араминта» — в словарях нет ничего, а в интернете многократное упоминание книги американского писателя Джека Вэнса «Станция Араминта» (не читала); а также в списке... *имен кошек*...

Теперь уже, объехав всю Европу, и частично — Америку, побывав в Японии и на Ближнем Востоке, я часто вспоминаю слова Володи Ковален-

ко, нашего парижского друга, который родился и вырос в Алуште: «Крым подготовил нас ко встрече со всем миром...».

Но мы-то, дети, поселившиеся в Крыму, ничего не знали об этой земле, расположенной в центре Европы (и школа совершенно не была призвана ознакомить нас ни с ее древнейшей, ни с новейшей историей). А уж о выселении татар молчали тем более (а если и преподносилось кое-что, то это кое-что было, как всегда, о «врагах»).

Это уже потом я узнала, что история (записанная) «моего» Крыма началась в VII века до н.э. с проникновения греков (поэтому я и Грецию считаю «своей»). В V веке до н.э. — Боспорское царство, III–II вв. до н.э. — центр Скифского государства, с I века н.э. — часть Римской империи, затем Византийская, за ними — Османская (Крымское ханство)... (Редкая страна может похвастаться такой богатой имперской историей...)

И наконец, в 1783 году Крым был завоеван Россией и, таким образом, включен в состав еще одной империи...

(...А в 1954 году произошло бесславное присоединение Крыма к Украине, которое застало меня в 10-м классе Алупкинской средней школы; и ходили слухи, что нам придется сдавать украинский язык на аттестат зрелости...)

Так что визуально «наш» Крым был «смесью» множества стилей: от остатков греческого Херсонеса, минаретов Бахчисарая до русского ампира (дворцы, виллы и дачи). И теперь в моем сознании *Араминта* ассоциируется с *Армирина*, а *Симеиз* не только именем своим, но и стилем похож на *Cimiez* (квартал в Ницце); и, несомненно, весь оттуда и пришел...

Перечитала абзацы о *Крыме*: что же это за судьба такая «переходить из рук в руки...»? И подумала, если на самом деле *судьба*, значит быть моему Крыму и дальше в чьих-то *руках*... И то правда — невозможна его самостоятельность... («Почему-то» по-французски Крым женского рода — *La Crimée*... Может быть поэтому его (ее) все время хотят заполнить?..)

* * *

По-моему, моя маленькая хитрость — соединить «дневник» и «прозу» — терпит фиаско. Присутствие гипотетического читателя меня сковывает, и много *моего*, важного для меня остается «за бортом». Так что попробую — все-таки — вести разговор с самой собой, а не с *ним*...

Через час должен появиться Саша И. со своим семейством; и в ожидании их мне трудно сосредоточиться на чем-то. Только мелькают обрыв-

ки каких-то «волнений» и «видений». В «перерывах» читаю Дневник Кафки — и поддаюсь его минорному тону. Увы, Кафка не самый веселый собеседник, но какой интересный — и *мой*...

Сегодня утром, поливая свой садик, подумала о том, что человек привыкает к любому «масштабу». (И это тоже на тему о том, что человеку надо *мало*...) Хорошо, если есть гектар земли, а если нет — достаточно и одного маленького садика, или — даже — одного кустика, одного растения. S., например, воткнула семечко тыквы в землю на Place d'Ormeau, и теперь с любовью ухаживает за нежным зеленым побегом...

Этой весной на Place Voltaire, в яркий солнечный день: вдруг увидела *как бы* со стороны мельтешение машин вокруг площади, их скрежет, маленьких людей на переходах, и как укол — не может *вот это* быть единственной реальностью...

И опять любопытство — что же *это* такое, и что за всем *этим* стоит?..

И опять: что такое *свобода*, то есть *абсолют*, если и она ограничена смертью? Или свобода и заключается в принятии смерти?

Александр ГАМБАРЯН

/ Тель-Авив /



СВОБОДА СЛОВА И ГОСУДАРСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ¹

БАГАЦ 73/53 Коль А-Ам против Министра Внутренних Дел

К 1953 году Израиль окончательно перестал дружить с Советским Союзом и перешёл в американский лагерь. Для страны, созданной социалистами и воевавшей за независимость советским оружием, поставленным через Чехословакию, это был очень крутой поворот, и коммунистическая партия была в то время серьёзной силой. Как водится, у каждой уважающей себя партии есть газета — её рупор, и таким рупором была газета «Коль А-Ам», в переводе — «Глас Народа».

В те времена Америка вела войну в Корее, и каждой стране надо было определиться, с кем же она дружит — с коммунистами или с капиталистами. Израиль сделал свой выбор, и в 1953 году в газете А-Арец появилась новость о том, что глава государства Бен Гурион договорился с США об отправке 200 тысяч израильских бойцов на войну в Корею. Новость оказалась высосана из пальца, да и её абсурдность была понятна каждому думающему человеку — однако её было достаточно для того, чтобы вся израильская прогрессивная общественность была возмущена империалистическими планами подлых капиталистов. В Гласе Народа опубликовали редакторскую статью, где не скупилась на «комплименты» правительство.

«Правительство Бен Гуриона открыто присоединилось к лагерю разжигателей мировой войны», гласила передовица. Фразы вроде «они торгуют кровью нашей молодёжи» и прочая коммунистическая риторика очень опечалили правительств о, и министр внутренних дел вспомнил о том, что было ещё до создания государства. А до объявления независимости Палестина была британской колонией, на которую у Англии был мандат от Лиги Наций. И, соответственно, законы здесь были английские, только и не законы даже, а указы короля, потому что Парламент Объединённого Королевства имел юрисдикцию только в Великобритании, а колонии управлялись лично Его Королевским Величеством.

¹ Главы из книги. Полностью «Алетейя» 2015 г.

В своё время Его Величество позаботился об общественной безопасности, и издал указ, позволяющий закрыть газету особым распоряжением министра, если этого требует безопасность государства. Министр внутренних дел Государства Израиль решил воспользоваться очень кстати вытасканным из архивов указом (на основании которого англичане закрывали еврейские газеты, призывавшие к независимости и созданию еврейского государства), и дал приказ — закрыть коммунистический Голос на десять дней, дабы госбезопасность не пострадала от распространения кровавых наветов на наше дорогое правительство.

Газета не смогла молчать — ну как же замолчит глас народа? — и подала в суд. Несмотря на то, что право закрыть газету было чётко прописано в оставшемся ещё с подмандатных времён законе, адвокаты газеты утверждали, что министр внутренних дел воспользовался этим правом не по праву — то есть превысил свои полномочия. Непонятно, говорили они, каким образом передовица в газете, хоть и основанная на ложных слухах, может привести к серьёзным проблемам с безопасностью государства.

Небольшое отступление. Когда американцы приняли Конституцию, они вдруг заметили, что чего-то там не хватает. Это что-то — определение прав и свобод граждан, было добавлено в виде десяти основных поправок к Конституции, и с тех пор, когда ссылаются на конституционные права и свободы, упоминают именно эти поправки. Самая первая поправка, номер один — это право на свободу слова, что говорит о том, насколько важно это право в демократическом обществе.

И вот Израиль, молодая демократия, столкнулся с проблемой свободы слова, а Конституции-то нет. Судья Агранат — один из титанов израильской юриспруденции — ввёл понятие о балансе интересов. Простыми словами говоря, надо всё тщательно взвесить. Понятно, что в демократическом государстве — а то, что Израиль им является, написано даже в Декларации Независимости, да и жизнь в диктатуре как-то никого не прельщала — свобода слова является основным правом граждан, правом конституционным даже в отсутствие самой Конституции. Но каждое право не безгранично, и здесь оно сталкивается с правом народа и государства на безопасность. И суд начал взвешивать.

С одной стороны у нас безопасность, с другой — свобода слова. Насколько опасна была статья? Содержался ли в ней призыв к насилию? Есть ли очень высокая вероятность, что газета разожжёт гражданскую войну? Когда на эти вопросы был дан отрицательный ответ, суд сказал — теоретическая вероятность опасности не может заставить замолчать оппозиционную газету, ибо в демократическом обществе рупор оппозиции — это важнейший инструмент сдерживания власти, а сдерживать её надо. И даже если слухи оказались ложными, а отправка двухсот тысяч на фронт — это дурацкая журналистская утка, и зазря газета ругает правительство в сильных выражениях, демократии важна критика, даже несправедливая — иначе возникает угроза диктатуры.

Газета коммунистов выходила ещё долго, и тихо скончалась в 1975 году ввиду отсутствия спроса на коммунистические идеалы. А в домах у израильских пенсионеров до сих пор можно увидеть портреты и бюсты Ленина и Сталина, оставшиеся с тех времён, когда Советский Союз казался светочем и оплотом свободы всего прогрессивного человечества.

ПРАВО НА СОБСТВЕННОСТЬ И ИЗРАИЛЬСКИЙ КОЛХОЗ

Дело 8621/93 Банк Мизрахи против Мошава Мигдаль

В июне 1921 года в Палестине, недалеко от Петах-Тиквы, был создан Эйн Ганим, первый мошав — кооперативное сельскохозяйственное поселение. Социалистическая идеология, которую разделяло большинство активистов второй алии (так традиционно называется волна евреев, прибывшая в Эрец-Исраэль преимущественно из Российской Империи в 1904-1914 годах), вдохновила образованных и интеллигентных людей на работу в сельском хозяйстве. «Свободная алия, еврейский труд» — такой был лозунг у сионистов-социалистов, и под этим лозунгом Палестину заселяли еврей-энтузиасты.

В отличие от киббуцев, ставших коммунистическими «государствами в государстве», в основном мошавы не делили всё поровну, а существовали (и до сих пор существуют) по принципу кооперации — обрабатывая землю, принадлежащую семье, мошавники вкладчину закупали необходимые для обработки земли удобрения, и вместе занимались реализацией выращенной в мошаве сельхозпродукции. Были и менее распространённые мошавы с общественным строем, где земля принадлежала всем членам кооператива и совместно обрабатывалась, а доходы делились поровну — похоже на разницу между колхозом и совхозом в Советском Союзе.

С созданием Государства Израиль мошавы стали играть важнейшую роль в обеспечении окружённой врагами страны продуктами питания, и даже наладили экспорт сельхозпродукции во многие страны мира. Они стали становым хребтом израильского сельского хозяйства и примером того, как может успешно функционировать социалистическая система, а домик в деревне и небольшой надел земли перестали быть уделом отсталых крестьян.

Наступили пятидесятые годы, и в Израиль хлынула новая волна алии — на сей раз из арабских стран. Государство оказалось не совсем готово к приёму сотен тысяч беженцев, жилья в городах катастрофически не хватало, и многих репатриантов расселили по мошавам, заодно создавая и новые, целиком состоявшие из вновь прибывших евреев с востока. Опыта в приёме такого количества новых репатриантов у молодой страны не было, и финансово поддерживаемые правительством новые сельскохозяйственные кооперативы не получили помощи в подготовке руководящих кадров.

Шли годы, мировая экономика двигалась в сторону индустриализации, и Израиль не остался в стороне от глобальных тенденций. Старое сельское хозяйство не выдерживало конкуренции с модернизированными производителями, руководители должны были постоянно совершенствоваться — и начался аграрный кризис. Государство помогало деньгами, киббуцы получали огромные дотации, но кризис был системным. И вот пришли восьмидесятые годы, стремительно взлетели акции банков — и многие руководители сельских кооперативов решили, что пришло спасение, вложив общественные деньги в самый надёжный финансовый инструмент — акции банков.

Биржевой пузырь лопнул, ещё глубже затянув аграриев в долги. Всё вместе — неудачные инвестиции, некомпетентное руководство, общая си-

туация на рынке сельхозпродукции — толкнуло мошавы в долговую яму, когда проценты по кредитам росли быстрее, чем возможность фермеров расплатиться, и весь аграрный сектор израильской экономики оказался под угрозой. Кризис грозил лишить многие семьи самого главного, что у них было — земли, а значит, и средств к существованию.

В 1992 году были приняты два Основных Закона — О свободе Предпринимательства и О Достоинстве и Свободе Человека. В том же году по инициативе депутата кнессета Гедалии Галя был принят так называемый «Закон Галя», в соответствии с которым огромная часть долгов мошавов списывалась, а для того, чтобы получить оставшиеся после списания долги, кредиторы вместо суда отправлялись в специально созданную организацию, главная цель которой была не снять деньги с аграриев, а сохранить мошавы от разорения.

Банк Мизрахи, которому мошав Мигдаль был должен значительные суммы денег, обратился в суд, и выступил против нового закона, лишившего его возможности вернуть деньги в полном размере. Областной суд не принял позицию банка, и дело рассмотрели судьи Верховного Суда. Банк поставил под сомнение конституционность Закона Галя — ведь в Основном Законе о Достоинстве и Свободе человека одной из защищённых ценностей стало имущество, а списание долгов означало удар по имуществу банка.

Решение, которое вынес судья Аарон Барак, стало основным источником конституционного права Израиля, и нет студента юрфака, который не стал бы от необходимости изучить 519 страниц вердикта. Может ли Кнессет принять закон, противоречащий Основному Закону, защищающему имущество? Дело касалось не только банка Мизрахи — надо было решить принципиальный вопрос о критериях конституционности законов, о степени вмешательства суда в законотворческий процесс, о том, какую защиту гражданам дают Основные законы государства.

Отвечает ли закон, ущемляющий в правах кредиторов, на два основных требования — желательной цели и соразмерности? Насколько оправдан тот ущерб, который нанесён кредиторам? Аарон Барак встал на сторону мошавов, прежде всего проанализировав цель, с которой приняли «Закон Галя». Спасти израильское сельское хозяйство как сектор экономики и тысячи семей от разорения — цель достойная. Идея еврейского труда и те ценности, на которых основано Государство Израиль, требовали защиты, и закон дал им эту защиту. Насколько соразмерен ущерб, причинённый банкам, той цели, которую преследовал закон? Очень небольшой процент банковских активов пострадал от решения Кнессета, и по сравнению с тем уроном, который был бы нанесён мошавам и сельскому хозяйству в целом, удар по банкам соразмерен цели.

Решение Верховного Суда, хоть и не отменило закон, говорило о возможности отмены, и это стало поводом для критики политиков и юристов, выступающих за исключительное право законодателей проводить законы по своему усмотрению. Кнессет отрицательно отнёсся к идее ограничения своих полномочий, однако суд сказал своё веское слово, и депутатам пришлось смириться. Движение мошавов было спасено, и до сих пор в специально созданных организациях разбираются долги мошавов, исходя из стремления уберечь от банкротства семьи, посвятившие себя обработке земли Израиля.

ИНОСТРАННЫЕ РАБОЧИЕ И ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ

БАГАЦ 11437/05 Кав Ле-Овед против Министерства Внутренних Дел

Четыре заповеди о любви есть в Торе — одна заповедует любовь к ближнему, одна — к Всевышнему и пророкам, а две — к «геру», то есть чужому, нееврею, живущему или работающему в Земле Израиля. Во Второзаконии (ивр. «Дварим») написано — «И возлюби чужого, ибо чужими вы были в стране Египетской», а в Книге Левит («Ва-Икра») — «И как гражданин будет чужой среди вас, и возлюби его, как самого себя, ибо чужими вы были в стране Египетской». Есть и конкретные указания о помощи бедным, сиротам и чужакам — как помощь деньгами, так и запрет на сбор всего урожая, чтобы на поле осталось достаточно для пропитания бедняков и чужаков. Так еврейская традиция защищала чужаков ещё в древние времена Царства Израильского.

Когда в начале XX века евреи вновь заселяли Палестину, одним из столпов идеологии сионизма был еврейский труд. С трудом пробравшиеся на родину предков интеллигенты — юристы, учёные, журналисты, инженеры — обрабатывали поля, собирали апельсины, работали на фабриках, воссоздавая еврейское государство на Святой Земле, государство, где евреи и правят, и работают на всех работах. Еврейские крестьяне, рабочие, солдаты — какие только стереотипы не сломали идеалисты, воплотившие в жизнь двухтысячелетнюю мечту угнетённого и рассеянного по всему миру народа.

Прошло время, было создано Государство Израиль, и идеализм сменила прагматичность. Географически изолированное врагами государство не осталось в стороне от глобальных экономических процессов, одним из которых стало присутствие иностранных рабочих. Арабов, которые традиционно работали на стройках со времён Шестидневной Войны, с началом интифады сменили рабочие из Румынии, а позже китайцы. А за пожилыми людьми стали ухаживать воспитанные в католическом духе филиппинские медсёстры, и на улицах всё чаще стали видны старички в колясках рядом с филиппинками, заботливо приглядывающими за своими подопечными.

Число иностранных рабочих росло, и далеко не все из них покидали Израиль по окончании срока действия рабочей визы. Даже нелегальный заработок с оплатой ниже разрешённого законом минимума гораздо выше, чем может принести любая работа в странах третьего мира, и в стране появилась новая проблема — нелегалы. Борьбаться с этим явлением нелегко, а желающих сэкономить на зарплате работодателей оказалось много, и Министерство Внутренних Дел вплотную занялось решением проблемы, угрожающей не только экономике, но и демографии страны.

С 1996 года руководство МВД издало несколько инструкций чиновникам, касающихся борьбы с засильем нелегалов. Под действие инструкций попали и женщины, родившие детей в Израиле — им предписывалось покинуть страну вместе с ребёнком в течение трёх месяцев с момента родов, а уже потом, если все документы были в порядке, женщина могла вернуться в Израиль без ребёнка, чтобы продолжить работу. Возможность остаться с ребёнком была дана в особых и исключительных гуманитарных случаях, впрочем, инструкциями не обозначенных и оставленных на усмотрение иммиграционных чиновников.

Ситуация, когда нелегальные рабочие находятся под угрозой депортации и готовы на всё, лишь бы продолжить работу в Израиле и высылать домой деньги, чтобы кормить семью, позволила многим работодателям воспользоваться слабостью своих подчинённых. Работа за зарплату меньше минимума, отсутствие страховых отчислений, нечеловеческие условия труда — словом, эксплуатация слабозащищённых трудящихся не могла пройти незамеченной в демократической стране, и в 1991 году была создана организация «Кав Ле-Овед» — изначально что-то вроде «линии доверия» для незащищённых рабочих, а впоследствии — одна из самых значительных организаций по юридической защите тех, кто не мог нанять адвоката для того, чтобы отстоять свои трудовые права.

В 2005 году Кав Ле-Овед вместе с другими правозащитными организациями обратился в Верховный суд с требованием отменить практику высылки родивших иностранок из Израиля. У истцов было несколько аргументов против политики министерства. Во-первых, инструкции МВД противоречили Основному Закону о Достоинстве и Свободе Человека и, следовательно, являлись антиконституционными. Во-вторых, в Израиле разработана сильная законодательная база, защищающая рабочие права женщин, и инструкции противоречили законам о труде женщин и о равенстве на работе. И, наконец, в-третьих, Государство Израиль признало и ратифицировало ряд международных конвенций о защите прав женщин, и в том числе — о запрете дискриминации и о равенстве женщин.

С момента подачи иска в Верховный Суд и до вынесения решения прошло немало времени, и только в апреле 2011 года был вынесен окончательный вердикт. Основное мнение по делу (с которым согласились ещё двое судей) вынесла судья Айала Прокаччия, и это стало последним её вердиктом перед выходом на пенсию. За свою долгую карьеру родившаяся в kibbuce судья не раз защищала права человека — именно она обязала государство предоставить койку каждому заключённому, положив конец тюремной практике ночёвки на полу, но её позиция по наказаниям преступникам была жёстче, чем у её коллег.

В основе решения лежала проблема баланса — как найти правильное равновесие между правом государства на защиту от нелегальной иммиграции и сохранение демографической составляющей, и правом женщины на труд и материнство? Насколько права трудящихся, защищённые израильскими законами, должны распространяться на иностранцев? На последний вопрос Верховный Суд давал неоднократный ответ — и Основные Законы, и законы о защите трудящихся не ограничены гражданами Израиля и распространяются на всех.

Проанализировав израильское конституционное право, международные конвенции и прецеденты из мировой практики, судья приняла сторону истцов, дав возможность матерям доработать до конца срока легального пребывания в Израиле. Этот прецедент стал продолжением традиции Верховного Суда — защищать беззащитных, женщин и детей. А согласившийся с решением судья Рубинштейн напомнил о библейской заповеди любви к чужакам, и современное конституционное право оказалось созвучным древним традициям и ценностям еврейского народа.

СВОБОДНОЕ СОГЛАСИЕ И ЗАЩИТА ЖЕНЩИН

Дело 5612/92 Государство Израиль против Офира Беэри

Время — пять дней в августе 1988 года. Место — кибуц Шомрат. Действующие лица — девочка 14 с половиной лет и семеро парней 16-17 лет. Все они учатся в одной школе. Девочка обращается в поликлинику и рассказывает медсестре о том, что с ней спали все четверо, по очереди и даже вместе. Медсестра оказывает ей необходимую медицинскую помощь, но не докладывает о происшедшем в официальные инстанции. Девочка рассказывает обо всём маме, и та обращается в полицию. Арест, допросы, суд. Областной суд оправдывает всех семерых, прокуратура подаёт обжалование на оправдание четверых из семёрки. В деле разбирается Верховный Суд.

Детали происшествия, ставшие известными широкой публике, всколыхнули бурю страстей в израильском обществе. Подросток, в которого влюбилась девочка, спит с ней, а потом «передает» ее друзьям. Друзья рассказывают своим друзьям, и так образуется круг, в который вовлечены семеро старшеклассников. Они хвастаются друг перед другом своими «достижениями», и даже определяют очередь на «свидания» с девочкой. Намёками ей делается предложение, от которого невозможно отказаться — сексуальные контакты в обмен на молчание. Кибуц населением около 400 человек — место маленькое, все друг друга знают, и слово, сказанное о девочке, будет известно всем буквально в тот же день.

Областной суд, где шёл первый процесс, оправдал всех обвиняемых. Свидетельство девочки не вызвало доверия у судей, подросткам же, наоборот, суд поверил. И самое главное — и та, и другая сторона соглашались с тем, что девочка ни разу не сказала слово «нет». Соответственно, решил суд, нет и изнасилования — ведь не было ни сопротивления, ни даже отказа. Оправдание подростков вызвало жёсткую негативную реакцию в средствах массовой информации, и прокуратура опротестовала решение в Верховном суде. В центре юридического спора оказалось толкование того, что можно считать изнасилованием.

Закон гласит — изнасилование есть секс с женщиной без её свободного согласия. Что же такое свободное согласие, и как трактовать молчание — как «да» или как «нет»? Президент Верховного Суда Меир Шамгар вынес прецедентное решение, которое стало вехой в борьбе женщин за свою свободу и безопасность. Решение опиралось на многочисленные прецеденты и источники права, и первым из них была цитата из статьи Эстриха в журнале юридического факультета Йельского университета — «Взгляд на женщин как на автономных людей подразумевает то, что они знают значение своих слов — в случае, если они хотят секса, они говорят «да», а в случае, если не хотят — «нет». Однако это подходит для случаев, если у женщины есть свобода сказать «да» и силы сказать «нет»».

Защита подростков строилась не только на опровержении слов девочки, но и на аргументе «фактической ошибки». Если незнание законов не освобождает от ответственности, ошибка в оценке положения вещей является достаточным основанием для оправдания, так как в этом случае у подсудимого нет «mens rea» — субъективной стороны преступления. Иначе говоря, если подсудимый был уверен в том, что женщина дала согласие, то

его нельзя осудить за изнасилование. Однако не каждая ошибка освобождает от ответственности, а лишь искренняя и такая, которую может совершить обычный человек.

Судья Шамгар посвятил не одну страницу своего решения анализу того, как может ошибаться мужчина относительно согласия женщины. Что происходит в случае, когда девочка четырнадцати лет не говорит ни да, ни нет? Может ли нормальный человек поверить в то, что девочка согласна на секс с семерыми? Принимая во внимание то, что любые сомнения толкуются в пользу обвиняемого, Шамгар всё-таки пришёл к однозначному выводу — нет, такая ошибка не является ошибкой нормального человека. Обвиняемые просто-напросто закрыли глаза на последствия своих поступков, не проявив малейшего интереса к чувствам своей жертвы — закон оказался не на их стороне.

Одним из центральных моментов процесса в суде низшей инстанции, оправдавшей подростков, стали свидетельства членов киббуца о поведении девочки, говорящих о её распушенности и о том, что она «искала мужского общества». Судья Шамгар раскритиковал такую линию допросов, процитировав статью из газеты «Сан Франциско Кроникл» от 1971 года. Речь шла об оправдании насильника на основании свидетельств о доступном поведении его жертвы в прошлом. «Когда человека ограбили, судят грабителя. Когда человека убивают, то судят убийцу. Но когда женщину изнасиловали, перед судом предстаёт не насильник, а его жертва». Не зря в том же году, когда произошло изнасилование в киббуце Шомрат, изменился уголовный закон.

Поправка к закону, которую Кнессет принял в 1998 году, гласила — «Суд не должен разрешать допрос жертвы сексуального преступления о её сексуальном прошлом, кроме исключительных случаев, необходимых для того, чтобы избежать несправедливости по отношению к обвиняемому». Эта поправка положила конец унижительной практике допроса жертвы изнасилования, превращающей её саму в подсудимую, и решение Верховного Суда показало приверженность судебной системы этому закону.

Человек, который хочет зайти в дом, должен прежде всего постучать в двери и попросить разрешения войти. Если же он проникает в дом без разрешения хозяина, он вторгается на чужую территорию, и ведут себя с ним соответственно. Таков закон с начала времён, и сейчас он подкреплён Основным Законом о Достоинстве и Свободе Человека, защищающем право на собственность. И если закон защищает имущество, которое принадлежит человеку, не должен ли он в ещё большей мере защищать тело человека и его достоинство, стоящие намного выше его имущества? Такой риторический вопрос задал судья Хешин, согласившись с решением Шамгара и признав четырёх подростков виновными в изнасиловании.

Для назначения наказания дело вернули в областной суд, где трое подсудимых получили по 15 месяцев лишения свободы, а четвёртый — 12. Решение же Верховного Суда стало, как и сказал судья Гольдберг, согласившийся со своими коллегами, той самой «красной лампочкой», свидетельствующей о неисправности в общественном механизме. С тех пор суд стал человечнее относиться к жертвам сексуальных преступлений — хотя, как убеждены многие адвокаты, за счёт прав обвиняемых, оправдать которых с каждым годом становится всё труднее и труднее.

РАБОТАЮЩАЯ МАТЬ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

Дело 4243/08 Налоговое Управление Тель-Авивского Района
против Веред Пери

В нашем мире есть всего две неизбежные вещи — это смерть и налоги, писал Бенджамин Франклин в 1789 году. Несмотря на научный и технический прогресс, который человечество достигло за прошедшие с тех пор столетия, слова отца-основателя американской демократии и изобретателя громоотвода до сих пор актуальны. Нормальное функционирование государства невозможно без налогов, и основной налог, который взимается с населения — подоходный. Подоходный — это значит, что из прибыли надо вычесть расходы, и тогда получится доход, который и облагается налогом.

Казалось бы, что может быть скучнее налогового законодательства? Конечно, оно представляет интерес для владельцев собственного дела, которым необходимо знать, какие траты можно «списать» как расходы на бизнес. Обед с клиентами в ресторане, обучение на курсах повышения квалификации или в университете, в конце концов, кофе и туалетная бумага для офиса — все эти вопросы рассматривались налоговым управлением, а потом и судами, в которые обращались недовольные налогоплательщики. А видел ли кто-нибудь человека, довольного налогами, которые он платит? Вопрос, по-моему, риторический.

Что же касается обычных наёмных работников, получающих свою зарплату, с ними всё гораздо проще. Расходов на бизнес у них никаких, поэтому налог высчитывается по тарифной сетке — хотя, конечно же, и здесь ничего простого не бывает, и понять всю систему начисления налоговых льгот, полагающихся в каждом конкретном случае, в состоянии только специалист. Для этого существуют специальные фирмы, проверяющие, не слишком ли много налогов содрало с работника государство, и возвращающие разницу за вычетом своей прибыли, с которой они тоже платят налоги.

Итак, с теми, кто платит зарплату, всё более-менее ясно. Вернёмся к людям, работающим «сами на себя» — индивидуальным предпринимателям. Что касается расходов на ведение бизнеса, то все должны быть равны перед законом, это же основное правило современной демократии. Однако есть формальное равенство перед законом, а есть объективная реальность — и иногда они не совпадают. Например, всегда ли равны мужчина и женщина? Может ли формальное равенство по закону привести к неравенству в действительности?

Веред (в переводе с иврита — Роза) Пери не отказалась от материнства в пользу адвокатской карьеры, удачно совмещая воспитание двоих детей и работу в собственной юридической фирме. Но за всё приходится платить — и за право посвятить себя трудоёмкой работе адвокатом пришлось платить за недешёвый детский сад и продлённые группы для детей. Но если бы не детский сад, не работать Веред адвокатом — часы работы у юристов складываются в ненормированный рабочий день, а проще говоря — от зари до зари.

Веред потребовала от налогового управления признать деньги, потраченные на детей в рабочее время, расходами на бизнес. Логика в этом простая — без этих расходов и, соответственно, рабочего времени, которое они предоставляют, управлять своей юридической фирмой просто невоз-

можно. Налоговое управление, трепетно относящееся к доходам государства, было категорически против, и юристу не оставалось ничего иного, как пойти проторенной дорожкой — в суд.

В окружном суде налоговые власти объяснили, почему они не согласны на списание расходов на детей. Еда, лекарства и прочие расходы такого рода — тоже неизбежные, но частные траты, и они не связаны с профессиональной деятельностью. Так и уход за ребёнком нельзя сопоставить с покупкой офисного оборудования или зарплатой секретарше, это не те расходы, которые необходимы для ведения бизнеса. Областной суд не согласился с доводами традиционно самых непопулярных представителей государства, и решил дело в пользу женщины. Конечно же, этим решением не была удовлетворена проигравшая сторона, и дело перешло в Верховный Суд.

Судья Элизер Ривлин начал своё решения с простого определения — «Является ли расход по уходу за ребёнком, необходимый для продолжения профессиональной деятельности, расходом по бизнесу? Это юридический вопрос, стоящий перед нами, и кажется, что закон даёт на него только один ответ». Однако ответ этот оказался не так уж и просто найти, и для этого потребовался детальный анализ закона и принципов налогового права.

Налоговое право, оказывается, неразрывно связано с тем, как выглядит современное общество, и с тем, каким бы нам хотелось его видеть. Если раньше была чёткая модель семьи — муж делает карьеру, а жена сидит дома с детьми, то сегодня общество изменилось, и карьерой озабочены оба родителя, независимо от пола. И в самом деле, на дворе XXI век, нельзя ожидать от женщины отказа от карьеры в пользу материнства — но и материнство не должно пострадать.

Суд разделил расходы на ребёнка на две категории. В одну попали затраты, необходимые для того, чтобы дети не оказались одни дома, брошенные на произвол судьбы — например, оплата в детский садик или бейбиситеру. В другой категории — кружки и секции, в которых дети не столько проводят время, сколько обогащаются грузом полезных (по крайней мере, в теории) знаний. В наш компьютеризированный век, сказал суд, можно легко отделить от другого — всё записано и учтено. Поэтому первая категория входит в деловые расходы, а вторая — нет.

Так работающая мать получила возможность продолжать вести юридический бизнес, а государство лишилось своих доходов, смириться с чем оно не смогло. И года не прошло с момента вынесения решения Верховного Суда, как правительство чётко прописало в законе — затраты на ребёнка не являются расходами на бизнес. Теперь уже дело не в толковании закона и определении частных и бизнес-затрат — буква закона написана чётко, и толкованиям не подлежит. Так оказалось, что победа женщины-юриста в суде была аннулирована правительством и Кнессетом, и теперь борьба перешла на политическое поле, где с аппетитами государства будут сражаться общественные женские организации.

ОШИБКА ПРЕЗИДЕНТА И СОЗДАНИЕ ПРЕЦЕДЕНТА

Дело 3372/11 Моше Кацав против Государства Израиль

Израиль — государство парламентской демократии, как и Англия. Но в Англии глава государства — Королева, а королей в Израиле нет

ещё с давних, библейских времён. Поэтому вместо Королевы в Израиле есть Президент, чья должность в современном государстве аналогична должности современной королевы Англии, а именно — представительская. Президент присутствует на официальных торжествах и важных событиях, навещает в больницах раненых солдат, офицеров и граждан, пострадавших от арабского террора, а также занимается сбором пожертвований на благие цели — развитие науки и помощь инвалидам. Да, и ещё у президента есть реальные полномочия — он может амнистировать преступников. Вот, пожалуй, и всё.

Первым президентом Израиля стал Хаим Вайцман. Он родился на задворках Российской Империи в многодетной семье, в возрасте 18 лет уехал учить химию в Германии, в 25 лет стал доктором химии во Фрайбургском Университете, а в 34 года — профессором Манчестерского Университета. Научная карьера была не единственным занятием Вайцмана, и ещё будучи пятнадцатилетним юношей основал общество изучения иврита, а точнее — возрождения забытого языка.

В 1915 году у англичан закончился ацетон, необходимый для производства взрывчатых веществ, и морская держава оказалась в опасности — запасы необходимых для изготовления ацетона находились в Германии, на территории противника. Профессор Вайцман изобрёл новый способ добычи ацетона методом ферментации, империя была спасена, и Ллойд Джордж с Черчиллем выразили учёному личную благодарность. Именно это открытие сыграло значительную роль в признании Британией права на Еврейское Государство в Палестине.

Восьмой президент Израиля, Моше Кацав, родился в Иране и в 1951 году, в возрасте пяти лет, репатрировался в Израиль. В те годы репатриантов, прибывавших из арабских стран, селили в лагеря на периферии, и семья Кацав попала на юга, в окрестности городка Кирьят-Малахи. Позже семья переехала в сам городок, где Моше стал первым в его истории студентом, поступив в Иерусалимский Университет на факультеты экономики и истории. Впрочем, научная карьера не привлекла Кацава, и уже в 24 года он впервые занял должность председателя районного совета Кирьят-Малахи.

Дальнейшая политическая карьера складывалась удачно — в 32 года Моше Кацав избирается депутатом Кнессета, в 36 становится замминистра, а в 39 — самым молодым в истории Израиля министром. С тех пор он сменил несколько министерских портфелей, от министра транспорта до министра по делам арабского сектора (кстати, в этом качестве он стал первым официальным представителем правительства на траурных мероприятиях памяти жертв бойни в Кфар Касеме). 1 августа 2000 года Моше Кацав стал восьмым президентом Израиля.

Прошло шесть лет, и в июле 2006 года президент обратился к юридическому советнику правительства с жалобой на вымогательство — бывшая сотрудница канцелярии требовала от него деньги за молчание о якобы имевшем место сексуальном домогательстве. Дальнейшие события развивались по принципу снежной лавины — сперва из потерпевшего президент превратился в подсудимого, потом к обвинениям служащей прези-

дентской канцелярии присоединилась бывшая подчинённая Кацава по министерству туризма, обвинившая его в изнасиловании, потом появились ещё две потерпевшие женщины...

Наступил январь 2007 года, и юридический советник правительства публикует черновик обвинительного заключения. Президент страны обвиняется в изнасиловании, сексуальных домогательствах, развратных действиях и принуждении к сексу с использованием служебного положения. Пока длилось следствие, Кацав не подавал в отставку, но после такого обвинения выбора у него не осталось, и президент досрочно сложил с себя полномочия. Теперь у него осталось одно дело — судебное.

В бой вступили адвокаты, и в июне 2007 года было подписано соглашение между прокуратурой и обвиняемым. Согласно договорённости, Моше Кацав признавал вину в сексуальных домогательствах и развратных действиях, и получал наказание в виде условного срока. Да, и самое главное — статью об изнасиловании с него снимали в связи со сложностями доказать его в суде. Возмущению женских организаций не было предела, и в БАГАЦ поступило сразу несколько исков с требованием отменить сделку. Выступавшие в Верховном Суде прокуроры доказали, что шансов довести дело об изнасиловании до победного конца (то есть до признания виновности) у них нет, и БАГАЦ не отменил досудебную сделку.

8 апреля 2008 года в зале суда, где должно было состояться заседание по утверждению сделки, «взорвалась бомба» — Кацав заявил, что отказывается от сделки и отвергает все обвинения. Ошеломлённая прокуратура год готовила свой ответ, и в марте 2009 было подано новое обвинительное заключение — на этот раз по бывшему президенту ударили в полную силу, и обвинение включало в себя и изнасилование — то самое, о котором ещё год назад прокуроры заявляли как о недоказуемом. И действительно, сложно поверить, что однажды изнасилованная Кацавом женщина ночью пришла к нему в номер в гостинице, где он внезапно изнасиловал её вновь.

22 марта 2011 года областной суд Тель-Авива приговорил восьмого президента Израиля к семи годам тюремного заключения. Приговор, оказавшийся неожиданностью для большинства израильских юристов — настолько, казалось, слаба была доказательная база — не сразу вступил в силу, а был отложен до рассмотрения обжалования. Однако Верховный Суд согласился с доводами прокуратуры (как и в прошлый раз, когда те же прокуроры заявляли тому же суду, что у них нет доказательств для осуждения по этому делу), и в декабре 2011 года Кацав начал отбывать свой семилетний срок.

Так родились несколько прецедентов — первый раз президент Израиля пошёл сидеть в тюрьму, первый раз прокуратура доказывала в суде, что у них нет доказательств, первый раз спустя год она доказала в суде, что доказательства есть... А Моше Кацав доказал то, что надо слушаться своих адвокатов и не играть в азартные игры с государством, ибо они плохо заканчиваются.

КОРОТКИЕ РАССКАЗЫ ИЗ АДВОКАТСКОЙ ПРАКТИКИ

О том, почему нельзя верить женским слезам, или Шекспир был прав

Весёлые истории из практики по воскресеньям — эту назовём «Вентилятор». Случилось это несколько лет назад, когда ко мне обратилась женщина, отправившая мужа за решётку по делу о домашнем насилии (в смысле не изнасиловании, а он её побил).

Здесь я сделаю небольшое отступление. Помнится, мой покойный учитель и наставник Александр Лейбович рассказывал мне о случае, когда он готовил женщину к суду. Баба была тупая и на репетиции перекрёстного допроса плыла так, что никаких шансов выиграть дело не оставалось. Тогда он ей сказал — когда я подам знак, начинай плакать.

Начался суд, клиентку подняли на допрос, и через некоторое время она начала путаться в показаниях. Алекс подал знак, и она начала рыдать. Он рассказывал мне, что плакала она так убедительно, что если бы он сам не подал этот знак — поверил бы обязательно. Ну и, конечно же, все участники процесса тоже поверили, судья обругал адвоката противной стороны, и всё закончилось хорошо. Но женским слезам Алекс с тех пор не верил.

Итак, вернёмся к нашей истории. Началась она за несколько лет до описываемых событий, когда чувак — назовём его Василий — познакомился в интернете с красивой девушкой. Василий был простой, даже слишком простой, простодушный и дураковатый, работал ночным сторожем на минимальную зарплату — и вдруг нашёл в интернете девушку невиданной красоты.

Красавица это действительно была редкая — как Барби, только с выразительными голубыми глазами и... Ну, в общем, такие бывают только в кино и в очень дорогих борделях. Вася влюбился, женился и привёз её в Израиль из какого-то Урюпинска, и началась их совместная жизнь. Правда, вскоре она всё поставила на свои места, и красавица продолжила работу по специальности — в очень дорогом борделе, а лох, которого она развела на израильский вид на жительство, продолжал охранять стройку по ночам.

Встречались они редко, хотя жили как бы вместе — ей надо было прожить с ним пять лет до получения гражданства. Но где-то на втором году такой жизни душа не выдержала, и чувак выпил и попытался выяснять отношения. От горькой обиды на жизнь и жену он швырнул в последнюю вентилятор, нанеся ей травму в виде синяка на руке, она вызвала полицию, и Василий попал под арест.

Обойдя от жара ссоры, девушка врубилась в легальные аспекты своего положения — ведь если он сядет, то её отправят назад, чего она совсем не хотела. И быстро побежала его тащить на свободу. А что я могу сделать? Покупай, говорю, билеты — скажем прокурорам, что

ты улетаешь, не будет у них свидетелей, а нет свидетеля — нет дела. Но те тоже не дураки, вызвали её давать показания побыстрее, до начала процесса. Что делать? Плакать!

Да, договориться с прокурорами не было никакой возможности — эта же судья только недавно уpekла на год чувака, который бросил в жену стул и не попал, а тут попался более меткий стрелок... И вот на допросе в суде она разрыдалась. «Верните мне мужа, я без него не могу, я здесь совсем одна, без мамы» — это было последнее, что можно было разобрать до того, как речь перешла в рыдания и фонтан слёз.

Все всполошились, судья послала стажёра за водой, прокурорша смутилась и покраснела, а возвращающаяся с кафедры потерпевшая, проходя мимо меня, улыбнулась сквозь не просохшие ещё слёзы и шепнула: «Ну как, в Голливуде прокатило бы?» Не знаю, как насчёт Голливуда, но в суде прокатило, но в суде Ришон ле-Циона это прошло на ура, и в тот же день Василий был на свободе. А милая девушка ещё и предприняла отчаянную попытку перевести гонорар в бартер, но я героически выстоял.

С тех пор я тоже не верю в женские слёзы. Не то, чтобы их не бывало настоящих — конечно же, бывают и искренние, я и сам неоднократно становился их причиной. Но отличить их от намеренных не может никто, в этом я абсолютно уверен. И если здесь найдётся мужчина, утверждающий, что он обладает такими способностями, я таки буду с него смеяться.

О полиции, траве и игрушках, или Самое удивительное зрелище за всю историю моей работы

Сегодня начало рабочей недели, поэтому с утра вместо новостей подниму-ка вам настроение — расскажу о деле, которое я вёл много лет назад, и самом весёлом моменте в моей судебной практике. Дело было в славном городе Ашдоде, и под суд попали двое молодых людей — русский и эфиоп.

Ребят повязали, когда при приближении полицейской машины они скинули мешок с травой. Было это ночью, в парке, куда они приехали на своей машине, и мы с коллегой пытались доказать, что трава была не их, а просто рядом валялась, а ментам, может, просто показалось что-то — короче, полной уверенности в том, что это их трава, нет, а значит, надо их оправдать. Тем более что один из них негр, а дело было ночью, так что вообще непонятно, как и что там можно было увидеть.

Суд вообще проходил весело. Фамилию эфиопского чувака все читали как «Бруклин», хотя на самом деле звучала она по-другому. Судья очень обрадовалась — «Я сама из Бруклина», заулыбалась она. Я говорю — тогда я прошу, чтобы вы взяли самоотвод. Она говорит —

а по какой причине? По причине психического нездоровья, говорю. В зале тишина, все охренели. Ну а какой психически нормальный человек уедет из Нью-Йорка в Ашдод, спрашиваю я? С тех пор эта судья меня очень любила и ласково улыбалась.

Так вот, приходит время допроса полицейских, совершивших арест. Вообще допрашивать полицейских — весёлые моменты и грустные одновременно. Весело на них наезжать и разговаривать с ними так, как они говорят с людьми — типа «здесь я задаю вопросы» или «перестань врать и отпираться». А грустно то, что они так профессионально врут — хорошо натренированы — что в конце концов всё равно им поверят.

И вот я пытаюсь найти слабину в их показаниях. А они пришли как раз с пакетом — здоровый такой полиэтиленовый мешок с травой внутри — решили показать вещдок. И выступает полицейский, стоит за стойкой свидетельской, а на ней лежит мешок с травой. И я его донимаю — а как была расположена машина подсудимого? А как вы подъехали? А с какого бока? И тут судья говорит — а у меня же есть игрушечные машинки, остались со слушания дела об аварии.

И тут начинается эпизод, который я бы очень хотел заснять на видео — только нет съёмки в суде. Судья даёт полицейскому две игрушечные машинки, и он начинает показывать, как было дело. А на стойке уже лежит мешок травы, и он на этом мешке ездит машинками туда-сюда. И всё чин-чином: судья в мантии, адвокаты в костюмах, прокурорша в платье — все внимательно наблюдают за тем, как полицейский в форме играет с машинками на мешке марихуаны.

С тех пор я много чего интересного увидел и услышал на работе, сами понимаете. Но более феерического зрелища так и не довелось увидеть в суде. Драмы, слёзы, драки — были и интересные, как будто спектакль смотришь (а иногда ещё его и режиссируешь). Хм, а может начать воскресную рубрику воспоминаний? Весёлые истории журнал расскажет наш? Что скажете?

О полицейской стрельбе, или К чему приводит футбол

Новости с уголовных фронтов меняются, как сводки во время войны. На прошлой неделе поймали начальника футбольного клуба славного дырогорода Петах Тиква, который совершал сексуальные преступления по отношению к малолетке прямо в машине (вроде бы он был там голый с подростком) — а будучи пойманным, задавил полицейскую девушку. Менты стреляли ему вслед, но не особо попали, то есть попали не в него, а в его машину и ещё в парочку машин на дороге заодно.

Молодая полицейская попала в больницу в состоянии средней тяжести, а футбольного менеджера поймали после дикой погони. Как-то потом оказалось, что уже на следующий день девушка получила

лёгкие ранения, а не средней тяжести. Потом оказалось, что вообще непонятно, есть ли у неё ранения — футболист утверждает, что вообще её не задел, а в суде полиция так и не смогла показать справку из больницы, где написано про ранение.

Потом оказалось, что и секса-то не было, и как-то само собой дело о сексуальных преступлениях против малолетки сдулось и исчезло. Зато остался не очень удобный для синеньких человечков факт — они стреляли из автоматов по уезжающей машине, в водителя не попали, зато зацепили ещё пару машин заодно. Как-то неаккуратненько...

Всё это напомнило мне историю, которую мне рассказали давным-давно, когда я был молодым адвокатом и давал бесплатные консультации для олимпов в той же чертовой Петах Тикве. Пришли ко мне две женщины — мама с дочкой, как я подумал. Оказалось — жена и мама чувака, который не пришёл. Как это будет по-русски, всегда путаюсь... Свекровь и невестка? Когда я спросил, где же сам герой, мне рассказали грустный рассказ.

Через несколько лет после свадьбы молодые переехали в только что купленную квартиру. Муж познакомился с соседом по подъезду, и время от времени смотрел у него футбол. Потом он пристрастился к футболу всё сильнее и сильнее, и стал пропадать у соседа всё чаще и чаще. У меня телевизора нет и никогда не было, но я так понимаю, что по спортивным каналам эту муру крутят постоянно, смотри хоть сутки напролёт.

Короче, через некоторое время муж стал оставаться у соседа на ночь — игру показывали очень поздно. Потом стал пропадать у того на день-другой, а потом и вовсе переехал к нему жить. В смысле, с ним жить. Жену бросил и ушёл к соседу. Такие дела. Меня очень умилило, как душа в душу жили теперь его мама и (бывшая?) жена. Что ж, хотя бы им он устроил жизнь.

Ретроспектируя пару лет бесплатных консультаций в Петах Тикве, могу сказать одно. Люди — неблагодарные свиньи (да простят меня хрюши). Я всех просил только об одном — позвоните, расскажите, помог ли мой совет. Звонили только те, у которых дело не разрулилось и надо было что-то посоветовать. За два года — а моей пропускной способности тогда позавидовала бы работающая девушка с таханы мерказит — с благодарностью позвонила одна (о д н а!) женщина, которая потом ещё и принесла мне бутылку вина.

Георгий ЯРОПОЛЬСКИЙ

/ Нальчик /



ЧУДЕСНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ № 3

Певчий ангел. Сост. Т. Ивлева. — СПб.: Алетейя, 2015. — 318 с.

«О Делия драгая! / Спешу, моя краса...» — именно эти строки фоном звучали где-то на задворках сознания, пока я знакомился с поэтической антологией «Певчий ангел». Почему вдруг вспомнилась пушкинская Делия? Очень просто: так звали и героиню «Чудесного посещения» Герберта Уэллса — первого произведения, где ангел предстал не сусальным младенцем с жировыми складочками и не зыбким фантомом-грёзой кисти Виктора Борисова-Мусатова, но вполне материальным существом, выпавшим — из-за грозы! — из иного измерения, из параллельной реальности, в которой столь же материальны грифы и драконы, джаббервоки и херувимы, сфинксы и гиппогрифы. Подстреленный приходским священником, увлекавшимся орнитологией, Ангел становится его гостем поневоле. В полном страстей мире смертных (где «крылья сложены горбом», а играть на скрипке приходится среди чучел убитых птиц), с этой его непостижимой частной собственностью, странными понятиями о «приличиях» и невероятным обычаем пичкать детей ненужными сведениями, «забывая им черепашки датами, перечнями, всякой мурой» (перевод Н. Вольпин), Ангелу приходится нелегко, но он находит родственную душу в Делии — смертной девушке, — с которой то ли гибнет при пожаре, то ли переносится обратно в страну Ангелов.

Должен признаться, что это сугубо прозаическое произведение, прочитанное в довольно юном возрасте, во многом и надолго определило мой взгляд на поэзию как на некое связующее звено между земным и небесным, мимолётным и вечным, «прахом» и «звёздами». Поэтому «ангел» до сих пор звучит для меня как пароль, кодовое слово, известие *оттуда*. Ну а в том, что ангел непременно певчий, всех нас сызмальства убедил М. Ю. Лермонтов, недвусмысленно засвидетельствовавший: «По небу полуночи ангел летел, / И тихую песню он пел».

Разумеется, и ангелы в своё время подверглись девальвации, неизбежной для всего чрезмерно серьёзного в глазах так называемого Человека Играющего, но, по-моему, пора обратного течения, противостоявшего

пиетету иронией, теперь уже миновала и ангелы, бывшие, по выражению И.А. Бунина, у некоторых поэтесс, «что фигурки на каминной полке», опять предстают правовочным символом горней долготности бытия.

Кстати, о «поэтессах»: понятно, что слово это в своё время вызывало неприязнь в силу некоторой пренебрежительной коннотации, но и это давно уже в прошлом, а выражение «женщина-поэт» звучит примерно так же изящно, как «женщина-актёр» или «женщина-танцовщик». Поневоле благодарить судьбу за то, что ни одной из великих актрис или балерин не пришло в голову восстать против гендерной составляющей обозначения своей профессии.

Так или иначе, а составительница «Певчего ангела» Татьяна Ивлева представила произведения двадцати девяти поэтесс XXI века, проживающих в России и в странах ближнего и дальнего зарубежья, — двадцать девять имён встретились под обложкой, любовно оформленной петербургским художником Иваном Граве с использованием фрагмента картины Эдварда Бёрн-Джонса «Ангел, играющий на флажолете» (1878). Стало быть, 29 — это один из ответов на давний «богословский» вопрос о том, сколько ангелов могут уместиться на кончике иглы. Конечно, истинное число достойных поэтесс-современниц превышает найденное, по крайней мере, на порядок, но, увы, на «кончике пера» рецензента уместится и того меньше: это будут, в основном, поэтессы, уже представленные в международном поэтическом альманахе «45-я параллель».

Как раз с неё, составительницы, я и рискну начать: ведь именно она задаёт тон всей антологии, именно её бескорыстный энтузиазм лежит в основе данного издания, главной целью которого является сохранение русского языка и культуры среди зарубежных носителей оных. Свою подборку Т. Ивлева справедливо назвала «Tempora mea»: говоря о своём времени, текущем и наблюдаемом («На Земле то Чечня, то Майдан»), она всегда имеет в виду аналогичные ситуации в далёком прошлом («Звон мечей гладиаторов Спарты»), а посему и латынь весьма здесь уместна. Её певчий ангел, свободно перелетая между временами Каина и нынешним братоубийством, не обнаруживает просвета в строю «вервольфов и вампиров», в «смердящем крысином парадизе», но утешается тем, что «Любовь, надежда и стихи — / Вот наши смертные грехи», и готов противостоять своим врагам, даже не рассчитывая на победу.

Одной из сверхзадач антологии, на мой взгляд, является демонстрация непрерывности и преемственности поэтического осмысления действительности именно женщинами. В этом смысле показательно и то, что подборка Т. Ивлевой (а заодно и вся книга) завершается обращением к портрету Анны Ахматовой (которая признавалась: «Я счастлива, что жила в эти годы и видела события, которым не было равных»), и то, что в одном из стихотворений Т. Ивлева вступает в поэтический диалог с другой участницей антологии, Ольгой Бешенковской (умершей в 2006 году), одновременно поминая её как человека.

Такая переключка между поэтессами делает антологию как более единой и цельной, так и более подключённой к общерусскому литературному процессу: ведь стихи Ольги Бешенковской вошли в известную антологию русской поэзии «Строфы века», составленную Евгением Евтушенко.

Подборка О. Бешенковской, помещённая в сборник «Певчий ангел», отмечена «ястребиным зреньем российских метафор». С самого начала она совершенно справедливо опровергает гендерную замкнутость русской поэзии как таковой, без обиняков сообщая: «Мы нараспев дышали Мандельштамом, / Почти гордясь припухлостью желёз». В то же время, обращаясь к Марине Цветаевой, поэтесса признаётся: «Мне легко танцевать по лезвию: / у меня — твой бессмертный опыт». Сравнивая свою эмигрантскую судьбу с судьбой эмигрантов первой волны, Бешенковская ощущает в душе ту же стойкость любви к России: «И я, ночами шляясь по Парижу, / Не проиграю память в казино!»

Огромное впечатление производит включённый в подборку цикл «Диагноз», который поэтесса написала как прощание с жизнью и эпиграфом к которому могли бы послужить строки из него же: «Отчего суров Господь к поэтам, / А подонкам так благоволит?» Удивительно встречать в нём такие нелегковесно-радостные строки: «По небу ангелы бегали / и оставляли следы, / лёгкие, розово-белые, / тоньше морозной слюды. // Яркое солнце ноябрьское, / тихо за крыши скользя, / было похоже на яблоко / так, что банальней нельзя». Непредсказуемые качания от смирения к бунту и обратно — таков незабываемый и невыдуманный сюжет прощального цикла О. Бешенковской.

В «Строфах века» была представлена и поэтесса Наталья Хаткина, которая, несмотря на приверженность к чёткой, порой даже чеканной форме, щедро наполняет свой поэтический мир приметами, отнюдь не входящими в традиционный «суповой набор» стихотворцев: перефразируя Владислава Ходасевича, можно сказать, что «классической розе» она явно предпочитает неприятзательные «дички». Порой она это даже декларирует: «Окраине поэзии — хвала. / Она к себе с базара и вокзала / безвестных стихотворцев приняла / и с городской окраиной совпала». Настоящей поэзии, по мнению Хаткиной, «на роду написано — жалеть, / смотреть, как под дождями мокнет глина, / и слушать, как в осеннюю мокреть / окраины играет окарина». Одно из характерных для неё стихотворений, краткость которого позволяет привести его целиком, — удачная попытка сочетать «учённость» с первозданной непосредственностью: «Мой август кудрявый, пора нам / с асфальта на время сойти. / Позволим нахальным бурьяном / учёным мозгам зараста. // Приляг на поляне нагретой / и руки привольно раскинь — / в ленивых извилинах лета / цветёт луговая латынь. // И стель мне щёку щекочет, / и жизнь копошится в траве, / и только кузнечик стрекочет / в зелёной моей голове».

Двойное впечатление оставляет её стихотворение «Шпана»: основательный повод задуматься для тех, кто в звучании слова «свобода» привык находить только сладость. Да, Н. Хаткина завершает его двойным восклицанием «О, как они были неладны! / И как они были свободны!». Может показаться, она завидует такой степени свободы, но если проследить за ходом поэтического сюжета, снова остановишься на строгом наблюдении: «От школы давно уж отстали, / глядели на всех исподлобья, / и что-то в них было от стаи / шакалей — голодной и злобной». Свобода в шакалей стае вряд ли способствует высвобождению лучшего в душе, и в наше время

такие выводы звучат особенно актуально. Впрочем, сама поэтесса обоснованно считает, что поэтическое слово не предназначено для каких-либо утилитарных целей: «это — музыка. С ней — пропадать. / Ни на что она больше не годна».

То, что одно из стихотворений в подборке Светланы Куралех посвящено памяти Натальи Хаткиной, ещё более усиливает «прошивку» книги. Кроме того, в этой подборке, открывающей сборник, а стало быть, тоже во многом задающей его тональность, удивительным образом сочетается разорённое «что» с филигранным «как»: Донецк, ставший сейчас воплощённой болью мира, живописуется жёстко и возвышенно, всё ужасное, проходя через сердце поэтессы, преобразуется в прекрасное, не становясь при этом менее горьким. «Уже не важно, кто кому уступит, / уже не важно, кто кого осилит / и кто кого полюбит и разлюбит... / Навылет ранена душа, навывлет», — в этих строках присутствует пристальная правдивость психологизма и нет ни грана ходоульного пафоса.

Столь же правдива и виртуозная попытка автобиографии, предпринятая в «Венке октав» — форме достаточно редкой и требующей не только отменного владения техникой стихосложения, но и способностью наполнить взыскательные опоки живым, трогаящим воображение содержанием. С. Куралех, вдобавок ко всему, соединяет в этом венке оба значения слова «октава», литературное и музыкальное: все строки, складывающиеся в магистрал, начинаются со слогов, обозначающих ноты октавы от «до» до следующего «до», образуя своеобразный акростих: «Дорога до-ре-ми, дарованная мне... / Ребёнок, Новый год и запах первой ёлки. / Миг сказочной любви — недолгий свет в окне, / Фаянсовый кувшин, разбитый на осколки. / Соль, сжатая в щепот, и чайник на огне, / Лязг брошенной подковы, грязные футболки. / Симфония весны захватывает дух! / "До" рвётся в небеса, рождая новый круг».

Характерно, что ангелы, появляющиеся в стихах С. Куралех, не столько утешают, сколько внушают тревогу, а также побуждение как-то их защитить: «Куда мне бежать, и о чём эта смутная речь, / возвышенный шёпот и трепет, намёки и знаки? / Зачем столько ангелов? Как я смогу убежать / их бедные крылья в такой тесноте и во мраке?» — вопрошает поэтесса. Сходные интонации звучат и в другом её стихотворении: «— Что, мой ангел, тепло ли? / — Тепло. / Дай своё поцелую крыло / и ладони, и шрам у виска. / Жизнь, как видишь, не так уж горька». Человек здесь не столько ищет помощи у неких высших сил, сколько сам стремится уберечь их — а заодно и свою способность к пониманию чужой боли и состраданию. Хотя целый ряд афористичных наблюдений поэтессы (например, «где родина моя, там сердце пополам») по-иному напоминают нам о том, что музыка, составляющая суть каждой живой души, даёт только одно: при любых обстоятельствах оставаться человеком — «ни на что она больше не годна».

Как раз ни на что больше не годные («бесполезные!») вопросы, не решаемые с помощью линейной логики, занимают Веру Зубареву: «Какие разветвления судеб / Я отыщу в раскопках прежних комнат? / Чей одинокий медленный ущерб / Всплывёт как ностальгирующий опыт?» — пишет она, и это опасение «проснуться незнамо где» очень сродни мироощуще-

нию человека, бóльшая часть времени которого поглощается разнообразными внешними раздражителями. Она продолжает: «Куда вернуться? В какое из пространств, / Из жизней не случившихся, но бывших, / Которым мой возврат — последний шанс?» Это, на мой взгляд, есть нечто иное, чем просто поиск подлинности в бесчисленном ряду мнимостей, — это признание равноправия реального и мыслимого, воображаемого.

Уловить неуловимое, соткать нечто вещественное из неосязаемого, — так я понимаю стоящую перед поэтессой (точнее, ставящуюся ею перед собой) задачу, вполне сопоставимую с установлением связи и взаимопонимания между разными мирами, а значит, и созвучную общей концепции антологии «Певчий ангел». Материальное («Картина декабря, замёрзшая снаружи») у В. Зубаревой по большей части «оживляется глазом», а отношение к субстанции времени определяется склонностью к «расщеплению памятных моментов / На бесконечность краткого вчера».

Созвучны ангельской (то есть «двомирной») концепции и стихи Леры Мурашовой. Так, в предгрозовом небе она угадывает смутное обещание чего-то большего, чем может вознаградить посюстороннее бытие: «Какое небо, Боже мой, какое небо / над городом, распластанным в жаре! / Вина не надо, и не надо хлеба, / когда на небо смотришь на заре». А двунаправленным проводником, соединяющим дольную обитель с горней, может, по её мнению, послужить то самое «Слово, / которого не слышал мир пока».

Так же, как и В. Зубареву, поэтессу занимают те зыбкие пространства, в которых блуждает душа во время сновидений и которые она пытается перенести с собою в явь: «Проснувшись рано, полчаса / в какой-то странной полудрёме, / в тягучей первозданной коме, / я вспоминаю голоса». Открывающееся знание представляется ей исполненным гармонии и высшего смысла — однако всякий раз ускользает, не подвластное логике яви. А обращаясь к умершей собаке (в нашей мифологии — отлетевшей в мир иной), автор пишет: «Я знаю, заживёт любви ожог, / и тонким шрамом зарастёт сомненье, / но где-то рядом поселилась — мгла, / и сердца истончатся лоскут... / Придёт пора, и крылья отрастут». Ещё дальше идёт Л. Мурашова в стихотворении «Когда стану рекой»: ей удаётся вообразить будущее без себя, то есть такое, где сама она оказывается «на другом берегу, / где нездешние травы по пояс». Однако и там её продолжают томить земные привязанности: «но тебя позабыть не могу, / я и там о тебе беспокоюсь». Если у В. Зубаревой материя «оживляется глазом», то у Л. Мурашовой всё материальное выступает ещё и носителем потустороннего: «Но шумит над водою ветла — / это я, подойди. И послушай». Граница между ангельским и человеческим легко преодолима чутким слухом и зрением.

Свободно перелетает из одного мира в другой и Элла Крылова, с этой целью даже просящая у кого-то: «Вставьте мне в голову кусочек неба — / прозрачный кристалл синевы, / чтоб я земного не жаждала хлеба / и не твердила "увы"». Возможно, точнее будет сказать, что она постоянно осознаёт своё пребывание одновременно и здесь, и там, но при этом, однако, больше озабочена «медленным ростом души», подготовкой себе «пристани там, в вышине».

Э. Крылова сполна понимает двуединство вещественного и божественного: «и к листьям благодарными устами / я прикасаюсь — к Божиим

устам». Более того, Божий промысел она обнаруживает в совершенно плотских вещах: «И если я любимого целую — / Бог возникает в нём, влюблённый сам, / возвысив до небес любовь земную». Несмотря на слушающиеся порой всплески отчаянного богоборчества, поэтесса неизменно возвращается к точке благоговейного приятия мироустройства: «Впрочем, смерть — лишь перелёт / в лучший мир, никак иначе!» Это, конечно, смирение, но смирение деятельное, смирение служения и преодоления.

Ершиста и занозиста фактура стихов Ирины Аргутиной, в значительной мере приверженной к кипящей злободневности (взять хотя бы её замечательную формулу гражданской войны: «бесконечная война зла со злом ради меньшего зла»), но это несколько не мешает ей общаться с ангелами. «Ангел мой — из бывших женщин, / вот и плачет втихомолку», — признаётся поэтесса, и ей почему-то сразу веришь. Как веришь и таким строкам из стихотворения о ветре: «а в небе тают облака, / и в промежутках / зияет синяя тоска — / и сердцу жутко».

Совершенно в унисон лейтмотиву «Певчего ангела» звучит, по-моему, стихотворение «Метель стихает»: здесь И. Аргутиной удаётся наилучшим образом совместить сиюминутное и преходящее с вечным: «За спиной не крылья хлопают: позади — / перестрелка навек захлопнувшихся дверей». Скрипучий снежок и назревающий в стране путч, тихий призрак счастья и боль в груди, — эта смесь, составленная и взбитая импровизаторским даром, напоит понимающего читателя горечью и умиротворением.

Насыщены энергией включенные в антологию стихи Натальи Крофтс. Она предпочитает живописать напряжённые, полные риска мгновения: «Я ринусь на палубу, в свежесть грозы». При этом стремление к повышенной экспрессивности органически сочетается у неё с тягой «туда, где слова / понятны ещё — / но уже невозможны».

Поэтесса настойчиво обращает свой взгляд в глубину времён, так что в одном лирическом пространстве у неё сталкиваются и древняя Пангея, и усталые абоненты, которым нет смысла звонить. Она живёт с постоянным осознанием того, что «на нас глядят веками / чужих теней тяжёлые зрачки», а в программном стихотворении «Поэт эпохи динозавров», давшем название одному из её сборников, Н. Крофтс передаёт своё ощущение носительницы давнего, долго копившегося дара: «Я — нефть. Я — топливо. Я — снедь. / Меня опять сжирает пламя. / И, птеродактильно дыша, / моя крылатая душа / кружит над вами». Несколько неожиданная интерпретация ангельской темы, но, тем не менее, вполне укладываемая в русло представлений о взаимоотношениях между мирами и временами. Напрямую же о вечном воскресении поэта говорится в стихотворении «Ars poetica», которое, по-видимому, тоже можно считать программным: «дайте только срок, / дайте строк — и я ещё воскресну». Непрерывность времени — вот что обосновывает пафос Н. Крофтс, делая её трагедию оптимистичной.

Глубинное понимание цикличности времени свойственно и стихам Анны Полетаевой, однако она показывает её цикличность не только в плане непрерывного воскрешения, но и в плане воспроизводства негативных сторон бытия. «Эта война бесконечна, Мальчиш-Кибальчиш, — / Просто меняются страны, века и погоны», — эти строки А. Полетаевой напрямую перекликаются с приведённой выше формулой И. Аргутиной. Впрочем,

негативной стороной дело, естественно, не ограничивается: «Видишь, вода потихоньку становится твердей — / А на краю её плачет такой же рыбак». Поэтесса склонна воспринимать время меняющимся именно по кругу, без замены таких оборотов более «прогрессивными» витками спирали, и потому в её голосе различимы ноты безысходности: «Видишь, мы верим, Господи, вот те крест... / Вот тебе гвозди. Выгляни, где ты есть».

Однако пребывает она всё-таки «на границе горечи и веры», служа передаточным звеном между тем, что видит воочию, и тем, что предстаёт её так называемому третьему оку. Иначе откуда бы взялась потребность в сказке, лишённой каких бы то ни было чудес, но показывающей «мир справедливой, умней и добрей»? Как признаётся А. Полетаева, «Нет летучей / и невозможнее задачи... / Но если нужно — как иначе?». Именно невозможностью выбираемой задачи во многом определяется творческий потенциал пишущего. Думаю, каждому, кто берётся за перо, следует помнить о таком завете забываемого Кристоля Хозевича Хунты: «Бессмыслица — искать решение, если оно и так есть. Речь идёт о том, как поступать с задачей, которая решения не имеет».

Именно такие задачи по большей части ставит перед собой Татьяна Виноградова. Характерно в этом отношении её стихотворение о «тёмном Древе Молчания», которое растёт «в тихом раю слов, / за рекой туманных откровений, / по ту сторону водопадов беспамястства». Парадоксальная его концовка («Блаженство слова — / неназванным остаться навсегда») одновременно и присоединяется к тютчевскому приговору «мысли изречённой», и противостоит собственному утверждению, будучи словесно выраженной. Своё кредо Т. Виноградова, пожалуй, прямо выразила в стихотворении, посвящённом Ирине Кронгауз: «Состраданьем опалена, / Слишком крылатой была. / Пригвождена к телу, / В небо глядела. / ...Слишком живой была».

Осознавая — опять-таки — неразрывность временной ткани и обнаруживая тесную связь между Литейным и Летейским, Т. Виноградова приходит к убеждённости, что «усталый Бог сохраняет всё, / даже наши стихи. / Даже вздох / затонувших, угасших, вчерашних». Тем более понятны её инвективы по адресу тех, что «отнимают небо / у ветра и птичьих криков, / у веток и лунного света, / у ангелов и у меня». Балансируя между проклятием и благословением, поэтесса выписывает мир, в котором «нежный снег осыпал смертью плоть листьев», а «жёлтый клён стал чёрно-белой тенью». Однако ангельское начало (пусть даже порой ангелы выступают в роли «призраков») нетленно, и тот, кто был «слишком живым», обретает, если я правильно прочитываю подтекст, вечность.

Напрямую, называя её непосредственно по имени, обращается к вечности Елена Данченко: «Отодвинь темноту, отодвинь / синей шторкой ли, лампочкой, свечкой, / огонёк чей выпрастывал вечность / в виде рыбок глазастых ян-инь». Вечность в её понимании не то чтобы противоположна темноте забвения или небытия, но срывает свет с тьмой, образуя равноправный «круг из двух половин». Можно было бы сказать, что поэтессе в гораздо большей мере притягивают явления посюсторонние («На чудный мир, на этот белый свет / не надьшусь», — декларирует Е. Данченко), но, несмотря на обращённые к самой себе увещания («Не думать о конце. Не сметь, не сметь! / Не представлять его во всех деталях»), она признаёт-

ся: «Ну вот опять... ничем не задавить / вертлявую змею воображенья». Однако отчётливое осознание бренности мира и здесь уравнивается пониманием необходимости прижизненного (и пожизненного) служения этому самому эфемерному миру: «за право раздавать, что б ни просили / и плёс речной, и пёс сторожевой, / я жизнь свою, последняя разиня, / отдам, просльв живой, живой, живой». Раздавать, защищать и оберегать — эти ангельские то ли права, то ли обязанности в той или иной мере эксплицитно возлагают на себя все авторы «Певчего ангела».

Да простят меня неназванные поэтессы, но я намерен ограничиться счастливой дюжиной упомянутых имён, а напоследок, чтобы мои заметки не выглядели чересчур панегирическими, попытаюсь добавить хотя бы крохотную капельку дёгтя. Например, заявить, что некоторые стихи, помещённые в антологию, кажутся не вполне отредактированными. Скажем, у Ольги Бешенковской случаются отступления от норм грамматики: «Я пила и хмелела полночный Нью-Йорк»; «Мне опостылела кровать / И смиренный саван шить»; «Но опять нездешним острым светом / Взгляд мой тихий режет и болит». Наверное, лёгкое редакторское вмешательство этим строчкам не помешало бы: «Я, хмелея, пила полуночный Нью-Йорк» и т.п. С другой стороны, однако, это можно счесть той самой «грамматической ошибкой», без которой, по признанию Пушкина, он не любит русской речи, как «уст румяных без улыбки», или же своеобразной поэтической контаминацией правильных фраз («Я пила полночный Нью-Йорк и хмелела»; «Мне опостылело лежать в кровати / И смиренный саван шить»; «Нездешним светом / Взгляд мой режет, из-за чего он болит»), самим искажением формы передающей именно степень охмеления, отвращения к обстановке или боли в глазах. Так что от этой придирки приходится отказаться: с дёгтем ничего не получается.

Вместо этого подчеркну то обстоятельство, что обязанности и редактора, и корректора возлегли на плечи составительницы антологии, Татьяны Ивлевой, которая работала без какого-либо вознаграждения, за спасибо. Она сама разыскала своих авторов, сама их пригласила, сама всё составила, отредактировала и откорректировала, сама вела всю деловую переписку. Поэтому нам, читателям, надлежит быть не просто снисходительными, но и от души благодарными. В наше время для издания поэтических книг необходимы поистине ангельские черты — такие, как терпение, щедрость и самоотверженность.

В ноябре далёкого 1985 года (подумать только, прошло уже почти тридцать лет) я попытался по-своему изложить историю Уэллса о викарии, подстрелившем ангела. Со временем и стихотворение восприняло название своего романного источника — «Чудесное посещение». Поддаваясь «обратной волне иронии», завершил я его такими строками: «Он небу взор осклабил / с улыбкой неземной... / Не будешь больше, ангел, / кружиться надо мной!» Ни в коей мере не отрекаясь от тех своих слов и мироощущения, я всё же надеюсь снова и снова видеть это кружение ангелов в небе у меня над головой. Отнюдь без желания брать их на прицел.

КРЕЩАТИК
(Перекресток)

Международный
литературный
журнал

Главный редактор издательства

И.А. Савкин

Дизайн обложки *И.Н. Граве*

Оригинал-макет *Б.Н. Марковский*

Издательство

«Алетейя»,

192171, Санкт-Петербург,

ул. Бабушкина, д. 53.

Подписано в печать 23.11.2014. Формат 66x88^{1/16}.

Усл.-печ. л. 22,8. Печать офсетная. Заказ 531.

Тираж 500 экз.